

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

№ 358 / 3 3·2015

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Проза

Иван Комлев. Рядовой Иван Ященко. <i>Повесть</i>	3
Валерий Хайрюзов. Мама, сегодня я летал во сне. <i>Рассказ</i>	66
Людмила Листова. «Я вернусь». <i>Рассказ</i>	92
Владимир Корнилов. Колька Жмых. <i>Рассказ</i>	109

Поэзия

Василий Забелло. Душа скучает по былому	60
Андрей Мирошников. У Бога много не просите	84
Иван Козлов. Затерялась в минувшем любовь	106
Юрий Розовский. Непогода	114
Сергей Эпов. Запоздалое	135
Надежда Кудашкина. А счастье — это капельки росы	157
Татьяна Миронова. Есть тайна в сумерках вечерних	168

Подска! 70 лет

Тамара Бусаргина. «Насущное отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность...»	121
Иван Колокольников. Иркутск. Война. Музыка. <i>Музыкальная жизнь Иркутска в годы Великой Отечественной войны</i>	147

Сибирские летописи

Николай Зарубин. «На золотом крыльце сидели...»	162
---	-----

Очерки гражданской войны

Глеб Бобров. Битва за Санжаровку. <i>Рассказы</i>	173
Елена Заславская. Заметки на полях войны	185
Виктория Мирошниченко. В лицо войне проклятие летит... ..	190
Виталий Даренский. Снаряд упал на перекрёстке... ..	193
Людмила Гонтарева. Во степи солдаты без имён лежат	197

Год литературы. Радунница

Елена Попова. «Бог меня из колоды вынул...»	198
---	-----

Год литературы. Сибиряда

Валентина Семёнова. «Я писатель!» — со всеми вытекающими...	201
Владимир Скиф. Ковчег Дмитрия Мизгулина.....	235

Год литературы. Уроки Распутина

«Нет, весь я не умру...» Пушкинская речь Валентина Распутина.....	207
Владимир Максимов. Точка невозврата — обратный отсчёт	255

Год литературы. Пути-дороги

Валентина Андреева. «Строгая, но справедливая...».....	211
--	-----

Год литературы. Судьбы писательские

Эдуард Анашкин. Тот памятный семинар. О Георгии Граубине	226
--	-----

Год литературы. Возвращение книги

Людмила Мирманова. «Запах гари».....	240
--------------------------------------	-----

Год литературы. Событие

Лора Тирон. «Неяркий блеск снегов России...».....	244
Иван Тронин. Литературное чаепитие	246

Литературная учёба

Валерий Дмитриевский. «Пламенея от стыда»	248
---	-----

Театральная история Сибиря

Зоя Ковалёва. «Это один из самых любимых театров области...»	252
--	-----

Голоса молодых

Владимир Скиф. «Небесная дочь».....	263
Елизавета Оводнева. Помни то, что всегда я с тобой.....	265

Главный редактор **АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ**
Заведующий отделом поэзии **ВЛАДИМИР СКИФ**
Заведующий отделом критики и публицистики **АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ**
Ответственный секретарь редакции **СВЕТЛАНА ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Ю.И. Баранов, В.В. Барышников, В.К. Забелло, В.П. Комлев, И.И. Козлов,
Р.Г. Михеева, Н.А. Озерникова, Т.Н. Суровцева, В.Н. Хайрюзов, М.И. Яковенко

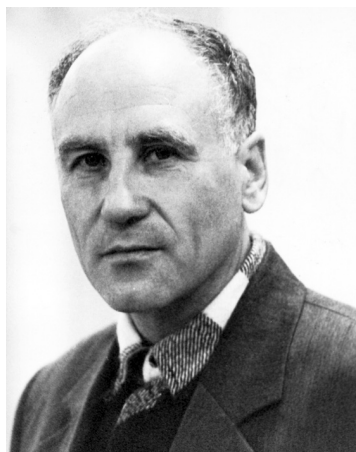
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Оформление обложки С. Бурчевская. Комп. верстка А. Гордиевских. Корректор Л. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.**

Адрес редакции: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 233. каб. 304.
Телефон редакции: 8-914-92-148-72. Телефон главного редактора: 8-914-88-73-880. E-mail: sve-t-lana@mail.ru.
Подписано в печать 06.11.2015. Формат 70х108/16. Усл.печ. л. 22. Тираж 1400. Цена свободная..
Изготовлено в ПИК Офсет. 660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51.
Тел. (391) 211-76-20. E-mail: marketing@pic-ofset.ru



ИВАН КОМЛЕВ



Рядовой Иван Ященко

ПОВЕСТЬ

— Рота-а, подъём! Рота, подъём! — то ли всё ещё сон, то ли команда, но голос незнакомый, не старшины роты.

А снилась Ивану река, Омь, что в далёкой Сибири, ивы на берегу, удочка, поплавок на воде и погромыхивание грома — из-за леска на противоположной стороне реки напознала чёрная туча. Клёв перед дождём бывал иногда просто отменный. Но очередную поклёвку пришлось пропустить...

Команда сбросила Ивана с нар — сработал усвоенный за три месяца рефлекс. Едва разлепив глаза, он надёрнул галифе, матюгнул Василя, который свалился с верхних нар ему на голову, быстро-быстро накрутил портянки и обмотки — тоже сказались тренировки, надёрнул грубые ботинки, двумя движениями завязал шнурки и уже на ходу из палатки надел гимнастёрку. За ним, толкаясь, из палатки выскакивали солдаты взвода.

— Стройся!

— Тю, сдурилы! — Василь, протирая глаза, глянул на восток, где только-только, за лесом, поднималось солнце. — И в выходной не дадут поспаты.

Взвод построился, справа и слева такие же квадраты других взводов — на вытоптанной площади, поротно, батальоны полка, на дальнем краю те, кого строевики называют «обоз». Иван — второй с правого фланга взвода, рядом, выше его ростом, Фёдор Дубов, массивный флегматичный парень, уралец, за Дубовым — на полшага впереди — командир взвода, старший сержант Путник, невысокий крепыш с хорошо поставленным командирским голосом, свёрхсрочник.

КОМЛЕВ Иван (Иванов Виктор Павлович), прозаик, публицист (род. в 1940 г. в г. Омске). Автор книг: *Ковыль*: повести и рассказы (Иркутск, 1990); *Лепёшка*: рассказ (книжка-миниатюра) (Иркутск, 1992); *У порога*: повести и рассказы (Иркутск, 1994); *Когда падает вертолёт*: повести и рассказы (Иркутск, 2001); *На рубеже*: публ. статьи (Иркутск, 2008); публикаций в коллект. сб. и журналах. Заслуженный геодезист РФ. Член Союза писателей России.

Иван видит нечто странное: ротного командира нет, не видать комбата, нет командира полка, и вообще нет никого из командиров других рот и батальонов, не говоря уж о комиссаре полка, он на утреннем построении и прежде появлялся очень редко. Зато в полусумраке рассветного дня перед строем, чуть левее второго взвода второй роты первого батальона, он видит две довольно высокие фигуры в плащах, с фуражками на головах, фуражки с необычно высокими тульями, а чуть в стороне от них и чуть ближе к строю, невысокий худенький военный в странной серой форме. В правой руке его хлыст, ивовый прут. Человек стоит, слегка расставив ноги, для большей устойчивости, как стоят и те двое, похлопывает себя прутком по голенищу надраенного хромового сапога. Что-то знакомое почудилось Ивану в этом военном, спустя мгновение Иван признал в нём полкового писаря. Шибздик — так за глаза называли его солдаты. Фамилии его Иван не знал, но дважды видел в штабной палатке. Так это его голос поднял полк — голос у Шибздика был мощным, не вязавшимся с его хлипкой фигурой. «Что он тут командует?» И только теперь Иван увидел за спинами этих троих, там, где были навесы для винтовок, расставленных в козлах, автоматчиков. По два на каждую пирамиду оружия. На головах каски, автоматы не наши, на уровне живота, направлены прямо в строй взвода. И сапоги — чудные сапоги с широкими голяшками, будто пошиты были на слонов, а достались вот этим воякам. «Немцы»!

— Фрицы! — слышит Иван негромкий, изумлённо-растерянный голос из-за спины.

— Смир-р-но! — бывший писарь командует с видимым наслаждением.

Строй, приученный к повиновению, вздрагивает и замирает. Зябко. За навесами для оружия, в кустах, всё ещё плавает, редая, туман — там ручей, в котором обычно умывались солдаты после утренней пробежки. Тени от деревьев, что восточнее палаток, длинные, и солнце ещё не освещает импровизированный плац — утоптанную солдатскими сапогами большую поляну.

Один высокий в плаще делает небольшой шаг вперёд и произносит что-то на немецком, не повышая голоса, не заботясь, чтобы его услышали все. Писарь переводит его во всю силу своих лёгких.

— Солдаты русской армии, сегодня настал для вас великий день! День освобождения от коммунистов и жидов. Славная германская армия по приказу фюрера...

Раздалось дружное «Хайль!», и все увидели, что не только у оружия стоят автоматчики, но и на флангах полка шеренги их, и не только автоматы направлены на безоружных солдат, но и пулемёты готовы по малейшей команде вступить в дело.

— ...по приказу фюрера перешла границу и готова уничтожить ненавистный вам режим и, в первую очередь, ликвидировать ваших угнетателей: евреев и коммунистов. Наш великий фюрер так решил и так будет!

В это время послышался нарастающий гул, все невольно подняли головы: высоко в небе с запада на восток шла целая армада самолётов.

— Фюрер, — продолжал переводить писарь, — зовёт всех честных русских солдат вступить в борьбу с коммунизмом, вступить в великую и непобедимую германскую армию. После скорой и неизбежной победы наш фюрер обещает вам свободу и землю, право быть хозяевами, право распоряжаться теми, кто не освободится от коммунистической заразы.

Пауза. Видимо, необходимая для того, чтобы русские солдаты усвоили сказанное. Немец отступил назад, на прежнее место, а писарь, теперь уже видно было, что на его руке выше локтя чёрная нарукавная повязка с двумя изломанными, как молнии, белыми линиями, а на фуражке что-то похожее на череп с двумя костями под ним. «Эсэсовец», — слышит Иван шёпот за спиной. Это ему пока ничего не объясняет.

Писарь-эсэсовец скомандовал:

— Кто вступает в великую германскую армию, выйти из строя!

Похоже, он прекрасно знал, что нужно делать и как командовать бывшими его сослуживцами.

Полк вздрогнул, расслабился, принял положение «вольно» без команды, но из строя никто не вышел.

«Это я должен буду воевать против своих? А как же мама и сёстры? Шо скаже батько?» — подумал Иван, и, очевидно, такие же мысли были у всех.

— Смелее! — гремел вчерашний писарь, а теперь эсэсовец. — За вашими спинами нет комиссаров! — И захохотал.

«Правда: куда все подевались? И где наши пограничники? Почему немцы здесь?» Такие вопросы крутились в голове не только у Ивана. Полк располагался в десяти километрах от границы, жили в палатках, утром выдвигались к границе, и большую часть суток красноармейцы проводили на строительстве оборонительных сооружений: огневых точек, окопов и траншей, блиндажей и наблюдательных пунктов. На огневую и на строевую подготовку последние две недели времени почти не отводилось.

— Кто откажется служить великой Германии, — пояснял писарь-эсэсовец, — тот будет пленным. И я вам обещаю, что это будет не курорт!

Полуторатысячный строй безмолвствовал.

— Ну, что стоишь? — эсэсовец ткнул прутом красноармейца во второй шеренге. — Выйти из строя!

Солдат, воровато озираясь на сослуживцев, протиснулся между стоявшими впереди него, те не поторопились пропустить изменника.

— Ты и ты, — бывший писарь знал, кого следует вызывать в первую очередь, и прутом, как указкой, безошибочно выдернул двоих солдат из соседнего взвода.

Фашист был психологом. Уже не дожидаясь указаний, несколько солдат покинули строй. Но улов был слишком мал, из всего полка не набралось и взвода тех, кто пожелал надеть форму Вермахта. Их построили, дали команду, и они пошли, руководимые уже немецким армейским офицером, вдоль строя полка, снимая с красноармейцев поясные ремни, срывая с пилоток звёздочки. Откуда-то появился грузовик, советский ЗИС-5, на котором на стройку привозили ещё вчера цемент и брёвна. В кабине на месте водителя сидел один из добровольцев, рядом — немец с автоматом, и два бывших красноармейца стали забрасывать в кузов машины винтовки, забирая их из пирамид.

И снова в дело вступил бывший писарь. Он, очевидно, не зря сидел в штабе полка, знал по документам многих красноармейцев. Проходя вдоль строя, командовал, указывая прутом на солдата:

— Выходи! Выходи!

Вскоре перед строем оказались комсорги рот и евреи.

— Юден? — кивнул офицер в плаще на стоявшего за спиной Ивана чернявого солдата, его эсэсовец пропустил при своём обходе.

— Выйди! — приказал писарь. — Сними штаны!

Иван посторонился: шаг вперёд и в сторону. Дзгоев вышел, бледнея лицом, сказал хрипло:

— Н-нэт, я кавказец. Мусульман.

Спустил шаровары с кальсонами до колен.

— Обрезанный, — сказал немецкий офицер, почти на чистом русском языке, что-то подобное улыбке появилось на его лице. И, обращаясь к Шибздику, уточнил: — Мусульман?

Эсэсовец кивнул и не отказал себе в удовольствии, хлестнул Дзгоева прутом, норовя попасть в промежность. Махнул рукой, разрешая солдату вернуться в строй. У немцев был свой расчёт на мусульман: надеялись создать из них боевые подразделения, которые пойдут против Красной Армии. Это спасло жизнь Дзгоеву. Он поспешно надёрнул галифе и быстро вернулся на своё место. Подбородок его, выбритый до синевы, стал, кажется, ещё темнее, а на скулах появился румянец. «Будь у него нож, — мелькнула у Ивана мысль, — кинулся бы и запорол Шибздика».

Комсомольцев и евреев — их набралось человек тридцать — вывели за палатки, и оттуда раздались автоматные очереди.

— Васю тоже чуть не кокнули, — пробубнил возле уха Ивана Дубов.

Имя Дзгоева было Виссарион. Но Виссарионом Дзгоева товарищи избегали называть — слишком строго. Да и сам он при знакомстве так отрекомендовался: «Мая има — Вася».

— Так немедленно будет со всеми, кто не захочет работать на Германию, — уточнил между тем бывший писарь. — Немецкий порядок — это закон. Кормить вас будут только за хорошую работу. Смирно! — вдруг рявкнул он. — Равнение на-алево!

С небольшим промедлением команда была выполнена.

Там, куда приказано было держать равнение, находилась штабная палатка, особняком от палаток, в которых размещались солдаты, и все невольно подумали, что вот сейчас из неё выйдут красные командиры, или их выведут оттуда. Но из палатки появился немец, он за древко волочил по земле красное полковое знамя. Сдержанный гул, как стон, прошёл по шеренгам. Перед этим знаменем давали присягу на верность стране и народу новобранцы три месяца назад, ещё там, на формировании полка, далеко от границы. У Ивана чуть ноги не подкосились от нахлынувших боли, стыда и унижения. Немец подошёл к двигавшейся навстречу ему машине, в которую сбросали только что винтовки красноармейцев, и швырнул туда знамя.

В проёме палатки показался ещё один немецкий солдат, он зажал локтями ступни красноармейца и волочил его по земле. Это был часовой, который стоял ночью у знамени. Он был мёртв. Оттащив труп от палатки на несколько шагов, немец посчитал свою работу выполненной и бросил ношу.

Фашисты наслаждались произведённым эффектом.

— Фюрер освобождает вас от присяги! — пояснил бывший писарь.

Затем он щёлкнул пальцами, подняв руку вверх, и к нему на рысях приблизился немецкий солдат с бумагами. За ним — ещё несколько немцев. Эсэсовец пошёл вдоль строя, раздавая своим подручным листки, и вскоре началась перекичка: немцы, коверкая фамилии, занялись проверкой личного состава рот. До Ивана дело дошло в самом конце:

— Я-щенко! — с трудом выговорил худощавый высокий немец, вглядываясь внимательно в строй. Пожилой, как показалось Ивану.

— Я, — взгляды их встретились.

Последним в ротном списке почему-то оказался Василь, хотя его фамилия должна была стоять в списках выше фамилии Ивана.

— Я-ко-вэнко!

— А до ветру нас когда отпустят? — вместо отзыва спросил он.

— Поговори мне! — бывший писарь оказался неподалёку. Чуть помедлив, скомандовал: — Оправиться!

— Шо, здесь? — не выдержав, удивился Василь.

В руке Шибздика появился пистолет. Выстрелив над головой Василя, он рявкнул:

— Быстро!

Красноармейцы, сконфуженно поглядывая на товарищей, стали снимать галифе и присаживаться... Нужда заставит. На плацу ещё вчера окурочник никто бы не бросил...

Из каждого взвода несколько человек направили разбирать палатки. По команде солдаты забрали свои тощие вещмешки. Скатки, шинели остались в «каптерке», в большой хозяйственной палатке.

Потом весь полк прогнали мимо кухни, где повара под надзором автоматчиков раздавали пленным красноармейцам по ломтю хлеба, по несваренной картофелине и горстке пшённой крупы. Крупу, зачерпывая ладонью, повара, тем, кто не успел достать из вещмешка котелок, бросали в подставленные пилотки. Ворчали солдаты, что даже умыться не дали, есть приходится грязными руками.

Не знали, что это пшено и хлеб, и картошка, вспомнятся им ещё не раз как последний привет страны, которую они не сумели защитить.

— Плен? Это что, плен? — то там, то тут слышались удивлённо-недоверчивые голоса.

Несмотря на то, что о возможной войне с немцами было запрещено говорить — «у нас с Германией договор», готовили красноармейцев к боевым действиям напряжённо. С самого начала, как только сформировался полк, ещё там, в небольшом городке, в Удмуртии, необученных деревенских парней часами учили ходить строем, чтобы умели не наступать друг другу на пятки, чтобы ходьба стала для них привычным делом. Учили стрелять

из винтовки и даже из ППШ. Пистолет-пулемёт Шпагина с диском производил сильное впечатление, но вызывал у Ивана некоторую настороженность: набивать диск патронами надо было аккуратно, иначе, как объяснял старшина, при стрельбе мог случиться перекос патрона, а в ближнем бою — это верная смерть. Учили рукопашному бою. Этим занимался с ними старший сержант Путник, а он, в свою очередь, учился у лейтенанта Бодрова, бывшего в Первую мировую войну унтер-офицером. Унтер-офицеры — это мастера своего дела, владевшие всеми видами стрелкового и холодного оружия, умеющие сражаться как в пешем, так и в конном строю.

Удары штыком и прикладом, уклоны, уход от ударов и даже от выстрела — всё это у Ивана получалось неплохо, он удивил наставников тем, что быстро научился метать винтовочный штык в цель. А секрет был в том, что ещё тогда, когда он в своей деревне начал работать в строительной бригаде, начали они соревноваться с таким же парнем в метании топора. И научились с десяти шагов втыкать своё орудие труда в дерево. До поры, конечно, пока бригадир не увидел и не отматерил их — за порчу живых деревьев и за озорство.

Учась рукопашному бою, красноармейцы, что не менее важно, обретали уверенность в себе и в товарищах. Умение действовать совместно, слаженно — главное в рукопашном бою. «Сам погибай, а товарища выручай, — наставлял бывший унтер-офицер, — так завещал нам Суворов».

И вот, не пригодилось то, что успели освоить перед войной, взяли их, как слепых котят.

Туман рассеялся, солнце выбралось на вершины деревьев, день обещал быть ясным и знойным. В стороне от расположения полка, за полосой леса, в это время шло большое движение: гремели гусеницы танков, подрагивала земля, стучали двигатели автомобилей, слышалось тарахтенье мотоциклов, и ещё множество звуков подсказывало красноармейцам, что там идёт мощная колонна войск. Вражеская армия беспрепятственно шла на восток. Где-то далеко громыhalo, иногда по земле катился гул, а здесь было относительно тихо. Очередная группа немецких самолётов прошла на восток, наших самолётов не было видно.

Полк, потерявший командиров, оружие и не понимавший, что будет дальше, построили и под конвоем повели на запад, к границе, по той пыльной дороге, по которой только что прошли немцы и по которой красноармейцы ходили на строительство оборонительной полосы. Кроме пеших конвоиров, слева и справа от колонны были всадники с автоматами, и время от времени мимо колонны, то обгоняя её, то возвращаясь в хвост, пылил мотоцикл, где рядом с водителем, в люльке, сидел пулемётчик.

Два часа ходу — и вот у дороги пограничная застава. Невольно взгляды пленников обратились в сторону небольшого домика. У стены его аккуратно рядом, как в строю, лежали тела пограничников во главе с лейтенантом. Фуражка лейтенанта с красной звездой лежала рядом с ним, и ветерок слегка шевелил его русые кудри. Рядовые были острижены наголо, «под Котовского». Огнестрельных ранений не видно, все убиты ножами или заколоты штыками.

А через сотню шагов на берегу речки, названия которой Иван и другие солдаты от начальства не слышали, возможно, в целях конспирации, увидели ещё несколько убитых красноармейцев. Некоторые застрелены, очевидно, врасплох, в затылок. Враги, судя по всему, пришли с той стороны, откуда их не ждали.

По другую сторону от дороги белел свежим деревом недостроенный дот.

Речушку переходили вброд, воды по колено, струится по камешкам, как будто в мире ничего не произошло. За рекой дорога раздвигалась, полк повели по той, что свернула к северу. Она не искорёжена колёсами автомобилей и траками танков, не вытоптана, пыли меньше, идти стало легче. При переходе через реку успевали ладонями зачерпывать воду и пить. На мокрые обмотки стала налипать пыль, в ботинках хлюпало, и Иван стал беспокоиться, что скоро натрёт до мозолей ступни. К счастью или, наоборот, к горькой обиде, вскоре навстречу им попала ещё одна немецкая колонна: несколько танков впереди, за ними автомобили и повозки. О том, что пленные должны освободить дорогу, конвоиров

предупредили два мотоциклиста. Место было полуоткрытое, с небольшим кустарником по сторонам. Красноармейцев, подгоняя прикладами, поспешно согнали на обочину. Удалось слегка отдохнуть и чуточку обсохнуть. Колонна немцев двигалась мимо примерно полчаса.

Пленные без остановок шли до полудня, после чего остановились на открытом месте. Здесь конвоиры поочерёдно подходили к походной кухне, обедали, весело обменивались впечатлениями, потом возвращались на свои места. Война войной, а обед вовремя — немецкий порядок соблюдался неукоснительно. Красноармейцам обеда не полагалось. Но сесть на землю, переобуться, перемотать обмотки было возможно. Кое-кто даже лёг на прогретую солнцем траву, заложив, как на отдыхе в родном отечестве, руки за голову.

И снова изнурительная до одури ходьба под знойным небом, во рту пересохло, ноги всё чаще загребали дорожную пыль и гравий. Но не столько давило солнце и усталость, сколько тяжёлые мысли: «Что будет с нами? Кто нас предал?»

Миновали несколько деревень, жителей почти не видно. Дома обычные, крыши в большинстве крыты соломой или камышом, и было не понять — чужая это сторона или они опять идут по советской земле.

— Как ты думаешь, Иван, далеко нас уведут? — спрашивал Дубов. — Наши догонят завтра или нет? Выручат?

Иван думает о том же, но насчёт того, что их скоро выручат свои, у него сомнение. Ответить он не успевает, идущий сзади Дзагоев, едва не погибший бесславно утром, шипит за спиной:

— Наш-ша! Раззява наш-ша! Шибздик плен взял! Ай-яй! Немецкий сабака! Шпион! Ай-яй!

У многих красноармейцев от дурного завтрака и сырой воды начались проблемы с животом. Но когда один из солдат, он шёл в колонне впереди Ивана, примерно в сорока шагах, попытался выйти в сторону, чтобы справить нужду, раздалось немедленное:

— Хальт!

Несчастный боец, держась руками за живот, обернулся к окрикнувшему его конвоиру, показывая, что не собирается бежать, а только присесть на минуту на обочине, и шагнул дальше. Немец выстрелил, не поднимая винтовки для прицеливания, и попал в спину страдальцу, точно на уровне живота, словно это и было тем лекарством, которое требовалось несчастному. Пленный упал, второй конвоир, бывший неподалёку, выстрелил в агонизирующего дважды, и тот затих. Колонна шла дальше без задержки.

На перекрёстке дорог военнопленных разделили. Небольшую часть погнали на запад, остальных — на север. Когда подошли к лесу, возле колонны появилось подкрепление конвоирам — группа автоматчиков с собаками.

В лесу дышится чуть легче.

Солнце стало клониться к горизонту, когда в большом прогале колонну остановили. Конвоиры и собаки окружили пленных, им дали возможность справить нужду. И тут же подошла машина, опять же советский ЗИС-5, но другой, не тот, на котором увезли винтовки, и с другим водителем. Из кузова на землю полетели лопаты, пилы, несколько ломов и даже топоров. Ещё подошёл грузовик, немецкий, на нём привезли колючую проволоку.

И закипела работа. Пилили деревья, обрубали сучья, разделявали стволы на столбы, рыли ямы, устанавливали столбы в эти ямы, через пять-шесть шагов, и прибавляли рядами на них колючую проволоку. Ударная была работа. К заходу солнца лагерь, обнесённый колючей проволокой, был готов. Только теперь оголодавшим пленным дали пищу. Раздачу серого эрзац-хлеба и сырой картошки вели полковые повара и медицинский персонал; среди медиков было несколько женщин-санитарок.

Привезли воду, на которую в первую очередь, толпясь, накинулись умиравшие от жажды красноармейцы.

Матерясь на чём свет стоит, ели эрзац хлеб и грызли картошку. Иван свою картофелину в сыром виде есть не стал. В вещмешке у него были спички, он собрал под ногами

сухие сучки, кору и разжѣг костерок, всё время ожидая окрика от охранников, а то и пули в спину. Но его самодеятельность не вызвала реакции конвоиров. Иван воткнул найденную Василиѣм палку наклонно над огнѣм, приладил над костром свой котелок, в котором сохранил часть воды, когда подходил к баку и утолял жажду, бросил в котелок свою картофелину и клубень Василя. Дзагоев придвинулся к нему, Иван взял и его картофелину, положил в котелок и картошку Фѣдора Дубова. Глядя на них, стали готовить ужин и другие пленные.

Те, кто не вытерпел голода и съел сырую картошку, поворчав, уснули, устав от долгой ходьбы и тяжѣлой работы.

— Соли бы ещё! — вздохнул Дубов, когда вода в котелке закипела.

— Тикать надо, вот шо, — Василь, покатав горячую картофелину в ладонях, начал есть её, не очищая от кожуры. — Бо при таком разе загубят нимцы, и не бачить нам, Иване, своей Богдановки.

— Вон дядько нам дорогу посветит, — кивнул Иван на вышку, которую успели до ночи поставить на одном углу проволочного заграждения, — там немцы как раз в это время наладили прожектор, и луч его, слепя глаза, начал обшаривать территорию лагеря. — А Богдановку, может, ещё побачим.

Сердце ныло от воспоминания о родной деревне. Богдановку когда-то зачинали переселенцы с Украины: на берегу реки построили хаты, пахали землю, женились, рожали детей и умирали. Сибирь стала их родиной. Когда пришла Советская власть, приняли её, не сопротивлялись, крестьянам было всё равно, кто сидит в далѣкой столице в царском кресле. Но когда тут стали хозяйничать иностранцы: англичане, французы, японцы, чехи и ещё чѣрт знает кто, когда отступающие колчаковцы стали забирать не только лошадей, но и молодых мужиков стали ставить под ружьѣ, то не только коренные сибиряки, но и пришлые из Расеи, поняли, что надо избавляться от непрошенных гостей.

Когда новая власть стала организовывать колхозы, хохлы — как их называли жители соседних деревень — скооперировались: они и раньше жили единым сообществом, не чураясь и тех, кто волею судьбы оказывался жителем их деревни.

В школе учительницей была русская женщина, приехала по направлению молодая, красивая и через два года вышла замуж, за хохла. Грамотность, красота и спокойный характер сделали её самым уважаемым человеком в деревне, бѣльшим уважением, пожалуй, пользовался только председатель колхоза Мартын Афанасьевич Бережко. Его, имевшего образование два класса церковно-приходской школы, выбрали председателем, несмотря на уговоры и давление районного начальства, за хозяйственность, за мудрость и редкостное понимание всякого крестьянского дела. Землю он знал, как никто, скотину любил и холил, и даже трактора и комбайны, когда они появились в МТС (машино-тракторных станциях) и стали работать на колхозных полях, не были для него загадкой.

Весной сорок первого на воинскую службу призвали семь парней из Богдановки, рождения тысяча девятьсот двадцать второго года. Иван был старше на два года. Провожая их в военкомат, Мартын Афанасьевич чуть не прослезился:

— Ну, хлопцы, не посрамите ридных и деревню. Чую, будѣ трудно вам, шось там гитлеры маракують початы вийну. Як бы вам не прийшлось бытыся з ими...

Была ещё одна досада-забота у председателя: уже в минувшем году и зимой брали в армию не только тех, чей возраст подошёл, но под видом переподготовки наращивали численность войск, шла мобилизация мужчин из запаса, в том числе из Богдановки привлекли на учения тракториста и комбайнѣра, чтобы подготовить из них танкистов. Этот факт лучше всего убеждал Мартына Афанасьевича, что войны с немцами не миновать.

Надежда Степановна, учительница, тоже прослезилась: в армию уходили её ученики. Когда она начинала учительствовать, в Богдановке была только начальная школа, потом школа разрослась до семилетки. Большинство юношей и девушек на этом и останавливались, шли работать в колхоз после семи классов, а некоторые, как Василь Яковенко, и раньше забрасывали учение — им нравилась работа на полях либо на ферме. А вот

Иван Яценко был одним из лучших учеников Надежды Степановны: он не только легко справлялся с математикой, физикой и другими предметами, но быстро овладел русским, не вставлял в речь слова украинской мовы, как это часто случалось у других учеников, и писал сравнительно грамотно.

— Учиться тебе надо, — настаивала Надежда Степановна.

— Зачем? — удивлялся Иван. — Я бухгалтером быть не собираюсь.

В пятнадцать лет ему казалось, что оканчивать десятилетку надо только для того, чтобы сидеть где-нибудь в конторе и стучать костяшками на счётах. Да и родители не очень настаивали на продолжении обучения: «треба гроши» — с восьмого класса надо было платить за учёбу. После окончания седьмого класса Иван не поехал в районную школу, взял в руки топор и влился в бригаду, которая строила ферму. Пять лет махал не только топором, сенокос и уборочная страда, весной — посевная...

А ещё был он дорог учительнице тем, что её старшая дочка, которая, конечно, продолжила учёбу и к весне сорок первого заканчивала десятый класс, на каникулах зимой и летом спешила из райцентра в родную деревню, чтобы тут, на вечёрках, быть поближе к Ивану. Высокий, златокудрый и голубоглазый парень пленял девчат не только красотой, но и тем, что он «гарно спивал» песни. О ком болит сердечко Таисии, Надежда Степановна не могла не знать.

Таи в Богдановке в день проводов парней в армию не было, училась.

И вот Иван уже машет с саней, которые по снежной каше увозят парней на угор, через лесок и поле, и далее, далее...

Тая же встретила и проводила Ивана в райцентре, на вокзале, при посадке в поезд. Смотрела потерянно, из глаз вот-вот, казалось, покатятся слёзы, но она сдержалась. Поцеловаться при народе они постеснялись.

Отец с матерью распрощались с Иваном дома, не пошли к правлению колхоза, где провожали ребят на службу, — у матери была на этот счёт какая-то примета.

Спать пленникам пришлось на голой земле, на траве, истоптанной множеством ног. Зябли, жались друг к другу, но сопение и храп скоро повисли над поляной.

Иван перед сном переобулся, чтобы намокшие при переходе через речку ноги посмотреть — не натёр ли? Снова намотал обмотки, догадываясь, что утром времени на это может не быть. Притулился к спящему Василию, но уснул не сразу. На дальнем от ворот участке, вблизи вышки с прожектором, обильно росли, кроме шиповника, лебеда, лопухи и крапива — сюда, как в сортир, бегали солдаты, чей желудок не вынес немецкого хлеба и сырой картошки. «Откуда в лесу крапива и лебеда?» — вертелась эта мысль в голове, пока усталость не сморила и его.

Проснулись пленники от резких хлопков: раздалось несколько винтовочных выстрелов. В луче прожектора увидели, что один из красноармейцев, воспользовавшись темнотой, попытался перелезть через заграждение — у столба по колючей проволоке, поднимался как по ступенькам, но в это время залаяли собаки, включился прожектор, и охранники с двух сторон поразили беглеца. Он уже был на самом верху и, сражённый, повис вниз головой, на свободную сторону. Там он и остался до рассвета.

Утром подъём, построение, и знакомый уже Ивану высокий немец с листом бумаги стоял перед взводом, всматриваясь в лица русских солдат. Вызывать пофамильно не стал, пересчитал, очевидно, количество пленных и начал раздавать им небольшие лоскуты белой материи, на которой были чёрной краской отпечатаны номера. Немецкий порядок требовал учёта, и где-то в Германии на фабрике заранее изготовили номера для будущих белых рабов. Тыкая жёстким пальцем в грудь Фёдору, потом Ивану, немец показал им и всем остальным, куда надо пришить номер. Иван оказался под номером 0782.

Когда приказание было исполнено, всех опять построили. Немец прошёл вдоль строя и снова своим пальцем, на этот раз как крючком, оторвал плохо пришитый номер у стоявшего слева от Ивана солдата Власа Воронова. И немедленно, не произнося ни слова, коротким боксёрским ударом в горло свалил Власа на землю. Пока тот, задыхаясь, кор-

чился в муках, немец обнаружил ещё несколько нерадивых пленных, но уже бил не сам, а доставал их прикладом винтовки помощник, рядовой немецкий солдат.

Завтрак в походных полковых кухнях был приготовлен полковыми же поварами — баланда, не то борщ, не то рассольник, без мясного, с каким-то техническим жиром или растительным маслом. Капустные листья, наспех помытая картошка, свёкла — всё-таки борщ. К этой баланде прилагался кусок малосъедобного немецкого хлеба.

— Свиной моя мать лучше кормит, — пробурчал Иван, доставая ложкой из котелка капустный лист.

Василь только выматерился, Дзгоев скрипел зубами, а Дубов, вздохнув, сказал:

— Как бы ещё хуже не было...

Иван обратил внимание, что во время подъёма, на построении, женщин полка, радисток и медсестёр, на территории лагеря уже не было видно.

— Куда наших девчат подевали?

Но вопрос повис в воздухе. Каждый понимал, что судьбы женщин и девушек будут нелёгкими.

Пленных снова построили. И тут вдруг перед ними опять возникла фигура писаря. На этот раз в чёрном мундире, на рукаве повязка со свастикой. Он прошёлся вдоль всего построения пленных, в руке у него был настоящий плетёный хлыст, которым он всё так же похлопывал по голенищу, объявил:

— Ко мне следует обращаться «господин гауптман». Вы будете работать на Германию — это великая честь! Все распоряжения по работе от моего имени вы получите от господина Каспарайтиса. Обращение к господину Каспарайтису — «господин обершарфюрер», или, если угодно — «господин фельдфебель».

При этом из-за спины гауптмана выдвинулся названный господин — серая форма, две звёздочки, те же молнии и эмблема мёртвой головы, что были на форме бывшего полкового писаря накануне. За спиной, в отличие от солдат на вышке и у ворот, вооружённых винтовками, — автомат. Судя по фамилии — этот фашист из Прибалтики.

Неведомо парням, попавшим без боя в плен, что нацисты, готовясь к войне с СССР, тщательно изучали не только состав Советской армии, её вооружение, военную промышленность и экономический потенциал в целом, но и характер народов, населявших страну. И делали определённые выводы, как надо поступить с тем или иным народом после победы над Советами. Упрямые русские должны быть сокращены до предела, оставшиеся — обращены в рабов у господ немцев, которые становились хозяевами земельных участков. А управляющими у этих господ стали бы близкие по духу немцам прибалты: эстонцы, латыши или литовцы. И вот уже на второй день вторжения в советскую страну этот принцип управления начал внедряться в лагере, не получившем пока ещё названия.

Фельдфебель распределял пленных на работу. Ивана и ещё четверых пленных, выделив из строя, передал под охрану двум автоматчикам, объяснив им что-то на немецком. Перед этим, ткнув пальцем в сторону Ивана, сказал:

— Ви — старший, строить хата для господин.

Выделил Ивана из остальных, видимо потому, что очень уж приметным был он своей внешностью — ярко-рыжими, хоть и коротко остриженными волосами, а ещё заметил, очевидно, что Иван старше своих однополчан.

— Форвартс! Шнель! — немец автоматом показал, куда двигаться, и дал знать, что надо шевелиться быстрее.

Пятёрку Ивана вывели за ворота лагеря, туда, где близ ограждения из колючей проволоки стоял ЗИС-5 с инструментами. Один из охранников показал, что надо взять из кузова, задний борт которого был открыт, и отступил в сторону. Второй немец стал впереди машины, преграждая пленным возможный рывок в сторону леса.

Иван взял из кузова две больших лопаты, топор, пилу и молоток, отметив про себя немецкую хозяйственную хватку: инструменты были те самые, которыми красноармейцы строили блиндажи и доты. Здесь же зачем-то находились и маленькие сапёрные лопатки.

Заметив краем глаза, что немец отвлёкся на остальных пленных, Иван одну сапёрную лопатку сронил на землю и быстрым движением ноги задвинул её в траву под колючую проволоку. Конвоир обернулся на звук, но увидел только, как Иван, наклонившись, поднимает с земли упавший топор. Иван ещё не осознавал, зачем он так сделал, но чувствовал, что лопатка, если удастся потом её незаметно прибрать, находясь в лагере, может пригодиться.

В это время в тени деревьев, шагов за полсотни от ворот лагеря, раздался смех немцев, похожий на ржание, и Иван с товарищами увидели, что там установлены палатки, немецкие, и одна, крайняя, советская, из тех, в которых жили красноармейцы до плена. Из неё с хохотом вывалился полураздетый немец, который тянул за собой полуобнажённую девушку. Иван узнал её — это была медсестра из их роты, Настя. Она сопротивлялась, но из палатки вышел ещё один пьяный немец, они вдвоём заломили Насте руки и повели в следующую палатку.

Иван с топором в руках и его товарищи с инструментами готовы были броситься туда, но охранник передёрнул затвор автомата, напоминая, что делать резких движений нельзя. Глаза Ивана и автоматчика, рыжеватого высокого парня, встретились. Случись Ивану и этому рыжему в мирное время оказаться рядом, их приняли бы за братьев. Но теперь... В белёсых глазах немца Иван увидел насмешку и неприкрытое желание, чтобы русские дёрнулись на вырубку девушке. Ему хотелось пострелять. Второй немец, пожилой, по мерке Ивана, следил за этой мимолётной сценой равнодушно, но автомат держал наготове.

В это время из ворот вышел Каспарайтис, поманил пальцем Ивана и показал ему небольшой листок бумаги:

— Строить для господин немецкий зольдат. Понимай? Здесь, — фельдфебель показал ногой, где должен быть вкопан первый столб.

Что было не понять? Указаны размеры: ширина, длина и высота строения — немцы не собирались жить в палатках, а хотели более надёжного укрытия от зноя и дождей. Да и следить за воротами лагеря из окон будет сподручнее тем солдатам, которые сменяются на отдых.

Из ворот между тем выводили пятёрками других военнопленных и вели в лес, где им предстояло пилить и разделять деревья, — Германия нуждалась в строительном материале.

Для построения летнего домика привезли доски, которые в прошлом служили нарами в палатках красноармейцев: хозяйственность немцев не знала границ.

— Берите лопаты, — сказал Иван Дубову и Дзагоеву. Обернулся к Воронову: — Ты как? Можешь работать?

Влас Воронов, которому немец повредил гортань, только кивнул головой, говорить ему было трудно. Второму бойцу, Михаилу Бартеву, Иван не знал, что можно было бы поручить делать — парень был, что называется, «безрукий». Иван это увидел ещё во время строительства блиндажа, там, на границе, в совсем ещё близком и таком уже далёком прошлом.

Показав товарищам, где копать, сколько отпилить от деревьев, Иван взял в руки топор и стал готовить столбы, обтёсывать их так, чтобы можно было прибивать к ним доски.

Охрана, сменяясь время от времени, в полдень пообедала у своих палаток, пленным обеда не было. Однако Каспарайтис, подходивший несколько раз посмотреть, как продвигается стройка, разрешил Ивану сходить на кухню и принести воды.

Другая группа военнопленных строила между тем вышки по углам лагерного заграждения. К вечеру на них, как и на первой, появились ещё прожектора. Несколько бригад, по пять человек в каждой, возводили второй ряд проволочного заграждения — вышки оказались защищены от подхода не только со стороны лагеря, но и извне: немцы в устройстве лагеря знали толк. Тут не убежишь.

Когда к вечеру разрешили прекратить работу и на территорию лагеря стало возможно зайти без сопровождения охранников, Иван, войдя в ворота, присел у проволочного заграждения, чтобы переобуться, и, улучив момент, когда немцы на вышке не смотрели в

его сторону, быстро засунул под гимнастёрку сапёрную лопатку, благо, ремня на поясе не было. Чуть склонившись, чтобы черенок лопатки не выпирал из-под гимнастёрки, слегка прихрамывая, прошёл в дальний конец лагеря, где они ночевали, бросил свою драгоценную добычу в крапиве. Позже, когда надвинулись сумерки, лопаткой взрезал дёрн и спрятал её под пластом.

Ужин — всё та же баланда — прошёл, стемнело. Лёжа рядом с Иваном, Василь спросил шёпотом:

— Ты на шо лопатку принис?

— Сгодится, — неопределённо ответил Иван.

Но Василь не удовлетворился ответом:

— Ото, я думаю, за крапивою, там можно копать.

— Ладно ты, — остановил односельчанина Иван, — чем меньше говорить, тем лучше.

Давай спать.

— Ага.

К ним придвинулся Бартев.

— Что, Миша? — спросил Иван.

— Немцы уже вроде на Киев двинулись.

— С чего ты взял?

— Гауптман с фельдфебелем разговаривали.

Иван насторожился: он видел, что фашисты беседовали, даже слышал разговор, но говорили они на немецком.

— Ты знаешь немецкий?

Миша смутился:

— Понимаю немного.

— Откуда?

— Так в нашей деревне немцы, переселенцы...

— Ага, — Иван успокоился, — как украинцы в Богдановке.

Михаил отодвинулся, ругая себя за неосторожность — выдал свою маленькую тайну; чем меньше о тебе знают, тем безопаснее.

Настоящая его фамилия была Бартель. Отец его происходил из немцев, которых ещё Екатерина Вторая поселила на Волге. Мать была дочерью еврея, управляющего в поместье обрусевшего немца, дворянина. Общаясь с детьми помещика, Сара вполне сносно научилась говорить на немецком, а когда подросла, то и грамоту немецкую освоила, по настоянию отца. Когда же началась революция и перемешала все нации и сословия, случилось так, что немец Василий Карлович Бартель влюбился в еврейку Сару Давыдовну Шнейдер. Они поженились. В тысяча девятьсот двадцать втором году у них родился мальчик, которого назвали Михаилом. В свидетельстве о рождении в графе «национальность» ему записали «еврей». Когда подросший Миша, учась в девятом классе, поинтересовался, почему еврей, а не немец, мать сказала:

— Быть евреем в нашей стране выгоднее, чем немцем.

Миша понял: в стране шла повальная поимка немецких шпионов. Понял он и другое: почему так неожиданно три года назад они сорвались из своего городка на Волге и уехали в Сибирь, в деревню, где была школа-семилетка, куда взяли учителем математики его отца. Прежде отец был директором полноценной десятилетней школы и преподавал не только математику, но и немецкий. Кто-то написал в органы письмо о том, что Василий Карлович, скорее всего, шпион. Следователем оказался еврей, давно сменивший еврейскую фамилию Цукерман на Сахарова, который знал и Сару, и Василия, он и намекнул, что у него есть «интерес» к Саре. Сара пришла к нему на приём, догадываясь, в чём заключается этот «интерес». Она попросила Сахарова отдать ей письмо и не арестовывать мужа. К просьбе приложила золотые серёжки, доставшиеся ей когда-то от матери. Следователь не стал ломаться, взял серёжки, открыл папку, в которой только и был один листок, но прежде чем порвать его, предупредил:

— Но чтобы через сутки вас тут не было.

Они выехали в тот же день, вечером. А на новом месте в сельсовете они предстали обворованными в пути переселенцами, у которых украли деньги и документы. Заведующая, получив в подтверждение сказанного золотое колечко, которое Сара Давыдовна сняла с пальца, вернула его хозяйке, сделала документы Василию Карловичу, который стал Василием Карповичем Бартевым и превратился, со слов Сары, в русского. Сара в своих данных не стала ничего менять, сын Миша на тот момент ещё не имел паспорта, и его метрики убрали подальше.

В то время у многих не было никаких документов, и выдавали их со слов заявителя, получив, правда, подтверждение одного-двух свидетелей.

Кольцо Сара хотела отдать на всякий случай, по принципу «не подмажешь, не поедешь», но председательша так посмотрела на неё, что Сара сконфузилась.

По окончании школы Миша получил паспорт, новую фамилию и новую национальность, стал, как и отец, русским. Осенью сорокового года он поступил в пединститут на исторический факультет, но проучился лишь до Нового года, потому что ещё осенью, когда студентов направили на уборку картофеля, простудился и толком не мог оправиться от кашля. Заботливая мама решила, что сыну надо взять академический отпуск по болезни, что и было сделано. Но весной Мишу пригласили в военкомат. Райвоенком оказался непреклонным исполнителем закона, и вскоре бывший студент оказался на службе. Когда от армии отвертеться не удалось, Сара Давыдовна, предчувствуя грозные надвигающиеся события, сказала со вздохом:

— Как знать, возможно, что скоро быть немцем будет выгоднее, чем евреем или даже русским.

Из всех напутственных слов именно эти всплыли в памяти Михаила. Действительность показывала, насколько дальновидной была его мама.

— Гауптман — это кто? — прервал его воспоминания Иван.

— Это как капитан, по-моему.

— О-о! — капитаном был комбат, большой командир для рядового солдата. — И наш начальник штаба тоже капитан был, — заметил Иван.

— Я вот только не понимаю, — у Михаила другое направление мысли, — как это у них, у немцев, организовано! Он же, Шибздик, был шпионом, разведчиком, а тут вдруг в форме эсэсовца. Я думал раньше, что СС — это личная охрана Гитлера.

— Ага, — буркнул Иван, — теперь это наша личная охрана.

На следующий день Ивану с его группой досталось строить туалет. Случилось это так. Гауптман появился в расположении лагеря с намерением осмотреть надёжность заграждения, прошёлся в сопровождении Каспарайтиса и группы автоматчиков вдоль колючей проволоки и стал кричать на фельдфебеля:

— Швайн!.. — и прочее, что русские понять не могли.

— О чём он орёт? — спросил Иван у Михаила, хотя догадывался, что бывший писарь вляпался сапогом в нечистоты, которых по лагерю было больше, чем мин на минном поле.

— Обещает отправить Каспарайтиса на фронт, называет нас свиньями и его тоже свиньей.

Получив лопаты и инструменты, Иван со своей группой пошли копать ямы в дальнем углу лагеря, совсем недалеко от вышки, на которой был установлен первый прожектор. Грунт оказался податливым, супесь. Яма, в виде глубокой траншеи длиной метров восемь, была вырыта довольно быстро.

— Для чего такой глубокий яма делаем, мы тут на всю жизнь расположились? — ворчал Дзгоев.

— А ты делай, что говорят, — поддержал Ивана Фёдор, — у нас умный старшой, можно ему лычку ефрейтора дать.

По краям траншеи уложили два длинных бревна, на них, поперёк, настелили доски, с дырами, соответственно. Никаких стен, ограждающих от посторонних взглядов, естественно, не поставили.

Иван, руководивший этой постройкой, два крайних метра настила соединил понизу поперечными досками; гвозди, которыми должны были прибить доски к брёвнам, пробил насквозь и загнул, создавая вид, что всё надёжно схвачено. Получившийся щит с крайним «очком» можно было приподнять и проникнуть в яму. Ни Василь, ни остальные теперь уже не спрашивали, для чего он так сделал. Свидетелей сделанного не оказалось: вторая бригада строила сортир в другом углу лагеря.

Делая вид, что работа ещё не закончена, начали, сменяясь, рыть под настилом ход в сторону проволочного ограждения. До заграждения было метра четыре, так расположил туалет Иван. Землю из хода кидали на дно траншеи. Теперь и Дзгоеву было ясно, для чего рыли такую глубокую отхожую яму. Близость вышки оказалась на руку пленным: для того чтобы проследить за ними, охранник должен был подойти к перилам и посмотреть вниз. Торчать в таком положении немцы, конечно, не стали.

Каспарайтис, как всегда, пришёл проверить работу, прошёлся по добротному настилу, посмотрел на Ивана, ничего не сказал. Но было понятно, что угроза отправки на фронт минует фельдфебеля.

Когда уставшие пленники уснули, Иван толкнул Фёдора, и они, с интервалом в две-три минуты, отправились к туалету. Инструменты были, разумеется, сданы, но сапёрная лопатка у них была! Приподняв край щита, Иван спустился в яму — ступеньки в стене были предусмотрительно сделаны ими перед окончанием работ. Фёдор, аккуратно, без стука, вернул щит на место, спустив штаны, сел на соседнее «очко», луч прожектора, шаркнув по голому заду его, ушёл в сторону ограждения и погас. Минут через двадцать они поменялись местами, теперь Иван, уже в другом месте туалета, изображал страдающего, а Фёдор трудился внизу. Землю насыпали в освобождённый вещмешок Ивана и разносили во всей длине туалетной ямы, рассыпая по дну ровным слоем, для маскировки, и присыпая появившиеся уже нечистоты. Потом их сменили Дзгоев с Вороновым. Их смена тоже прошла без происшествий, ход продвинулся почти до ограждения. Василию с Михаилом поработать не удалось: после полуночи к туалету то и дело подходил кто-нибудь из пленных, и они вынуждены были вернуться к товарищам.

Утром всех пленных вывели на повал леса. Группа Ивана, как и в предыдущий день, работала одной бригадой. Иван подрубал вековые сосны, потом они с Фёдором пилили двуручной пилой дерево. Михаил и Влас обрубали сучки, а Василь с Дзгоевым отмеряли специальным шестом длину и распиливали деревья на брёвна.

На участке появились лошади, полковые артиллерийские лошади теперь тоже трудились на Рейх, вывозя лес на открытое место.

В полдень вдруг явился гауптман в сопровождении пожилого немца в гражданской одежде и целой группы военных: офицеров и рядовых, из чего можно было заключить, что гражданский — важная птица. Работы приостановились, пленных заставили стать по команде «Смирно». Гражданский, выслушивая объяснения гауптмана, иногда кивал головой в знак одобрения, но потом подошёл к штабелю готовых брёвен и попинал нижнее бревно сапогом.

Гауптман подозвал к себе стоявшего в отдалении Каспарайтиса и отдал ему какое-то распоряжение. Тот вытянулся, ответил и, развернувшись, трусцой поспешил в сторону лагеря.

Когда высокий гость и гауптман удалились, стало ясно, чего хотел гражданский: Каспарайтис пришёл с солдатом, который принёс несколько маленьких лопаток и приказал ближним пленникам разбирать штабель и ошкуривать брёвна.

Первые машины с очищенными от коры брёвнами пошли по дороге не в сторону фронта, а на запад. Похоже, что приезжал хозяин лесного богатства.

Вечером Иван спросил у Михаила:

— Ты ближе всех стоял, слышал, о чём они говорили?

— Не всё, и не всё понял. Кажется, они торговались о цене леса.

— Во как?! — изумился Дубов. — Наш писарь зарабатывает на дармовой рабочей силе?
— Надо будет отслеживать, что происходит у ворот лагеря и в палатках немцев, — сказал Иван.

— И смену часовых на вышке, — добавил Дубов.

Продолжить рытьё хода этой ночью не удалось — в лагере оказалось пополнение пленными, небольшая группа их расположилась почти у самого туалета. Эти красноармейцы разительно отличались от первых пленников: грязная и рваная одежда, потемневшие лица, словно бы они не умывались все дни с начала войны, некоторые были перевязаны бинтами, серыми от грязи. Смотрели зло и с подозрением на сравнительно чистых старожилы лагеря.

На другой день к вечеру погода испортилась, стал накрапывать дождь, но работу не прекратили. Бартев, поскользнувшись, не удержал топор, и лезвие, едва коснувшись сучка, разрубило ботинок. Хлынула кровь. Ближайший охранник крикнул что-то, явился старший, занял его место, разрешил часовому отвести пострадавшего в лагерь. Иван осмелился вмешаться, сказал Михаилу:

— Разуйся сперва, надо остановить кровь.

Михаил, морщась от боли, снял ботинок, рана была на взёме. Оторвали полосу от натальной рубахи, кое-как забинтовали ногу, кровь быстро проступила сквозь ткань.

Солдат, которому поручено было сопроводить Михаила в лагерь, наблюдал за действиями русских, склонив набок голову, он был, кажется, рад происшествию, которое избавляло его от необходимости мокнуть под дождём. Хотя он и прятался до этого под деревом, но ему не повезло: молодая сосёнка была плохим укрытием, а уйти под большое дерево было нельзя — некоторые пленники выпадали из поля зрения.

— Шнель! — поторопил он Михаила.

И они пошли — Михаил впереди, с разрубленным ботинком в руке, хромя на босую ногу, немец с автоматом сзади.

В лагере Каспарайтис, увидев Бартева, заорал:

— Запоташ! Повесим!

Но к врачу допустил. Полковой медик, уже с сединой на висках, только руками развёл:

— Что ж ты, братец, так неаккуратно? Лечить тут особо нечем.

Но промыл ногу Бартеву тёплой водой с марганцовкой, даже йод нашёлся и бинт.

— Вот всё, что могу, — сказал, вздохнув, — скоро и этого не будет. Животами все маются. Вы хоть сами там, если возможно, угольки при себе держите. Древесный уголь немного помогает.

Угольки можно было взять возле кухни, и многие уже хрустели ими, что, кажется, помогало.

К ночи хилый дождичек разгулялся. Пленники мокли и мёрзли, но спрятаться было некуда.

— Пишлы копаты, тамо и дождя нема, — сказал Василь Ивану.

Иван уже думал об этом, ответил другу:

— На мокрую одежду земля налипнет, утром сразу все увидят, чем мы занимаемся.

— А в яме под настилом, поди, сухо, — вздохнул Дубов.

— Ага, — съязвил Воронов, гортань у него поджила, голос появился, и он, радуясь этому, пробовал говорить: — Замечательное место для отдыха, духами пахнет.

— Да и близко там новенькие, — продолжал размышлять Иван, — услышат нашу возню, начнут выяснять, что происходит. Надо их как-то отправить в другое место.

Он встал и прошёл к новичкам. Некоторые уже спали, сгрудившись в кучу, однако когда Иван подошёл ближе, раздался негромкий густой бас:

— Кто тут? Чего надо?

И в темноте, прямо у самых ног Ивана, приподнялся от земли обладатель баса.

Иван присел.

— Спросить хочу: как там, на фронте?

— Не видно — как? Хреново.

Помолчали. Иван поинтересовался:

— Где наши? Далеко? Как вас взяли?

— Тебя как звать?

— Иваном. А тебя?

— Семён. Вот что, Ваня, бьют нас в хвост и в гриву, так, что говорить не хочется. А взяли нас просто: танки обошли слева и справа, с ними — автоматчики. А мы со своими пушками — без снарядов. Я — артиллерист, подносчиком был. Когда на тебя танк прёт, а у тебя только винтовка в руках, что делать? Под танк ложиться, чтобы брюхом его остановить, или «хенде хох»? Кто не сдался, тот там теперь и лежит. А раненых, кто на ногах не держался, пристреливали или давили гусеницами.

Иван представил эту жуткую картину.

— Что ж они, звери, раненых, разве так дозволено?

Отец Ивана три года — с четырнадцатого по семнадцатый, до Октябрьской революции, — кормил вшей в окопах, всего натерпелся и навидался, но о том, чтобы убивали пленных, не говорил, не слышал такого.

— Им всё дозволено. Нелюди! Не дай Бог всё это видеть!

Льёт дождь, в темноте ворочаются, ругаясь, усталые пленники, время от времени вспыхивают прожектора, ощупывая лучами заграждение лагеря, — там, под крышами вышек люди в серой форме озабочены тем, чтобы удержать совершенно незнакомых им людей, которые ничем ни перед кем не провинились, в холоде и слякоти, как диких и опасных животных.

— Почему снарядов не было? Не подвезли?

— Долго рассказывать. Какой-то гад нашим лошадям копыта подрезал. Ты видел когда-нибудь, как лошадь плачет? Нет? Слеза, как горошина...

Голос Семёна дрогнул, он замолчал. Иван пытался в темноте разглядеть лицо собеседника, но тщетно, только раз, когда луч прожектора скользнул поблизости, на мгновение высветилось скуластое лицо Семёна. Несмотря на то, что лицо Семёна грязное, Ивану оно показалось совсем молодым. По густому басу Иван ожидал увидеть перед собой пожилого мужчину.

— Вы в каком месте границы были? — спросил Иван.

— На какой границе?! От нас до границы двести, может, триста вёрст было. Что война началась — это, понятное дело, узнали сразу. Ну, в тот же день. А вот то, что они прорвались и далеко продвинулись, мы не знали. Связь по телефону, а диверсанты столбы поспиливали, провода порезали. Кажется, на третий день дали нам команду выдвигаться вперёд. Пока суть да дело, немцы под носом. Мы пушки на себе за несколько километров катили, развернули на позиции — с помощью пехоты, конечно, снаряды на горбу доставляли. Тоже и снаряды пехота помогала, но у них своя задача. А много ли притащишь, когда сверху тебя пулемёты поливают? Где наши самолёты? А-а?! — Семён, выругался матом. — Вас как в плен взяли?

— Сдали нас.

— Это как? Кто сдал?

— Командиров ночью убрали втихую, а нас утром под немецкие автоматы выстроили. Гауптмана видел? Вот он. Писарем в полку был.

— Немцем оказался? Чёрт! Я думал, что про немецких шпионов для острастки говорят, чтобы бдительность не теряли, думал, дурь это, за одного шпиона сколько невинных могло пострадать, а оно вон как! Да ведь и лошадей наших попортили, наверное, из таких вот, а?

Иван промолчал. Дядю Василия взяли в тридцать восьмом году. Приехал в деревню журналист, чтобы написать заметку о тружениках колхоза имени Жданова, которые не только план по хлебозаготовкам досрочно выполнили, но и сдали сверх плана три тысячи пудов. Праздник был в деревне: уборочную закончили, трудовни подсчитали, выдавали

зерно на трудодни, загружали сельчане мешки на подводы, везли в свои сусеки и амбары. Тут, у колхозных амбаров, толпился народ, стар и млад — разговоры, шутки, смех. Дядя Василий был затейник ещё тот: частушку озорную мог спеть, анекдот рассказать, поддеть соседа или соседку перчёным присловьем. Вот журналист к нему и пристроился со своим блокнотиком. В сторону увёл, что-то записал, водочкой обещал угостить, спросил:

— А про жидов анекдоты знаешь?

— Ни, — дядя Василий знал, что за анекдот про евреев можно в кутузку угодить, и ещё дальше, а журналистик кудрявый этот — кто? — Евреев у нас нема.

— И что, никогда и не было? — поразился журналист.

— Був одын.

И дядя Василий рассказал, как через деревню проходили колчаковцы, а с ними были пленные, которые за большевиков. Одного такого пленного на берегу речки казаки казнили. Казачий сотник, приговаривая: «Я козак, а ты жид, недолго будешь жить!», зарубил шашкой несчастного, и тот упал под обрыв.

— А бильше жидив у нас нэ було, — так закончил свой рассказ дядя Василий. И не удержался, добавил: — Мабуть, не зря кажут: «Дэ хохол пройшов, там еврею робыць нічэго».

В районной газетке журналист написал про успехи колхоза имени Жданова, в конце заметки посетовал, что есть среди колхозников и антисоветский элемент, как, например Василий Ященко, он и антисемит к тому же. Через два дня дядю Василия забрали. «Без права переписки» — такое решение к сроку заключения больше всего тогда поразило Ивана, да и не только его. И, действительно, писем от дяди Василия не было, и куда послать ему письмо Яков, отец Ивана, старший брат Василия, не знал.

Наверное, из-за того, что дядя был осуждён, не со своим годом призвали в армию племянника «врага народа». Возможно, что в суде дяде Василию и шпионаж в пользу немцев навесили. «Любил петь мой дядя, — хотелось сказать Ивану, — по деревне, бывало, шёл и пел». Но ничего не сказал Семёну Иван, а только посоветовал перебраться в другое место.

— Чего вы возле сортира устроились? Есть место, где не воняет.

Каспарайтис доложил гауптману о «саботажнике». Среди пленных уже было несколько человек, которые болели в лёжку и работать не могли, что был понятно даже неосведомлённому в медицине человеку. А тут ещё прибавились раненые, которые оказались среди новых пленников. «Дармоеды»! Утром на поверке гауптман появился перед строем, как всегда со своим хлыстом, прошёл туда-сюда, сказал Каспарайтису, кивнув на стоявшего на одной ноге Бартева:

— Этого ко мне!

Михаил понял, что ближайшее будущее не предвещает ему ничего хорошего. Но того, что случилось чуть позже, он никак не мог ожидать.

Лагерники вышли на работу. Михаил, стараясь легче ступать на порубленную босую ногу, последовал за фельдфебелем в небольшую будку, построенную у ворот. Оттуда, распахнув дверь, шагнул немец с автоматом, пропуская пленного в тесное помещение. Гауптман сидел за дощатым столом, спросил, едва Михаил переступил через порожек:

— Откуда ты знаешь немецкий язык?

От неожиданности Михаил качнулся, опёрся на больную ногу и чуть не упал. По лицу эсэсовца скользнула тень улыбки: первый же «выстрел» попал в цель. Михаил на несколько мгновений потерял дар речи: «Как он узнал?!» Ему было невдомёк, что от внимания бывшего писаря-шпиона не ускользнули те моменты, когда вблизи этого русского разговаривали немцы, солдат напрягался и замирал, очевидно, вслушивался в то, что говорили.

— Ну, отвечай! Ты завербован контрразведкой? Настоящая фамилия? — второй «выстрел».

— Н-нет, — пробормотал Михаил, окончательно растерявшись, — нет. Я... Это... Папа мой — немец. Бартель. Я плохо понимаю, я...

— Папа немец, а ты плохо понимаешь? Это почему?

— Меня не учили, — Михаил начал приходить в себя, сознавая, что врать и изворачиваться поздно, решил говорить правду, поскольку правда уже выплыла наружу и ничего больше изменить не могла. — Специально отец не учил, а наши немцы, ну, которые жили в России давно, не первое поколение, говорят по-другому.

Гауптман слушал, не перебивая. Солдат не врёт. Когда-то, после окончания Первой мировой войны, он, Павел Кляйн, вместе с отцом, матерью и сёстрами выехал из России в Германию. Было ему тогда шестнадцать лет, и он тогда почувствовал разницу в языке «русских» немцев и немцев «настоящих». Два года упорных занятий привели к тому, что он со своим немецким перестал выделяться среди местных жителей, и спустя ещё три года смог поступить и в университет, где и был, уже на первом курсе, завербован полицией. Через два года, не дожидаясь, когда Пауль Кляйн станет полноценным инженером-радиотехником, его переправили обратно в Россию, по новым документам. Шёл тысяча двадцать шестой год, Гитлер уже сформировал свою полувоенную организацию. Пауль тоже хотел вступить в эсэс, но туда брали высоких, отборных парней...

— Мама кто?

— Библиотекарь, — Михаил уже владел собой и ожидал вопрос о матери, но чуть слукавил, догадываясь, что гауптмана интересует её национальность. Благодаря тому, что в библиотеке была масса самой неожиданной литературы, в том числе и на немецком, Михаил знал много чего, что было недоступно его сокурсникам по историческому факультету.

— Я спрашиваю, кто она по национальности?

— Мама немка, — не задумываясь, соврал Михаил.

Гауптман молчал, будто углубился в свои размышления. Он невольно вспомнил тот год, те исключительно прекрасные документы, которые вручили ему. Пауль сперва опешил, когда увидел в них себя из того же посёлка, где они жили семьёй до войны, более того, он знал того мальчишку из русской семьи, чей домишко располагался неподалёку от их дома и чьё имя ему предлагали взять. «Владимир Пехов? — изумился тогда Пауль. — Особисты проверят и сразу обнаружат подмену. И, я помню, он младше меня на три года». «А ты посмотри его фотографию в двадцатилетнем возрасте, — был совет, — копия. И нам точно известно, что вся семья его погибла, а недавно и он...» В СССР новоявленный Владимир Пехов, при первой же возможности, поехал на свою родину, прошёлся по посёлку, который внешне мало изменился, но знакомых людей почти не было. Его не узнавали. Он сам нашёл старика, который знал Пеховых, поговорил с ним, и когда убедился, что старик скорее признает его за бывшего шкодного пацана Вовку, чем за Пашку Кляйна, немчурёнка, то и выдал себя старику за Пехова. Старик не преминул припомнить лже-Владимиру, как тот однажды попался ему в огороде.

Этот визит на родину и эта деталь сослужили Паулю добрую службу, когда спустя несколько лет начались поиски немецких шпионов...

— Будешь служить Рейху, — сказал гауптман.

Бартев молчал, не выказав ни согласия, ни возражения.

«Колеблется. Ведь трусоват, пожалуй, солдат», — подумалось гауптману, и он решил тут же проверить догадку.

— Впрочем, — гауптман выдержал паузу, сделал суровое выражение лица, — велю тебя расстрелять! Ты — чекист. Настоящий немец должен был докладывать мне, офицеру Рейха, обо всём, что происходит среди пленных.

Михаил промолчал и на этот раз, догадываясь, что гауптман ведёт какую-то игру с ним. Но кто его знает? Уже была возможность убедиться не раз, что убить пленного, немцам, что муху прихлопнуть.

— Я могу подумать? — попытался ещё оттянуть неизбежное пленный.

— Можешь, пока я достаю пистолет, — гауптман сделал движение рукой к кобуре.

— Чё докладывать-то? — буркнул Михаил.

— Мы, немцы, умный народ, и не задаём глупых вопросов! Пшёл вон!

Едва Бартев дохромал до своего места в лагере, явился автоматчик:

— Ком! — сопровождал движением ствола автомата, куда следовало идти.

Оказалось, на кухню. Каспарайтис был там.

— Хватит запотажа! Работать на кухня! Дроф.

Теперь Бартеву предстояло чистить котлы, готовить дрова на кухне, взамен одного из пленных, помогавших поварам, — того отправили на заготовку леса. Михаил понял, что теперь ему придётся распрощаться с надеждой вернуться к друзьям — работать здесь придётся ночью, чтобы ранним утром котлы были на огне. Да и поразмыслив, он решил, что вряд ли ему стоит быть с Иваном, Дзагоевым и остальными друзьями: копать подземный ход он не сможет, и бежать из лагеря — тоже. В случае, если беглецов поймают, он может отговориться, что не знал о подготовке побега.

За пределами лагеря, рядом с палатками немцев, пленные построили большой дом, в котором теперь расположились охранники. Там вечерами кто-то играл на губной гармошке, пели песни, слышался смех... Отдельный домик выстроили для начальника лагеря и его охранников. И эти строения надёжно обнесли колючей проволокой. Гауптман держал дистанцию с подчинёнными, и в ночных оргиях, которые устраивали с пленными женщинами похотливые солдаты, не участвовал.

Михаилу Бартеву, наряду с некоторыми другими пленными, вменили в обязанность делать уборку помещения гауптмана. Это позволяло эсэсовцу выслушать Михаила наедине, не вызывая подозрений у пленных, что Бартев на службе у немцев. Ничего интересного для гауптмана он пока не сообщил, хотя, находясь возле кухни, мог слышать многие разговоры пленников.

Однажды на кухне случилось чрезвычайное происшествие. Один из красноармейцев, раненый, с повязкой на руке, принимая утренний паёк, возмутился:

— Вы чем нас кормите? Эту дрянь свиньи жрать не станут!

И понёс поваров и всю лагерную охрану «по кочкам».

Явился фельдфебель в сопровождении своего телохранителя и капо, нескольких бывших советских солдат, теперь служивших немцам. У них «на вооружении» были дубинки. Пленники напряжённо замерли, ожидая расправы.

— Вы почему не соблюдаете конвенцию о пленных? — кричал теперь уже на Каспарайтиса солдат. — Почему заставляете работать? Почему кормите помоями?! Почему держите под дождём? Почему...

Каспарайтис, протянувший было руку к кобуре, посмотрел на сопровождавшего его охранника, приказал ему позвать начальника лагеря. Сам он всё-таки распорядиться жизнью пленных не смел, хотя жестокое, вплоть до убийства, отношение к пленным поощрялось. Гауптман появился через минуту, словно бы он знал заранее о том, что может случиться у кухни, и находился поблизости. За ним стояла целая группа вооружённых немцев. На лагерное поле с вышек направлены стволы пулемётов.

Михаил с ужасом думал, что сейчас начнётся расправа и пострадает не только знаток международного права, а и все, кто находится рядом. Но гауптман, выслушав спокойно всё, что вновь повторил пленный, сказал, обращаясь не столько к возмутителю спокойствия, сколько к остальной массе пленных:

— Вы, господин грамотей, кричите о праве пленных на что? Хорошо кушать и не работать? Но если вы знаете, что существует Гагская конвенция, то должны знать, что СССР не подписал её, следовательно, у вас нет никакого права апеллировать к её положениям. Ваши еврейские правители и ваш Сталин оставили вас без защиты. Вы для них — никто. Вы знаете, что в своей стране считаетесь предателями? И должны быть благодарны фюреру, что у вас есть работа и пища.

— Вот придут наши, они вам покажут! — не унимался пленный.

Гауптман проявил удивительное спокойствие. Сказал вполне благодушно:

— Ваши уже никогда не придут. Сегодня войска фюрера возьмут Киев, завтра — Ленинград, бомбы уже падают на Ленинград, а там очередь за Москвой.

— Наполеон побывал в Москве, и что стало потом?!

— С Наполеоном Россия воевала два года и не одна, а наша доблестная армия разбила французов за сорок дней.

Гауптман сделал знак повару, подзывая его к себе. Тот подошёл, вытянулся по стойке «Смирно».

— Ты заслуживаешь, чтобы тебя повесили, — продолжил свою речь эсэсовец, глядя в упор на красноармейца, — но я велю накормить тебя из котла, в котором готовят для тех, кто согласился служить Германии. Слышал? Выполняй!

На очередном построении незнакомый немецкий офицер с помощью подручных отобрал большую партию пленных, их построили и увели под конвоем из лагеря. Куда?

Однако это обстоятельство оказалось благоприятным для Ивана и его товарищей. На освободившиеся места ушли Семён и те пленные, что прибыли с ним, подальше от сортира. Ночью удалось, наконец, продолжить копать подземный ход.

Далеко за полночь они были, по расчётам, где-то в районе выхода за колючую проволоку. Лунный серп опустился почти до горизонта; то появляясь, то ныряя в небольшие облака, он на короткое время освещал окрестности, затем погружал их во тьму. И тут случилось непредвиденное: у сортира появился их бывший взводный — старший сержант Путник. Он сказал без обиняков сидевшему над «очком» Воронову:

— Ну-ка, помоги мне спуститься в ваше подземелье...

Воронов опешил. Надёрнув галифе, помог поднять щит и показал, где ступеньки. Ослушаться своего командира ему и в голову не пришло. Только понять не мог: «Как он узнал?!»

Тут как раз из лаза показался вперёд спиной Иван, выносивший очередную порцию земли.

— Ти-хо, — предупредил его шёпотом старший сержант, — свой.

Иван повернулся, аккуратно высыпал землю под ноги неожиданному свидетелю, выпрямился и... узнал своего командира. Ни слова не говоря, полез обратно, Путник — за ним. Тут, под землёй, они могли разговаривать, не опасаясь, что привлекут внимание часовых на вышке.

— Так я и думал, — сказал негромко комвзвода, — гоните прямо, а надо немного взять вправо, а то наткнётесь на стену погреба. Сбрыкаешь лопатой по брёвнам — тут всем и крышка.

— Ага, — Иван сразу понял, почему старший сержант предположил, что впереди может оказаться стенка погреба, — я ещё думал: что там за возвышение небольшое? А не допёр. Что тут когда-то было жильё, я сообразил сразу, когда увидел крапиву, лебеду и лопухи. А ты как узнал, что мы тут?

— Просто, увидел, что вы слишком дружно и рано начинаете бегать в туалет. Вот и понял: неспроста. Ну и проследил потом.

Иван присыпал лопату и вещмешок землёй, и они выбрались с помощью Воронова на поверхность. Приближался рассвет.

Вечером у кухни Иван сумел переговорить с Бартевым.

— Что там за сабантуй устроили фрицы сегодня? Знаешь?

Михаил был в домике гауптмана, докладывал — ничего существенного, а затем мыл полы и чистил ковры, когда там появился очередной гость эсэсовца. Оказалось, знакомый Пауля Кляйна ещё по университету, до отправки его со шпионской миссией в СССР. Майор медицинской службы привёз в подарок другу ящик французского вина и... небольшую группу девушек-невольниц с оккупированной территории. Девушек на время разместили в отдельной палатке, а старые товарищи устроили дегустацию вина и, не смущаясь присутствия в домике «русского немца», обсуждали деликатную тему.

— Наши фрау едут обслуживать бойцов на фронте, а к нам в лагерь лишь третий сорт, — пожаловался гауптман.

— Как? — удивился майор. — Ты недоволен славянками? Уж тебе ли не знать, каковы русские барышни?

— Я тут как евнух — боюсь заразы. Но, надеюсь, ты проверил этих, что привёз с собой? Мне понравилась беленькая, малышка, могу не опасаться?

— Пауль! Я думал, что ты Россию знаешь лучше меня! Мы обследовали немало русских деревень на предмет здоровья населения. Ты, вероятно, слышал, что мы отбираем детей для отправки в Рейх, с целью улучшения будущих ариев. Набираем молодых людей для работы на наших заводах, для работы в деревнях. Отправляем, естественно, только здоровых. И я столкнулся с поразительным фактом, который изложил в докладе самому фюреру! У русских детей в деревне, у всех детей, целые зубы! Нет кариеса! Как это возможно? А все незамужние девушки — девственницы! Невероятно! Так что отправь команду в любую деревню, привези незамужних — и пользуйся без опаски!

— Ну, я в деревне почти не жил, — сказал Кляйн, — знаю, что у русских принято ворота дёгтем мазать — у той девушки, что даёт до замужества, но чтобы так...

О том, что была у него в Воронеже знакомая, почти жена, как она думала, ничего не сказал товарищу. Кляйн считал её глупой, да к тому же дурнушкой, заезжал редко, когда бывал в городе по делам.

Паулю вдруг открылось то, что он должен был понять давно: его неудачи на любовном фронте были не только от его неказистого роста и непривлекательной внешности, но и от вбитой в головы русских женщин и девушек морали: не грешить.

— Как Париж?

— О-о, Париж! — майор поднял руки, словно держал нечто восхитительное перед собой. — Какой город, какие женщины! Французы — культурная нация, они понимают, что проиграли войну и что надо уважать победителей.

Выпили за культурную нацию и за благословенный Париж.

— Что делает здесь этот русский? — удивился майор, увидев выходящего со свёрнутым ковром из соседней комнаты Бартева.

— Немец из России, — отмахнулся Кляйн, — готовлю свои кадры. После Советов будет ещё Индия.

— О-о! — понимающе посмотрел вслед Михаилу майор. — Да у тебя, Пауль, амбиции. А что? Наполеон был невелик ростом...

— «Благородный волк» тоже не богатырь, а велик!

— О, да! Адольф — это символично! Выпьем за фюрера! Хайль!

Приятели были уже изрядно навеселе. А потом в домик к гауптману привели двух невольниц, одна из них, лет шестнадцати, была та самая беленькая малышка, которая понравилась Кляйну.

Это в двух словах сообщил Михаил Ивану. И вдруг добавил шёпотом:

— Уходите скорей! Меня гауптман заставляет докладывать ему обо всём, что творится в лагере.

— Ты ещё не сдал нас?

— Нет.

Очередной дождь превратил вытоптанное тысячами ног лагерное поле в земляное месиво. Спать пленные вынуждены были в грязи. Ещё после первого дождя многие простудились, кашляли и температурили, у нескольких человек было воспаление лёгких, и они скончались, не получив необходимых лекарств. Теперь больных прибавилось, за ограждением лагеря, буквально в двадцати шагах, появилось кладбище, небольшие отдельные холмики земли первых покойников как дань мирной жизни отошли в прошлое. По приказу гауптмана пленные вырыли длинную глубокую траншею, в которую и сбрасывали очередной труп, слегка присыпали его землёй — вот и вся похоронная процедура.

Ход под землёй, как и посоветовал Путник, который и сам теперь принимал участие в подкопе, повернули вправо, высоту прохода убавили, чтобы не провалилась ненароком земля под ногами немцев, следующих по тропе на вышку и обратно. Ещё две ночи с

большими предосторожностями пробивали нору, продвинулись за тропу, протоптанную часовыми, метров на семь, где начинался кустарник; можно было делать выход на поверхность. Но работа в лесу днём и ночные вахты так вымотали всех, что старший сержант — теперь к нему перешла роль руководителя вместо Ивана — сказал, что перед побегом надо немного отдохнуть, дня два-три. Нехотя согласились все, хотя боялись, как бы задержка не вышла «боком» — в очередной раз в лагере заезжие немцы набрали группу пленных и увели.

Иван не мог заснуть, хотя был измучен не меньше остальных товарищей, которые храпели, несмотря на сырость и прохладу ночи. Он поднялся, подошёл к Путнику. Тот уже тоже спал, но чутко, и мгновенно проснулся.

— Ты чего?

— Слушай, старшой, надо уходить сейчас. Мишка, который под каблуком у Шибздика, сказал мне, что тот заставляет его докладывать обо всём, что делается в лагере.

— Сдаст?!

— Ну, не сдаст, а проговориться может. Тот, сволочь, очень догадливый, вдруг заподозрит что и «расколет» Бартева. Мне кажется, что Миша жидковат, если нажмут, не выдержит.

— Когда сказал?

— На раздаче. Просил уходить скорее.

— Так, — Путник поднялся. — У меня была мысль сообщить как можно большему числу наших, что можно уйти. Но, похоже, нашёлся бы тот, кто предал бы. Ты прав. Потихоньку буди остальных и по одному...

В подземный ход перебрались незамеченными. Иван остался сидеть на «очке», чтобы отслеживать смену часовых на вышке. Старший сержант сделал лопаткой выход на поверхность примерно за полчаса. Но выждали некоторое время, пока прошла первая смена часовых. Вылезли поочерёдно за Путником, Иван замыкал шестёрку беглецов. С большими предосторожностями отползли от лагеря метров на полсотни и готовы были уже подняться и в нетерпении бежать подальше от места заключения, когда из-за облаков выкатилась почти полная луна и осветила все открытые места. Путник предупреждающе поднял кулак и пополз дальше, выбирая затенённые участки леса. Когда стало ясно, что удалось выбраться незамеченными часовыми, старший сержант поднялся, дождался, когда все сгрудятся возле него, сказал негромко:

— За мной шаг в шаг, чтобы не наступить на сучок, не нашуметь — ночью далеко слышно, собаки... А луна нам теперь в помощь.

И направился в сторону лесосеки, теперь уже выбирая светлые места меж деревьев. Надеялся, что утром выведут на просеку лесорубов и они затопчут всё, собаки на время потеряют след.

Старший сержант шёл, всё ускоряясь, не оглядываясь, зная, что его товарищи способны выдержать быстрый темп.

Когда строили укрепления по границе, то после работы возвращались в расположение полка бегом. Все десять километров. Так распорядился командир роты Бодров. Он сам бежал впереди, легко, словно его несло ветром, а за ним, тяжело топая ботинками, рота. Первую неделю бойцы роптали, некоторые отставали и даже падали в изнеможении, ругая втихую командира. Но он не отступал от заведённого правила, заставлял тех, кто выносили-вее, помогать слабым и вскоре добился, что вся рота являлась к ужину полным составом.

Несмотря на тяжёлую работу в лагере и плохую пищу, Иван и его товарищи всё ещё сохранили запас наработанной за три месяца выносливости, попевали за Путником. Часа через полтора старший сержант, выйдя на поляну, ярко освещённую луной, остановился. Остановились и бойцы, взмыленные гонкой.

— Перекур, — объявил Путник, — и военный совет.

Сели на землю. Куращих среди беглецов не было.

Дзагоев снял правый ботинок и вытащил из него стельку. Все с удивлением посмотре-

ли на него. Вслед за стелькой Дзагоев вытащил из ботинка... нож! Нож был без рукояти, лезвие, сточенное на клин, — такими пользуются сапожники при работе с обувью.

— Хм! — Путник удивился: — А я-то всегда думал, что у тебя за походка такая, будто с ногой что. И зачем? Ведь ты ещё до немцев нож спрятал?

— Папа научила, — сказал боец.

— Не научила, а научил, пора бы запомнить, — поправил его Воронов.

— Папа делаэт туфля. Всякий ботинка. Дарил мнэ ножик, — Дзагоев потрогал пальцем лезвие. — Надо был рэзать охранник. Шибздик рэзать.

— Да, не мешало бы пустить ему кровавую юшку, — поддержал Дубов.

Дзагоев стащил с плеча свой вещмешок, развязал его и с хитрой улыбкой вытащил из него... банку! Лунный свет отразился на металле.

— Тушёнка? — ахнул Василь.

— Не может быть!

— Где взял?

Дзагоев ножом вспорол банку:

— Охраника брал.

— Как это? Тебе немец дал тушёнку?!

— Я сама брал. Он кушал, я крался и брал. Он на другой немца думал. Камандыр, давай всэм, — Дзагоев протянул банку Путнику.

— Сухарики-то накопили? — спросил старший сержант.

Он извлёк из-за голенища сапога ложку и, зачерпывая мясо равными долями, раздал пищу в ладони товарищам. Они достали из своих тощих вещмешков по сухарику немецкого эрзац-хлеба, сэкономленного в минувшие дни, и захрустели, смакуя неожиданный мясной дар.

— Ну-ка, Виссарион, дай ножик, — сказал старший сержант.

Дзагоев протянул старшему свой нож. Тот быстрым движением, глядя себе на грудь, отпорол с гимнастёрки лагерный номер.

— О-о! — восторженно выдохнули беглецы. — Давай нам!

Несколько минут спустя с неистовым наслаждением тряпицы с номерами были втопнаны в землю каблукками ботинок.

— Ну что, друзья, — сказал Путник, — надо посоветоваться, как быть дальше. Мне кажется, надо разбежаться в разные стороны, чтобы хоть кому-то удалось уйти от погони.

Бойцы уставились на старшего сержанта в недоумении. Им казалось, что теперь, когда они углубились далеко в лес, их днём с огнём не найдут. Погоня? Командир думает, что надо бежать каждому в свою сторону?!

— Было бы оружие, — продолжал рассуждать Путник, — организовали бы небольшой отряд, отбились бы от преследователей...

— Я пойду на восток, — сказал Иван, — а там будь что будет.

— Я с Иваном, — буркнул Василь, — мы с одной деревни.

— Я с Ваня ходыт, — подтвердил Дзагоев.

— Вместе. Погибать, так с товарищами, — поддержал их Дубов.

Воронов ничего не сказал, только кивнул головой.

Путник поднял взгляд к небу: луна скатилась ниже верхушек деревьев, а на востоке, куда стремились бойцы, небо уже слегка порозовело.

— Ладно, — сказал он, поднимаясь, — будь по-вашему.

И зашагал в сторону алеющего неба. Вскоре под ногами у них оказалась заросшая травой извилистая лесная дорога. Она шла к северо-востоку, немного на подъём. Путник свернул на неё. Примерно через час, когда солнце высветилось в полную силу, лесная дорога вышла к довольно хорошей грунтовой, идущей с запада на восток.

— Стой! — Путник поднял руку. — Ложись! Не высовываться и глядеть в оба!

Бойцы выполнили команду, залегли у края дороги под прикрытием высокой травы и кустов.

И спустя некоторое время Василь выдохнул:

— Есть!

— Где?

— Бачь: ось там, на перегибе, фриц с биноклем за кустами. Сверкает. И шось чернеет, вроде как мотоцикл.

— Так я и думал, — сказал старший сержант, — что дорогу могут взять под наблюдение. Но быстро же они, сволочи, обнаружили побег. Отходим назад.

Отползли, поднялись, пригибаясь, прячась за деревьями, двинулись вдоль дороги по склону вниз. Опять на восток. В ложбине ручей. Жадно пили холодную воду, где-то неподалёку, очевидно, был родник.

— Ладно, — сказал, остановившись, Путник, — надо подумать.

— Я предлагаю пойти по ручью, — сказал Иван, — возможно, попадём в болото. Там, если с собаками будут искать, собаки след потеряют.

Бойцы посмотрели на старшего сержанта: что он скажет?

— Выбор у нас небогатый, — сказал старший сержант, — возле дороги нас быстро обнаружат, особенно если деревня какая-нибудь недалеко. Будем уходить в лес. Ну, в болото, — согласно кивнул Ивану.

Ручеёк то исчезал в траве, то вновь обнаруживал себя, уже более широким и с небольшими берегами. И точно, привёл в ложбину, в которой кочарник с обильной осокой означал высохшее за лето болото. Кое-где между кочек была затхлая вода. Прошлись по ней, перебрались на другой склон, и тут, в густом кустарнике, было решено сделать привал. Двигаться днём казалось опасным.

— Будем дежурить по очереди, — распорядился Путник, — спите, я первый, Яценко — второй, потом — Дубов.

Выспались и хорошо бы отдохнули, если бы не голод. По сухарику с водичкой, конечно, было у каждого, но что это за подпитка для молодых здоровых парней!

Солнце клонилось к западу, готовились уже потихоньку двинуться дальше, как вдруг издали донёсся стрёкот сороки. А затем едва слышимый лай собак, показалось, что с той стороны, куда беглецы собирались идти.

— Вот, — сказал с горечью Путник, — этого я и боялся. Давайте назад, врассыпную, и пусть каждому повезёт.

Бойцы замешкались, и тогда старший сержант приказал жёстко:

— Выполнять команду!

— А ты, старшой? — спросил, двинувшись было, Иван.

— Быстро, быстро! Уходи дальше!

Остальные уже скрылись за деревьями.

— Храни тебя Бог! — вдруг вырвалось у Ивана. Так иногда говорила его мать.

Он повернулся и побежал в сторону болота, надеясь, что там, хоть как-то, уничтожатся его следы, а густая трава осока укроет его, если ему не удастся уйти дальше. Откуда ему было знать, что вода сохраняет запахи ничуть не хуже, чем почва.

Он был уже на открытом пространстве, близ кочек, когда увидел в полсотне шагов от себя слева Дзгоева. А с той стороны, где была дорога, вдруг на них ринулись две овчарки, и ещё две, следом за ними спешили автоматчики. Бежать поздно. От первой овчарки Иван почти увернулся, когда она с ходу прыгнула на него. Но вторая в этот момент ударила грудью ему в спину, вцепилась зубами в заплечный мешок. Мелькнула нелепая обида: «Убьют, зря не съел последний сухарь». Понимая, что собаки порвут его, если он будет на ногах, Иван рванулся в сторону и упал между кочек, закрыв локтем горло, а пах прижал к кочке. Подоспевший немец ударил его ногой в бедро, следующий удар норовил нанести в лицо. Иван увидел перед собой ботинок, в подошву которого была вшита стальная пластина. Она немного выступала вперёд от носка. Такие ботинки он видел у некоторых охранников, когда работал на просеке. Сперва не понимал, для чего такая обувь, а потом дошло: в рукопашном бою ударом по голени можно было сломать ногу противнику. И вот теперь это холодное оружие нацелено ему в голову. От первого удара он сумел заслониться рукой, но в это время другой фашист, подоспевший на помощь, ударил его в затылок.

Иван потерял сознание и не чувствовал уже, как его били ногами по всему телу и как рвали его бока, спину и бёдра собаки.

Дзгоев прыгнувшую к его горлу овчарку встретил достойно: выставил левую руку, в которую она вцепилась мощными челюстями, а правой, в которой был сапожный нож, молниеносным движением чиркнул собаке по горлу. Челюсти разжались не сразу. Набравший со второй собакой фашист, увидев, что русский вооружён, поднял автомат и ударил очередью по ногам Дзгоева. Но тот уже успел сделать замах и метнул нож. Целил в горло, но очередь по его ногам пришлось мгновением раньше, и лезвие воткнулось немцу не в горло, а ниже и правее, под ключицу. Падая, Дзгоев увидел, как от изумления и боли искажилось лицо немца. Дальше — тьма.

Очнулся Иван лишь в кузове грузовика. Все беглецы, грязные, в изорванной кровавой одежде, лежали тут же. Не было только старшего сержанта. В лагере их выбросили из машины на землю, так, словно это были мешки — на показ остальным пленным и в назидание.

— Ну, — сказал гауптман, — докладывай!

Михаил переступил с ноги на ногу:

— Честное слово, я ничего не знал!

— Твои друзья роют проход, а ты ничего не знал? «Честное слово»! А? К нам прибыли хорошие специалисты по развязыванию языков. Они объяснят тебе, что такое честь немца. А потом я прикажу повесить тебя вместе с беглецами. Ты понял?

— Я-я... понял. Но они мне не доверяли никогда. Я не знаю почему. Даже когда в полку... до плена. Клянусь вам!

Бартев уже сам верил в то, что говорил, — так хотелось ему жить. Жить, жить!

— Ладно, — решил гауптман, — даю тебе ещё время на размышление. Пшёл вон!

Испуг пленного, истовость его раскаяния и вера в свою непричастность к побегу пленных несколько поколебали убеждение эсэсовца. Или же он решил использовать Бартева в своих, пока неясных пленнику целях. Михаил этого не понял, но небольшую отсрочку от жестокого наказания он получил. На трясущихся ногах, всё ещё прихрамывая, явился на кухню.

Пауль Кляйн не стал вершить суд и наказание глядя на ночь, отложил дело до утра.

Избитые до полусмерти Иван, Василь, Влас и Фёдор лежали некоторое время там, где их сбросили с машины, вблизи от ворот лагеря. Потом, помогая друг другу, перебрались на своё место, где провели все предыдущие дни плена. Дзгоев остался лежать на том же месте, он был без сознания.

Старшего сержанта не было ни живого, ни мёртвого, и, судя по тому, что несколько мотоциклистов с собаками в люльках вновь отправились на поиски, ему удалось уйти. Пока.

Голова у Ивана кружилась, затылок, куда пришёлся удар кованым носком фашистского ботинка, разламывался от боли, искусанные собаками бока и ноги страдали не меньше. Он повалился на землю и так, в полузабытье, пребывал до утра.

Утром лагерников построили, и они могли видеть поставленную за ночь у ворот виселицу. В нижней части перекладины были ввинчены четыре крюка.

Беглецы в строй не встали, не могли. Дзгоева Иван увидел рядом с собой. Это доктору разрешили ночью убрать полутруп подальше от ворот. Дзгоев пришёл в сознание и, увидев товарищей по несчастью, вдруг улыбнулся и сказал с придыханием:

— Вано, будэш живой, схады на Капказ... скажи всём, что Висарион адэн нэмца... чуть нэ зарэзал.

Придерживая рукой полыхающий жаром затылок, Иван посмотрел туда, где стояла виселица. Четыре крюка — это, очевидно, для них, для четверых, которых можно поставить под петли. Но ничего Дзгоеву не сказал, согласно прикрыл глаза, слегка склонив голову, — пообещал выполнить наказ.

И утром казнь почему-то не состоялась. Как обычно после подъёма, туалета и завтрака

пленных распределили на работы. Кроме заготовки брёвен в лесу и в лагере было полно дел: строили бараки для заключённых; а небольшой барак для больных и медперсонала уже был наполнен ранеными и больными. Кроме Петра Николаевича, полкового доктора, и трёх медбратьев, в этот барак, в отведённый специально отсек, являлись в сопровождении охранников и немецкие «доктора». К ним в «кабинет» поочерёдно заносили раненых. Что с ними делали немецкие «лекари», узнать было невозможно. Из «кабинета» потом раненых выносили и увозили в неизвестном направлении.

Все пятеро беглецов оставались на поле, где ночевали, и это было странно.

Между тем под виселицей соорудили небольшой помост, три ступеньки лестницы вели на его площадку. Ещё некоторое время спустя на помосте появился высокий табурет. Кто-то по приказу сделал его за ночь. Но только один. «По одному будут вешать?» Иван видел все приготовления издали, иногда пытался приподняться, но сразу же начиналось головокружение, слабость и тошнота.

Вечером, когда вернулись из леса лесорубы и было приказано отставить работы на постройке бараков, лагерников построили фронтом к виселице.

К Дзгоеву, который то терял сознание, то приходил в себя, подошли два доктора-немца, осмотрели его, довольно бесцеремонно ворочая, берясь за простреленную левую руку, потом сделали укол в правую — приговорённый не должен был умереть раньше казни — и ушли. Виссарион почувствовал себя лучше и уже не отключался.

И тут Иван увидел нечто невероятное: к Дзгоеву подошли бывшие красноармейцы, прислуживавшие до этого немцам, с белыми повязками на рукавах гимнастёрок. Один только был в немецкой чёрной форме. Им оказался... Миша Бартев!

Полчаса назад Бартев вновь предстал перед гауптманом. Тот выглядел вполне добродушным, сказал:

— Ну, пришла пора тебе показать, что ты действительно немец, — и, кивнув на стул, приказал: — Одевайся. Вот твоя новая форма.

Михаил оторопел, но взгляд фашиста стал жёстким, и Михаил начал стаскивать с себя затёртую красноармейскую гимнастёрку, а потом и всё остальное, включая обувь.

Когда он закончил смену одежды, гауптман сказал удовлетворённо, впрочем, не скрывая издёвки:

— Тебе предстоит важная миссия. Будешь помогать... будешь выполнять всё, что прикажет тебе шарфюрер.

Тут только Михаил увидел сидевшего слева от двери немца.

— Его зовут Эрнст, — добавил со смешком гауптман.

При этом Эрнст поднялся со стула, слегка склонив голову. Видя, что Бартев не понял его шутки, гауптман пояснил:

— «Эрнст» означает «борец со смертью». Родной язык следует знать лучше, господин Бартель. Шарфюрер — тот самый специалист по развязыванию языков, но сегодня он будет вешать твоего друга, а ты ему поможешь.

Михаил побледнел. На подгибающихся ногах вышел вслед за Эрнстом, «борцом со смертью».

И вот теперь вчерашние красноармейцы, ставшие слугами немцев, перед беглецами. По команде шарфюрера Эрнста они подняли Дзгоева и понесли к виселице, поднялись с ним на помост и остановились в растерянности, не зная, что делать дальше. Перебитые ноги красноармейца никуда не годились. Посадили Дзгоева на табурет. Низко. Принесли ящик, Дзгоева подняли, ящик положили на табурет и вернули приговорённого на место. Порядок.

Рядом с гауптманом появился немец в светло-серой форме. В руках у него лист бумаги. Он посмотрел на Эрнста и его подручных, убедился в их готовности и зачитал приговор. На русском языке, без акцента.

За побег, за порчу германского имущества — убийство собаки, за покушение на жизнь солдата Рейха Дзгоев приговаривался к смертной казни через повешение.

Шарфюрер кивнул Бартелю, и тот, дрожа всем телом, приподнявшись на цыпочки, надел Дзагоеву петлю на шею. Шарфюрер кивнул другому предателю, и тот ударом ноги вышиб табурет из-под Виссариона.

Ивана с товарищами, на удивление, не трогали. О них гауптман будто забыл. Вероятно, он считал, что вид избитых беглецов пугает других пленных и заставит их отказаться от попыток к бегству. Лагерники, выходя на построение, затем на работы, смотрели на них с жалостью и сочувствием, но и невидимой волной по сознанию каждого пленного прошла мысль: «Бежать можно!» Уже весь лагерь догадывался, что старшего сержанта каратели так и не нашли.

Дзагоев провисел в петле сутки. Вечером его сняли и по приказу Каспарайтиса перенесли в сортирную яму, бросили к началу подкопа. Там уже были заложены толловые шашки, которые взорвали, похоронив таким образом труп и завалив прорытый ход.

Раны, нанесённые собачьими зубами, заживали плохо, совсем не заживали, начинали гноиться. Пётр Николаевич, полковой доктор, приходил к избитым беглецам, но помочь им практически не мог, у него даже марганцовка кончилась. Не мог он забрать их и в барак для раненых, начальник лагеря не разрешал.

Через трое суток Каспарайтис сказал Ивану:

— Работа ходиль!

Он увидел, что Иван стал подниматься и даже доплёлся до кухни.

Ивана направили к строителям барака. И он вынужден был, преодолевая боль и слабость, подтаскивать доски, подавать гвозди и даже подниматься на леса, рискуя свалиться с них.

Эта пытка кончилась неожиданно. В одно из утренних построений появилась в эсэсовской форме немка. Галифе, сапоги, португеза с кобурой, в руке ремённый хлыст. Она прошла по-хозяйски вдоль строя и, отмечая хлыстом пленных, набрала команду, человек двадцать.

Иван оказался в этой команде. Их загнали в крытый грузовик, заперли дверь на замок и повезли. Трясло и мотало пленников часа три или четыре — в полутёмном пространстве кузова чувство времени утратилось. В плотно закрытом металлическом кузове спёртый воздух, дышать тяжело, пленники обливались потом. Иван чувствовал себя так, будто его сварили.

Наконец машина остановилась, пленным приказали выйти и построиться. На территории, огороженной высоким забором с колючей проволокой поверху, Иван увидел ряд длинных металлических ангаров, один из которых оказался барак, в котором им причислялись места на нарах. Остальные корпуса были складами для строительных материалов, в основном для пиломатериалов.

И ещё один ангар оказался... баней. Вновь прибывших завели в него и велели раздеваться. Одежду пленники побросали в большой чан, который наглухо закрывался тяжёлой чугунной крышкой. К чану от большой бочки, лежащей на боку, на котором были нарисованы череп и кости, протянулись две трубы. Как оказалось, в закрытый с одеждой чан подавался специальный газ, от которого быстро погибали насекомые. Высокий пожилой немец в гражданской одежде открывал небольшим штурвалом трубу, по которой под давлением поступал газ, а через некоторое время смертельная смесь удалялась по другой трубе.

А пленникам была «баня». Один из местных пленных, «парикмахер», машинкой проходил по головам, обнуляя причёски, — волосы у всех вновь прибывших за время пребывания в лагере уже отросли. Затем в другом конце ангара другой «банщик» поливал из шланга мощной струёй холодной воды, заставляя отошавшие тела ёжиться и вертеться на бетонном полу, пока истязатель не решал, что новичок вполне вымыт и уже не представляет из себя разносчика заразы.

Целыми днями Иван с прибывшими вновь и с теми, кто оказался здесь раньше, сортировал доски или брусья и отправлял их на склад. Иногда работал в складе, размещая материалы на стеллажах.

С каждым днём, несмотря на бескормицу, Иван чувствовал себя всё лучше. Ноющая боль в затылке подутхла, голова не кружилась, слабость отступила.

В этой же команде оказался Семён, с которым когда-то ночью разговаривал Иван. Артиллерист был среднего роста, но широк в кости, и даже несмотря на то, что исхудал, всё ещё выглядел крепким и сильным, пленники относились к нему с невольным уважением. Иван и Семён потянулись друг к другу, старались работать в паре, чему не стал мешать и Хаврин, бугор — назначенный немцами старший, нечто вроде прораба. Бугор был из уголовников, отсидел за кражи два срока в довоенные времена. Был он сумрачен, груб, но в меру, трудно было понять, служит он немцам по доброй воле или по принуждению.

Очередная партия пленных, привезённых на склады, была из госпиталя, захваченного немцами в одном из городов. Все — инвалиды. Их после ранения успели подлечить, а вот эвакуировать госпиталь в тыл не смогли. Немцы взяли раненых в плен и тех, кто держался на ногах, отправили работать на Рейх. У кого-то не было кисти, у другого торчала култышка. У Петра Михайловича, так назвался во время работы невысокий худенький пленный средних лет, не сгибалась левая рука, простреленная в локте.

Раненые подходили парами к штабелю, здоровые пленники подавали на плечи инвалидам доски, и те переносили поклажу в склад. Там с них снимали доски и подавали на стеллаж. Переносили они иногда и привезённые металлические балки. Напарником у Петра Михайловича был, как правило, однорукий лётчик Звягин, штурмовик которого был сбит, когда самолёт шёл на цель в пике.

Работая на стеллажах, вверху, Семён кивком показал Ивану на лист крыши, который не был сварен с остальными, а привинчен болтиками, возможно, в этом месте когда-то проходила труба или какое-то иное приспособление. Иван и сам уже обратил внимание на этот лист, но пока не мог представить, что они получают, если проделают выход на крышу, высокую и весьма покатую к тому же. Они могли, например, задержаться после окончания работ, что обнаружил бы только бугор да раздатчики пищи на кухне. Охраны возле склада не было, немцы располагались у ворот и на вышках, да ещё в домике, где отдыхала смена. Бугор может и не обратить внимания, что двоих подчинённых не оказалось в какой-то момент на нарах, и на кухне отсутствие пленников возле раздачи не обеспокоит: это случалось нередко, когда изнурённый работой и бескормицей пленник уже не мог добраться до ужина. Но оказаться на время без присмотра можно, а дальше что? Забор высокий, колючая проволока сверху, и охрана не дремлет.

Однажды, когда Иван с Семёном работали у ворот, разгружая очередную машину с досками, случай вдруг улыбнулся им. Рядом с их лесовозом остановился грузовик, готовясь на выезд за пределы лагеря, в этом грузовике к одному из складов привозили металлические балки. Их выгрузили, и машина приготовилась на выезд. Охранник у ворот подошёл к этой машине, заглянул, подтянувшись, в кузов, убедился, что в кузове никого нет, и пошёл открывать ворота. А водитель в это время подтащил кусок брезента, перевалил его через борт и вернулся в кабину. Иван и Семён на короткое время оказались вне поля зрения и водителя, и охранника. Водитель их лесовоза был в это время в домике для охраны. Не сговариваясь, быстро, они кинулись к грузовику и перемахнули — откуда силы взялись? — через задний борт. Прикрылись брошенным туда брезентом. Мгновением позже машина тронулась и, набирая ход, вывезла пленников за территорию лагеря.

Осторожно, прикрываясь брезентом, Семён продвинулся ближе к кабине, чтобы увидеть через заднее стекло кабины шофёра и заодно дорогу, по которой они ехали. Была у него мысль: нельзя ли завладеть машиной вместе с шофёром на время? Заставить его везти беглецов в безопасное место. Но... Показал Ивану два пальца: оказалось, что в кабине был ещё и сопровождавший водителя немец с автоматом.

Автомобиль между тем миновал посёлок, через который проходило шоссе, затем, через десяток километров, небольшую деревеньку, поле и, наконец, свернул на просёлочную дорогу между двумя берёзовыми перелесками. Переглянувшись, Иван с Семёном пере-

брались к заднему борту и, улучив момент, когда шофёр притормозил на ухабах, выпрыгнули на дорогу и нырнули под сень деревьев.

Решили не останавливаться и, пока удача явно на их стороне, двигаться дальше, дальше от своего лагеря. Плохо было то, что они не знали, на чьей земле они находятся: если на советской, то где?

Оглядевшись, перебежали открытые пространства, прятались в очередной лесок. Тянуло как магнитом на восток. Путь лежал под уклон, неожиданно лёгкий склон закончился крутым, почти обрывом, впереди просматривалась река. Цепляясь за кусты, спустились к воде. Черпая ладонями воду, пили жадно, озираясь по сторонам. Речка была неглубокой, но переходить её не решились: на противоположном пологом берегу виднелись следы, судя по ископыченному участку неподалёку, следы домашних животных, пригоняемых на водопой. Где-то рядом была деревня.

Вдоль берега, хоронясь, ушли подальше от опасного места. Затаились под ивой, свесившей свои ветви над водой.

— Ну что? — спросил Семён. — Что будем делать дальше? Ты уже опытный беглец.

Товарищ, довольный тем, как складывался побег, немного иронизировал. Иван молчал, опустил руку в воду — в прозрачной воде от кисти его словно брызнули мальки, — взял из воды окатанный волнами камень. Подбросил на ладони, сказал:

— Вот наше оружие. А след-то собаки не возьмут — нету следов!

И оба захохотали, негромко, но безудержно, до слёз.

— Догадаются, пожалуй, что мы на машине выехали, — отсмеявшись, сказал Семён.

— Может быть. Но километров двадцать от машины мы уже сделали, а им надо ещё найти то место, где мы спрыгнули. Пусть поищут.

— Неплохо бы ещё на чём-нибудь прокатиться, — мечтательно сказал Семён, — вот тогда уж точно не найдут. Кстати, собак у них здесь всего ничего было. Нет, не найдут! Искупаемся?

Ивана самого тянуло окунуться в прохладные струи. Мальки вновь собрались стайкой, приблизились к берегу, солнце взблёскивало всякий раз на их серебристых боках, когда мальки делали движение, и это мерцание завораживало и вызывало в груди грусть и томление, одновременно воспоминание о детстве и тревогу в настоящем.

— По очереди, с оглядкой, — сказал он, — только мелко тут.

— А вот же за кустом ямка!

— Да полезай ты, а я пока покараулю, — Иван выбрался из-под ивы, устроился в траве так, чтобы можно было видеть и свой берег, и противоположный.

Семён вымылся, стащил с берега в воду кальсоны, постирал, натирая песком, выстирал и портянки.

Потом они сменились. Раздевшись, Иван вошёл в воду по колено, посмотрел на себя раздетого: грудь — стиральная доска, рёбра были видны, можно считать их. На ногах и руках тёмные пятна, на тех местах, где зажило, но ещё не полностью восстановилось избитое тело.

Вспомнил Василя. Когда-то ходили с ним вместе на реку, рыбачили, купались, девчонки учили плавать. А теперь что с ним? Жив ли? У него сломаны рёбра и левая рука — немцы прыгали ему на грудь, когда собаки догнали и свалили Василя.

Ямка оказалась более глубокой, чем виделось с берега, хороший омут — Ивану по грудь. Иван тоже постирал исподнее и портянки, а потом стал плавать на этом крохотном пятачке омута. Какое блаженство окунуться с головой, вынырнуть, лечь на воду, раскинув руки, видеть над собой голубое небо с лёгкими облаками! Но далеко родная сторона, которая могла бы защитить, а здесь, наверное, хоть и своя земля, советская, да враг топчется по ней.

Лежали на траве, борясь с дремотой, пока не подсохли портки. Пора уходить. Семён думает о том же:

— Так что? Идём дальше или здесь дождёмся ночи?

— Надо осмотреться, — ответил Иван, выбираясь на берег.

Они нашли место, где можно было перейти реку, не опасаясь попасться на глаза свиде-

телям, поднялись по склону, вошли в лес. Здесь лес был гуще и разнообразнее: сосны, в низинах ели, кое-где осинник и березняк, местами высокий папоротник скрывал их почти с головой — чувствовалась отдалённость от жилья. На одной из полян Семён приостановился.

— Ваня, а что если грибов поесть? Смотри, вот белый, а там сыроежки.

Иван оглянулся:

— Да, был бы котелок и спички, можно было бы сварить, хоть и без соли.

Семён сорвал белый гриб, отломил от шляпки небольшой кусочек, взял в рот, прожевал — сморщил нос. Потом попробовал сыроежку:

— Вроде съедобная.

Но Иван есть грибы не стал:

— Я в детстве уже пробовал сыроежки — мутит.

Двинулись дальше, но через некоторое время Семён сказал, остановясь:

— Погоди, кажется, меня вырвет. Вот с хлебом бы они...

И не договорил, сотрясаемый судорогой. Перевёл, наконец, дух:

— Ладно, пошли.

Шли с небольшими перерывами на отдых, до сумерек, потом и в темноте, рискуя наткнуться лицом на острые ветки или свалиться с обрыва. Снова река, опять неказистая, журчала по камням. Решили здесь провести остаток ночи. Донимали комары. Иван натянул на голову гимнастёрку, укутал лицо, но тогда кровопийцы накинудись на тело: исподняя рубашка почти не защищала бока. Однако усталость взяла своё: скоро захрапели оба. Но с рассветом, пробудившись, не могли без смеха смотреть друг на друга. Щёки от комариных укусов вздулись, с той стороны, где насекомые всё же добрались до кожи, их перекосило, под глазами вспухло, губы — варениками, не лица, а пародии на неизвестных животных.

— Ну и харя! Ты кривой! — смеялся Семён.

— А ты косой, — не оставался в долгу Иван.

Холодная вода несколько остудила жжение, зато голод зверем накинудись на желудки.

Оказалось — вовремя остановились. Утром, едва прошли несколько сот метров, открылось поле, за которым вдали виднелась деревня.

— Посмотрим, что за поле, — сказал Семён, — жрать хочется, спасу нет!

— Подожди, посмотримся, тут люди могут быть, — сказал Иван, — а то и немцы.

— В такую рань?

Нашли место, где лес вплотную подходил к посевам. На поле созревала рожь. Срывали колосья, шелушили и ели зёрна, испытывая огромное наслаждение не только от еды, а и от воспоминаний детства, когда так же вот, гуляя свободно, можно было, проголодавшись, выйти на колхозное поле и подкрепиться — то ли пшеницей, то ли капустой или огурцами. Набрали зёрна в карманы, пошли в обход и поля, и деревни.

— А у нас ещё конопля по краям полей росла, — вспомнил Иван, — нашелушишь горсть зёрен — и такая вкуснота!

— Ну, — согласился Семён, — масло же в них. У нас даже давили масло из конопли — такая благодать с картошкой...

Вдруг Иван остановился, поражённый внезапной мыслью, повернулся лицом к полю:

— Сеня, а что будет с полем, с урожаем, а? Кто убирать будет, немцы?! Или наши?

— Поджечь бы его, — вздохнул Семён, — чтобы фашистам не досталось.

— Нет, жалко. Хлеб ведь. Сеяли люди, им надо будет что-то есть зимой. Или фрицы не дадут им?

Постояли в раздумье, будто от их решения зависело, будут ли местные сельчане с хлебом или нет.

Второй день свободы закончился в лесу, где наткнулись на поляну, заросшую чёрной смородиной. Ели ягоду, смеялись, хотя чувство голода от такой пищи не убывало.

— Я со своей девушкой по ягоды ходил, — вздохнул Семён, — за синими мудями, жимолость раньше всего поспевала.

Иван засмеялся:

— Я такого названия не слышал. Возле нашей деревни берёза да осина, и поля. Огромные поля — нашему колхозу тринадцать тысяч гектар принадлежит... Жимолости нет. Земляника да костяника на полянках в лесу. Ну, возле речки боярка поспевает, рябина. Шиповник тож. А синих этих нет.

— Жениться хотел, — раздумчиво продолжил Семён, — хотя некоторые мои друзья говорили, что рано. «Успеешь хомут на шею надеть». А вот и не успел. Жалко. Мог бы ребёночка сделать. Осталось бы на земле продолжение моё, если меня убьют.

— А сколько тебе лет?

— Дак это — девятнадцать исполнилось, как раз перед войной, двадцатого числа.

— Всего лишь? Я думал, ты старше.

И была ещё ночь, и был рассвет. Какая-то пичуга посвистывала, приветствуя пробуждение беглецов.

— Ишь ты, — сказал Иван, вслушиваясь в пение птицы, — будто и войны нет. А у нас летом жаворонки, особенно в жаркий день. Поднимется он над полем, трепещет крыльями, стоит на одном месте, только вроде качает его чуть вверх, чуть вниз, и льёт оттуда, кажется из-под солнца, свои трели. И долго-долго так. А когда упадёт вниз, в пшеницу, то уже другой трепещет вверх и поёт...

Шли на восток, но чувствовалось, что линия фронта где-то очень далеко.

В одном месте, на выходе из леса, продрались через заросли кустарника и вдруг наткнулись на стенку сарая. Выглянув из-за угла, Иван увидел широкую распахнутую дощатую дверь этого строения, очевидно, сеновала, дальше, шагов за двадцать, плетень с неказистой калиткой во двор и задняя стена дома, ещё дальше — крыльцо, закрытое с трёх сторон. Дверь в дом и ступеньки, обращённые в сторону улицы, отсюда были не видны.

Степан тоже выглянул, сказал негромко:

— В сараюхе, может быть, найдётся что-нибудь из жратвы, а?

— Разве с огорода что... — отозвался Иван. — Рискнём.

В три прыжка к двери — и в сарай. Здесь, действительно, было сено, пахло скошенными травами, и они едва не задохнулись от духмяного запаха. Стали осматриваться в полусумраке, но в этот момент послышались шаги и кашель. Шёл мужчина, несомненно, в сарай. Парни шагнули от двери в разные стороны, затаились.

В проёме показался хозяин и остановился, сразу почувствовав неладное:

— Матка боска!

— Тихо! Тихо! — разом предупредили его негромким шёпотом товарищи.

— Да, да, тихо, — отозвался мужчина, — молчу.

Было ему, судя по фигуре и по лицу, за пятьдесят.

— Отец, скажи, в доме у тебя немцы есть?

— Не, пане, не.

— А в деревне?

— Не, не.

Иван и Семён приблизились на шаг. Внимательно всматриваясь в лицо хозяина, Иван старался понять, что за человек перед ними, можно ли ему довериться, но ничего не понял, кроме того, что они напугали его до смерти.

— Поесть что-нибудь найдётся? — спросил Семён.

— О, да, пане, кушать. Можно? — мужчина сделал движение к выходу.

— Идите, — вежливо сказал Семён, — но никому!

— Да, пане, да.

Друзья проследили, как хозяин спешно прошёл во двор и скрылся за крыльцом, обувь простучала по ступенькам.

— Идём, — сказал Иван, и они вдоль сарая отступили к кустарнику, на случай, если придётся бежать, если крестьянин обманул и приведёт немцев.

Несколько минут спустя во дворе появилась женщина средних лет. В одной руке она несла большую казеиновую тарелку, в другой держала кринку. Она прошла к сеновалу, заглянула в дверь, но не увидела никого, оглянулась. Парни вышли из укрытия.

— Вот, — сказала женщина, — принесла вам картошек, хлебца и немного молока.

Они вошли в сарай. Иван сел на сено так, чтобы можно было видеть калитку во двор. Женщина вздохнула, поставила тарелку ему на колени, кринку опустила на землю рядом.

Кроме картошки на тарелке было два ломтя серого хлеба. Картошка была ещё тёплой. Потерев ладони о галифе, Иван и Семён начали есть, сдерживая себя, чтобы не показаться перед доброй женщиной совсем одичавшими от голода.

— Тут русские? — прожевав первую порцию, спросил Иван женщину.

— Да. Всякие есть: украинцы и белорусы, литовцы. Муж у меня поляк.

— А немцы в деревне есть?

— Заходят, но сёдня, кабыть, нету.

— Обижают?

— Не шибко. Которые смирные. Ну, просят: «Матка, куру, яйки». Другие не спрашивают, берут, чё хотят. Поросёнка там, али сало из сундука. И в печку могут заглянуть. А чё им скажешь? С ружьями, с этими, с автоматами. Молоко любят. По курам стреляют. За коровёнку боюсь, как бы не увели или на мясо не забили. Вот такие немцы. Наши-то, что служат фрицам, хуже. Платют им мало, вот оне и ташут всё, что ни попадя. Самогонку требуют. Ох, господи!

Иван и Семён поочерёдно брали кринку и запивали картошку и хлеб молоком. Скоро тарелка и кринка опустели.

— Спасибо, мать, — поблагодарили хозяйку. — А что не муж пришёл?

— Дак он это, животом мается. Он туда шёл, — показала в дальний угол — там парни увидели дверь.

— А-а... — понимающе сказал Семён, — в нужник, значит. Ну и шёл бы. Можно, мы у вас здесь заночуем?

— Ой, не надо. Немцев сёдня нет, а полицаи есь. И староста. Вы уходите скорей. Мой поляк — хто его знает. Поляки не любят русских.

— А вы разве не русская?

— Русская. Вдовая я, прибилась вот к нему, он тож вдовый. Ходите скорей.

Иван и Семён поднялись, вышли из сарая, шагнули в сторону кустарника, но навстречу им из-за угла выставились винтовка и ружьё, и обладатели оружия. Два полицаи. У старшего в руках была винтовка, младший, возможно сын первого, нацелил на красноармейцев берданку. Сзади за ними маячил поляк.

— Покушали? — спросил ехидно старший полицай. Он, очевидно, знал от поляка, что у бойцов оружия нет. — Ну, руки вверх! И — кругом!

Бежать невозможно, пришлось подчиниться. Повернулись к дому и увидели, что через двор спешит ещё один мужчина, в гимнастёрке, с белой повязкой на руке, с автоматом ППШ. Похоже, бывший красноармеец.

Прошли через двор поляка, сопровождаемые уже тремя конвоирами, пересекли улицу и вошли во двор добротного деревянного дома, крыша которого была под крашеной коричневой жёстью. Остальные деревенские дома были крыты корой или же соломой.

За столом в доме сидел пожилой мужик, бородатый, в жилетке. Увидев вошедших, он почесал в бороде, вздохнул и сделал жест рукой, удаляя полицаев. Отец и сын вышли, остался владелец автомата.

— Партизаны, значит? — спросил староста.

Иван и Семен переглянулись. О партизанах раньше они почему-то не подумали. Промолчали.

— В расход их, — предложил автоматчик.

Староста, внимательно всматриваясь в арестованных, опять вздохнул:

— Куды им до партизан! Голодранцы. Сбежали? — спросил опять.

И опять не получил ответа.

— Грех на душу брать не хочу, — помолчав, сказал староста, — пусть хрицы сами решают, что с ими делать. В анбар, под замок.

— Пошли! — полицай ткнул стволом в спину Ивану, недовольный, очевидно, таким решением старшего.

Во дворе ожидали и те двое, что арестовали парней.

— И чё? — спросил молодой.

— А-а, — недовольно отмахнулся автоматчик, — тюха наш, как всегда, запереть велел.

Но вместо амбара Ивана и Семёна впихнули в дверь, которая вела вниз, в погреб. Заскрежетал замок, и они остались в полутьме, лишь небольшое оконце над входом, с ладонь величиной, освещало узкий ход в подземное помещение. Пахло прелью и всеми теми запахами, что неистребимо поселяются в погребах. Более чем прохладно.

— Тут не испортишься, — заметил Семён.

Несколько пустых мешков они обнаружили на крюке, сняли их, прошли в относительно свободный угол и устроились на полу.

Некоторое время подавленно молчали, потом Семён сказал с горечью:

— Как глупо влипли!

Иван не возразил, придвинулся ближе к товарищу, предложил:

— Давай выспимся, а то ещё когда доведётся...

— Выспимся, — вздохнул Семён, — если фрицы не скоро придут.

Но какой тут сон! Досада спать не даёт и холод. Спина к спине — так теплее, но через какое-то время лежать уже невозможно, бьёт дрожь. Поднялись, впотьмах стали друг против друга, упёрлись ладонь в ладонь и с усилием стали сгибать и разгибать руки — «паровоз». Приседания вместе, потом спина к спине — «качели», и весь комплекс упражнений, которым их научил старшина. Согрелись, легли, но не прошло и получаса, как пришлось повторить всё снова. Так до утра.

Наступило утро, в оконце пробился свет, стало слышно, как во дворе ходят люди, блеяли овцы, мыкнула корова, процокали копыта лошадей. Время шло, в подвал никто не приходил. На улице воздух прогрелся настолько, что у двери можно было сидеть, если и не согреться, то не дрожать. О них будто забыли. И лишь во второй половине дня раздался топот многих ног, загредел замок, и в распахнутую дверь сперва хлынул поток света, а потом в проёме обозначилась фигура человека.

— Выходи по одному!

Вдвоём тут и не получится. Иван вышел первым, зажмурился от яркого солнца. Открыл глаза и — пожалуйста, за полициями стояли два немца в армейской форме, глядя на узников с любопытством. На крыльце дома смотрел в их сторону староста. Без лишних слов Ивану и Семёну связали руки, заведя их за спину, усадили в кузов небольшого грузовика и здесь связали их друг с другом, спина к спине. В таком положении не встанешь и не убежишь. У кабины на скамье расположился один из фрицев, и машина покатила по улице, а затем по дороге, по сторонам которой то лес, то поле.

Через несколько километров снова деревня, в ней остановились возле группы людей. В центре — несколько деревенских парней лет по шестнадцати или чуть старше, вокруг немцы и полицаи, а дальше — ревущие женщины и дети. Парней заставили залезть в кузов, сесть, и заполненная машина пошла дальше. У кабины, у второго борта, сел с автоматом ещё один фашист. Впереди грузовика шла легковая — с офицером, водителем, охранником и ещё одним в гражданской одежде, как оказалось потом, переводчиком. Впереди легковой машины — мотоцикл, в люльке которого сидел с пулемётом наготове солдат. А позади грузовика с пленными катилась ещё пара немцев на мотоцикле.

— Вас-то за что? — спросил негромко Иван ближнего белобрысого, вихрастого парнишку.

Тот зыркнул на Ивана, но ответил тоже негромко:

— Полицаи говорят, что мы теперь будем пленные.

— Вы что — воевали? Партизанили?

Парень промолчал, но другой, смуглый красавец, отозвался, не опасаясь, что немцы слышат:

— Ага, воевали. Не успели. У них, у фрицев, все мужчины наши — пленные. Даже моего деда, ему пятьдесят восемь лет, забрали «в плен».

Машину мотало из стороны в сторону, подбрасывало на кочках и рытвинах избитой просёлочной дороги. Парни упирались ладонями в доски дна кузова, а Ивану с Семёном приходилось принимать болезненные удары снизу на свои исхудавшие задницы. Проехали краем поля с километр, потом дорогу обступил лес.

На одном из крутых поворотов, меж плотно обступившими дорогу деревьями, случилось неожиданное. Сидевший рядом с Иваном вихрастый парнишка, бросив взгляд вперёд, мимо немца с автоматом, вдруг резко наклонился, ухватился руками за борт и одним сильным движением вымахнул себя из кузова.

— Хальт! Цурюк! — немец вскочил, резко повернул ствол за борт, но в это время ветка дуба пришлась ему по затылку, и автоматная очередь ушла в землю, у заднего колеса.

Парнишка в два прыжка оказался за деревьями. Машина, круто повернувшая налево, укрыла его на несколько мгновений от пулемётчика на заднем мотоцикле.

В это же время сиганул за борт парень и с левого борта. Ему повезло меньше, хотя он сделал всё возможное, чтобы второй охранник в кузове не смог подстрелить его. Выпрыгивая, он сильно ударил ногой по автомату и выбил его из рук фашиста. Но автомат висел у немца на шее, на ремне, и через секунду уже был у него в руках. Водитель грузовика, услышав выстрелы, нажал было на газ, видимо, предполагая, что солдаты стали отстреливаться от нападающих из леса партизан, но тут же сообразил, что надо остановиться. Машину дёргало, и это не позволило вскочившему на ноги автоматчику сделать прицельные выстрелы. Парень через мгновение оказался за стволами деревьев, недосыгаем для выстрелов охранника. Но этому смельчаку не повезло: он был на виду у мотоциклистов, следовавших сзади. И пулемётная очередь догнала его, когда он уже перемахнул через придорожные кусты.

Кортеж остановился. Мотоциклисты попытались найти проезд в зарослях кустарника, росшего вдоль дороги, чтобы преследовать уцелевшего беглеца, но склон здесь довольно круто уходил вниз, к реке, они крутанулись на дороге и остановились, ожидая распоряжений офицера.

Раненого притащили и забросили в кузов. Он был ещё жив, но истекал кровью — несколько пуль размозжили его бедра.

Офицер не удостоил своим вниманием пленников. К машине подошёл переводчик и сказал очень даже вежливо:

— Молодые люди должны знать, что при попытке к бегству одного, мы будем стрелять каждого второго, кто остался в машине.

Он вернулся в легковушку, мотоциклы заняли свои позиции, и караван двинулся дальше. Больше попыток к бегству не было.

Иван подивился тому, как быстро оценил белобрысый парнишка обстановку, сообразил, что ветка дерева ударит охранника, и это даст ему шанс уйти на свободу.

Примерно через полчаса выехали из леса. Впереди показалась большая деревня.

Семён увидел слева посреди деревни большой деревянный дом, очевидно, бывшее правление колхоза, над дверью которого красовалась деревянная табличка с надписью на немецком и, вероятно, с пояснением на русском: «Только для немцев». Чуть дальше в глубине улицы на просторной площадке Семён увидел церковь, судя по всему, действующую.

А Ивану видна была правая сторона улицы и примечательное деревянное здание — большая одноэтажная школа за крашенным коричневой краской штакетником. Над калиткой крупно что-то на немецком и, видимо, то же самое, на русском: «Только для немцев». То ли здание оккупировали фрицы, то ли на спортивные площадки, что располагались вокруг школы, был запрет, и получил первые представления о том, какой порядок устанавливается в населённых пунктах оккупантами. На выезде из деревни находились крытый ток, строения колхозной фермы, кузница и мастерская, пилорама, спиленные деревья и доски. А дальше — пшеничное поле, слева от дороги, справа — голубое полотно цветущего льна.

Война будто не коснулась этих мест. Но впечатление оказалось обманчивым: за пшеничным полем — посадки картофеля и свёклы, а справа, за льянным, у леса, — обнесённый колючей проволокой лагерь с пленниками. Опять лагерь...

Грузовик остановился у закрытых ворот, задний борт откинули, умирающего парнишку столкнули на землю и оттащили немного в сторону. Остальным ребятам приказали слезть с машины и построиться. Они поспрыгивали на землю, стали в неровную шеренгу, косясь со страхом и состраданием на раненого товарища. Их построили и повели куда-то вдоль проволочных заборов.

Охранники же в кузове перекинулись несколькими фразами с немцами, которые ждали у машины, засмеялись. Подошли вдвоём к связанным Ивану и Семёну, ухватились за верёвку и поволокли их к открытому борту. У края обошли их и ногами, под одобрительное ржание остальных солдат, вытолкнули из кузова. Тяжёлый удар рёбрами о землю отозвался по всему телу, помутилось в голове. Весёлые немецкие парни заодно поиграли в «футбол»: попинали что есть силы русских парней ногами.

Потом верёвку, связывающую Ивана и Семёна, сняли, развязали им руки и показали на открытые ворота: ступайте — вот, мол, ваш рай. В полсотне шагов от ворот можно было видеть толпу пленных — кто сидел на земле, кто стоял, несколько человек лежали, и, похоже, не оттого, что им хотелось отдохнуть.

Сразу за воротами новичков встретили четверо, один из них хмурый, с наголо обритой головой мордovorot, должно быть, главный.

— Стой, — скомандовал он, — сесть на землю!

Чуть в стороне, у ворот, два вооружённых немца наблюдали, усмехаясь, за этой сценой.

Иван и Семён поняли, что четвёрка действует заодно с немцами и сопротивление тут неуместно. Сели на вытоптанную, пропылённую землю.

— Снимай, — скомандовал бритый, — и пнул ногой ботинок Ивана. — И ты тоже.

Парни разулись. Несмотря на то, что обувка претерпела и бег, и ходьбу по бездорожью, была она, сработанная из добротной свиной кожи, всё ещё прочной, хоть и потёртой на носках. Бритый взял ботинки Ивана в руки, оглядел их, одобрительно хмыкнул, взял и вторую пару. Развернулся и пошёл прочь. Трое — за ним. Иван и Семён, оставшись без обуви, поднялись, посмотрели друг на друга: а что, мол, дальше?

Бритый оглянулся, дурашливая смешливая гримаса появилась у него на лице. Махнул рукой куда-то в сторону:

— Гунявый обув. Ха-ха!

В той стороне, куда он показал, увидели ещё одного пленного, который стоял, расставив ноги, смотрел на происходящее с угрюмым равнодушием.

— Хальт! — вдруг раздалась команда. Четвёрка во главе с бритым замерла, все повернулись. — Ком!

Один из немцев махнул рукой, призывая грабителей к себе. Они вернулись. Немец, вырвал из рук бритого ботинки Ивана и Семёна, оглядел их:

— Гут, — одобрил, повёл стволом автомата, давая понять бритому, что ботинки он забирает себе и пленные могут убираться ко всем чертям.

Бритоголовый всё же не мог уйти ни с чем, подошёл и сдёрнул с Ивана и Семёна пилютки.

Тот, кого назвали Гунявым, оказался обувщиком. Он и ещё несколько человек делали деревянные подошвы, прибавляли к ним куски парусины или материи из солдатского обмундирования, и в такой обуви пленников выводили на работы. Продукцию этих умельцев, как оказалось, отправляли и за пределы лагеря.

Гунявый был ранен осколком в челюсть, отчего его лицо было перекошено и речь стала невнятной. Но каким-то образом немцы узнали, что это мастер, дали ему подручных и заставили делать деревянные подошвы для обуви, и саму обувь, которую отправляли в другие лагеря. Гунявый намётанным глазом определил размер обуви Ивана и Семёна, выдал «туфли», забрав взамен портянки, которые ему показались подозрительно чистыми:

— Откуда вы такие ухоженные?

Обулись, с трудом переставляя ноги, избитые на немецком «футболе», прошли было к правому, если смотреть от ворот, ограждению лагеря. Но от ворот последовала команда «Хальт!», и немец стволом автомата сделал движение, показывая, что нужно идти в другую сторону. В углу ограждения лагеря стояло небольшое строение, туда и сопроводили новичков.

За столом в помещении сидел молодой немец, подперев подбородок ладонью, смотрел на вошедших. Выдержав паузу, сказал:

— Ваш фамилий говорить.

— Яценко, — Иван решил, что стоит назвать свою фамилию — неизвестно, выйдешь ли отсюда живым, а когда-то вернутся наши — он верил, что вернутся, то узнают и сообщат на родину, где кончился, так и не начавшись по-настоящему, путь сибирского парня.

Немец открыл толстую амбарную книгу, похожие были у них в колхозе — видел Иван, когда случалось быть в правлении.

— Имя говорить, — продолжил немец.

— Иван.

— О! — у немца неподдельный восторг: — Рус Иван! Карашо! Мой имя — Фриц! О! Иван — Фриц!

Он засмеялся довольный.

Записали и Семёна. Тут только Иван узнал, что у товарища и фамилия Семёнов. Если он только не схитрил.

— О! — весёлый немец по имени Фриц продолжал спектакль. — Будем рус Иван и Семён дают медал.

Из картонной коробки у стола он извлёк две деревянных бирки, кивнул другому немцу, что сидел у двери. Тот, в свою очередь, достал из другой коробки две небольших проволоки, вдвёл их в сделанные в бирках отверстия. Потом эти проволоки с бирками, при помощи третьего немца, надели, как ошейники на собак, на пленников, закрутили концы проволоки, при помощи плоскогубцев, сзади. Теперь Иван и Семён утратили свои имена, стали номерами, которые внёс в тетрадь Фриц.

Колючая проволока здесь была в один ряд, в отличие от первого лагеря, который остался под надзором Шибздика, писаря-шпиона.

В лагерь вернулись с каких-то работ пленные, и все — те, кто был в лагере, и те, что прибыли только что — сгрудились у колючей проволоки слева от ворот. Оказалось, что там, как распорядились немцы, будут давать пищу.

Иван и Семён, новички, остались на месте, видя бесполезность пробиться сквозь толпу голодных пленников. Никаких кухонь, никаких признаков того, что там будет раздача еды, не было. И вдруг у колючей проволоки, с противоположной стороны, появились капо, полицаи-предатели с ящиками, из которых они стали кидать на территорию лагеря картофель, свёклу, куски хлеба. Вся толпа ринулась в эту сторону, толкаясь, сбивая с ног слабых, топча их. Падали на землю, как футбольные вратари, чтобы успеть схватить кусок хлеба или картофелину. Иван и Семён оказались вжатыми в ограждение, колючая проволока впилась в спины.

Давка, крики, стоны, вопли — это так забавляло полицаев и немцев, что они едва не падали от смеха. Не все пленники сумели подняться с земли после этой забавы. Утром у колючей проволоки, по которой ночью пропускали ток, можно было увидеть несколько уже окоченевших трупов.

Гунявый с сопровождавшим его пленным подошёл к мертвецам, снял с них не только деревянную обувь, но и всю одежду. Отдельно они сложили исподнее и верхнее. Сняли и деревянные бирки, перекусив кусачками проволоку. Бирки передали полицаю, который унёс их в помещение, где накануне окольцевали Ивана и Семёна. Привычно, без эмоций, не в первый раз. Унесли одежду в угол лагеря, где была их мастерская.

И тут сзади Ивана оказался немец.

— Ташит, — приказал он Ивану на русском языке, показывая на ближайшего раздетого покойника, — брат, ташит.

И повёл автоматом в сторону открытых ворот. Иван метнул взглядом на Семёна, тот, сдерживая гримасу недовольства, помог товарищу. Они взяли покойника и понесли вслед за другим немцем, который шёл впереди. Мертвец был исхудавшим, лёгким, таким, что его без труда мог бы легко унести один человек.

Прошли вдоль ограждения лагеря, другие пленники несли остальных раздетых мертвецов. В лесу перед ними открылась большая поляна, обнесённая колючей проволокой, на которой не было растительности — почерневшая обгорелая земля, сажа на ближайших деревьях, и — запах! Тошнотворный запах горелого мяса и ещё чего-то отвратительного, прямо-таки вопил: «Бегите прочь, бегите!» Но бежать было невозможно.

Среди поляны сложен ряд из двухметровых брёвен, поверх его, поперёк брёвен, уже лежало несколько трупов. В одном из них Иван узнал вчерашнего мальчишку. Он не был раздет, видимо, грязная окровавленная одежда не подошла мародёрам, только ноги были босые. По команде немцев живые пленники уложили пленников мёртвых в поленницу, сверху, поперёк, положили брёвна. Пленников повели обратно в лагерь. Поленницу фашисты не подожгли. Высота штабеля, видимо, была ещё мала для того, чтобы жечь трупы.

На территории лагеря шла между тем раздача пищи. Из больших фляг разливали по алюминиевым помятым чашкам некоторое подобие борща. Тут только Иван обнаружил за толпой длинное деревянное корыто, в которое была налита вода. Такие деревянные колоды были и у него в деревне, у колодцев, из них коровы и другие животные пили воду. Здесь, как оказалось, воду наливали и для питья, и для умывания, если у кого-то из пленных было такое желание. После того как пришлось нести покойника, Иван не мог брать пищу, брезгливость и традиция не позволяли; зачерпывая воду ладонями из корыта, умыл не только руки, но и сполоснул лицо. Утёрся полой гимнастёрки. Семён последовал его примеру.

Красноватую бурду, малосъедобную, зато тёплую, пленники брали и ели с жадностью. К «борщу» повара давали небольшой ломоть серого, как земля, хлеба. И его съедали, стараясь не потерять даже крошки.

Преодолевая отвращение, Иван зачерпнул ложкой варево. Как знать, после кого из покойников досталась ему чашка, и была ли она когда-нибудь мыта. Но голод взял своё.

Не успели они с Семёном опростать свои посудины, как раздалась команда и пленников построили. Тех, кто промедлил, полицаи и немцы заставили поторопиться дубинками и хлыстами.

Потом группами выводили пленников под конвоем за ворота. На работы, как понимал Иван. Они с Семёном в такие группы не попали. Остались в лагере. Однако отдыхать им не дали. Построили в колонны по четыре и заставили маршировать по территории.

— Айн-цвай-драй! Айн-цвай-драй!

Немца сменяет русский, предатель.

— Р-раз! Р-раз-два-три! Выше ногу, сволочи! Ать-два, доходяги! Р-раз! Р-раз!

Тех, кто, обессилев, падал или выходил из строя, избивали палками и ногами. Мучители менялись, а пленникам передышки не давали. Час, другой, третий. Вдруг фашистам приходит в голову разнообразить наказание. Очередного упавшего приказывают взять за руки и за ноги другим пленным, отнести к заграждению и, раскатав, бросить на колючую проволоку. Стоны несчастного вызывают восторг и смех истязателей.

Иван и Семён пытку маршировкой выдержали, несмотря на то, что болели избитые накануне и ноги, и рёбра, что ныли спины от проколов колючей проволокой.

В полдень от ворот прозвучала какая-то команда, и все немцы, которые издевались над заключёнными, враз оставили пленников и отправились, как оказалось, обедать.

И тут для Ивана и Семёна произошла неожиданность: со стороны деревни к ограждению двинулась группа баб с кошёлками в руках. Пленники сгрудились у колючей проволоки, протягивая руки сквозь эту преграду, хватали, что им дадут женщины. Иван и Семён, не ждавшие такого прихода, оказались в стороне.

От вышки к женщинам направился немец, поманил жестом крайнюю к себе. Придерживая на груди автомат одной рукой, второй рукой залез в корзину. Извлёк из неё яйцо, сунул в карман, забросил автомат за спину, снял пилотку с головы:

— Матка, яйка давай-давай!

И сам перегрузил яйца в головной убор. Ещё раз запустил руку в корзину, вынул из неё лепёшку, осмотрел, надкусил и... бросил её через колючую проволоку в сторону, где были Иван с Семёном. Он ожидал, видимо, что они кинутся за подачкой в драку, но этого не произошло. Иван не тронулся с места, лепёшку на лету подхватил Семён — быстро, так как ближние пленные готовы были отнять «подарок». Немец нахмурился, не получив ожидаемого представления, прижимая пилотку с яйцами к груди, отправился к ожидавшему его напарнику.

Женщина, с виду пожилая, протянула другую лепёшку Ивану, просунув руку сквозь ограждение. Он взял. Взгляды их встретились, и Ивану показалось, что глаза у старухи смотрят молодо.

— Как звать? — спросила она.

— Иваном. А Вас? — родители дома и учительница в школе учили: к старшим надо обращаться на «Вы».

— Маруся. Я Маруся. Не надо на «Вы».

В это время над головами женщин прошла короткая автоматная очередь. Они отхлынули от проволоки и, бросая через ограждение остатки продуктов, которые не успели раздать, пятась, одновременно крича что-то, удалились прочь.

Ивана с Семёном окружили те, кому ничего не досталось. Глядя в лихорадочно горящие глаза, Иван быстро, пока у него не отняли лепёшку вместе с руками, оторвал кусок её, сунул ближнему солдату. Оторвал ещё и ещё. У него осталось только то, что было зажато ладонью.

У Семёна точно такая же оказия. От них отступились.

На следующий день, с небольшими изменениями «программы», всё повторилось: большую часть пленных увели за пределы лагеря на работы, оставшихся заставили маршировать, скидывать вверх руку и при этом скандировать: «Хайль! Хайль Гитлер!»

Когда немцы прервали муштру на обед, опять у проволочного ограждения появились женщины с продуктами, видимо, другие: Маруси среди них Иван не увидел.

А потом случилась ещё одна беда. С вечера моросил дождь, пленники корчились, мёрзли, сбились в одну огромную кучу, толкались, перебираясь в середину. Под утро Иван почувствовал боль в боку от укуса насекомого. «Вошь! — пронзило сознание. — Вот и погрелся». Сон улетучился. Он выбрался на край лежбища, стащил влажную от дождя гимнастёрку с нательной рубашой, отчаянно почесал раздражённое укусом место. Снова оделся, но нервно прислушивался к своему телу, ожидая нового укуса, и он не заставил себя ждать. Иван сжал зубы, но терпел до восхода солнца. От озноба его трясло, пальцы одеревенели, но он снова разделся и стал искать в швах рубашки насекомое. Нашёл вошь, раздавил ногтями, стал искать ещё, но больше не нашёл. «А как там Семён?»

Утром на работы никого не вывели, не было и муштры после раздачи завтрака. Зато на территории лагеря появился в сопровождении группы автоматчиков человек в гражданском и стал раздавать из большой картонной коробки... газеты. Поднялся шум, почти как на толкучке в базарный день.

Когда Иван взял газету в руки, то глазам не поверил: газета называлась «Правда»! Даже фотография Гитлера на первой странице не сразу заставила его понять, что газета не советская. «Правда»! На верхней кромке газетного листа лозунг: «Труженики всех стран, соединяйтесь для борьбы с большевиками!»

Гитлер, по пояс, в профиль, справа на газетном листе. Усы топорщатся. Взгляд его как бы обращён на то, что происходит где-то далеко, на полях битвы, и отражено в заголовках на бумажном поле. Над портретом фюрера надпись «Адольф Гитлер». Очевидно, для тех, кто не знает его в лицо или сомневается. А под фотографией пояснение: «Верховный

вождь победоносной германской армии, идущей крестным походом против мирового врага человечества — большевизма».

И заголовки статей: «Красная армия потеряла 6 000 000 человек». «Успешные налёты на Англию». «Сражение вокруг Гомеля». «Под Гомелем разбиты 2 советские армии».

Сомнений не было, чья эта «Правда». Иван взглянул на дату — 28 августа 1941 года, суббота. «А какое сегодня число?» — подумал он. Ответ на его безмолвный вопрос не заставил себя ждать. Мужчина, раздававший газеты, потребовал внимания — при этом раздался выстрел — и, когда гул прекратился, прокричал:

— Германское правительство заботится о процветании нашего народа! — произношение буквы гэ у него характерное.

«Хохол, — догадывается Иван, — наверное, мы на Украине».

— Русские, украинцы, белорусы, татары и прочие — все получают свободу и землю. Сегодня, в воскресенье, накануне первого дня учебных занятий в школах, читайте газеты, узнавайте правду, а потом мы с вами решим, как нам жить дальше!

«Так, значит, двадцать девятое августа. Неужели через два дня первое сентября? При чём тут школьные занятия и газеты? — пытался понять Иван. — К чему приведёт очередная затея немцев? Какую ещё пакость — сомневаться не приходилось — приготовили фашисты?»

Семён толкнул Ивана:

— Ты, кажется, говорил, что ты хохол, ну, украинец. Тут такая газета, я не всё могу понять.

Иван взял в руки «украинскую» газету, в глаза бросился заголовок: «З головної квартири Фирера». Прочитал вслух: «Тільки той, хто правильно зрозумів силу національної єдності, може згуртувати свій народ і повести на боротьбу за здиснення найкращих ідіалів людства. Такою Людиною являється тепер в Німеччині Гітлер...»

«Тепер, коли я дизнався про життя німецького народу, коли зрозумів справжню суть націонал-соціалізму, в мене коринним чином змінився світовзгляд, я побачив всю правдивість того шляху, яким іде вся Європа...»

Иван посмотрел, кто автор статьи: неизвестный ему Андрей Мельник утверждал, что вся Европа признаёт «правду» Гитлера и идёт за ним.

— Что тут тебе непонятно? — сказал сердито Семёну.

— Ну да, — согласился товарищ, — мы — дураки, не понимаем своего счастья...

Через полчаса, после того как пленники прочли газеты, агитатор от «Фирера» опять добился тишины и предложил вступать в ряды борцов за свободу от жидов и коммунистов или ехать добровольцем на работу в Германию. Нашлись такие, однако их было немного. Бритоголовый вызвался первым...

Добровольцев вывели через распахнутые ворота, даже не поставив в строй. И тут все пленники в лагере увидели, что недалеко от проволоочного ограждения установлены два длинных, из некрашенных досок стола. И скамьи рядом с ними. Тем, кто согласился служить Германии, показали, что надо сесть за стол. Из большого котла, который тоже, оказывается, был привезён к лагерю, два повара в солдатских робах, но с фартуками, прикрывавшими грудь и живот, в чашки наливали суп, подавали на столы изменникам. И хлеб! По большому куску серого эрзац-хлеба! Когда посуда у всех опустела, в чаши, из второго котла, который до того был скрыт от глаз брезентом, наложили пшённой каши!

Лагерники, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, и ещё трое истощённых солдат не выдержали такой пытки — направились к раскрытым воротам.

Чувство голода не является постоянным. Когда приходит время обеда, желудок начинает требовать своё, вызывая острую потребность в пище. Но если пища не поступает, то через некоторое время позыв ослабевает и даже совсем прекращается — это в желудок направляются запасы тела. Проходят часы, и всё повторяется. Организм поедает сам себя.

Голодное содержание пленных было научно обосновано варварами с университетскими дипломами. Они установили, что голодающий не только мучается и слабеет фи-

зически, он частично теряет способность правильно оценивать окружающее, его легче превратить в покорное человеческое существо, в двуногий вид животного, который будет не только работать на хозяина, но и биться за его интересы. Эти трое в тот момент мало осознавали себя, как лунатики, забыли о последствиях, когда шли к столам.

А в это время агитатор в сопровождении двух солдат с автоматами забирал газеты у пленников. Увидев, что один из солдат сложил газету так, как это он, очевидно, делал раньше, приготовляя бумагу для самокруток, гражданский освирепел:

— Шо ты зробишь, свыня?!

Сопровождавший его автоматчик ткнул стволом в грудь виновному так, что тот согнулся. И тогда на шею ему обрушился удар прикладом. Пленник упал. В ход пошли пинки ногами в голову, и скоро несчастный затих.

Очередное утро Иван встретил с чёрными мыслями: не броситься ли на охранников, чтобы они пристрелили его? Спать ночью почти не удалось, и не только потому, что не давала холодная земля, а ещё потому, что нещадно начала зудеть голова. Он видел, что и у других пленников дела обстоят не лучше, многих ели вши. Но никто не жаловался немцам, и все старались даже не показывать другим, что их донимают насекомые. Пленники уже стали понимать, как могут поступить с ними фашисты, чтобы избыть паразитов — отправят на поляну, чад от сгорающих трупов с которой доносит иногда ветром до лагеря.

Семёна с командой других пленников увезли на грузовике в неизвестном направлении, а Иван оказался в группе, которую построили и под конвоем четверых полицейских повели на работы в поле копать картошку. Рядом с Иваном в строю оказался такой же высокий солдат, на котором не было гимнастёрки, а только грязная нательная рубаша. Не было на нём и пилотки.

— Как зовут? — спросил он негромко, покосившись на Ивана.

Иван назвалса и кивнул, мол, а тебя?

— Кирилл. Кирия — так меня обычно кличут.

Лопаты им выдала пожилая женщина, очевидно, назначенная немцами старшей, из деревенских жителей, указала каждому его полосу. Ботва уже частично пожухла. Пахнуло вскопанной землёй, и что-то торкнуло в груди, и будто вернулся Иван в свой колхоз. Вон там, за полем, за перелеском, должна быть река, с ивами у воды, с зарослями шиповника и с красными уже ягодами боярки и рябины. Показалось, что все последние месяцы его жизни — это дурной сон, а явь — вот она — земля, родившая урожай, дальний лес, небо с лёгкими облаками. И где-то рядом должны быть колхозницы, чтобы убирать выкопанную им картошку. Даже слышатся ему их голоса. И тут появились женщины, которые стали выбирать клубни в ведра и сыпать затем картофель в кучки на поле, чтобы подсохла на клубнях земля. Но в отличие от молодых и жизнерадостных колхозниц Ивановой деревни эти женщины были тихими и смурными, и действительность, исчезнувшая на минуту, явилась во всей своей беспощадной реальности.

Копать картофель — привычное дело для крестьянских парней, солдат советской армии, ставших по воле судьбы пленниками, рабами оккупантов.

Близ поля появился на некоторое время и представитель новых господ — офицер в сопровождении двух солдат. Словно полководец картину битвы проверял, неспешно обводя взором поле, усердно ли трудятся на Рейх эти русские. На вскопанную часть не стал выходить, чтобы не замарать землёй блестящие свои сапоги.

К полудню примерно пятая часть поля была выкопана. Несколько женщин и пленников были направлены на то, чтобы собирать картофель в мешки, грузить на телеги и отправлять урожай в деревню. Отбирали крупные клубни, но и мелочь не оставляли, складывали в отдельные аккуратные кучки. В конце дня стали возить картошку не только мешками, но и загружать в деревянные короба — мешков, вероятно, не хватало.

Последнюю подводу загрузили, когда солнце коснулось лучами дальнего края поля. Кирилл, сдав лопату «бригадирше», помог неказистой рыжей кобыле вытянуть телегу с

пашни на дорогу, упёршись руками в задний борт. С телеги в этот момент скатилась на дорогу крупная картофелина. Кирия поднял её и сунул в карман солдатских шаровар.

— Хальт! Стоять! — раздалось совсем рядом.

Немецкий офицер, который, казалось, ушёл давно, вдруг возник откуда-то сзади. Кирилл остановился, медленно повернулся к фашисту. Тот подошёл к нему почти вплотную, доставая на ходу из кобуры браунинг. Пленники и женщины, которые не успели отойти далеко, тоже остановились и со страхом ждали, что будет дальше.

— Всё есть имущество Германия! — сказал немец назидательно, чётко и жёстко выговаривая слова. Приставил браунинг к виску Кирилла: — Будем наказывать!

Кирилл вытащил картофелину из кармана, держал её на ладони, словно предлагал немцу забрать её. Смотрел на фашиста не столько со страхом, сколько с недоумением. Не верил, что за поднятую с земли картофелину можно убить. Но грохнул выстрел, и Кирилл рухнул на землю с простреленной головой.

Остальных построили, и те же конвоиры, что доставили пленников на поле, сопровождали их в лагерь.

Дни становились короче, а ночи — длиннее и холоднее. Но усталость от работы на поле брала своё, и засыпал Иван, привалившись к такому же уставшему бедолаге, несмотря на холод, идущий от земли. Хорошо ещё, что стояла солнечная погода, земля за день нагревалась и остывала медленно под человеческой массой.

Иногда Иван видел даже сны, но они как-то быстро размывались в памяти и забывались вовсе. Но в этот раз, проснувшись, дрожа от озноба, он сумел удержать видения. Приснились сёстры. Старшая, Анастасия, лишь промелькнула и ушла, видимо, к своим детям, а вот трое остальных остались: стояли они напротив его у изгороди, но у незнакомой усадьбы, хотя на том месте, где должна быть церковь.

В Богдановке церковь была на взгорке, как раз против их огорода, опоясанного жердяной изгородью от животных; дом же отец поставил когда-то ближе к берегу Оми, и даже окнами на реку, а не на улицу. И церковь, и усадьба Яценко были слегка на отшибе, в полсотне шагов от крайних деревенских домов.

Мальчишкой видел Иван, как покидал деревню священник. Его не гнали и не преследовали власти. Просто в деревне осталось мало верующих, которые посещали церковь, жить семье священника становилось не на что. Молодёжь вечерами группировалась вокруг клуба, в котором кипела жизнь и иногда кинопередвижка крутила фильмы. Из церковной ограды, где неподалёку от церквушки располагался неказистый домик, там жил «поп», выкатилась телега, нагруженная домашним скарбом. Незнакомый мужик вёл лошадь под уздцы; лошадь тоже была не из богдановских — Иван знал всех хозяев и всех их лошадей в деревне. На телеге сидели и ребятишки — мальчишка шести лет и девочка на два года младше. Попадья шла следом, утирая слёзы. Несколько старух, проведавших, что священник уезжает, стояли тут. Они были ошарашены, когда увидели священнослужителя: на нём была рубаха-косоворотка и мужицкие шаровары. На ногах — сапоги. Не видно креста. Таким даже в страшных снах верующие не могли представить батюшку.

— Як же мы без вас, отец Арсений?

— Батюшка, почему вы нас покидаете?

Отец Арсений посмотрел на оставляемую им церковь, на слегка покосившийся крест — церковь просила ремонта, обратился взгляд на провожающих. Вздыхнул:

— Бога не стало, матушки. Потому не могу обманывать народ — ухожу.

— Как же мы без благословения?

Телега уже достигла крайнего дома. Отец Арсений посмотрел в ту сторону, сделал шаг, остановился. Рука его привычно поднялась и замерла в сомнении. Глянул на свои одежды, махнул рукой и... осенил крестным знамением старух:

— Храни вас Бог!

И быстро направился вслед за подводой навстречу судьбе.

Когда нынешней весной Ивана взяли на службу, здание церкви ещё стояло, только уже без креста и с полуразрушенным куполом.

И вот сон: Надежда, которая была на шесть лет старше Ивана, и младшие — Вера и Анна, возле оградки, были одного возраста, лет по шестнадцати. Но это не казалось ему странным. Он видел, красивые у него сёстры — это всегда наполняло его гордостью и любовью, такой любовью, какая только и может быть между самыми близкими людьми. Но они хотели что-то сказать ему, а слов не слышно. Понимая, что он не вник, о чём его предупреждают, Надежда повела рукой, будто ладонью отодвинула невидимую преграду, и до него дошло: «Увидимся». И они исчезли, осталась только ограда, в глубине которой небольшое бревенчатое строение, скорее всего баня.

Проснувшись, Иван никак не хотел расставаться с этим сном: он вселял надежду. Да, Надя, сестра, огневолосая красавица, славилась в молодости тем, что умела гадать на картах. Удивительно, что всё, что говорили ей карты, потом сбывалось. За её необычные волосы и это умение гадать в деревне считали сестру чуть ли не колдуньей и, кажется, слегка побаивались. И вот она приснилась ему — к добру!

Хотя, какое может быть добро? Накануне, когда копали картошку, одна из женщин, ближняя к полицаю, стала сильно отставать от своего копальщика, иногда замирала, свесив голову, похоже, ей нездоровилось. Полицай, который до того рьяно следил, чтобы пленные не общались с женщинами, увидев такое небрежение, освиrepел:

— Шевелись, сучка!

Несколько помедлив, огляделся, подойдя к работнице, сидевшей на корточках у ведра, сильно пнул её в бок ботинком, выговаривая с наслаждением: «Руссиш швайн». Явно хотел быть настоящим немцем.

Женщина повалилась на бок, тут же постаралась подняться, упала после второго удара, снова поднялась — ни крика, ни стопа, — принялась быстро-быстро разгребать землю в лунке, вынимая картофель. Иван, не прерывая работы, кидал исподлобья взгляды на подонка, но знал, что за ними наблюдает одновременно и второй полицай, готовый в любой момент применить оружие.

В тот момент, что-то сдвинулось в душе Ивана: нестерпимо захотелось убить этого гада. И любого другого врага, оккупант ли он или предатель. Убивать — грех. Это сидело, казалось бы, неистребимо, где-то в глубинах сознания даже тогда, когда он осваивал боевые приёмы, технику убийства, когда учился стрелять. Дома у себя Иван не зарубил даже курицы. Когда приходилось помогать отцу — по осени отец забивал свинью и резал овцу или барашка, — и тогда Ивану становилось не по себе, он старался не смотреть в глаза обречённого животного. Тогда ему и в голову не приходило, что настанет время, когда он должен будет убивать человека. Грех не потому, что об этом говорила церковь: «Не убий». Не только потому. Иван в детстве лишь несколько раз с матерью побывал в церкви. Он не мог сказать: верит ли в Бога или нет; осознание греховности убийства давалось изначально, от рождения, как родимое пятно, как цвет глаз или волос. Эта нравственная преграда могла, наверное, разрушиться в бою, но в бою Ивану быть не пришлось. А тут, видя, как бьют неповинную женщину, он словно перешагнул препятствие, за которым осталась в душе только ненависть.

«Убить!» Он думал об этом, когда шёл под конвоем с поля, когда просыпался ночью, когда наступил рассвет. Даже сон, прекрасный обнадёживающий сон, не отодвинул эту мысль. И сложился план. Он займёт на картофельном поле крайнюю полосу, ближнюю к полицаю. А когда они будут заканчивать уборку картофеля и поле почти упрётся в лесок, он подойдёт к женщине, убирающей за ним, и это вызовет недовольство охранника. Полицай захочет, наверняка захочет, показать свою власть над ними и наказать. Подойдёт... Маленькой лопаткой научен владеть Иван, как саблей, не подведёт его и большая лопата. А там взять винтовку полицая и уходить в лес. Бежать. Да, будут стрелять остальные конвоиры, но преследовать не смогут, не оставят остальных пленных без охраны. «Надя, Надюша, сестрица, увидимся, я верю тебе...»

Осуществиться плану было не суждено. Миновали побликшее поле льна. Затем, когда их небольшая, «картофельная» колонна проходила вблизи крайних строений деревни, воз-

ле хлебного амбара, дорогу Ивану, он шёл впереди, преградил, выставив, как шлагбаум, ствол автомата, молодой пухлощёкий немец. Повёл стволом в сторону, заставляя Ивана покинуть строй.

— Перёд! — скомандовал, улыбаясь, довольный, что владеет русским языком и может распоряжаться здесь среди белых рабов.

Полицай было дёрнулся преградить пленному путь, но немец, повернул ствол в его сторону, и тот застыл на месте.

— Господин ефрейтор, — всё же попытался возразить полицай, — шо мне будэ за то?

Но на такие слова знания немца не распространялись. Он подтолкнул Ивана стволом в спину, и они пошли мимо амбаров.

— А! Хай им... — полицейский махнул рукой, скомандовал остановившимся пленникам: — Марш!

За вторым амбаром Иван увидел ток. Чувства его вдруг резко обострились. Он неожиданно вошёл в то состояние, которое когда-то на тренировках по рукопашному бою внушал им старший сержант и которого никак не удавалось добиться: «Концентрация! Вы должны видеть и контролировать противника так, чтобы движение тела, рук, ног, даже движение его глаз, не ускользало от вас. И не только того, кто против, но вы должны видеть всё и слева, и справа, даже на затылке у вас глаз! Вы должны чувствовать, если враг за стеной...»

Сейчас Иван охватил разом: ток, под крышей которого горы зерна, женщин, попарно, насыпающих пшеницу в мешки, и дальнюю площадку, где пшеница под открытым небом, и там две женщины крутят рукоять веялки, и там же маячит чёрная фигура полицая, слева от Ивана грузовик с откинутым задним бортом, в кузове два немца в гимнастёрках с засученными рукавами готовы принимать мешки, а в кабине, свесив ноги наружу, водитель лущает семечки; сзади же пухлощёкий ефрейтор во френче, с планшеткой на боку и с автоматом в руках.

Ефрейтор поравнялся с Иваном, забросив за спину автомат, когда они почти вплотную приблизились к двум женщинам. Одна, лицом к Ивану и немцу, держала уже наполненный пшеницей мешок, вторая стояла к ним спиной, завязывала его. Эта вторая, вероятно, старуха, выглядела странно, одета не по погоде: длинная, не по росту, серая вязаная кофта, юбка до полу и тёмный платок на голове. Немец тронул её рукой за плечо — в другой руке небольшой блокнот, — сказал, заглянув в него, расцветая улыбкой:

— Ложись со мной спать!

«Старуха», затянув узел верёвочки, полуобернувшись к нему, быстрым движением извлекла из-под полы кофты... чекушку. Подала немцу. Тот взял, посмотрел посудину на просвет:

— Шнапс? — вынул пробку, понюхал, зажмурившись, сделал небольшой глоток. — О! Гут!

Вернул пробку на место, сунул бутылку в карман, полистал свой блокнотик:

— Бистро, работайт! — приказал Ивану, показывая, что мешок надо погрузить в машину. В кузове уже было несколько мешков, которые бабы подносили вдвоём, а немцы принимали и расставляли их у переднего борта.

Иван наклонился, чтобы поднять мешок на плечо, но сразу почувствовал, что ему это не удастся: ослабел. А в колхозе, бывало, на спор мог унести два таких куля. Старуха с другого конца мешка ухватила, чтобы помочь ему, и тут Иван увидел её лицо и чуть не уронил свой край: «Та женщина, что приносила лепёшки в лагерь?! Неужели Маруся?» Так вот почему фашист приглашает её в постель: разглядел, видать, молодую по глазам.

— Давай вдвоём, — предложила Маруся, кося глазом на немца. Тот занялся делом: отошёл к машине, достал из планшетки бланк и стал карандашом пометать в нём что-то, вероятно, записывал количество загруженных мешков.

Всё же Иван справился один: Маруся помогла ему поднять мешок на плечо, до машины было всего несколько шагов. Не успел поставить куль на днище кузова, как немцы подхватили его и отнесли дальше к кабине.

Иван вернулся к женщинам.

— Ты?! — шёпотом удивился он.

Маруся прижала палец к губам, потом прошептала:

— После. Работаем...

Насыпали зерно в мешки молча и безостановочно. С Маруси, одетой не по погоде тепло, тёк пот, но она сняла только платок, на голове осталась ещё косынка. Пухлощёкий ефрейтор несколько раз подходил к ним, трогал Марусю за бок, приговаривая с улыбкой:

— Ложись со мной спать.

Она в ответ тоже улыбалась, грозила ему пальцем:

— Не мешай. Твой Райх кормить надо. Шалун.

— Кушать, да, — соглашался ефрейтор. — Что есть шалун?

Он достал свой блокнот, словарь, безуспешно пытался найти в нём непонятное русское слово. Находил то, что ему понравилось, и произносил, наслаждаясь: «Давай корову. Копай могилу. Становись к стенке». И опять: «Ложись со мной...»

Машина, наконец, наполнилась мешками с пшеницей, ефрейтор ещё раз подошёл к женщинам, заглянул в глаза Маруси, повторив полюбившуюся ему фразу из словаря:

— Ложись со мной спать.

— Да, — отвечала Маруся, — поезжай, потом.

— Да, — расцвёл улыбкой немец, — потом.

И побежал к машине, откуда уже неслись сердитые окрики его напарников.

— Марийка, ты чего делаешь? — урезонила было подругу вторая женщина. — Будет тебе, как с Лилькой.

— Уже не будет, — отмахнулась Маруся. — Ты, Настя, покарауль, пока мы тут прячемся.

И толкнула Ивана к амбару.

— Давай, быстро.

Тяжёлая амбарная дверь не заперта, за ней полумрак, но Иван знает, что за перегородкой тоже зерно, а в углу стопа мешков, из которой он уже брал несколько, когда кончились приготовленные ранее у бурта с зерном.

— Сейчас мы из тебя сделаем бабушку, — возбуждённо говорила Маруся, быстро снимая с себя большую серую кофту. — Надень.

Развязала одним движением верёвочку на юбке, вышагнула из неё, засмеялась:

— Примерь.

Иван только что успел надеть кофту, но не знал, как ему застегнуть непослушными пальцами необычные деревянные пуговицы, сделанные из палочек и отшлифованные пальцами женщины, которая прежде носила эту вещь.

— А-а, кулёма! — нервно смеялась Маруся. — Давай я. Юбку надо было сперва, через голову! — Отступила на шаг, посмотрела на ноги Ивана: — Ах ты, беда! Ну не было у меня большей юбки. Торчат твои гачи, что делать?

Иван неловко поднял подол юбки, потянул штанину вверх, так чтобы она застряла над икроножной мышцей. Раньше бы это не удалось, но теперь, когда ноги исхудали, фокус удался. Но что делать с обувью?

Однако и тут у Маруси было всё предусмотрено: на ботинках женщины были надеты литые резиновые калоши. Она села на мешки, с усилием стащила калоши, подала Ивану, спросила с тревогой:

— Налезут? Лапа-то у тебя какой размер? Да сбрось ты к чёрту эти колодки!

Но Иван уже и без того разулся, несколько мгновений держал обувь в руках, соображая, что надо их спрятать, потом швырнул деревяшки в дальний угол амбара так, чтобы они зарылись в зерно.

— Погоди, — остановила Ивана Маруся, — надень. — Из-за пазухи она вынула длинные вязаные носки и опять спросила с тревогой: — Налезут?

Иван надел один носок, всунул с трудом ступню в галошу.

— Пойдёт, — и надел носок и галошу на вторую ногу.

Маруся подступила к нему с платком, встав на цыпочки, повязала Ивану платок на голову, запалённо дыша, как после бега, сказала:

— Пригнись, поправлю.

Надвинула платок на лоб, концами платка укутала его подбородок, на котором предательски проступали пока ещё ни разу не бритые золотистые волосы бородки.

— Вот так и будь: ссутулся, чтобы не видно было лица и чтобы не торчать, как каланча.

Тут Иван обратил внимание, что на груди у Маруси висела деревянная бирка, почти такая же, какую навесили ему в лагере, только у Маруси бирка висла на шнурке! Вместо крестика?!

— Что это? — озадачился он так, что на мгновение забыл о том, что надо спешить.

Маруся отмахнулась, выглянула за дверь:

— Настя, как там?

— Ой, мамочка, ой, страшно! — Настя с бледным, как бумага, лицом торопила: — Уходите скорей!

Маруся, ухватив Ивана за руку, повела его за амбар, к коровнику, в котором беззвучно умирал запах бывших здесь когда-то животных, вдоль его тёмной бревенчатой стены, в низинку за огородами. Тут редкий кустарник, увядающая трава и довольно торная тропа. Скоро тропа раздвоилась: направо, к ручью и налево, между двумя огороженными участками. Маруся повернула налево, и вскоре они вышли на деревенскую улицу. Амбары и ток отсюда были не видны. Прошли мимо двух домов, и Маруся свернула к третьему, стукнула в калитку. На крыльце в ту же минуту, будто ждала, появилась пожилая женщина:

— Открыто, входите.

Оглянувшись — на улице было пустынно — Маруся увлекла Ивана во двор и сразу же — в дом. Иван успел заметить только, что собачья будка была пуста.

В доме Маруся немедленно стащила с себя бирку и бросила её на лавку, поясняя Ивану:

— Баур приказал, чтобы у всех были номера, даже у детишек.

— Баур, это кто?

— Учительница сказала, что это у них так называется крестьянин. Ну, хозяином тут стал.

Не переставая говорить, она между тем сняла с головы Ивана платок, обернулась:

— Мама, давай!

Хозяйка повернулась к печке, достала из поставленного на припечек горшка щипчики, такими кололи комковой сахар в некоторых домах. Маруся попыталась перекусить ими проволоку на бирке, но сил её не хватило.

— Дай-ка я, — сказал Иван.

Она уступила ему инструмент с сомнением: отощавший солдат не казался ей сильнее её, крепкой женщины. Однако Иван сперва несколько раз сильно надавил на одно место, а потом руками немного согнул проволоку, разогнул, снова согнул и разогнул, и металл не выдержал.

Маруся бережно сняла ошейник с Ивана и швырнула бирку в печь.

— Вот, — сказала с посветлевшим лицом, — даю тебе свободу!

Мать её в это время сходила в сени и вернулась оттуда с двумя куриными яйцами в руке. Поставила на стол стакан, разбила яйца в него, посолила.

— Кушайте, — сказала Ивану, — с хлебом, на дорогу выпей.

Повернулась к дочери:

— А может, спрячем его до ночи? По темноте уйдёте.

— Нет, мама, надо уходить, вдруг спохватятся. Хотя я и сказала Насте, чтобы на немца указала, будто он меня забрал, но вдруг он явится скоро со своей бандой.

Ничего вкуснее, чем посолённые сырые яйца с хлебом, в своей жизни Иван, кажется, не ел!

Маруся вновь водрузила ему на голову серый платок, на дворе дала стежок:

— Старухе положено быть с палкой. И согнись, чтобы твоего лица не видно было. Ага.

Хозяйка, выглянула за ворота. Никого. Хотя, конечно же, в окнах могли быть любопытные, которые увидят, что Маруся идёт по улице с нездешней старухой.

— Ну, с Богом!

И они пошли неспешно, сдерживая нетерпение.

— Собак постреляли, — рассказывала Маруся, осматривая дорогу впереди и не поворачивая головы по сторонам.

— А что Настя сказала про ту девушку?

— Про Лилию? — голос Маруси дрогнул. — Весёлая Лилия была. Певунья, артистка в общем. Немцы когда пришли, она в лучшее платье вырядилась. Кто-то ей сказал, что немцы — культурная нация. Ну, когда на улице немецкий офицер пригласил её в легковушку, она села. Он её увёз в дом, где остановился, и не отпустил до утра. А утром, когда уезжал, отдал её в школу, где солдаты остановились. И там её сильничали. Немцы уехали, а Лилия наша в школьном классе осталась без сознания. Потом умерла.

Маруся всхлипнула. Сзади в это время послышался шум автомобиля и какой-то грохот. Они посторонились, не оглядываясь. Мимо, пыля, промчался открытый грузовик, в кузове его что-то бренчало, там же сидели два молодых немецких солдата. Увидев женщин, они засвистели, заулюлюкали, один из них швырнул вышелушенную половинку подсолнуха в высокую «старуху», но не попал, чем вызвал приступ веселья у товарища.

— Дояры поехали, — пояснила Маруся, когда пыль улеглась.

— Как это? — удивился Иван.

— Молоко по деревням у хозяек берут. Слышал, как фляги гремят?

— Да! — вспомнил Иван. — А ваши коровы где? Коровник пустой.

Маруся повела взглядом влево-вправо, предупредила негромко:

— Ты потише, а то голос-то: «бу-бу» — деревня всё слышит.

Прошли в молчании несколько домов, Маруся повернула в переулочек между огородами, ограждёнными жердями, и они вышли в лесок на поросшую травой дорогу.

Маруся перевела дух:

— Выбрались. Коров было приказано угнать от немцев. Где-то на переправе, говорили, часть стада успели за реку перегнать, а тогда немцы мост разбомбили. Некоторых коров поубивало, остальных пригнали назад. Да мы их тут попрятали. Колхозных. А свои-то пока в стайках, в сараях. Ну, пастух есть, выгоняет днём в поле. И овечек с ними. Опасно, а что сделаешь?

— Попрятали коров? Как это, их же и доить надо, — удивился Иван.

— А вот увидишь потом.

Прибавили шаг. Лесная дорога, петляя меж деревьев, заходила иногда в сырые места, шла через болотца, и только знание, где проложены брёвна, выручало путников. Пригодился посох, когда нога соскальзывала с мокрого бревна. Иван стащил с головы надоевший до чёртиков платок, выпрямился и шагал за проворной спутницей, всё ещё не веря до конца, что избавился от плена. Хотел было снять юбку, мешавшую, как ему казалось, при ходьбе, но Маруся остановила:

— Погоди, там ещё дорога будет вдоль речки, вдруг немцы... Платок держи наготове. И в деревне будешь «старухой», пока не войдём в мой дом.

— А там, — Иван махнул рукой назад, — разве не твой дом был?

— Тоже мой. Потом объясню.

Дорогу, о которой сказала Маруся, пересекли, осмотревшись, примерно через полчаса, спустились к небольшой реке, разувшись, перебрались по камешкам и её.

Ещё через час хода Маруся, видя, что Иван устал, хоть и не подаёт вида, свернула с дороги к родничку, бывшему из-под небольшого уступа близ ольхи. Умылись холодной водой. Иван с изумлением смотрел на свою избавительницу: серое лицо её стало румяным, она помолодела лет на десять, словно ключевая вода была волшебной.

— Ну ты артистка! Чем загрифовалась?

— Садись, — указала на изогнутый ствол Маруся. — Чем? Да всем, что под ногами, пылью.

Села и сама рядом — на поросший травой бугорок — трава примята, видно, что на бугорке отдыхали не раз и другие путники. Маруся подняла руки вверх, потянувшись, выдохнула:

— Ох, устала! Но... — хитро прищурилась, протянула руку под основание ольхи и вынула из неприметного углубления небольшой берёзовый туесок. — Поглядим, что нам Бог послал.

Сняла крышку. В туеске оказалась горбушка хлеба, завёрнутая в белую тряпицу.

— Однако не Бог послал, а Богородица, — подивился Иван.

Маруся улыбнулась, разломила хлеб пополам, и они ели его, запивая водой из родника.

— Да-а, — сказал Иван, когда хлеб был съеден и они двинулись дальше, — ты просто волшебница. Как это всё у тебя получается? Одёжу приготовила... Как ты немца уговорила, чтобы он меня на ток привёл?

— Самогон уговорил, — засмеялась Маруся, — я ему бутылку самогона перед тем отдала. Он меня заставил сперва отхлебнуть, чтобы убедиться, что не отравлено.

— А почему меня?

— Не знаю. Предчувствие было. В первый раз когда тебя увидела, подумала, что получится тебя увести. Я показала на голову и говорю ему: «Рудый». Ага. Он мне: «Я-я». И привёл. Хороший парниша, чекушку потом отдать было не жалко.

Шли ещё без остановки часа два и, наконец, вышли из леса на край небольшой деревеньки.

— Вот мы и дома, — сказала Маруся. — Погоди тут, я гляну: нет ли непрошенных гостей.

Она прошла к ближнему дому, постояла недолго, глядя вдоль улочки, вернулась:

— Кажется, немцы ещё не пожаловали сюда. Идём.

Провела мимо крайнего дома на зады огорода, показала на неказистое бревенчатое строение:

— Это наша банька. Побудь там, а я загляну к маме.

Видя непонимающие глаза Ивана, пояснила:

— Свекровь в этом доме живёт, я её мамой зову.

— А муж на фронте?

Маруся прикрыла на мгновение ладонью глаза:

— Он умер.

— Отчего?

— От войны. На финской его ранило, долго на снегу лежал. Всё сошлось: рана и воспаление. Вынесли его товарищи, а доктора спасти не смогли, — она помолчала, добавила: — Мама его с тех пор не совсем в себе — молчит. Но ты, того, не обращай внимания. Она всё делает как следует. Она знает, что я пошла солдатика выручать. Одобряет. Я думаю, что ей даже легче будет, когда ты будешь с нами.

Маруся вернулась к дому, а Иван, прежде чем зайти в баньку, огляделся. От бани небольшой склон к ручью, и от угла торная тропа. Этот угол бани слегка просел. Иван, придерживая полы юбки, чтобы не нацеплять с созревших трав колючек, прошёл к ручью. Прозрачная струя падала с небольшого уступа в ямку и кружила там, и на её поверхности плавали первые пожелтевшие листики — скорее всего с куста шиповника, что рдел красными ягодами над уступом. И с другого бережка ручья видна тропинка, которая исчезала в густых зарослях. От бани десятков шагов, в случае опасности можно быстро уйти в лес.

День угасал, солнце скрылось за деревьями. Иван, с трудом передвигая ноги от усталости, вернулся к бане, открыл дверь. Предбанник освещался из небольшого оконца. Пригляделся в полумраке. Широкая лавка, три деревянных крючка над ней и веники — несколько дубовых и берёзовые — под потолком. Показалось, что от второй двери, хоть и прикрытой, исходит тепло. Приоткрыл её, и на него пахнуло жарким воздухом, в котором чувствовался дымок. Баня была истоплена недавно, топилась по-чёрному. И здесь крохотное оконце ловило последний свет уходящего дня. «Да, — подумал Иван, — правильно, в дом-то меня, вшивого, пускать не надо». Он стал стаскивать с себя кофту и высвобождать-ся из юбки.

В этот момент его и застала Маруся. В руке у неё был фонарь — жестяная коробка с ручкой, застеклённая с четырёх сторон, в фонаре была укреплена свеча, пока ещё не зажжённая.

— Вот, — сказала она, — тёмно уже, сейчас сделаем свет и будем париться. Любишь париться? Какой веник возьмёшь? Да ты скидывай амуницию — не стесняйся, как у доктора.

Иван, снимая гимнастёрку и шаровары, смущаясь не только наготы, но и своего исхудавшего костлявого тела, спросил:

— Кто баню натопил? Опять Богородица?

— Её зовут Устинья Фёдоровна. Бери ряжечку, шайку то есть, наливай воду горячую из котла и холодную из бадейки, а я полотенце и бельё принесу.

Она зажгла свечу, вставила её в фонарь, вышла, но тут же вернулась:

— Да! Вот мочалка и мыло. Веник надо запарить? Какой?

— Берёзовый, — отозвался Иван, совсем не уверенный, что сможет париться: спина, когда-то проколота колючей проволокой, саднила даже от прикосновения рубахи. — А чем воду набирать?

Маруся внесла из предбанника веник и большой деревянный ковш с длинной ручкой.

— Вот, тут ещё шайка, — выдернула из-под лавки, — я сама налью.

Она залила веник горячей водой и выскочила за дверь.

Иван взял ковш, оглядел его, зачерпнул из котла немного горячей воды, плеснул на камни и чуть не застонал, когда пар дошёл до спины. Какой тут веник! Налил воды горячей и холодной в ряжечку (запомнилось слово), размешал. Намылил голову, поменял воду, снова намылил волосы, затем мочалкой стал тереть грудь, живот, плечи, руки и ноги. А как мыть спину — не представлял. Взобрался на полок, лёг, расслабленный, на живот и будто поплыл по летней Оми. Вода в реке летом тёплая, как парное молоко, течение медленное...

— Как ты там? — голос Маруси из-за двери.

Иван не отозвался. Ему кажется, что это Таин голос донёсся из Богдановки, или где она сейчас — в Омске? У него нет сил ответить громко, чтобы слышно было в Сибири. Маруся вошла, прикрыла плотно дверь:

— Не паришься?

Иван очнулся. Повернул голову: Маруся в белом, похоже, что в ночной рубашке.

— Печёт.

— Что?

— Спину печёт.

Она подняла фонарь, приблизила к спине:

— О, Боже мой! Да как же ты, миленький, терпел? Сейчас я, сейчас.

Она вышла и через минуту вернулась.

— Марганцовочкой тёплой промоем... Сейчас, миленький, сейчас, потерпи.

Иван, уронив голову на руки, терпел, пока она осторожными движениями промывала ранки на спине.

Потом она помогла ему выбраться в предбанник, вытереться и одеться.

— Уж простится мне, что я тебя в мужино обряжаю.

Внесла его одежду в парную, вместе со своей юбкой и кофтой, в которых он пришёл, разложила на горячих камнях — уничтожить насекомых.

— Пусть жарятся, — сказала и повела его в дом, не одеваясь, в облепившей её тело мокрой белой рубахе.

Молчаливая Устинья Фёдоровна, ставила на стол миски, когда они вошли. А несколько минут спустя, когда Маруся ушла в баню, Устинья Фёдоровна стала колдовать над ранами — смазывала Ивану спину какой-то мазью, пахнувшей не то мёдом, не то луговой травой.

Потом дала выпить полстакана самогонки. Дыхание перехватило, Иван замер, выдохнул и принялся за картошку, политую яйцом. До кровати его, сомлевшего, проводили обе женщины. Он отключился мгновенно и не слышал, как они вздыхали горестно, укладываясь спать, — Маруся на кровати, что стояла у глухой стенки за занавеской, а Устинья Фёдоровна на своей лавке, у печи.

Утром, ещё не проснувшись, Иван знал, что он не в лагере. Открыл глаза и только теперь разглядел горницу: окна с занавесками, в одно из них смотрело солнце, на подоконниках цветы, стол у стены между окнами, возле — лавка, сундук, божница в верхнем углу с иконками Богородицы и Николы Угодника, небольшое зеркало в деревянной оправе над столом, несколько фотографий в деревянной раме. Чуть повернул голову — и вот Маруся на табурете — совсем рядом, смотрит на него и улыбается.

— Ну, просыпайся, барин, день на дворе, — и, не дав ему ответить, продолжила: — Будешь у нас племянником Устиньи Фёдоровны. Так всем и говори. Имя тебе останется — Иван, а прибыл ты с Украины, дом там твой сгорел, и документы тоже сгорели. Деревня твоя называется Богдановка.

— Как? — Иван резко сел на кровати. — Я и жил в Богдановке.

На минуту воцарилось молчание.

— Дивно, — сказала Маруся.

— В одну сторону по реке от нас Самаринка, всего за два километра, а в другую сторону — Никитинка, а ещё есть Борки, — продолжил Иван. — А в Хохляндии близ Богдановки какие деревни?

— Я не знаю, я там не была. Спросим у мамы. Я тебе почему говорю про племянника? Народ у нас тут хороший, но без уroda в семье не бывает, да? Вот один такой есть: пошёл в полицаи наниматься. Мирон Косый. Когда надо было в армию идти, он отвертелся: в лесу, мол, был, дрова заготовлял. Зарплату хочет от фрицев получать. Пока в деревню не вернулся. Даст Бог, ему там не поздоровится. А ты давай-ка спину кажи.

Подошла Устинья Фёдоровна с баночкой. Опять она смазывала ранки на спине. Потом он надел рубаху и штаны покойного мужа Маруси, которые она выдала ему накануне в бане. Рубаха была просторной для его отощавшего тела, а брюки коротковаты. Маруся принесла ему вместо галош армейские ботинки покойного мужа, разношенные, но это и хорошо, новые с носками оказались бы тесными.

После завтрака Иван осмотрел двор, пристройки. Небогатое было хозяйство: куры ходили по двору, под навесом, защищённым от ветра с трёх сторон, животных не было, корову и овец ранним утром отправили в стадо, которое можно было увидеть на лугу, если выйти за баню. В небольшом кутке навстречу Ивану поднялся боров, устремил на незнакомца маленькие глазки и хрюкнул, словно выразил неудовольствие. На стене на большом железном крюке висели хомут и вожжи, но никаких следов, что здесь была лошадь, не просматривалось. У стены дома, под навесом, Иван увидел подстилку, очевидно, собачью постель, но собаки вблизи не оказалось, не слышно её было и минувшим днём.

В этот момент к Ивану подошла Маруся, вздохнула горестно:

— Был у нас Волчок, хорошая собака. На привязи его не держали, но он со двора редко уходил, разве только сопроводить меня по деревне, если я ему разрешала. А потом с ним что-то случилось. Куда бы я ни шла, он со мной, не отступал ни на шаг, я его прогнать не могла. И увязался за мной, когда я в Росинцу пошла.

Иван слушал внимательно, но Маруся заметила, что у него возник вопрос, пояснила:

— Та деревня, возле которой ты в лагере был. Не знал? Дивно. Ну, пришёл Волчок со мной в Росинцу, а там фрицы. Повстречались мне двое, улыбались, но как-то нехорошо мне стало от их улыбок. Они и говорили ещё что-то по-своему, а мой пёс на них стал лаять. Да так яростно, будто распознал, что у них плохие мысли на уме. Они стали стрелять, не сразу попали в него... — Маруся помолчала, закусив губу, потом добавила: — Это в тот день было, когда я тебя за проволокой увидела.

Вошли в дом, на столе знакомый туесок. Маруся в него положила хлебец, завернутый в тряпицу.

— Куда-то собралась?

— Дак, туда же.

— Зачем? Тебя там схватят.

— Дочка у меня там, у мамы. Четвёртый годок ей идёт.

Иван смотрел на Марусю озадаченно:

— Почему я не видел её, когда мы были у твоей мамы?

— Она спряталась. Она прячется, когда незнакомые приходят.

Устинья Фёдоровна сидела на своей лавке, у печи, в разговор не вмешивалась, будто не слышала, о чём говорят, будто уход невестки её не касался и не тревожил.

— И-и... от тебя спряталась?

— Ну. Меня последнее время редко видела. Бабушка ей роднее стала, вместо мамы.

Иван прошёл вслед за Марусей до калитки.

— Часто ты туда ходишь? Сколько километров?

— Кто их мерил, те километры? Я тебя кружной дорогой вела, а напрямки часа за три можно дойти. Но там две деревни по дороге, могли к немцам попасть. Ну, и болото, если отсюда идти, вон за тем ельником, что за лужком. Кто не знает дорожку, может утонуть.

«Вот, — подумал Иван, — теперь я, как Волчок, из двора не буду выходить». Он готов был, как верный Марусин пёс, пойти с ней снова в деревню, но понимал, что не защитит этим её, а только увеличит опасность, привлечет к ней внимание немцев или полицаев.

Маруся пошла к ельнику, стало быть, коротким путём. Иван смотрел ей вслед, пока она не скрылась за деревьями. Обернулся — Устинья Фёдоровна стоит на крыльце и тоже смотрит туда, где исчезла невестка.

После вчерашнего пятичасового похода Иван чувствовал себя разбитым — всё-таки ослабел он изрядно, удивительно, что дошёл. Но, надо что-то делать, не быть же нахлебником у женщин. Он видел, что возле поленицы дров лежат нерасколотые большие чурки. Марусе, видимо, справиться с ними было не по силам. Но и он пока плохой дровосек.

Иван прошёл под навес, открыл дверь в огород, тут было сложено сено, которое женщины накосили летом, умудрились свезти его и сложить в большой стог. И здесь же копна соломы — для подстилки животным. В огороде картошка уже выкопана, но близ изгороди выстроились в ряд вилки капусты. Рубить рано. Поодаль — свёкла и морковь. Делать здесь было нечего. Иван вернулся, закрывая дверь, обнаружил, что верхняя петля разболталась и вот-вот отстегнётся. Пошёл в дом. Устинья Фёдоровна готовила варево на обед.

— У вас молоток и гвозди найдутся? — спросил Иван женщину.

Она повернулась от печи, пошла в сени, там открыла дверку в чулан, вынесла из него деревянный ящичек, в котором были инструменты: ножовка, молоток, щипцы, гвозди — в основном погнутые, кое-какая железная мелочь.

Иван увидел здесь лезвие ножа, почти такое же, какое было у Дзгоева, отложил его в сторону, потом сходил под навес, поправил дверь, вернул инструменты в сени, сунул нож в карман и пошёл к бане. «Надо прибрать свою армейскую амуницию, спрятать, — подумал он, — немцы могут нагрянуть рано или поздно, тогда не докажешь, что ты племянник, а не красноармеец». Но в бане никаких вещей не оказалось. Маруся подумала о них раньше.

Иван вернулся в дом. Близ двери на табурете сидела пожилая женщина, примерно, ровесница Устиньи Фёдоровны. Она искоса посмотрела на Ивана и раньше, чем он успел поздороваться, сказала:

— Дзень добры!

— Здравствуйте, — отозвался Иван и не знал, что ему делать дальше: задержаться ли здесь или пройти дальше в горницу.

Но гостя, вероятно соседка, продолжала свой прерванный разговор с Устиньей Фёдоровной, вместе с тем внимательно осматривала Ивана; он прошёл в горницу и сел у стола, слушал белорусскую мову, не вникая в суть того, что говорила соседка. «Видела, наверное, меня во дворе, пришла узнать, кто таков — подумал Иван. — Ну, однако, Устинью Фёдоровну сильно-то не разговоришь».

Он снова вышел во двор, нашёл под навесом лопаты и метлу, почистил места, где располагались ночью овцы и корова, убрал и у борова, заменил соломенные подстилки. Потом взял ведро и сходил к ручью за водой. Налил воды в деревянное корытце, лежащее во дворе.

Обедал с некоторым облегчением в душе: всё-таки сделал кое-что по хозяйству.

После обеда снова вышел во двор, близ собачьей подстилки обнаружил висевший на

стене обрывок ремня с привязанной к нему тонкой пеньковой верёвкой, которые, видимо, служили Волчку вместо цепи. Обмотал куском верёвки тупой конец ножа — получилась рукоять, а из двух полос ремня, скреплённых бечёвкой, сложились ножны. Близ поленницы с дровами нашёл обломок бруска, наточил нож. Стало на душе спокойнее: будто обрёл свою первую собственную вещь, а то всё, вплоть до исподнего, было чужим. Спрятал нож в карман.

Осмотрел топор, который лежал за дверью в сенях, решил, что пора менять топориче. В поленнице с дровами выбрал подходящее берёзовое полено, стал вытёсывать из него топориче, но топор был тупой. Попытался точить его обломком бруска, однако лезвие правке поддавалось плохо. Но тут распахнулась дверь дома, Устинья Фёдоровна вывело-локла из чулана точило — деревянное корытце на ножках с укреплённым на нём диском и рукоятью. Это уже кое-что. Налил в корытце воды, наточил топор, стал дальше вытёсывать топориче.

Так в хлопотах день незаметно подошёл к концу. Вернулись из стада корова и овцы. Устинья Фёдоровна вышла с подойником, завела корову под навес и стала доить. Всё было так, будто Иван жил здесь давно и был равноправным хозяином. Но что бы ни делал, мысли постоянно обращались к Марусе и сердце тоскливо сжималось: как она там?

Ночью спал беспокойно, крепко уснул лишь под утро. Когда проснулся и открыл глаза — перед иконами стояла Устинья Фёдоровна. Негромкий шёпот её молитвы доходит до Ивана:

— ...И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободы мя...

Иван закрыл глаза и притаил дыхание, чтобы не помешать молитве.

День выдался пасмурный, после полудня пошёл мелкий, почти невидимый дождь. Где Маруся? В пути, или в Росинце у матери задержалась? О том, что её могли схватить полиция или немцы, старался не думать. Приготовил дрова в баню, наносил с ручья воды в котёл, но топить баню не стал, был почему-то уверен, что Маруся в этот день не придёт.

Прошёл ещё день, и ещё. Иван готов был идти в Росинцу, но Маруся, наконец, появилась ясным солнечным днём. За спиной у неё, привязанная шалью, спала, свесив на сторону голову, девочка. Иван встретил их во дворе. Не удержался, приобнял Марусю, она не отстранилась, облегчённо вздохнув, развязала узел шали, сказала:

— Помоги мне.

Иван принял девочку на руки, она в это время открыла глаза, испугалась незнакомого дядьки и заплакала.

Маруся забрала её. Девочка спрятала лицо на груди мамы.

— Вот, — сказала Маруся, — это моё солнышко, моя доча, Анечка. А это — дядя Ваня, не бойся, он хороший.

Аня всхлипнула ещё раз, повернулась лицом к дяде, посмотрела внимательно и сделала какой-то свой вывод.

Взгляд Устиньи Фёдоровны изменился. Раньше она смотрела на людей и предметы так, словно видела не их, а нечто неведомое, за ними. А теперь она посмотрела на внучку внимательным любовным взглядом, протянула, всё-таки молча, к ней руки. Аня помедлила, видимо, вспоминая бабушку, потом шагнула к ней, они обнялись и притихли.

Иван глянул на Марусю: на глазах её появились слёзы и... улыбка на лице.

Баню Иван затопил ещё до появления Маруси. Когда она протопилась, Маруся взяла дочку и они пошли смывать с себя дорожную пыль и болотную, уже засохшую жижу.

За ужином Иван обратил внимание, что лицо Маруси осунулось, а в глазах появилась несвойственная ей печаль.

— Устала?

— И это тоже.

— Что ещё?

Она повернула голову в сторону свекрови, потом посмотрела зачем-то на печь, прикрыла ладонью губы, дрогнувшие как перед рыданием, но сдержалась.

— Немцы Киев взяли.

Иван и Устинья Фёдоровна не проронили ни слова. Аня переводила взгляд с одного взрослого на другого, пытаясь понять, что случилось.

— Пьяные, — Маруся склонила голову и смотрела теперь вниз, словно винилась перед кем-то, — песни орут: «Вольга, мутер Вольга!» И что творят!..

Она не осмелилась сказать, что творилось пьяными немцами в деревне. Иван знал, на что способны фашисты в трезвом виде, и догадывался, какие преступления они могут совершить в алкогольном угаре. Подумал: «Киев-то на Днепре. При чём тут Волга? До Волги ещё ой как далеко!»

Аня легла спать с бабушкой. Иван на своей кровати ворочался долго и слышал, как за занавеской прерывисто дышала Маруся, похоже, что тихо плакала.

На следующий день пришла соседка, поздоровалась со всеми, пояснила:

— Патрэбна некаторая дапамога.

Оказалось, что пастух, пожилой старик Гордей, ногу подвернул, и стадо за деревню ранним утром проводила она, Екатерина Егоровна. Народу в деревне поубавилось, особенно мужиков, ребята, что постарше, в соседней деревне проживают, чтобы в школу ходить. Здесь-то всего одна учительница, для маленьких. Тут только Иван узнал, что она заменяет председателя колхоза, который сдал ей должность в связи с началом войны и отбыл куда-то по распоряжению районного начальства. Пасты скот — это кстати. Иван согласился без оговорок, и не слушал даже, что говорила председательша о том, что у жителей нет денег и платить за работу они будут продуктами. Ну, и если что-то понадобится Ивану из одежды — зима впереди, найдётся ему и «кажух», и «абутак».

Екатерина Егоровна пожелала узнать, как живёт большая деревня Росинца, когда там бывают немцы.

Маруся сразу изменилась в лице. Она посмотрела в сторону проснувшейся дочки и пошла из хаты. Иван и Екатерина Егоровна последовали за ней.

— Гады! Ох, какие гады эти фашисты! — сказала Маруся, когда они вышли на крыльцо. — Я вчера Ване не сказала, что они сделали с Вале́й. Девочка в школу пошла, а её схватили пьяные фрицы и прямо на огороде, на куче ботвы...

Маруся задохнулась от волнения, опустилась на ступеньку, закрыла лицо ладонями. Иван и Екатерина Егоровна боялись смотреть друг на друга.

— Они её, — глухо, с трудом проталкивая слова, сказала Маруся, — потом штыком насквозь. Ба... бабушку Степаниду застрелили, когда она кинулась защищать Валу.

Маруся подняла лицо к Екатерине Егоровне, заговорила, словно в бреду:

— Фашисты Киев взяли... праздник себе устроили... Книжки, тетрадки... пятый класс... платьице разорванное... всё в крови... Была у нас вечером... Мы с ней стишок учили...

Иван наклонился, приподнял Марусю, чтобы она встала на ноги:

— Всё-всё, хватит, свихнёшься.

— Ох! — Маруся пошла в дом.

Иван вошёл вслед за ней, налил в стакан воды.

— Выпей.

С бутылкой молока и горбушкой хлеба вышел из дома и провёл день Иван возле стада. Животных немного, коровы и овцы спокойно паслись на лугу, только один бычок — из-за него старик ногу подвернул — всё норовил влезть в болотце, которое начиналось перед еловым леском. Видно, ему казалось, что трава там зеленее и слаще. Пришлось несколько раз возвращать его хворостиной на место.

Иван сидел на взгорке, на пеньке, у края леса, поглядывал за скотиной и вырезал из сухой черёмуховой ветки ручку для ножа. Изредка оглядывал местность: лес и травы меняли свои зелёные краски на жёлтые, багровые, красные — словно в ожидании праздника. На болоте цапля стоит, высматривая меж кочек лягушку-разиню. Изредка донесётся лягушачье кваканье, и вновь тишина и покой. Стайки диких уток стремительным летом подчёркивают иногда безмятежную эту тишину. Ближе к ночи — лягушачий хор.

Вечером, когда Иван пригнал стадо в деревню и проходил мимо хаты пастуха, Гордей поманил его к себе во двор, дал длинный пастуший кнут. Но смотрел с некоторым сомнением, с опаской, будто отдавал самое главное своё богатство.

— Спасибо, — поблагодарил его Иван. — Я верну в сохранности.

Утром он заметил, что в сторону болота с ельником прошла группа женщин, к полудню они вернулись в деревню, но ближе к вечеру прошли опять и снова вернулись незадолго перед тем, как Иван погнал стадо по домам. Спросил у Маруси:

— Чего это бабы в ельник ходят? Ни шишек, ни ягод будто не несут.

— Заметил? — Маруся посмотрела в сторону свекрови, та была занята пряжей. Анечка сидела на печи. — На дойку ходят. Мы колхозных коров спрятали за ёлками. Там доят, там и сепаратор есть. Ты спрашивал в Росинцах, где коровы? Вот так же: которые уцелели — в лесу. — Вздохнула: — Конечно, пока немцы не дознались.

— Среди полицаев местных нет?

— Да, есть. Но они пока тоже без ведома, что часть коров вернули из угона. Зимой, может, меньше фашисты шастать будут, тогда переживём.

— А как же хлеб? Мука откуда?

— Мельница выше по ручью. Небольшая, но нам хватает. Вёска наша, деревня то есть, маленькая, народу немного, все успевают до зимы пшеничку смолотить, которую на трудодни выдают. В прошлом году хорошо заработали, до сих пор ещё зерно есть, и нынче успели урожай убрать и попрятать.

Маруся глянула на свекровь: не лишнее ли она сболтнула? Но Устинья Фёдоровна сделала вид, что не слышит, о чём говорят молодые люди.

Через неделю Гордей забрал свой кнут и вышел на службу.

О покойном муже Иван Марусю не спрашивал, и женщины о нём не вспоминали при Иване. Однажды, когда их в доме не было, Иван подошёл к рамке с фотографиями и взгляделся в чёрно-белое фото: Маруся и её муж сидели рядом, смотрели напряжённо в объектив фотокамеры и поэтому их глаза, словно живые, следили за Иваном, куда бы он ни сдвинулся. Молодое, чуть скуластое лицо мужчины казалось знакомым, видимо, оттого, что такие лица встречаются постоянно. «Сколько уже полегло, — задаётся вопросом Иван, — и сколько нас ещё погибнет? Где моё место должно быть сейчас, где завтра?» Маруся вошла в хату, увидела, что Иван смотрит на фотографии, подошла.

— Миша, — сказала негромко, — сильный был и добрый.

В субботу, когда топилась баня, Иван подошёл к зеркалу, потрогал отросшую бородку, ещё не знавшую бритвы, подумал: «Партизан — как есть. Побриться бы». Чем? Но Маруся видела, как он смотрел в зеркало, подошла сзади:

— Вот, ты уже на человека похож, а то был кожа да кости. Бритва есть и помазок. Дать?

Принесла и широкий кожаный ремень, на котором, видимо, её муж правил бритву. Иван осмотрел всё, провёл лезвием несколько раз по ремню, как это делал его отец. Отец носил усы и бороду, постригал их ножницами, а бритвой лишь убирал лишние волосы, которые закрывали его щёки почти до самых глаз. Бритва у отца была точно такая же: складная, с костяной ручкой.

— Красивая у тебя борода, — сказала Маруся, — прям золотая. Волосы ярче, чем на голове.

— И у батьки так же, — вздохнул Иван, взбивая помазком пену.

— Давай я, — предложила Маруся, — я умею.

Она забрала у него помазок, намылила ему подбородок, усы, придерживая свободной рукой то нос, то кожу на щеках. Пальцы у неё мягкие, ласковые и умелые. Никогда в жизни не испытывал ещё Иван такого блаженства, как от лёгких её прикосновений.

— Ну вот, — удовлетворённо выдохнула Маруся, когда от растительности на лице Ивана не осталось и следа, — теперь ты стал ещё моложе.

В голосе её слышится Ивану затаённая грусть.

В бане Иван с удовольствием попарился, радуясь тому, что ранки на спине зажили. Когда вошёл в дом, Маруся глянула на него, розовощёкого, с одобрением, вздохнула:

— Какая была бы жизнь, кабы не фрицы!

Недаром говорят: «Не поминай лиха...»

Устинья Фёдоровна доставала ухватом из печи чугунок со щами, Маруся готовила на стол: нарезала сало, поставила солёные огурцы и хлеб, когда на крыльце загремели шаги, спешно вошла Екатерина Егоровна:

— Палицыянт!

Но предупреждение запоздало. Иван увидел в окно, как во двор вбежали двое полицейских с винтовками наперевес и бросились к крыльцу, а следом за ними во двор вошёл третий и остановился, оглядывая сарай и огород. Дверь распахнулась, на пороге возник полицейский с винтовкой, направленной на Ивана:

— Ага! Хенде хох!

За ним маячил другой.

Иван, не вставая со скамьи, поднял руки.

— Тю! Мирон, тут немцы что ли? — возмутилась Маруся. — Убери ружьё, а то ещё стрельнёшь нечаянно.

«Тот самый, — вспомнил Иван, — Косый, кажется».

Косый опустил ствол, потом прошёл ближе к столу, сказал Ивану, показывая в угол:

— Туды сидай.

Иван сдвинулся на скамье, опустил руки на стол. Второй полицейский, здоровенный мужик в отличие от Мирона, тоже прошёл к столу, сел по другую сторону от Ивана, винтовку положил на колени.

— Горилка е?

Оба полица были уже в подпитии. Устинья Фёдоровна вышла в сени и скоро вернулась с четвертью в руках, поставила на стол. Самогона в бутылки было менее, чем на треть. Мирон взял бутыл, приподнял, осмотрел на просвет, потом вынул пробку и налил немного в стакан Ивана, придвинул ему:

— Пий.

«Боится, что отравлена», — понял Иван, сделал глоток.

— Всю.

Иван допил остаток, поперхнулся. Косый потянулся через стол, достал стаканы, приготовленные было Марусей для себя и для свекрови, налил почти полные себе и своему соратнику. Полицаи выпили, захрустели огурцами и закусили салом. Косый потребовал: «Шти!» Устинья Фёдоровна налила в тарелки щей незванным гостям.

Екатерина Егоровна, молча наблюдавшая эту картину, вышла. Иван видел в окно, как полицаи, дежуривший во дворе, остановил её и обшарил: не несёт ли чего? Отпустил, и председательша ушла, ругаясь, со двора.

— Москаль? — спросил Мирон, утерев ладонью губы.

Иван не успел ответить, встряла Маруся:

— Племянник Устиньи Фёдоровны, на Украине жил.

Мирон склонил голову, что-то соображая, ствол винтовки, зажатой коленями, смотрел ему в подбородок. Иван и Маруся одновременно увидели это. Иван подумал: «А ну как выстрелит себе в башку, греха потом не оберёшься». Маруся подошла к полицая, протянула руку:

— Дай ружьё, а то ты ненароком себя убьёшь, а нам отвечать придётся.

Косый удивлённо посмотрел на неё, потом на ствол винтовки, выпрямился:

— А шо? Бери!

Маруся осторожно изъела винтовку, на вытянутых руках отнесла её и положила на лежанку, почти уперев конец ствола в стену печи.

— Пусть докажет, что он украинец, — пробурчал второй полицаи, — документы есть?

— Какие документы?! — взвилась Маруся. — Хата сгорела со всеми документами, вот он и пришёл сюда.

Косый вновь налил из бутылки себе и своему товарищу полные стаканы, остатки плеснул в стакан Ивана. Опустевшую посудину милостиво вернул хозяйке.

— Пусть расскажет, что там на Украине, да на украинской мове, а ты, Мирон, послушай, какой из него хохол.

«Э-э! — Иван поймал на себе пристальный изучающий, почти трезвый, несмотря на выпитый самогон, взгляд второго полицейя. — Этот бугай не прост».

Косый отпил из стакана половину, поставил стакан на стол, бросил в рот ломтик сала, кивнул Ивану. Давай, мол, действуй, пей и говори.

Иван выпил, радуясь тому, что на его долю осталось совсем немного этой гадкой жидкости. В деревне у себя он однажды попробовал самогон, ему не понравилось. Решил тогда: «Пусть его враги пьют». И вот они, враги, сидят рядом и пьют. Он тоже прожевал кусочек сала и вдруг, неожиданно для самого себя, негромко запел: «Дывлюсь я на небо та й думку гадаю...»

Маруся и Устинья Фёдоровна замерли от удивления. И полицейя воззрились на певца с изумлением. Голос у Ивана приятный, бархатный, пел, как дышал, свободно, чувствовалось, что петь он мастер. «Чому я не сокил, чому не летаю...» Иван пел проникновенно, как требовала песня — не для служивых немецкой полиции, а для женщин, которые вызволили его из плена, вернули ему жизнь. Однако и Косый — придвинулся к нему и приобнял — тоже вплёл свой голос в мольбу неизвестного им парня о воле, о ласке, о любви.

— Пидешь з нами, — сказал Мирон, когда песня отзвучала.

— Куда?! — Маруся оторопела.

— Служить.

— Он не может! Он больной! Посмотрите! — она быстро подошла к Ивану. — Встань, повернись! — и задрала рубаху на спине Ивана. — Вот!

Тёмные пятна от заживших гнойничков по всей спине — у Мирона приоткрылся рот: а вдруг это заразная болезнь?! Второму полицейю тоже не по себе. Они дружно, залпом, выпили остатки самогона и поднялись. Мирон повесил на плечо свою винтовку и, пошатываясь, пошёл к двери. Второй полицейя остановился возле Устиньи Фёдоровны, глаза мутные:

— Давай!

— Чо давать-то? — возмутилась Маруся.

— Сало, мясо.

— Имейте совесть! Нету. Это последний шмат.

Он вернулся к столу, сгрёб неразрезанный кусок сала, сунул в карман, повернулся к Марусе, сказал назидательно и одновременно жалуясь:

— Власть надо кормить. Платят мало, суки, только рублями, а нам положено и марки давать. Детей надо кормить, у меня двое.

— Бедненький, — съехидничала Маруся, — иди корми своих детей.

Выпроводила до крыльца, вернулась, выдохнула облегчённо, не веря тому, что дёшево отделались. Тихо стало в доме. Анечка подала голос с печи, где она пряталась всё время, пока в доме были полицейя:

— Мама!

— Ушли чужие дяденьки, слазь, доченька.

Но Аня не сползает, как обычно, с печи на лавку, а прыгает.

— Опля! — Иван подхватывает её, опасаясь, что девочка по инерции упадёт с лавки и ушибётся. — Попрыгунья наша.

Он прижимает Аню к себе, впервые, и она отвечает ему, обнимает тёплыми мягкими ручками шею. Женщины смотрят на них: Устинья Фёдоровна задумчиво, Маруся — с увлажнёнными от пережитого и от нахлынувших чувств глазами.

Вечером после ужина, когда Иван и Маруся, сидя за столом друг против друга, встречались взглядами, Устинья Фёдоровна вдруг сказала, глядя на них:

— Беритесь.

Это было первое слово, обращённое одновременно и к Ивану, а не только к Марусе. Щёки Маруси мгновенно полыхнули румянцем: свекровь благословила молодых на совместную жизнь, на любовь. Иван взглянул на Устинью Фёдоровну с благодарностью,

поднялся и вышел на свежий воздух, чтобы охладиться. День догорел, на западе, где скрылось солнце, под нависшим серым облаком угасала полоска зари. Было зябко, чувствовалось дыхание осени. Спустя минуту вышла вслед за ним Маруся. На плечах шаль, в руках кожушок.

— Одень, а то простынешь.

Иван порывисто привлёк её к себе, мгновение они смотрели друг на друга сияющими глазами, а потом крепко, так, что перехватило дыхание, поцеловались.

— Пойдём в баню, — переведя дух, прошептала Маруся.

В дом возвращались, когда ночь накрыла землю, но облако ушло, и во всю силу на небе сияла луна. Воздух свеж и холоден, как ключевая вода. Остановились зачарованные.

— Как в песне, — сказал Иван, невольно вырвалось негромким напевом: — Нич яка мисячна, заряна, ясная...

— Я тоже знаю. Видно, хоч голки збирай, — засмеялась Маруся. — Пойдём спать, соколик мой, завтра ещё споёшь.

Медовая неделя — спал Иван теперь с любимой на широкой деревянной кровати за занавеской — кончилась неожиданно, так же, как и началась.

Ивану дали валенки, поношенные, других его размера не было. Он ссучил дратву, подшил подошвы, вырезанные из голенищ другого старого валенка. И вовремя. Похолодало в этом году рано, и даже выпал снег. На солнце снег кое-где на пригорках подтаял, но в тени белоснежное покрывало и не думало исчезать, словно пришло время настоящей зимы. Овощи на огороде убрали, опустили в погреб. «Захували у склепе», как сказала Устинья Фёдоровна. Вечером, когда после ужина Устинья Фёдоровна уже зажгла лучину — немного керосина в большой бутылке она берегла на крайний случай, на зиму, — в дверь негромко постучали.

— Кто? — Маруся подошла к двери.

— Свои.

Маруся помедлила и откинула крюк.

Вошли двое, с ружьями.

— Здравствуйте, хозяйева, — сказал старший, — простите, что, как воры, ночью пришли. Дело у нас.

— Проходите, дядя Тихон, садитесь, я по голосу вас узнала.

— Ну и ладно.

Сели на лавке у стола, больше некуда, осмотрелись.

— Я догадываюсь, — сказала Маруся, — какое у вас дело.

— Это хорошо, — вздохнул старший.

— Вы с дороги? Кушать хотите?

Мужики переглянулись.

— Чего уж там — хотим.

Устинья Фёдоровна отодвинула заслонку, взяла ухват и достала из печи чугуны со щами. Гости аккуратно поставили ружья в угол, сняли верхнюю одежду — у парня бушлат, старший был в пальто — и по очереди загремели умывальником. Поели, изредка бросая взгляды на Ивана, поблагодарили Устинью Фёдоровну.

— Как зовут? — обратился к Ивану Тихон. — Как здоровье?

— Иваном нарекли родители, а по батюшке — Яковлевич. Здоровье в порядке. А вы, я понимаю, партизаны?

— Правильно понимаешь. Пойдёшь с нами?

— Пойду.

Иван посмотрел на Марусю, она в разговор не вмешивалась, стояла у печи, скрестив руки на груди.

— Ну, добро. Тогда собирайся. Одевайся потеплее, в лес идём.

— Прямо сейчас? По темноте?

— Ничего, дорога нам знакомая, серп на небе посветит, дойдём.

Одежда у Ивана надёжная: серая армейская шапка бывшего Марусиного мужа, но главное — «кажух», полушубок из бараньей кожи. На ногах ботинки, снегу ещё не время, этот, первый, должен стоять, и валенки будут мокнуть. В сумку с лямками Устинья Фёдоровна положила продуктов, перекрестила Ивана. Маруся обняла его у порога, попросила:

— Береги себя.

И тут неожиданно, несмотря на присутствие посторонних людей, к Ивану подошла проснувшаяся Аннушка, ухватила за палец и сказала: «Папа». Первый раз услышал Иван, что стал папой. Сама ли додумалась Аня или мать научила — выяснять поздно, да и незачем. Он поднял девочку, поцеловал в щёчку.

— Слушайся маму и бабушку, — наказал и передал дочку Марусе.

За воротами партизаны повернули не в лес, а по улице.

— Проверь, Коля, — кивнул молодому парню Тихон.

Николай прошёл вперёд, на его шаги в ближнем дворе лениво тявкнула собака. В этой деревне война ещё не навела свой порядок. Через несколько дворов Николай остановился у ворот приземистой хаты, прислушался, потом стукнул два раза кольцом калитки.

— Заходите, — раздался с крыльца хриплый мужской голос, — не заперто.

Хозяин шагнул в сени и вышел с фонарём. Под навесом на соломе Иван увидел разделанную свиную тушу. Два больших куска были завернуты в холстины. Их вложили в мешки с лямками, Тихон надел свой вещмешок на спину, помог сделать то же Николаю. Достал из внутреннего кармана свёрток и подал хозяину:

— Тут все, как договорились.

— Ага, добро, спасибо, — старик не стал пересчитывать деньги.

— Это тебе спасибо, Лукич, большое спасибо.

— Если что, приходите ещё, у меня и бульбы можно взять. Передай там командиру.

Тихон вздохнул:

— Если денег соберём.

— Что деньги? Мне этих хватит, базар далёко.

— Передам, обязательно.

Они вернулись на край деревни, Тихон повернул к лесу, на взгорок. Лунный серп показался за лесом, вывездило, и чувствовалось, как с северной стороны тянет холодным ветром. Но вошли в лес, ветра здесь нет, и Ивану в полушубке сразу стало жарко. Он расстегнул застёжки не только на верхней одежде, но и на рубахе. Тихон шёл впереди, Иван следом, а Николай чуть приотстал, пропустил новобранца и шёл последним.

«Однако не совсем доверяют», — подумал Иван, но обиды не было.

— Так ты говоришь, что бежал из лагеря? — полуобернувшись на ходу, спросил Тихон.

Ничего такого Иван им не говорил, вероятно, Екатерина Егоровна знала от Марийки, какой он «племянник». Однако возражать не стал, ответил:

— Бежал два раза, да ловили, а вот Марийка меня умыкнула.

Некоторое время шли молча, шагов почти не слышно на ковре из листьев, укрытом белым холстом. Тихон иногда светил карманным фонариком, когда в тени деревьев попадалось препятствие. Снова спросил:

— В плен по ранению попал?

— Если бы, — Иван вздохнул. — Ночью нас взяли, полковой писарь немцем оказался.

— Вот как? — некоторое время шли молча. Потом Тихон продолжил: — По разговору не слышно, что ты украинец.

— Хохлами мы себя называем в деревне, в Сибири живём.

— Далёконько.

Часа через два их остановил резкий отрывистый окрик:

— Стой! Кто идёт?

— Это я, Тихон. Со мной двое.

— Пароль!

— Дубки, — Тихон засмеялся: — Молодец, Илья, так и надо. Отзыв?

— Знамя. Проходите, — парень с винтовкой шагнул из-за дерева на тропу, за ним оказался ещё один. — Происшествий в отряде нет, дядя Тихон, — доложил часовой.

— Командир здесь?

— Отдыхает.

Через полсотни шагов они вышли к поляне, на краю которой землянка, партизаны спустились в неё. Иван остался ждать. Тихон и Николай скоро вышли, уже без своей ноши.

— Пойдём, — сказал Николай, — в нашу гостиницу.

Иван прошёл за ним в сторону от поляны, за деревьями увидел: сперва костёр — не ярко горели два толстых бревна, потом против костра разглядел нишу из ветвей, вроде бы шалаш, но без одной стенки, в нём — двух человек, спавших на лапнике, ногами к огню. Спали чутко, при появлении людей возле, проснулись оба, узнали Николая, подвинулись, освобождая место, и тут же отключились оба.

— Вишь, какие богатыри, — кивнул Ивану Николай. — Ух, как посплю сейчас!

Он повалился на хвою и тотчас затих. Иван снял со спины свою котомку, снял кажух, лёг на одну полу, прикрылся другой, шапку под голову, сумку с продуктами — за голову. Уснул не сразу, хотя тёплый воздух от костра, смешиваясь с запахом хвои, убаюкивал не хуже, чем печь в родной хате. Из-под навеса ему видны были узоры ветвей на фоне неба, в котором уже поднялся серп месяца в сопровождении звёзд. Звёзды воспринимались искрами костра, улетевшими в поднебесье. Удивительное дело: видит он месяц в вышине, а дома отец, наверное, видит сейчас этот же серп, только близко над полем, в западной стороне. В Сибири уже утро. Батя часто выходит перед рассветом во двор, чтобы унять кашель — всё ещё исторгает из груди немецкие газы Первой мировой.

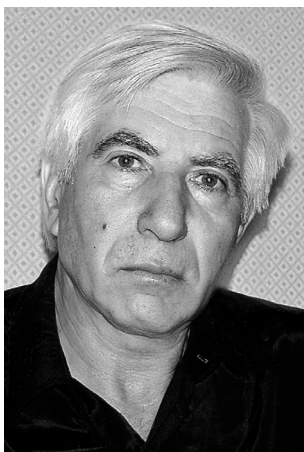
Вспомнил Таю. Спит, наверное, сейчас. Повинился мысленно перед девушкой: «Прости, милая, что у меня другая теперь. Война так распорядилась».

Конец первой части

ПОЭЗИЯ



ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО



Душа скучает по былому

Ангел, Ангел, вестник Божий,
Огради меня
От духовных бездорожий,
Адова огня!
Застолби мою дорогу
Крепостью любви,
Чтобы путь, угодный Богу,
Удалось пройти.

* * *

От края до края жизни
И я пройду не спеша.
Над задремавшей Отчиной
Вспорхнёт и моя душа.

Деревню кобель разбудит,
Скулёжем собак дразня,
Наверно, ведрено будет,
Только не будет меня...

ЗАБЕЛЛО Василий Константинович, поэт, прозаик. Родился в 1947 г. в небольшом прибайкальском селе Утулик на берегу Байкала. Печататься начал в конце 70-х гг. в иркутских газетах. Стихи выходили в коллективных сборниках «Начало» (1981), «Час России» (1988), в журналах «Литературная учёба» (1983) и «Сибирь» (1983). Автор книг: «Ледостав» (1988), «Возвращение» (1990), «Осенний пал» (2001), «Избранное» (2007) и др. Живёт в г. Байкальске.

* * *

Как задули ветры, как запели!
И пути-дороги повлекли.
Незаметно годы пролетели
От родной сторонushки вдали.

Вновь гогочут гуси на пролёте,
Но молчит, подвымерло село.
Как вы тут, родимые, живёте?
Сколько व्यюг за ставнем промело...

Я оставил город безоглядно
Ради жизни тихой и простой.

Намотавшись по миру изрядно,
Блудным сыном встану на постой.

Развернём баян за нашу встречу,
Пусть повеселится старый дом.
Чем был путь значительным отмечен,
То яснее видится потом.

Запоём «Рябинушку», как пели,
Как с войны солдатушки пришли,
И о том, как годы пролетели
От родной сторонushки вдали.

* * *

Плакали чайки, кричали
Над заливым камышом...
Полный страстей и печали,
Путь я не малый прошёл.

Не удивить, не расстроить
И не наплакаться всласть.
Только мечталось порою
К родине милой припасть.

Как мне пейзаж её дорог!
В хвойно-багульный настой
Вновь забегу на пригорок
И окунусь с головой.

Шум отдалённый прибоя —
Гальку шлифует волна.
Счастлив я снова с тобою,
Детства шального страна.

Нас разбирали дороги.
Всем ли достало подков?
Уж не увижу я многих
Из коренных земляков.

Кто пригласит меня к чаю,
В ту ли калитку вошёл...
Плакали чайки, кричали
Над заливым камышом.

* * *

Путь без веры дюже трудный,
Безысходен и опасен,
Но даёт по силам людям
Крест нести Господь наш Спасе.

В нём Престолы, Силы, Веды —
Наша кротость, наша песня.
Сам Христос сей путь изведаль...
Без Голгофы кто воскреснет?

Рождественское

Шумит под яром межень речки.
Иду по краю не спеша.
Что впереди? — вопрос извечный,
И к Богу тянется душа.

Уж звёзды высыпали ясно,
И землю славят небеса.
Исус младенец светит в яслях,
И мёдом с неба голоса...

Коровы, овцы, львы и тигры
К нему приходят на поклон.

Он затевает с ними игры
Под сладкозвучный перезвон.

А дальше путь до той Голгофы
С честною кровию Христа,
Что Русь спасёт, дойдёт до тофа,
Как вековечная мечта.

И с тех времён, по сути, в мире
Не изменилось ничего...
Иду под звёздами Сибири,
Ликуй, Христово Рождество!

Школе посёлка Танхой

Баргузин вздымает вал.
Мчится поезд скорый...
Школа — окнами в Байкал,
А порталом в горы.

Лист сорвётся золотой —
Понесёт по ветру.
Принимай детей, Танхой,
С разных километров...

Распахни пошире дверь
В кладезь от науки
И входящего заверь:
Будет не до скуки.

И учитель дорогой
Поведёт под своды...
Катят волны за волной,
Словно наши годы.

Позовёт иная даль,
Синью смежит веки.
Скажем, здравствуй магистраль,
Мы твои навеки!

Позади прощальный бал,
Откружили смело...
Школа... окнами в Байкал
Смотрит то и дело.

* * *

Переквасили капусту
И расстались навсегда.
Без меня не будет пусто
В твоей жизни никогда.

Ты пойдёшь по белу свету
Воплощать свои мечты.

Только в них меня уж нету —
Все порушены мосты.

Ну а я в зовущей дали
Обрету другой мотив,
Никого не печалив,
Никого не осудив.

* * *

Подойдут и отступят морозы...
Сколько дней уже кануло в Лету!
Расплескался закат ярко-розов,
А тебя до сих пор рядом нету.

В проводах воеет ветер упруго,
Облаков завивая охвостья.
Ты пиши мне почаще, подруга,
Дорогая и редкая гостя.

Между нами тоскливые вёрсты
И чугунных колёс перестуки.

Только снова зовёт перекрёсток
Нашей встречи с тобой и разлуки.

Я вернусь на него утром светлым,
Загадаю, чтоб выпала встреча.
Будут петь нам апрельские ветры,
Будет долгим и радостным вечер.

А покамест закат ярко-розов
Над грядою горит самоцветом,
И надрывно кричат грузовозы
Всё о том, что тебя рядом нету.

Октябрь 2011 г.

* * *

Что-то с нами сегодня случилось,
Счастье тихое вдруг изручилось,
Укатило за синие горы,
Словно поезд свистящий и скорый.

Незавидная грустная доля —
Одичавшее русское поле.
Трактора на металл запродали,
Ветер высвистел межи и дали.

Что-то сделали с нами нечисто
Господа мудрецы-глобалисты.
С хрустом падают сосны и кедры,
За кордоны вывозятся недра.

Сколько крови пролито за землю,
Распродажу её не приемлю!
Она искони русская наша,
Дайте волю — очистим, распашем!

* * *

Сыну Трофиму

Душа скучает по былому,
По небу тёмно-голубому
С отливом розовым вдали,
Где облака, что корабли,
Проходят парусной грядой
И исчезают за чертою...
И всё плывут туда, плывут,
Где и меня, возможно, ждут
Отцовский дом, подсолнух, прясло.

Там воздух чист и небо ясно,
Там лес и поле, и цветы,
Не обманувшие мечты
Ещё живут, ещё со мною...
И то, что мы зовём судьбою,
В пути-дороги не сложилось,
И принимая жизнь, как милость,
Мне предстоит ещё познать
И скорбь, и Божью благодать.

Под небом Байкала

Под небом Байкала у горной гряды
Раскинулся город Слюдянка.
Есть в имени этом и блеск от слюды,
И рынды тревожные склянки.

На рельсы истории память легла,
Пыхтя паровозною тягой.
Пред ней расступается вечности мгла,
Возносятся стяги «Варяга».

Чугунным прокатом катилась война
На спинах сибирских дивизий.

Пыхтела Слюдянка, а с нею страна,
И пар кучерявился сизый.

Сначала на запад, потом на восток
Катилось военное эхо...
А нынче туристов лавинный поток
По Кругобайкалке поехал.

И едет в Слюдянку, и прёт молодёжь
В штанах с голопупым фасоном...
Европа ли, Азия... крики, галдёж
Да пошлые песни шансона.

* * *

*Е.В. Смольяниновой,
русской певице*

Быть может, где-то есть розарий
Красы невиданной и силы.
Но там, во всей цветущей зале,
Вы были самая красивая.

Держались Вы изящно, просто,
Не кроясь в сумраке вуали.
Звучала музыка, и тосты
Серьёзность делу придавали.

И были жесты, были взоры...
За мать-Россию снова, снова

В осиротевшие просторы
Лилось божественное слово.

Объединяла всех идея
Исконным пламенным зарядом...
И забывалось — что я? где я?..
Как хорошо, Вы были рядом.

С неотразимой нежной силой
Вы песней русской всё сказали...
Вы были самая красивая
Во всей цветущей пышной зале.

* * *

Уходи в дорогу с лёгким сердцем,
Оглянись на прожитую жизнь.
Поклонись друзьям-единоверцам,
Дорогим могилам поклонись.

Там, в овражке, за избою крайней,
Золотится густо лебеда.
Закрадётся думка не случайно:
Может, оставляешь навсегда.

Щебетуньи-ласточки не свили
Гнёзд своих, не вывели птенцов...
Две жены со мной несчастны были,
Взращая резвых сорванцов.

Знать, от Бога волюшка поэта.
Не загнать к порогу под каблук.

Вон опять несёт тебя по свету
За леса, за индевелый луг.

Ледяные ветры дуют в спину.
Вновь один встречаю холода.
Выплакаю грусть свою осинам
И пойду неведомо куда.

* * *

Набродился по миру, по миру,
Забывая свет родных небес...
Освяти мне, батюшка, квартиру,
За порогом чтоб остался бес.

Проклади мне ладаном жилище:
Все углы и стены, потолок,
Чтобы дух стяжал я, словно нищий,
Чтоб сиял на кухне образок.

Я седу главу к нему приложу,
Покаянно, слёзно помолюсь.
Расскажу, как шёл по бездорожью,
Как обрёл потерянную Русь.

Освяти мне, батюшка, квартиру,
Я лампаду на ночь засвечу...
Набродился по́ миру, по міру,
Жить во мраке больше не хочу.

Осенние стихи

Снова в окошке рябиновых кистей,
Зёрен рубиновых вспыхнул огонь.
С шумом и шелестом падают листья,
С веток срываются, только затронь.

Скоро прольётся печаль поднебесья,
Окриком птичьим заполнив простор.
Что-то родное живёт в этих песнях,
Памятью слёзной туманит мой взор.

С каждым прощанием, с осенью каждой
Всё ошутимее близится срок...
Не оттого ли так мучает жажда,
Жажда вернуться на отчий порог.

Кто нас ведёт и какими путями
В мир незабудок и горних вершин?..
Что перед Богом останется с нами?
Что припасём для спасенья души?

Притча

Эту притчу я слышал однажды.
Сенокосили как-то с отцом,
Я томился от зноя и жажды,
И от пота горело лицо.

Вдруг от ветра задвигались ели,
Загремел угрожающе гром.
— Эх, опять закопнить не успели,
Вся работа насмарку, на слом.

И, вилки на телегу забросив,
«Всё, — добавил батяня, — шабаш!
Ливанёт счас небесная пропасть,
Поспешим-ка скорее в шалаш».

И стеною обрушился ливень,
Зашумел, окатил и исчез.
В небеса голубого разлива
Задышал освежающе лес.

— Ну скажи ты на милость, зараза...
Ну, Илюха, ну, Божий глухарь!..
Без дождя отпокосить ни разу
Не сподобил небесный звонарь.

И, уже усмехаясь, без «перца»:
— Оно, видишь ли, вышло-то как —
Сам Господь наказал Громовержцу
Строго-настрого — делай вот так:

«Лей туда лишь, где ждут и где просят».
А Илья — староват, глуховат,
Понял так, что где жнут и где косят,
И сюда наворачивать рад.

И с тех пор повелось по России
Делать всё и не то, и не так.
Оттого наши судьбы косые
И по жизни сплошной кавардак.

* * *

Неужто метели пропели, звеня,
Тщету заглушая сомнений?
И ты издалёка глядишь на меня
С журнальных высот откровенья.

Кривою верстою средь ночи в лесу
Тропу пробиваю к зимовью.
По силам ли груз я в котомке несу
И что теперь делать с любовью?

Забыт и отринут... Вновь посох в друзьях
Да ветер упругий и жгучий.

Качаются звёзды на тонких ветвях
Да снег под ногами зыбучий.

На что я надеялся, глядя в окно,
Обвитый метелью морозной.
Как сердце щемило, не всё ли равно,
Как билось к тебе оно грозно.

Я выну поклажу, и пламя огня
Поглотит страницы журнала.
И ты перестанешь глядеть на меня,
И будто любви не бывало.

Под звездой Богородицы

Жить по вере, как исстари водится,
Князь Владимир оставил завет.
Воссияла звезда Богородицы,
Разливая спасительный свет.

Открывает страницу заглавную
Воскрешённый великий народ.
Монастырская Русь православная
Из руин обомшелых встаёт.

От восточных морей и до западных
Колокольная песня звенит.
И сердца ей навстречу распахнуты,
В небо чистое рвутся, в зенит.

Ты помилуй детей своих, Господи!
В град небесный врата отвори.
По церквям, по полям, над погостами
Бьём поклоны с утра до зари.

Крестным ходом в лучах Богородицы
От восьми челобитных сторон
Мы сойдёмся в Престольной,
как водится,
В окруженье державных икон.



ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



Мама, сегодня я летал во сне

РАССКАЗ

Самое первое, что я помню о маме, это её подол и тепло рук, когда она гладила меня по голове перед сном. А перед этим мама обычно читала молитву. Слушая её шепот, я ждал, когда она ляжет, чтобы, свернувшись калачиком, прижаться спиной к её мягкому животу и провалиться, отплыть в неосязаемую пустоту ночи. А утром, потрескивая и пощёлкивая горящими дровами, меня будила печь. Из кухни доносило запахом хлеба, тепла и уюта, мама уже что-то готовила нам на завтрак. В праздничные и выходные дни, когда в доме была мука, она стряпала пирожки с картошкой и луком или, как она ещё выражалась, пыталась что-то сгоношить нам на завтрак.

Сегодня меня удивляет, как это она везде и во всём успевала: одеть, обусть, накормить большую семью, проверить уроки, сбежать в магазин, задать корм скотине.

Бывало, пойдёт доить корову, а я уже тут как тут, стою за её спиной с кружкой, смотрю, как тугие струйки молока вылетают у неё из-под руки и бьют в днище подойника. Закончив дойку, она подолом юбки подтирала мне нос, брала кружку и зачерпывала парного молока.

— Пей и не болей, — приговаривала она.

По её словам болел я часто, годовалого она отнесла меня в только что открывшуюся после войны церковь Михаила Архангела: если и умру, то крещёным.

ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич, прозаик (род. в 1944 г. в г. Иркутске). Автор книг: «Непредвиденная посадка» (Иркутск, 1979); «Опекун» (М., 1980); «Почтовый круг» (М., 1982); «Отцовский штурвал» (М., 1984); «Приют для списанных пилотов» (Иркутск, 1984); «Малая Грузинская» (М., 1986); «Истории таёжного аэродрома» (Иркутск, 1986); «Плачь, милая, плачь» (Иркутск, 1994); «Без меня там пусто!» (М., 1998); «Иркут» (Иркутск, 2009) и др. Член Союза писателей России.

Мы жили недалеко от города в предместье Жилкино, которое своим появлением было обязано Вознесенскому монастырю. Располагался он на холме, а через него проходил Московский тракт, который был окружён со всех сторон болотами, и дома, что лепились к нему, называли Барабою. Земли вокруг неё были приписаны к Вознесенскому монастырю, их и землями назвать было трудно, всё что намел, наташил за миллионы лет Иркут, осело вокруг монастырского посёлка, а сам Иркут, устав от вековых трудов, выбрал себе дорогу покороче, вдоль Кайской горы, напрямик пошёл в обнимку к Ангаре.

А от неё чуть в стороне, в самой что ни на есть болотистой части, пристроились так называемые Релки — эти ровные, приподнятые над болотом поляны годились разве что для покосов. Вот на них-то и довелось мне увидеть и почувствовать и тепло восходящего солнца, и холод долгих сибирских ночей. Летом во время дождей на Релку можно было добраться только на своих двоих, да и зимой разве что на лыжах, всё переметало снегом. Когда я в шесть лет запалил соседский сарай и от него начали полыхать стена и крыша нашего дома, то все примчавшиеся пожарные машины застряли в первом же болоте. Хорошо ещё, что рядом за другим болотом стояла зенитная батарея, которую в начале Корейской войны установили для защиты заводского аэродрома, и поднятые по тревоге солдаты, таская из колодцев воду, кое-как справились с пожаром.

Сразу же за последним домом вокруг Релок начинались старицы, кочкарник, тальник и боярышник, тут же рядом — осока да камыш — настоящий рай для водоплавающей птицы. Неподальёку за лесочком, километрах в двух от нашей улочки, находилась летняя резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири, куда он выезжал для охоты на водоплавающую дичь. А после революции в нём расположили детский дом, куда нам было строжайше запрещено ходить. По слухам, ребята там жили рисковые, окружающий мир был для них почти под запретом, и они жили своей обособленной волчьей стаей. Это уже много позже, в десятом классе, когда нас сольют в один класс, я познакомлюсь с Петей Кудрявцевым, Володей Пекшевым и Валерой Козловым, которые ездили к нам в Жилкино из детдома, и обнаружу, что они сделаны из того же теста, что и мы, ребята из предместья.

Релка, хоть и значилась предместьем Иркутска, но жила своим деревенским укладом: коровы, козы, куры, утки и поросята были самым обыденным пейзажем дворов и улиц болотного затерянного мира.

Своё первое жильё я запомнил маленькой избушкой, с распоротым от времени углом в северную, не закрытую домами сторону. Зимой снегу наметало под крышу, а осенью под забором можно было набрать огромные охапки круглых колючек, которые все называли перекасти-поле. Отец купил избушку у железнодорожника за сто пятьдесят рублей, и прожили мы в ней до сорок восьмого года. А когда родился мой брат Саша, то родители решили построить новый дом, тоже засыпной, но уже большой, пять на шесть, так говорил мой отец. Когда старую избушку снесли и положили оклад, на который должны были лечь новые стены, мама, держа на руках закутанного в пелёнки брата, с удивлением покачала головой:

— Куда мне такой большой...

Это поначалу нам казалось, что дом большой, поскольку сами мы были маленькими. Но уже через несколько лет и он стал нам мал. А поначалу места хватало всем, даже курам, на кухне под столом находился курятник, а когда отелилась корова, то мама принесла телёнка в дом, и он до весны, чтоб не замёрзнуть в стойке, жил рядом с нами и спал на подстеленной ему соломе.

На Релках, как и везде в послевоенной стране, люди жили в основном бедно, как говорили, «от получки до получки». С той поры, сколько я себя помню, мама то и дело ходила занимать деньги по соседям. И они, в свою очередь, приходили по своим надобностям к нам. В те времена жили не таясь, всё зная друг про друга, и помогали при случае чем могли. Так совместно и выживали. Но одно дело, когда идут к тебе, другое дело, когда занимаешь ты. Мне, например, это не нравилось. Думаю, не нравилось и моей маме. И однажды этим я вслух поделился с маминой подругой тётёй Надей Мутиной.

— Я не буду жить так, как мои родители, — сказал я.

— А как же будешь ты жить? — поинтересовалась тётя Надя.

— Я не буду занимать деньги, — подумав, ответил я.

Когда её муж Фёдор с моим отцом уезжали в тайгу на Бадан-завод заготавливать клепки для бочек, она, чтобы ей было не страшно одной, брала меня к себе. В ту пору у тётки Нади ещё не было детей, дом у них был большим, можно было готовить уроки не при свете жировика, а при керосиновой лампе. И спал я у неё на отдельной кровати. В ту пору, когда я пошёл в школу, электричества на Релках ещё не было, и по вечерам всё совершалось вокруг керосиновой лампы. А если керосин заканчивался, то мама зажигала на блюде промасленный жгут. И чадил он на весь дом. Перед сном дом проветривали, а утром, частенько в потёмках, каждый искал свою одежду. Если к тому времени уже топилась печь, то мама открывала одну конфорку, и мерцающий над печкой огонь начинал прыгать по потолку, стенам, до неузнаваемости меняя наши лица.

Мама, когда я попросил у неё три рубля на билет в кукольный театр, который в кои-то разы приехал к нам в предместье и показывал в мылзаводском клубе сказку Ершова «Конёк-горбунок», вздохнув, пошла искать деньги по соседям.

После я возбуждённо показывал дома, как летал по воздуху Конёк-горбунок, и, уже засыпая, совсем неожиданно для себя добавил, что и я, как Конёк-горбунок, тоже летал во сне.

О том, что есть самолёты, я узнал с первого выхода на улицу. Прямо над нашим домом заходили на посадку самолёты, одни — на городской аэродром, другие — на заводской. А бывало, смотришь в окно: высоко за стеклом, оставляя за собой тонкий белый след, по своей надобности шли одинокие высотные самолёты. Местная ребятня, завидев летящую машину, начинала кричать: «Ароплан, ароплан, посади меня в карман!»

Мечтая попасть в карман аэроплана, кричал и я, завидев железную птицу.

— Это ты, сынок, растёшь, — улыбнулась мама, услышав мои рассказы о полётах во сне. — Я тоже летала, только это было давно.

Она сидела за швейной машинкой и вслух мечтала, вот бы сейчас выиграть по облигации сто тысяч рублей. Я спрашивал, что бы она сделала, если бы такой выигрыш случился. И тогда она давала волю своим мечтаниям. Но мне не нравилось, что по её словам, почти все деньги она раздала бы своим сёстрам и братьям.

— Мама, а мы богатые или бедные? — спросил я её.

— Мы? — она внимательно посмотрела на меня. — Мы как все. Но всё в руках Господа нашего Иисуса Христа. Не мы одни такие.

Нет, так жили не все! Где-то в восьмом классе я зашёл к своему другу Витьке Смирнову. Его отец работал директором «Скотоимпорта». И увидел, что у Витьки есть свой рабочий, накрытый стеклом стол, письменные принадлежности, рядом на стене книжные полки, этажерка, а на стене расписание уроков. И то, что у него была собственная кровать. А мы мостились на одной кровати вчетвером, укладываясь спать валетом. И стол был один, на котором обедали, делали уроки и на котором мама постоянно что-то шила на машинке. Надо сказать, машинка была хорошей фирмы «Зингер». По-моему, это была самая ценная, конечно, не считая отцовского баяна, в доме вещь. Перед тем как мне пойти в школу, мама сшила мне штаны, да не одни, ещё и утеплённые из старой фуфайки, с обязательными лямочками через плечо, курточку, рубашку и даже брезентовую сумку. А на ноги купила маленькие кирзовые сапоги, которыми я очень гордился, считая, что в них я похожу на настоящего солдата. Тогда мне хотелось поскорее стать взрослым и обязательно быть военным. Но обновки не держались долго, одежда буквально горела на мне, то и дело являя миру дыры на коленях и на задку.

— Ну чего ты крутишься на одном месте, — вздыхала мама, накладывая очередную заплатку. Так с заплатками на коленях и других местах я и проучился десять лет. Конечно, заплатки не появлялись сами по себе, в тех же школьных штанах я лазил по заборам, крышам, гонял по улице мяч. Бывало, отец, починив протёртую до дыр подошву валенок, смешно поднимая ноги, начинал показывать, как надо правильно ходить, чтобы обувь держалась дольше. Но его советы я помнил до первой ледяной катушки, по которой, разогнавшись, скользил на подшитых резиной валенках, как на коньках.

На выпускной вечер мама купила мне чёрные шерстяные брюки. А сама пришла в школу из магазина, где работала уборщицей, в серенькой застиранной кофте и такой же серой юбке, как собралась на работу в том и пришла, её в буквальном смысле этого слова вытолкала в школу на мой выпускной вечер заведующая магазином Татьяна Тыкманова.

— Анна, иди, — сказала она. — Это и твой праздник — вырастить и выучить сына не такое простое дело.

Меня хвалили со сцены, наша классная Елизавета Иннокентьевна говорила, что я хороший, способный и умный, а я сидел, сжавшись, и думал: уж это точно не про меня. Мама присела на лавку с краю, чуть отодвинувшись от остальных родителей, где посреди зала, напротив президиума в праздничных нарядах расположились Смирновы, всем своим видом демонстрируя, что они здесь чуть ли не главные участники торжества.

После выпускного вечера мы с Витькой Смирновым и Володькой Саватеевым подадим документы в лётное училище. Но поступлю только я. А тогда, на выпускном вечере, мама, забрав у меня аттестат зрелости, поцеловала меня и незаметно ушла. О чём думала она тогда? В тот день, когда для меня прозвучал последний звонок, хоронили моего отца. Его убили в тайге за мешок орехов. Перед этим они с мамой решили строить новый дом, он уехал в тайгу на паданку, чтобы заработать и купить доски, цемент, всё, что нужно для строительства нового дома.

Конечно, мама радовалась, что я окончил школу, с ходу, один на все предместье поступил в лётное, и горевала, что отец не дожил до этого дня. Обо всём, что она чувствовала в то горькое для неё лето, много позже рассказала наша соседка Валентина Оводнева, вспоминая мою маму, добавив, что мною мама гордилась. И я запоздало пойму, что мой выпускной вечер был для моей мамы наполнен тихой, не наряженной в шелка радостью.

Когда на маму сходило хорошее настроение, она могла горы свернуть, становилась на редкость расторопна и деловита, торговала кедровыми орехами и ягодой, которую из тайги привозил отец. А если дела у того шли хуже некуда и в доме, как говорили, самое время класть зубы на полку, она собиралась и ехала в свою родную деревню. Но вначале ехала в город и закладывала в ломбард своё единственное выходное пальто. На вырученные деньги покупала дрожжи и уезжала на железнодорожный вокзал. Там она садилась в «Колхозник» и ехала до Куйтуна, а дальше шла пешком или на попутной подводе добиралась до Бузулука, чтобы уже среди своих, деревенских, обменять дрожжи на яйца, сметану и деревенское сало и хлеб. А мы её потом с отцом встречали на вокзале во Втором Иркутске.

И ещё была в ней, как говорили наши многочисленные родственники, «простодырость». Придут гости — она всё, что привезла, — на стол. Да ещё даст в дорогу гостинцы: сало, банку с вареньем, кастрюлю с огурцами. И гостей на ноябрьские и в Новый год набивалось столько, что половицы гнулись от деревенской родни. И все они, приезжая в город, почему-то останавливались у нас. Думаю, что расчёт был прост: люди идут и едут туда, где хорошо принимают. Да и городские родственники были не прочь погулять на Релке день-другой. А ещё приходили жившие неподалёку папины и мамины друзья и знакомые, каких-то случайных людей привечал отец, и они жили иногда месяцами. И мамины подруги прибегали, когда их суженые, напившись, гнали из дома.

Гостей она любила, тогда она становилась центром разговора и можно было обсудить все поселковые новости, поделиться, кто и как учится, какой фасон платья нынче в моде, купить и поносить — это уж как Бог даст, а вот помечтать и обсудить наряды Ладыниной или Серовой и помыть косточки местным модницам — это всегда пожалуйста. Мужчины тем временем за бутылочкой обсуждали войну в Корее, атомную бомбу, китайских добровольцев, которые чистят морду дяди Сэму. Тут поднимался папа и читал собственноручно сочиненные строки:

*Ах, дядя Сэм сорвался с кондачка
И бросился в истерику.*

Тут папина рука взлетала вверх, чтобы через секунду с высоты, точно топором по чурке, рубануть воздух и показать, что будет с поджигателями новой войны.

Откуда-то из-за печи, где я сидел около патефона, ожидая команду крутануть очередную пластинку, я внимательно смотрел и слушал, чтобы потом в школе пересказать и показать ребятам, как уже я ладонью рублю воздух. Каким-то непонятным образом ту сцену пересказали учительнице Клавдии Степановне, а на другой день маме приходилось оправдываться за меня и за отца.

— Что же он у вас такой простодырый? Что услышит, то выскажет, — посочувствовала учительница. — Вы уж скажите ему: не обо всём нужно рассказывать в школе, что происходит дома. Недавно я его попросила прочитать про крейсер «Варяг», так он читал так, что мы решили послать его на конкурс чтецов. Думаю, что там он всё расскажет без картинок.

— Нет-нет, он понятливый, — с облегчением поддакнула мама. — Всё покажет как надо.

— Не изба, а клуб, — сообщила она о визите в школу, — и свои артисты.

— А меня вот в школьный хор записали, — похвасталась старшая сестра.

— Я и говорю, артисты из погорелого театра, — вздыхала мама, словно речь шла о чём-то неизбежном — дожде или снеге. И тут же добавляла: — А, ничего, один раз живём! Только ты, отец, прежде что сказать, сто раз подумай.

— Зато все теперь знают: Россия атомом крепка, — отшучивался отец, пытаясь вскинуть вверх правую руку.

— Николай! — предостерегающим голосом останавливала папину руку мама.

Гости были разными, порой и опасными. Однажды к нам на несколько дней заехала красавица Галя, которую выслали с Западной Украины на поселение в Сибирь. Бывшие бандеровцы работали на заготовке клепки далеко от города, в глубине сибирской тайги. Отец с Фёдором Мутиным ездили туда вольнонаёмными, там можно было хорошо заработать. Чернобровой, с певучим и почти непонятным для меня выговором Гале нужно было показаться врачу, и отец предложил ей остановиться у нас. На ноябрьские праздники к нам приехала родня из деревни. Когда гости подвыпили, дядя Артём, узнав, что его соседка с Западной Украины, сообщил, что до сих пор носит пулю, полученную от бандеровцев на Украине. И тут Галю точно взорвало, видимо, ей в голову ударила выпитая бражка. Опрокинув стол, она начала ломать лавку и топтать попавшую под ноги посуду, выкрикивая что-то про самостийную Украину. Галю насильно утихомирили, связав руки полотенцем. Ошеломлённые гости смотрели на её выходку с той жалостью, с которой смотрят на умалишённых. Вечером, когда гости разошлись по домам, а дядя Артём по своей солдатской привычке расположился на полу, утихшая и освобождённая от полотенца Галя начала помогать маме утверждать на место порушенное, оправдывалась и очень переживала, что отец может заявить на неё или вытурить из дома.

— Успокойся, — тихо отвечала мама и, помолчав, добавила: — Только зачем было посуду бить?

— Я всё верну. Шоп мне сдохнуть на этом месте, — скороговоркой, сглатывая букву «гэ», начата частить Галя. — Шоп мне век ридной Украйны не видать.

— Да ладно, иди спи, я тебе за печкой постелила, — устало сказала мама, — только потише, там сын спит.

Нет, я не спал. Да разве после такого уснёшь! Сидели, пили, пели песни, веселились. И тут на тебе! Сколько же надо было накопить в себе злобы, чтобы такое сотворить?! Я пододвинул к себе уют, так, на всякий случай.

Утром, чуть свет, точно своих забот ей не доставало, мама повела Галю в больницу к знакомому врачу. И в этом для неё не было ничего особенного.

Какие-то выводы для себя я делал, и о том, что происходило в нашем доме, уже не трезвонил всему миру. Сидел на брёвнах, щёлкал орехи и поглядывал в ту сторону, откуда должна была появиться мама. Едва завидев её, бежал ей навстречу. Как всегда, она шла, нагруженная сумками. Нет, чтобы помочь, поднести, так я сразу в сумку, что там? — и тут же в рот.

Когда мама была дома, мы знали: будем сыты и накормлены. Обычно она жарила сковороду с картошкой и горбушей. Или мои любимые драники. От постоянной работы с ножом у неё даже на указательном пальце образовалась выемка, только начистит, нарежет, накормит, как снова к станку, снова нож в работе, тряпки и кастрюли под рукой — и так каждый день: завтрак, обед, ужин. Когда всё было готово, она ставила большую чугунную сковороду посреди стола, а мы уже наготове с ложками. Отец, как и положено, садился во главе стола, вилкой или тупой стороной ножа колол и раздавал нам кусковой сахар. А вот маму я почему-то не помню за столом, чаще всего она только подавала еду да мыла потом посуду. Наша задача состояла в том, чтобы быстрее опорожнить сковороду.

Отца я всего один раз видел плачущим. На Рождество мы всей семьёй сели за праздничный стол. Он, как всегда, в чистой, нарядной рубашке сел на своё место. И тут по радио начали передавать концерт знаменитого в те времена баяниста Логинова. Виртуоз, маэстро, отец его очень уважал. И слушая его карело-финскую польку, отец неожиданно расплакался, самой большой его мечтой было научиться играть на баяне, как Логинов.

Баян у нас в доме служил главной достопримечательностью. Надо сказать, что отец был знаменитостью, для починки баянов к нему приезжали даже из города. Он и сам делал баяны, приносил бруски и доски из бука, вырезал латунные планки, вытачивал и клепал к планкам голоса. При этом делился со мной секретами мастерства:

— Чтобы голос был ниже, обтачиваешь у основания, выше — делаешь тоньше конец, — говорил он и тут же добавлял: — И уж если делать, то клавиши из перламутра, меха из прищипанта, а ремень у баяна должен быть кожаным, с витой, узорчатой прошивкой.

Мама, да и мы все очень любили, когда дома пели песни.

— Валенки, валенки, — подыгрывая себе на баяне, напевал отец, а иногда шутя переиначивал песню на свой лад: — Катанки, катанки! Ох, не подшиты стареньки. — А потом, войдя в раж и вспомнив своё деревенское кимильтейское детство, переходил на озорные частушки:

*Ехали китайцы,
потеряли яйца.
Девки думали — малина,
откусили половину.*

Мама тут же начинала ругать, мол, ты чего это, дуралей, распелся, ведь дети слушают, а потом опять вызовут в школу. А он сидит у печки, в уголке рта прилипла потухшая сигарета, но поправку всё же делает и уже наяривает «Подгорную». А потом улыбнётся и вновь запоёт свои любимые «Валенки». Мама посмеётся и попросит, чтобы он сыграл *«Друзья, люблю я Ленинские горы...»*

Но больше всего мне нравилось, когда мама запевала песню фронтового шофёра, где были такие слова: *«помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела!»*

Мама часто болела. Но когда она запевала, что помирать нам рановато, то мне казалось, что мама будет жить вечно, поскольку этой песней она не давала смерти своего согласия, чтобы она её забрала.

Отца часто не бывало дома, он любил тайгу, рыбалку, а вот работать долго на одном месте у него не получалось. Когда он был дома, то к нему шла вся улица — отремонтируй, запаяй, сделай горбовик, совок для сбора ягод, нож. И он делал. Особенно надоедали владельцы гармошек и гитар. Те могли прийти к нам не только днём, но и ночью.

— В самый неподходящий момент сломалась, — оправдываясь, говорили они. И показывали разбитую вдребезги гитару. Чуть позже выяснялось, что лирический инструмент был применён в пьяной разборке в качестве последнего аргумента, коим была удостоена голова Кольки Лысова, который уже ходит по улице перевязанный.

Отец заваривал казеиновый клей, выстругивал из бука или липы дощечки, освобождал струнный инструмент от изуродованных частей, затем вырезал из тонких заготовленных дощечек заплаты, вставлял и закреплял клеем поломанные части, заново покрывал гитару лаком и выдавал на руки уже пригодный для следующих ристалищ и сражений за женские сердца инструмент.

Куда более сложная работа была с баянами. Папа разберёт пострадавший баян на косточки, разложит на полу и начинает соображать, потом лезет на крышу, где у него оборудован верстачок, вытачивает и высверливает планки, голоса, клавиши. А тут мама придёт — и на тебе, знакомая картина: не дом, а мастерская прямо на самом видном месте. Нет бы починить, залатать забор, доски из которого часто шли зимой на растопку, накормить скотину, а тут одно и то же: муж работает на чужих дядей и тёток. Как известно, любому терпению есть предел. Вот и мама возьмёт, сорвётся, схватит эти планки и валики — и в огород.

И тут наступал конец семейной идиллии. Отец спускался с крыши и, увидев наведённый разор, начинал кричать:

— И кто тебе позволил такое сотворить?! Это ж музыка!

— Да, музыка, но её в живот не запихаешь! — плача, говорила мама. И мы тоже начинали в один голос реветь. Мама посмотрит на нас, на отца, махнёт рукой:

— Ушла бы, Николай, от тебя, куда глаза глядят, да вот их, — она показывала глазами на нас, — жалко.

Для мамы самыми главными праздниками были Рождество и Пасха. Перед Рождеством она затевала большую стирку. Помню, как она приносила с мороза чистое, пахнущее свежестью бельё, я удивлялся, что мороз сушит мокрую ткань, вдыхал уличную свежесть и смотрел на исписанные узорами стёкла и пытался срисовывать их угольком на белёной печке. И так, пока на ней не останется ни одного чистого места. Мама посмотрит-посмотрит на моё художество, вздохнёт, затем разведёт известку и набело покрасит ею тыльную сторону печи, где на сундуке, подстелив фуфайку, я засыпал среди белого дня. А после напечёт пирогов, и к нам, зная мамино гостеприимство и умение готовить, опять соберётся многочисленная родня.

Мы же при первой возможности бежали на улицу — там среди детворы праздник был полнее и ярче. В Святки мы обычно ходили колядовать. И здесь, как мне кажется, лучше всего проверялось, кто есть кто на нашей улице: кто прижимист, более того — жаден, а кто весел и щедр. Надо сразу сказать, что щедрых было немного. Бывало, на Святки мы заходили в такие дома, которые в обычной жизни обегали стороной, уже зная, кто чем дышит и как там относятся к таким, как мы, попрошайкам. Но всё равно заходили проверить то, что было проверено не раз, — ведь колядки же! Зайдёшь и от порога писклявым голосом начинаешь причитать:

*Коляда, коляда, подай пирога,
наступает торжество,
с нами звезда идёт,
молитву поёт.*

А уж после:

*Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума...*

Я замолкал, припоминая, что там дальше. И если хозяева начинали настаивать, чтобы я пел дальше, здесь по заранее разработанному плану вступал в дело мой дружок Вадик Иванов — пускал в ход придуманные сочинялки:

*Маленький хлопчик, сел на снопочик.
Соседи подали, здоровыми стали,
а рядом не дали — коровы пропали!*

Походило, конечно, на вымогательство, но помогало. Глядишь, хозяева начинали смеяться и подавали. Иногда спросят: кто научил? Пожмёшь плечами, мол, чего спрашиваете — улица научила.

Бывало и по-другому: пропоешь, прокричишь и ждёшь, подадут или нет. Шмыгин прежде чем дать, долго думал, как бы от нас полегче отделаться: не дашь, скажут жадный, но всё же находил выход — срезал с ёлки конфету, и мы, довольные, выскакивали, чуть-

чуть стыдась за себя да и за него тоже. Но чаще всего шли туда, где встречали и радовались празднику вместе с нами.

В нашем доме было по-другому. Отец подтаскивал к дверям мешок с орехами и всем, кто заходил к нам колядовать, отсыпал в карман по кружке калёных орехов. Да ещё ворчал, если карман оказывался дырявым. Вся уличная ребятня шла к нам гурьбой, дверь не закрывалась, улица знала: в нашем доме насыпают сполна. Некоторые даже умудрились зайти по нескольку раз.

Отец смеялся и повторял мамины слова:

— Один раз живём, а ребятам радость — пусть щёлкают, ведь Христос родился.

После праздников отец обычно уезжал в тайгу и через некоторое время привозил огромный крапивный куль чистого ореха. Когда в тайге был урожай, мама могла уже не бегать по соседям занимать деньги, вдоль забора стояли мешки с орехами, и двери в наш дом не закрывались от гостей. Теперь уже шли к нам посидеть, пощёлкать орехи, обсудить уличные новости и заодно озадачить моего отца обычными просьбами: почини, запаяй, отремонтируй. Как я уже говорил, за свою работу отец денег не брал.

Отец очень завидовал своим младшим братьям и сёстрам, которые были с высшим образованием. Все, за исключением Леонида, тот пошёл по стопам отца, решил стать шофёром. Первые экзамены у него принимал отец. Достав деревянную толкушку, он изображал из себя регулировщика и строгим милицейским голосом требовал объяснить тот или иной жест орудовца. Когда Леонид сдал на права, они с отцом обмывали их с весёлыми разговорами, деревенскими частушками и шутками. Припоминается, что отец давал своему младшему брату и первые уроки игры на баяне. Пытался он обучить и меня, но ничего путного из этого не получилось, меня больше привлекала улица. А ещё помню, как отец сажал меня рядом и учил, как правильно подшивать валенки, как сучить дратву, как править гвозди. Я сидел на стуле и лупил глазом в окно, за которым слышались ребячьи крики и смех.

Там среди друзей я находил применение другим, уже не музыкальным способностям. Сегодня, вспоминая, сколько я переделал общественной работы, грустно улыбаюсь — вот бы всю затраченную мною энергию направить на домашние дела, мне бы не было цены! Но, увы! Рытьё окопов, штабов, сооружение снежных крепостей, расчистка от снега пруда, укладка дерна на футбольном поле, пилка брёвен, чтобы заработать на мяч, волейбольную и футбольную сетки, гетры, майки. Учёба и всё прочее были на втором плане, так, всё на ходу, благо, память была хорошей. Но слова отца, который говорил об упущенном времени, когда близок локоть, да не укусишь, — засели надолго. Но не разорваться же, хотелось одно, другое и третье. А вечером лишь бы доползти до койки. Мама подойдёт, поправит одеяло.

— Совсем убегался, — скажет тихо, а потом по своему обыкновению прочтёт на ночь молитву, скажет: «День и ночь, сутки прочь». И я проваливался в темноту. А утром вновь в школу, потом снова по огородам и боярышникам.

Мне нравилось, что она нередко нахваливает меня своим подругам. Чтобы получить очередную похвалу, однажды я прямо в ботинках бросился по воде на островок, собрал и принёс отложенные там утками яйца. За такую прыть мама отругала меня, поскольку во дворе было холодно и я мог заболеть.

Если у меня возникали проблемы с учителями, то отец начинал страшать: будешь плохо учиться, придётся всю жизнь гайки крутить да сопли на кулак наматывать. Сейчас, вернись моё детство, я был бы самым прилежным учеником. Но локоть близко, да не укусишь. Однажды, когда на меня за очередное «художество» вновь нажаловались из школы, он велел стать в угол. Но этого ему показалось мало, он надел мне на голову эмалированный тазик.

— Ты думаешь, я тебя на божницу посажу. Стой здесь и знай, в следующий раз поставлю коленями на горюх.

Я уже привык к похвалам, а тут на тебе, выставлен на всеобщий срам. Впрочем, тот случай был единственным, но запомнился на всю жизнь. И всё же мною родители в основ-

ном гордились, мол, учиться хорошо, всё схватывает на лету. Мама часто ещё не то жаловалась, не то хвалилась учителям, что я зачитываюсь книгами буквально до утра.

Бывало, устраивали мы в доме по вечерам самодеятельность: мама сидит, вяжет носки, рукавички или кофту, отец у печки с баяном, а мы показываем им концерт, поём, читаем, наряжаемся в разные одежды.

— Хоть маленько, но красненько! — смеялась мама, когда я выходил на середину избы и объявлял, что сейчас будет выступать заслуженный артист из погорелого театра. И добавит: — Что не дурно, то потешно.

У отца были свои пословицы, они касались в основном его жизни, его представлений о том, что хорошо и что плохо.

Это были лучшие моменты нашей семьи, нашего совместного проживания в засыпном доме, который отец решил снести и построить новый, из шлакобетона, когда у нас родилась младшая — Лариса. Но этому было не суждено сбыться...

Отец и мама почти одновременно выехали из своих деревень, которые находились в Куйтунском районе. После революции, в начале тридцатых годов, отец батрачил на заимке на родного брата отца, дядю Алексея. Наш дед Михаил зарабатывал на прокорм многочисленных детей, а их у него было одиннадцать человек, тем, что ездил по деревням с фотоаппаратом и делал фотографии. С ним рассчитывались продуктами: кто насыплет в сумку картошку, кто положит кусок сала, пакетик крупы. Большим подспорьем и помощником в семье был мой отец. Он ловил рыбу ведрами, собирал ягоды тоже ведрами, орехи — мешками, бывало, приносил за один раз по восемь, а иногда и по десять зайцев. На них он ставил петли. И, как вспоминал его брат Владимир, любил подшутить. Тащатся они по тропе с добытыми зайцами, отец забежит вперёд, спрячется за пень и потом неожиданно выскочит и заорёт, как медведь. Мне, когда уже я стал ездить с ним в тайгу, такие проделки он устраивал регулярно. Но и за своих младших братьев и сестёр умел постоять, бывало, что даже укрывал от бича своим телом.

Дядя Кеша, когда на Радунцу мы встретились на кладбище на могиле отца, вспомнил, что в голодные тридцатые годы они с моим отцом и с младшей сестрой Анной собирали на поле колоски. И тут их застукал объездчик и начал хлестать нагайкой. Так мой отец, дядя Кеша называл его браткой, прикрыл его своим телом. Тогда они моего папу принесли домой на руках.

Много позже мне доведётся побывать на родине отца в Кимильтее. Я пройду по улице, где когда-то стоял огромный бревенчатый дом, загляну в огород, где до сих пор тёмными окнами глядел старый сарай, затем зайду в церковь, где крестили отца, поставлю свечу. Уезжая, мы проехали мимо пруда, на котором отец в детстве, катаясь на коньках, как он рассказывал, не удержался и ударился головой об лёд. И я не раз падал на лёд, но я-то считал себя спортсменом, играл даже за хоккейную команду, а вот отец после того падения навсегда забыл о коньках, и мне было его по-настоящему жаль. Да и работать он начал гораздо раньше меня, уже в четырнадцать лет стал кормильцем огромной семьи, где только детей было одиннадцать человек.

Позже отец уедет в город, даже не уедет, а сбежит с заимки. На заимку его отправил отец, то есть мой родной дед Михаил. Надо было кормить разрастающуюся семью, вот и пристроил он моего отца на работы к своему брату. Там, на заимке, вспахивая целину, отец не доглядел, и лошадь поранила ногу. Дядя Алексей кнутом жестоко избил папу. А было в ту пору отцу всего-то шестнадцать лет. И папа, по его словам, не выдержав издевательств, убежал с заимки, уехал в город, вернее, в его предместье Жилкино, где началось строительство мясокомбината. Там он устроился разнорабочим, а чуть позже выучился на шофёра. Я гордился, что отец может и лошадь запрячь, и огород вспахать, и делать многое-многое другое.

А то, что пахать землю совсем не простое занятие, я почувствовал на собственном опыте, когда купил в деревне Добролёт участок и решил вспахать огород. Сосед одолжил мне лошадь с плугом, но поскольку он был не в состоянии после бани сделать и шаг, предложил мне пахать самостоятельно. В памяти у меня ещё осталась картина с отцом,

который ловко управлял лошадью на нашем огороде. И я самонадеянно решил — уж если я управляю самолётом, то здесь справлюсь наверняка. Первую борозду я осилил с трудом, а вот параллельной не получилось, лезвие плуга скользнуло в уже проложенную борозду. И так в третью и в следующую попытку. Вся деревня собралась внизу и смотрела, как лётчик порхает вокруг лошади. Намучившись, я попросил вспахать огород соседа Вячеслава Седловского, пообещав ему привезти насос «Малютку». Ударили по рукам. Седловский был сослан с Западной Украины и жил на том же Бадан-заводе, с которого приезжала к нам Галя. Был он сыном бандеровца и советскую власть, мягко говоря, недолюбливал. В Добролёте у него было самое крепкое хозяйство, впрочем и другие ссыльнопереселенцы с Западной Украины не бедствовали, у каждого было по несколько коров, бычков и тёлочек. Держали и поросят. Но отношения к соседям были особенными, следили друг за другом почище любых агентов. С Седловским мы сошлись на том, что он, оказывается, знал моего отца по работе на Бадан-заводе, где ссыльные и наёмные из города заготавливали клепку. Седловский работал подручным у моего отца, и тот частенько привозил ему из города разные инструменты и детали. Я как бы принял эстафету от отца. Седловского привлекало то, что я мог привезти вещи и механизмы, которые днём с огнём было недостать в нашем городе. Седловский подрегулировал плуг и показал, как надо правильно пахать землю. А вечером за столом, выпив пару, как он говорил, «румок» водки, признался, что правильно регулировать плуг его научил мой отец.

А мама после случайного убийства ножом в деревенской разборке в девятнадцатом году в селе Бузулук отца Семёна была вскоре отдана в няньки к своим дальним родственникам — Жуковым. А когда в Жилкино началось строительство мелькомбината, уехала из деревни. Произошло это в 1934 году. Она устроилась на стройку мелькомбината, тогда это была ещё деревня Жилкино, и там вместе с другими такими же девчонками стала замешивать и носить жидкий раствор. Вот там-то, на Барабе, она и познакомилась с отцом. У них будут рождаться и умирать дети, всех я не помню, только первенца Юру да Веру, которых мама часто в разговорах с соседями называла ласково Юрочка и Верочка. Ещё помню фотографию, где они с мамой стоят у покойного моего старшего брата. Отец в кожаном пальто, мама в тёмном пальто. Склонились в первом для них совместном горе...

Мама, которая помнила себя ещё по жизни в Орловской губернии в деревне Полосково, рассказывала, что её маленьким ребёнком во время Столыпинской реформы привезли в Сибирь, в село Чеботариха, где им пришлось корчевать лес, строить дома. Некоторые не выдерживали и уезжали обратно в Рассею. Часто к нам приходила её старшая сестра Анастасия, которая вспоминала ещё о той, об орловской жизни.

«Орловцы — шаленые овцы» — так иногда в шутку называла она всю родню, которая приехала в Сибирь. Мне нравилась, как моя мама называла её детским прозвищем «нянька». В начале тридцатых годов тётка Настасья вышла замуж за Фёдора Приземина и переехала к его родне в Жилкино. Вскоре к ней на Барабу из Бузулука и перебралась моя мама.

Тётя Настасья вспоминала, что после знакомства с Николаем — моим отцом — мама вдруг засобиравшись обратно в деревню, — у неё с отцом, когда они ещё не поженились, произошла размолвка, и она ушла от него к своей подруге Почекунихе. И отец пришёл к тётке Настасье и со слезами в голосе сообщил, что Нюра, так он называл мою маму, куда-то пропала. Тётя Настя сказала, где её искать. И после этого они уже начали жить вместе, отец купил на Релке у железнодорожника маленький домик, в котором появились Алла, Людмила, затем я.

У моей мамы были красивые густые чёрные волосы, все женщины на Релке завидовали её волосам. А вот отец этим похвастаться как раз не мог. Она называла его отцом, Николаем, а когда разозлится — *асмодеем*. Что такое «асмодей», я тогда не знал, но заглянув как-то в словарь прочитал, что таким словом издревле называли соблазнительей. Конечно, отца можно было ревновать, его часто приглашали на гулянки, и он возвращался домой под утро. А к баянисту, естественно, липли свободные бабёнки. Над отцом на улице посмеивались, называли его «Понимаешь» за частое употребление этого слова, которым

отец то и дело перемежал свою речь. Но оглядываясь в своё прошлое, припоминая все наши разговоры, я думаю, что у отца был природный, сметливый ум, он мог найти выход из самой непростой ситуации, особенно, если это касалось технических вопросов. Дело даже не в том, что он был умельцем, мастером золотые руки, но Господь дал ему ещё и дар работать от зари до зари. Но только в том случае, если он видел в этом смысл. Сегодня я понимаю, чего ему стоило практически в одиночку построить дом, в котором мы выросли. И поговорить с ним можно было на любую тему: и про войну в Корее, и про американцев, которые задумали осушить озеро Байкал (в те времена ходила такая легенда).

— Куда им, кишка тонка! Думают, заимели бомбу, так всё могут. Если Байкал пойдёт, то все моря за собой поведёт, — с сомнением вмешивалась в разговор мама. Куда он пойдёт и зачем поведёт моря, я так и не понял, но очень долго, вплоть до школы, в разговорах с ребятнёй повторял её слова. Надо мною смеялись. А вот когда я впервые увидел Байкал, то мне стало ясно, почему мама так говорила. Не озеро, а настоящее море, от горизонта до горизонта.

В своей жизни мама кроме Ангары и Иркутка ничего не видела. И когда она с отцом поехала по ягоды на Байкал, его огромность и красота произвела на неё огромное впечатление. А тут ещё всю по Иркутску шли разговоры, что хотят взорвать Шаман-камень, чтобы побыстрее заполнить ложе Иркутской ГЭС. Люди беспокоились, что пойдёт вода и никакая плотина её не удержит, и тогда все поселки ниже Иркутска будут сметены водой. А мы все хорошо помнили, как зимой пятьдесят второго Ангара вышла из берегов и затопила все Релки. Даже у нас в подполье была ангарская вода.

Часто с отцом они ездили по ягоды. Мы обычно ходили их встречать. Однажды мы пошли встречать маму и отца на «Скотоимпорте». Они с отцом приехали на «вертушке» из Култука — так назывался эшелон, который возил скот из Монголии на Иркутский мясокомбинат. Мы стояли с одной стороны вагонов, а мама с горбовиком шла по настилу — с другой стороны. Мы её начали окликать, она спустилась с настила и полезла к нам под вагон. И тут состав тронулся. Цепляя горбовиком днище вагона, мама заматалась между рельсов, горбик мешал ей быстро выскочить из-под вагона. И уже в последний момент, когда казалось, что сейчас стальные колеса переедут её, она каким-то непостижимым рывком успела выскочить. Её трясло, а мы заревели во весь голос.

— Ну, чего ревёте! — дрогнувшим голосом сказала она. — Видите, всё хорошо, я с вами. Мы ещё поживём...

Перед тем как мне пойти в школу, она взяла меня с собой в деревню, и я тогда своими ногами понял, какую длинную дорогу приходилось ей одолевать, чтобы привезти нам кусок хлеба. Мы шли, вернее, она тащилась со мною и ещё какой-то своей знакомой от станции Куйтун до Бурука пешком. Между ними было где-то около сорока километров. Я впервые видел огромные сосны, ели, множество саранок и других цветов, но уже к вечеру они не радовали меня, дорога умотала меня настолько, что хотелось сесть на какую-нибудь колодину или попроситься к маме на руки. Но передохнув немного, мы шли, шли, шли по бесконечной, кое-где залитой грязными лывами дороге, и казалось, что я умру и так не дойду до этого Бурука, где жил самый младший мамин брат Иван. Уже у самого Бурука под вечер нас догнала какая-то машина, и через полчаса мы были у дяди Вани. Там я стал предметом особого внимания новой для себя родни, познакомился со своими двоюродными братьями и сёстрами. Жена дяди Вани напоила меня молоком, а мама начала раздавать подарки сёстрам — красивые цветные ленты. Помню, что меня охватила какая-то непонятная зависть, видимо, привык, что все подарки полагаются только мне. На другой день дядя Ваня взял лошадь и повёз нас к другому маминому брату, Артёму. По пути я видел, как перебегают дорогу дикая коза, видел рабочих, которые гнали дёготь. А поздним вечером я познакомился со своими двоюродными братьями и сёстрами Ерккой, Раей, Зиной. Поздним вечером, когда на Броды опустилась темнота, они разожгли костёр, и при его пляшущем свете мы ходили колупать из упавшей лиственницы серу.

Как о самом дорогом воспоминании своего детства мама рассказывала, что однажды теплым весенним утром она вышла в огород и шла, раздвигая руками туман, который был

таким плотным, что ей хотелось лечь в него, как в перину, и смотреть в огромное синее небо, где звенели жаворонки.

Мама недолюбливала коммунистические праздники. Часто к нам приходил священник, которого обычно на Релку приглашала приехавшая в Сибирь из далекой Вологды тётя Люба Лысова, невысокого росточка, ходившая во всём тёмном и с клюкой. Она славила на всю округу умением плести кружева из обыкновенных белых ниток. Почти все женщины мечтали иметь на наволочках, пододеяльниках и на платьях её кружева. Кстати, она прожила что-то около ста лет в постоянной бедности и нехватках. Постоянной гостьей у неё была неизвестно как попавшая на Релку Лиза-дурочка, которую все жалели, часто сторонились и побаивались, поскольку считалось, что она могла напустить порчу. А вот Лысова называла её «дитя Божье» и говорила, что мы все должны по возможности помогать ей в её непростой жизни.

— Вот её все кличут дурочкой, а душа у неё добрая, она ни одну собаку, ни одну больную кошку не пропустит, — говорила мама. — Всех несёт к себе. Я за ней понаблюдала, людей она видит насквозь. И судьбу может предугадать. Только кому это надо, каждый слушает самого себя.

Знала ли сама Лиза о своей судьбе и что она предсказывала Лысовой и моей маме, меня, как и всех, это не интересовало. В то время мы жили одним днём, одной минутой, а что будет завтра — узнаем завтра...

У мамы было несколько закадычных подруг. Соседка Нюра Сутырина, Мария Сутырина, которая была родной сестрой моего деда Михаила, Анна Ножнина, которая была уже родней моей бабушки, Феня Глазкова, Надя Мутина, Фрося Говорчукова, Паша Роднина, Валя Оводнева, Шима Иванова, Любава Мутина — тот круг соседей, с которыми она делила все невзгоды и все радости небогатой на события релской жизни. Все они, а часто с мужьями, любили бывать у нас, посудачить, поворошить релские и жилкинские новости, а мужики — порасспросить отца о заветных грибных и ягодных местах. Мой отец места эти не таил, предлагал всем ехать с ним в тайгу, добавляя, что тайги хватит на всех. И бывало, соберутся человек двадцать с корзинами и горбовиками, гуськом потянутся на «вертушку», и почти никогда не возвращаются пустыми.

Чаще всего отец брал мамину родню, а те прихватывали своих знакомых. Половина из них были подростки, девчонки и ребята. Ещё отец уступал моим просьбам, и я прихватывал своих друзей — Олега Оводнева или Вадика Иванова. Но предупреждал, что дорога дальняя, идти пешком что-то около двадцати километров. И не по асфальту, а по таёжной тропе, через буреломы, болотную низину, Грязный ключ, да потом ещё в гору, тыкаясь носом в камни и выворотни. Таких походов за ягодой было много, но запомнилась первая. Всего набралось восемнадцать человек, в основном мамыны товарки и родня маминого брата Кондрата. Кроме того, он решил угодить своему пожарному начальнику Остроумову и пригласил его поехать за ягодой с сыном. В незнакомой компании они держались обособленно, всем своим видом показывали, что делают одолжение, согласившись поехать с нами. Всё шло вроде бы неплохо, но когда стали перебираться через Грязный ключ, который после дождей расплывался до одного километра шириной, Остроумов, провалившись в жижу, чуть не потерял свой сапог. И тут началось! Столько высказываний и язвительных замечаний — то не так, другое не так — я, пожалуй, ещё не слышал за свою короткую жизнь. И дорога не та, и ветки бьют по глазам, и отдыхаем мало, и зачем только они согласились ехать, можно было сходить на базар и купить ведро-другое, больше не потребуется. Все молчали, посмеиваясь в кулак. Когда дорога пошла в гору, мама попросила меня собирать грибы.

— Придём на место, — сказала она, — грибы и сгодятся, я суп сварю.

Вдоль тропы то и дело попадались подосиновики и даже белые грибы. За полчаса я набрал целое ведро свеженьких, без единого червя грибов.

Где-то к вечеру мы спустились к Иркуту, отец под скалой развёл костёр и, прихватив собственноручного изготовления совок, который он называл «комбайном», ушёл проверять урожай брусники. Когда у мамы закипел грибной суп, он вернулся обратно. Совок

был полон ягоды, да ещё был полон котелок. Отец высыпал бруснику в ведро, и оно оказалось полным. Все начали пробовать ягоду. Настроение у отца было приподнятое — не зря, значит, мы проделали далёкий путь. А бывало, возвращались пустыми.

Когда мама начала разливать суп, то выяснилось, что многие не взяли с собой ложки. Отец тут же вырезал берестяные кружочки, свернул их кульком, насадил на палочку и ложка готова. Суп оказался таким вкусным, что многие попросили добавку. Из своей природной тактичности все хвалили маму за то, что она так на ходу придумала это таёжное угощение. А чуть попозже, когда все, насытившись, побежали умываться и плескаться к Иркуту, Остроумовы улеглись в свою прихваченную из пожарной части палатку, достали свёртки и принялись уплетать прихваченную копчёную корейку.

К тому времени из рассказов отца я уже хорошо знал, что есть неписанные законы тайги: всё, что берётся с собой, передаётся в общий котёл; отставшего человека нельзя оставлять одного; сильный всегда поддерживает слабого и ещё многое-многое другое. Наступила ночь, и здесь отец преподавал ещё один урок из своей богатой таёжной жизни. Вначале под камнем он нам в радость развёл огромный костёр. Затем, когда сушины прогорели, отец сгрёб ещё тлеющие уголья в сторону, заложил кострище пихтовыми ветками, поверх которых мы настелили мох. Таёжная перина была готова. Уже в темноте, при бликах маленького костра, мы улеглись на мягкую подстилку, укрывшись прихваченным брезентом и фуфайками. Мы лежали, смотрели на потрескивающий огонь, слушали шум близкой реки, отдалённые крики обитателей тайги, смотрели на близкое звёздное небо, и каждый понимал, что такого не увидишь и не услышишь в городе, где все разгорожено заборами, укрыто бетонными стенами и шиферными крышами. Это были не те, привычные нам костры, которые мы разводили в кустарнике, запекая картошку. Тут мы напрямую соприкоснулись с первобытной, практически ещё не тронутой человеком природой; начитавшись книг, я даже пытался сравнить это место с затерянным миром, где умение выживать, приспособиться имело особое значение. Такой перины и такого тепла не было в затерянном мире, нам было тепло, даже, можно сказать, жарко; от земли, пахнувшей хвоей, шёл жар, и вскоре мы заснули как убитые.

Ягоды было столько, что уже к обеду прихваченная нами посуда была заполнена. Отец сделал для меня из бересты два туесочка, вскоре и они были заполнены. Остроумовы были без совков, да и горбовики у них оказались какими-то неприспособленными для таких поездок. Поначалу Остроумов решил ссыпать бруснику в вещмешок, но мама сказала, ягода спелая и быстро подавится, вся работа будет насмарку.

Услышав её, отец без слов и просьб отрезал кусок сгнившей берёзы, вытряхнул из неё труху, из той же бересты вырезал кружок, закрепил его тонкими прутиками и подал Остроумову:

— Здесь на полтора ведра. Если надо, я сделаю ещё.

— Только и всего, — удивлённо протянул Остроумов. — А не высыпится?

Отец улыбнулся и тут же высыпал из своего «комбайна» в туесок бруснику.

— Проверь!

— Ну, Николай, ну, умелец! — похвалил его Остроумов. — Может, ты мне его наполнишь, чего тебе стоит?

На лице отца появилась лёгкая усмешка, которую он тут же погасил добродушной улыбкой — такой откровенности он не ожидал.

— Осип, может, тебя ещё на руках поносить, — рассмеялся отец. — Здесь нет начальства, все равны. Таков закон тайги.

Ну, про закон он добавил для верности, чтобы его слова не показались грубыми. Меня сместило, что младший Остроумов всё бегал смотреть, где, в каком месте я так быстро нагребая свои совки брусникой. Знал бы он, что для нашей семьи это было привычным делом. Если в тайге был урожай, то мы всей семьёй делали три ходки под Иркут. Первая брусника шла на продажу, на вырученные деньги мама покупала нам школьную одежду, и вторая партия шла на продажу, а уже третью, самую спелую, засыпали в бочку, и она съедалась к весне. Набив свою посуду, отец ушёл помогать маме.

Когда мы спустились с горы к табору, выяснилось, что отец взял с собой сеть, и пока мы там на склонах и бугорках набивали свою посуду ягодой, он натаскал почти целое ведро харюзков. Все собрались вокруг его улова, дивились, брали рыбин за жабры. Пока у мамы дозревал в ведре суп, отец вырезал удилище, привязал к нему снасть и начал показывать мне, как лучше всего подсекать стремительно бросающуюся на муху рыбу. Хариус хватал наживку, едва она касалась воды. Немного погодя, пыхтя как паровоз, с горы спустился Остроумов. Лицо его при виде белопузых серебристых рыбин стало лиловым.

— Ты что это, прямо здесь? — хриплым голосом выдохнул он.

— А где же ещё, — засмеялся отец. — Рынка здесь нет.

Остроумов начал суетливо рыться в своих вещах, затем ни с того ни с сего накинул на сына, который якобы забыл снасти. Отец протянул ему удилище.

— Чего шумишь, вот тебе струмент, иди, пробуй.

Остроумов колобком покати к Иркуту, долго подыскивал удобное место, но по тому, как он начал крутить над головой снасть, стало понятно: он перепутал её с брендспойтом. И сколько Остроумов ни хлестал леской воду, почему-то рыба наживку хватать не пожелала. Рыбачий пыл у Остроумова закончился быстро, он вернулся к табору и бросил удилище.

— Нет, ты чё сделал, — начал выговаривать он отцу. — Сам нахапал, а потом прогнал рыбу.

Отец молча освободил удилище от снасти, завернул её в сверток и спрятал в карман.

— Быть дождю, — неожиданно сказал он, поглядывая куда-то в сторону заснеженных гольцов. — Надо срочно сниматься и выходить к тракту. Думаю, что будет снег с дождём.

— А как же обед? — спросила мама.

— Все в темпе. Иначе застрянем здесь до морковкиного заговенья.

Что такое морковкиного заговенье, я не знал, но понял, что это надолго.

Остроумов походил, потоптался вокруг кострища, затем сообщил, что у него скоро день рождения, будут важные гости и он готов купить у отца часть улова. Отец по-ребячьи снизу вверх посмотрел на Остроумова и, сломав в себе какую-то преграду, достал из ведра несколько крупных рыбин.

— Все остальное можешь забирать, — сказал он.

— Но если я плачу, то я взял бы и этих, — начал Остроумов. — Или, может, ты ещё половишь?

— Меня в детстве учили: дают — бери, бьют — беги, — неожиданно жёстко ответил отец. — Через час пойдёт дождь, и я боюсь, что сегодня придётся ночевать в снегу. Дай Бог, самим выбраться отсюда.

Начали спешно собираться. Отец, оглядев свою разношёрстную бригаду, неожиданно скомандовал: всем снять нижнюю одежду и спрятать в брезентовые мешки.

— Это ещё зачем? — удивились Остроумовы.

— До ночи дойти до тракта не успеем, придётся ночевать в тайге. Думаю, что там, на горе, будет снег.

Просьбу отца неохотно, но выполнили почти все.

— У нас непромокаемые плащи, — сказал Остроумов.

Я ожидал, что Остроумов предложит свои вещмешки под нашу одежду, но куда там. Тут сработал принцип: каждый сам за себя.

Как и предсказывал отец, дождь начался, едва мы покинули табор. И уже буквально через полчаса повалил снег. Очень быстро снег с дождём сделали своё дело, мы шли, спотыкаясь и падая. Больше всех страдал Остроумов. Непривычный к таёжным тропам, к тому, что ноги то и дело разъезжаются в разные стороны, он начал допускать те крепкие выражения и матюки, за которые его маму уж точно не раз бы вызвали в школу, а потом поставили голыми коленями на горох в самый передний угол. Действительно, такого трудного подъёма с полной поклажей я ещё не знал.

— Отец, ему ещё жить, отсыпь, — на одном из перекуров, глянув на моё лицо, неожиданно жёстко сказала мама. — Или я сама у него заберу.

Я знал, что у отца была неподъёмная ноша, но он безропотно выполнил волю мамы.

Уже в темноте, когда среди девочек начались всхлипывания и слёзы, мы, падая, съезжая по снегу и грязи на заднем месте, спустились с горы, отец вывел нас к заброшенным на болоте покосам. Он снял свою поклажу и сказал, что ночевать будем здесь. Подойдя к засыпанному снегом зародам, он начал вырывать из стога сухое сено, делая что-то вроде норы. Затем приказал нам снять мокрую одежду, надеть сухую, и мы, как мышки-полёвки, постукивая зубами от холода, но всё же в сухой одежде забрались в нору, где в нос шибануло сухое, пахнущее дурманом сено. Сон был ещё более крепким, чем на таёжной перине. Проснулись мы в зиме, вся тайга была под снегом. Но возле стожков уже дымил костерок, в большом походном котелке мама варила уху из тех харюзков, что оставил себе отец.

Что я вынес из этих походов в тайгу за годами? Тогда я этого не осознавал в полной мере, но что-то из увиденного откладывалось в голове. Главное — *что* можно делать, а *чего* — нельзя. А ещё — терпеть нелёгкий путь по тайге, показывать всем, кто под руководством моего отца впервые пошёл нелёгкой тропой под Иркут, что здесь нет своих и чужих, все выходят на своих двоих. И когда мне уже не доставало терпению, встречаясь глазами с отцом, я тихо спрашивал: сколько ещё осталось?

— Вот сколько прошли, осталось ещё столько же и полстолька, — улыбнувшись, говорил отец. — Терпи, тебе в жизни это пригодится, выживать в любых условиях.

Собственно, вся жизнь и состояла из уроков умения выживать. Конечно, основная нагрузка была на родительских плечах, нужно как-то выкрутиться, но чтоб утром на столе был кусок хлеба, а уж что к нему, как говорила мама, Бог подаст. Уже много позже я пойму, что жизнь будет сталкивать и усаживать рядом со мной, как в рейсовом автобусе, разных людей. За короткое время ты даже, возможно, что-то узнаешь о них, можешь даже поспорить, поругаться. Но вот очередная остановка, ты вышел или они, и уже никогда не встретишься с теми, кто сидел рядом. А впечатления от таких встреч, бывает, остаются надолго. Так было и с Остроумовыми. Никогда больше я не встречался с ними. Почему-то всё хорошее быстро забывается, а плохое сидит где-то в душе, как ржавый гвоздь.

Однажды, когда мама заболела, она попросила меня принести воды. Выпив воду, она поставила стакан на стул и неожиданно спросила:

— Вот когда я умру, ты будешь приходить ко мне на могилу?

Я оторопело посмотрел на неё: да такого быть не может, чтобы мамы не было с нами! Впрочем, размышления о неизбежном конце всего живого посещали меня, особенно когда к нам приходил мамин брат дядя Кондрат, чтобы помочь отцу заколоть свинью. Мы его называли Борькой, я ему иногда давал попить молока и даже пытался прокатиться на нём верхом, что ему не очень-то нравилось. И вот его, моего любимца, должны были зарезать. Я убегал в дом, чтобы не слышать его предсмертного крика, и, закрыв уши, читал сказку про Колобка, который и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл. А вот Борька не уйдёт. Но я очень хотел, чтобы он стал эдаким колобком. И всё равно в голову лезли нехорошие мысли, что придёт время, и мы все умрём.

Когда я приезжал в отпуск из училища, особенно в первый раз, всё в доме было, как и раньше, мама рассказывала, что после смерти отца пошла работать на комбикормовый завод и там по неосторожности умудрилась запихать палец в дробилку зёрен. Она показывала неровно сросшийся палец, который ей размолотила машина.

Второй раз я приехал осенью, в начале октября. Было уже поздно, я приехал с вокзала последним автобусом. С Барабы по знакомым буграм и кочкам, перепрыгивая через лужи, добежал до дома. Света не было, все уже, видимо, легли спать. Я полез на забор, чтобы открыть защёлку на воротах, и услышал сдавленный крик. Через ограду во тьме ко мне летела моя мама. Перед сном она пошла в туалет и увидела, что кто-то лезет через забор. Конечно, она догадалась, что это приехал я, вскрикнула, как подраненная, и уже через секунду обнимала и целовала меня.

— Наконец-то дождалась, — шептала она.

Потом всю ночь сидела возле меня на кровати, гладила, как маленького в детстве, что-то говорила, но в основном расспрашивала, как проходит учёба, как я летаю.

— А помнишь, как ты, завидев самолёт, кричал: «Ароплан, ароплан, посади к себе в карман», — вспоминала она. — Должно быть, тогда в тебе зародилась мечта стать лётчиком.

— Да ты же сама говорила, что врач, принимающая роды, сказала, что родился лётчик, — грустно улыбаясь, отвечал я. — И отец назвал меня в честь Чкалова.

— Я уже всё забыла, — ответно улыбалась она.

*Небо синее в горошек
Заслонила яблонь тень,
Я лежу, гляжу в окошко
На осенний день.*

*А из кухни запах хлеба,
Мама с радостным лицом,
Самолётчик чертит небо
По стеклу резцом.*

*А пока он целит в раму,
Я прошу аэроплан:
— Прокати по небу маму,
Посадив к себе в карман!*

Это я напишу много позже, когда уже не буду летать, а буду, склонившись над чистым листом, вспоминать свои первые шаги в небо и тот приезд домой в свой курсантский отпуск. Через пару дней мама сделала мне встречу, накрыла для моих друзей стол, я ещё удивился, дома денег нет, мне надо ещё на обратный путь, а тут на тебе. Не ведал я, что она не только сделала мне встречу, но это был её день рождения, последний в жизни. А я тогда слишком много уделял своей персоне, своим друзьям, хвастался курсантской формой, вставляя в свою речь новые, непривычные маминому слуху словечки из лексикона нашего старшины с Черноморского флота, и она простодушно спрашивала, что такое галюн, кубрик и почему меня так часто посылают на шкентель.

По приезду я с ребятами пошёл на танцы, меня продуло на холодном ветру, и начались стреляющие боли в голову. Дома я спал на раскладушке. Мама, чтобы облегчить мои боли, поставила возле головы включённую электрическую плитку. Немного, но всё же помогало. Она сидела рядом, и я чувствовал, что она носит в себе какую-то тяжёлую думу, но не мог себе даже представить, что она неизлечимо больна и жить ей осталось совсем немного. Но она, как умела, сдерживала себя, чтобы я не догадался о её болезни и уехал в училище со спокойной душой. Даже съездила на вокзал и купила мне билет. Последнее, о чём она попросила меня, чтоб я на месте стайки выкопал курятник, поскольку был он у нас под кухонным столом и от него всегда несло помётом. Я вырыл яму, обшил её досками, но не успел сделать крышу. Она пришла из больницы, оглядела мою работу, ничего не сказала, и я понял: ей уже не до курятника.

Ранним утром одиннадцатого ноября 1963 года в сильный мороз она вместе с моими сёстрами и другом Олегом Оводневым поехала провожать меня на вокзал. И когда поезд тронулся, я, увидев на её глазах слёзы, запел: «Вот и стали мы на год взрослей».

Мне хотелось, чтобы она перестала плакать, ну не нашёл я тогда других слов, чтобы успокоить её. И она, уже не сдерживаясь, разрыдалась.

Плакала она и когда в августе шестьдесят первого за столом собрались мои друзья и дядя Кондрат, чтобы проводить меня в училище. Я вижу её жалобные, искривлённые горем губы, замечаю, что у неё уже нет коренных зубов. Плакала она, должно быть, вспомнив только что ушедшего в мир иной отца, который не дождался этой минуты, чтобы погордиться за своего сына, первого на всех Релках лётчика. А на вокзале она осмотрит место, на котором я поеду в училище, накажет моей соседке, женщине с дочкой, чтоб поглядывала за мной.

Сейчас она не стала даже заходить в вагон, закусив шерстяной платок, она некоторое время сдерживалась и всё-таки не смогла сдержаться, из глаз потекли слёзы. После, приехав домой, она сказала сёстрам:

— Всё, я его больше никогда не увижу.

И слегла в постель. И больше уже не выходила на улицу, лишь иногда просила моего младшего брата Сашу, чтобы он помог ей выйти на крыльцо, подышать свежим воздухом. Там она усаживалась и просила поддержать ей спину, сил у неё почти не оставалось. Смотрела на снег, на забор, на крышу соседнего дома. О чём она думала? Наверное, как впервые приехала сюда, ещё в старую засыпнушку, которую отец купил у железнодорожника и которую разобрали сразу же после рождения Саши. Здесь, на Релке, она прожила почти тридцать лет, пережила войну, смерть нескольких своих детей. Здесь прошла большая часть её жизни. И вот дома холодно и голодно, нет уже сил, нет мужа, рядом трое девчонок и ещё маленький сын, который, хлопая большими глазёнками, смотрит на неё. Да ещё где-то там, далеко в Бугуруслане, другой. Она соберётся с силами и напишет мне письмо, очень беспокоясь за моё здоровье, понимая, что для той работы, которую я выбрал, быть здоровым — это главное.

«И если что случится, то вы не забывайте друг друга», — написала она в конце. Я читал письмо, выходил на улицу и плакал.

В тот день был старый Новый год. Было холодно, градусов под тридцать. Я пришёл из караула, почти тотчас была дана команда «Отбой», и я лёг, накрывшись поверх одеяла шинелью. Только я повернулся к батарее отопления, как услышал по коридору грохот ботинок, и почему-то сразу догадался, что идут ко мне. Подошли старшины Боря Зуев и Толя Соловьёв и сказали, что умерла мама. Спросили, есть ли у меня деньги. Я достал из тумбочки три рубля. И тогда в казарме вспыхнул свет, товарищи собрали мне денег на дорогу — до Иркутска вполне хватало. Валерка Пелих написал записку своему отцу, мол, помоги этому парню, чем можешь. Затем мы пошли к дежурному по училищу, и на дежурной машине поехали на вокзал. Там мой старшина Толя Соловьёв договорился с машинистом, меня посадили в заднюю кабину электровоза.

— Что поделаешь, парень. Не ты первый, и не ты последний, — сказал машинист.

И я остался наедине со своим горем. Электровоз шёл без остановок сквозь чёрную ночь, постукивая на стыках и пугая близкими гудками, которые разрывали мои путанные мысли.

К утру я доехал до Куйбышева, так тогда называлась Самара, сел на такси и помчался в аэропорт Курумоч. По доске объявлений я узнал, что через два часа должен был приземлиться самолёт из Одессы, который следовал до Иркутска. Но потом объявили задержку рейса по технической причине, и я просидел со своим горем в аэропорту почти два дня. Хорошо, что хватило ума взять билет до Москвы, и ещё с одним парнем, нашим курсантом из Хабаровска, мы на Ан-10 полетели в аэропорт Быково. Командир корабля пригласил нас в кабину и стал говорить, чтобы мы обязательно изучали английский язык. Но мне было не до языка, хотя кабину пилотов я осмотрел внимательно. Конечно, это уже была не кабина нашего маленького Яка. После посадки через весь город на автобусе мы переехали во Внуково. Я сидел и глазел по сторонам: на перекрёстках в таких же белых полушубках, как у моих земляков-сибиряков в сорок первом, когда они пришли защищать Москву, стояли постовые и заученными жестами крутили чёрные в полоску указатели, регулируя потоки, в тот момент я почему-то вспомнил своего отца, который когда-то в нашем доме учил правилам дорожного движения своего младшего брата Алексея.

Так я впервые в жизни попал в столицу нашей родины. Во Внуково мой попутчик-курсант познакомился с каким-то проходимцем, и они начали вымогать у меня деньги, чтобы попить московского пива. И я чуть было не отдал, но всё же что-то остановило меня.

— Нет, ты же знаешь, что я еду на похороны, — сказал я.

После этого они потеряли ко мне всякий интерес. Позже я встретил моего случайного попутчика в учебно-лётном отделе училища, он прошёл мимо, как бы не узнав меня.

В Иркутск я прилетел ночью, взял такси, доехал до «Нефтегеологии» и по заснеженному полю, по узкой тропинке, по которой когда-то возвращался после занятий в планерном кружке, побежал домой. В эти часы Релка ещё спала. Я перелез через ворота, стукнул в окно. В доме зажёгся свет, началось шевеление. И неожиданно в окне я увидел маму.

Сердце дрогнуло, но тут же до меня дошло, что это мамина сестра, тётка Наталья. Они были очень похожи. Когда я зашёл в дом, начались слёзы, причитания, я увидел дядю Артёма, они все ждали, когда я приеду, даже ездили в аэропорт встречать самолёт, но почему-то из Оренбурга.

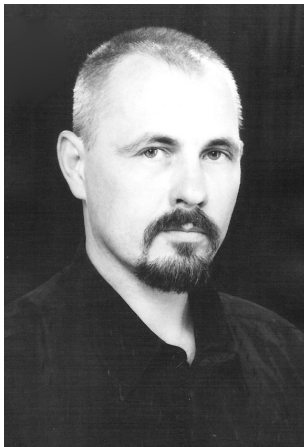
Неожиданно я встретил взгляд моего брата Саши: его глаза смотрели на меня с какой-то непонятной мне, взрослой печалью. В тот последний для мамы день она попросила его сварить вермишелевую похлёбку. Для Саши это оказалось непосильной задачей, тогда мама стала руководить процессом, сказала, чтобы он налил в кастрюлю воды, затем, когда вода закипела, попросила посолить, и он бухнул столько соли, что хлебать вермишель было невозможно.

— Как же вы будите жить без меня, — с горечью сказала мама. Вскоре пришла «скорая», он помог маме одеться. Возле нашего дома проводить маму уже собрались соседки. Перед тем как сесть в машину, мама оглядела их, затем оглянулась на заледенелые окна своего дома.

— Прощайте, девки, думаю, мы уже не увидимся, — сказала она и сделала по снегу шаг к машине. Уже из дверей она глянула на прилипшего к окну младшего сына, перекрестила его и сделала слабую попытку улыбнуться. То, чего не смогла сделать, когда провожала меня на вокзале...



АНДРЕЙ МИРОШНИКОВ



У Бога много не просите

* * *

Уходит лето.
Всё холоднее росы —
В ночные окна осень тревогой дышит.
По всем приметам
Кончились сны да грёзы —
Стихов и песен я ни писать, ни слышать.

И вместо строчек —
Вдаль самолётный прочерк.
Кружат с деревьев листья поодиночке...
Я обесточен.
Выкорчеван из почвы.
Лишён опоры, координаты точной.

Забор. Крапива.
Псина, на вид под центнер,
С энтузиазмом занята чьей-то костью.
Вечерним пивом
Тешится частный сектор.
Собака дома. Я прихожусь ей гостем.

МИРОШНИКОВ Андрей Георгиевич род. в 1963 г. в г. Змеиногорске Алтайского края. Жил в г. Шевченко (Казахстан) и в Москве. Печатался в журналах «Сельская молодёжь», «Литературная учёба», «Юность», «Простор», в альманахе «Истоки». Автор двух поэтических сборников «Сны» (1998) и «Каменный ангел» (2002). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

...В молчанье строгом
Вечер один из многих.
Былым, как спамом, прочно забита память.
Отшельным йогом
Скрестить бы в лотос ноги,
Оставив бремя комы самокопаний,

Покончить с прошлым,
Выдавлив через поры,
Не озираясь, с местной привычкой вровень:
Здесь мыслят проще,
Преображая споро
Старьё усадеб в груды горелых брёвен;

Как будто сдуру,
Исколесив просторы,
Из всех обочин, задних дворов и свалок
Я выбрал хмурый,
Счастьем забытый город,
Как будто прежних было мне адски мало —

Со спешкой пули,
Ставящей жирно точку,
Сменил на ссылку волю Первопрестольной.
Пути замкнулись
В ноль омулёвой бочки.
Зима метелью выест глаза как солью...
Валежник тлеет,
Стелется дым горчащий.
В саду притихшем дрёма тумана бродит.
Бельмом белея,
Око луна таращит.
Кого-то ищет. Ищет и не находит.

* * *

В Сибири нынче не было зимы —
И снега мало, и морозов мало...
Сибирь как будто бы не обнимала —
Зима дремала, радовались мы:

Не отменяли садилов и школ,
Детей счастливых не загонишь с горок,
А минус четвертак — не минус сорок,
Не слишком торопясь ходи пешком...

В Сибири нынче не было зимы,
А прошлый год, мне помнится, старалась:
Держали небо, в звёзды упираясь,
Прямые да высокие дымы...

* * *

Господи, не суди,
Оком вселенским глядя, —
Мне не дано ходить
Пешим по водной глади;
Вечно пуста сума,
Дыры в суме уловом.
Ты мне не дал Ума,
Дай мне хотя бы Слово.

Чтобы живая Речь,
Чтобы не ветер в уши:
Смог бы я уберечь
Чьи-то сердца и души —
Буквами на листке
Антифатальной «скорой»
Оды — строка к строке —
Праведным сделать вора.

Если Ты не слепой,
Видишь, где скрыта корысть,
Мне подаривший Боль,
Дай мне в довесок Голос.
Вовсе не голосить
Или стенать влюблённо —
Перед Тобой просить
Милости обделённым:

Слабого не щадя,
Словно в мишени в тире,
Лупят по площадям
Буйные командиры.
Залпового огня
Не умирят Лира...
Боже, суди меня! —
Я недоволен Миром.

В нём перебор с огнём,
Впору разверзнуть хляби!
Ты вспоминай о нём.
Прямо сейчас. Хотя бы
Яростных остуди,
Сердце лиши Гордыни,
Милость свою ссуди.
Можно и половину.

Выдохни в нас Любовь,
Что отвратит пороки.
В мире избыток слов.
Лгут голоса и строки.
...Если полна душа
Пылью заместо Веры,
Наших желаний жар —
Пафосная химера.

* * *

Когда-то по колкой метели,
По сумеркам цвета чернил,
За полу отцовской шинели
Держась, я в детсад семенил.
И было всё просто и ясно,
И снег не царапал лица.
И не было мест безопасней,
Чем там, за шинелью отца.

Я помню, как папы не стало,
Беда навязала родство,
И как мне тогда не хватало
Колючей шинели его...

Уж дети мои повзрослели,
На равных ведут разговор.
За полу отцовской шинели
Я крепко держусь до сих пор...

Мы родом неискоренимы,
Не взять нас огнём и мечом —
Мы славою предков хранимы,
Мы чувствуем предков плечо:
Горящие вихри свистели,
Мы близких теряли — не счесть,
И ангелы в серых шинелях
В России у каждого есть.

* * *

*Моей героической маме,
Всем мамам моего поколения*

1

Нам было, помнится, шестнадцать —
В семидесятых, в прошлый век —
Пора искать и сомневаться,
Гоняя ветер в голове:

Мы чушь прекрасную пороли
И тайно хаяли Совок,
И находили в рок-н-ролле
Едва ль не бога своего.

Нам, словно зеркальца туземцам,
За «Интуристом», за рубли —
Толкали финны, венгры, немцы —
В обложке яркой чёрный блин...

Борясь со скукой и прыщами,
Мечтая встретить идеал,
Мы громко музыку включали
И лихо двигали тела.

— Ну что за музыка такая?
И танцы, как у дикарей, —
С тревогой бабушки ругали,
Своих домашних хиппарей...

А мы высмеивали старших
За неумелый их повтор
Крутых имён кумиров наших,
За веру в пламенный мотор,

За песни Зыкиной, за слёзы
Под незатейливый романс.
Мы песни старших про берёзы,
Пижоны, слушали, кривясь.

А «предки» наши фрица били,
В войну стояли у станков,
Они страну свою любили
И нас любили, дураков.

И покупали нам, потомкам, —
Ведь мы должны достойно жить —
Магнитофоны и колонки.
А мы... Мы слушали чужих...

Вернуть бы всё — обнять бы маму,
 Да поезд мой уже ушёл.
 Как стыдно перед стариками
 За чужеродный рок-н-ролл,

Что там, борясь с Уральским хором,
 Что из приёмника журчал,
 В нелепом яростном задоре
 Я громко «Роллингов» включал.

В одной из яростных секвенций
 Услышав пару резких фраз,
 Взметнулась мама: «Это немцы?..»
 Как я смеялся, лоботряс...

А мама... Мама — фронтовичка,
 Вдова до окончанья лет,
 Что сэкономила на спичках,
 Но поднимала наш квартет,

Нужду минуя и обиды.
 Две вещи были ей важны:
 Чтоб были ребятишки сыты
 И чтобы не было войны;

Из оккупации немецкой,
 Отбитого на день села,
 На фронт из выжженного детства
 Ровесницей моей ушла.

И ей гитарные экспромты,
 Что буйно тешили сына,
 Напоминали визгом бомбу
 Немецкого штурмовика...

Винила нет. Молчат колонки,
 Но горько, стыдно до сих пор.
 И в памяти моей негромко
 Звучит любимый мамин хор.

И как-то выключились янки
 Из категории святых,
 И душат слёзы от «Землянки»,
 И «Безымянной высоты» ...

У Бога много не просите,
 Когда в России рождены:
 Чтоб дети наши были сыты
 И чтобы не было войны.

Большой семьёй под общей крышей
 Жить не лукавя, не по лжи,
 Простые песни петь и слышать,
 Простыми истинами жить.

* * *

На стремнинах кружа
Танцами,
В ночь бежит Ангара
Чёрная,
Отражает огни
Станции.
Числа любит вода
Чётные.

Вот и тянет к Шаман-
Озеру,
Где живёт Тишина
Прежняя.
Там язык не в ладах
С прозою,
Там, как бубен, Луна
Вещая,

Апогей золотой
Осени —
Над тайгой Млечный Путь
Гроздьями.
В городах небеса
Поздние
Неизменно бедны
Звёздами:

И росой чиста
Утренней,
Там близка до утра
Истина,
Там созвездий глаза
Мудрые —
Можно в космос удрать
С пристани...

Далеко ли они,
Возле ли?
Я привык видеть их
Компасом.
Но гудят фонарей
Дроссели
И крадут глубину
Космоса.

Я стою над рекой
Чёрною,
На созвездье гляжу
Станции.
И гудят поезда
Скорые.
И кружит Ангара
Танцами.

* * *

Опустят ящик в могилу, в грязь,
Где по колено воды.
Завалят глиною торопясь,
Как заматают следы.

Таким, мол, небо даровано
И райских зарослей цвет —
Пообещают зарёванной
И безутешной вдове...

Не оглянувшись, не кинув взгляд,
Под мелким серым дождём,
Сплочённой стаей засемят
За похоронным вождём —

Ей будет помниться ужасом
И спешка крепких парней,
И яма с рыжею лужею,
И гроб, притопленный в ней:

Начать обедню печальную
И разобраться с бедой:
Столы кафе ритуальные
Халявной манят едой.

«На нём одежда промокшая,
Его бы переодеть.
И как портрету усопшего
В глаза отныне глядеть?»

Там, за лапшой да за чарками
Затеют слёзы да речь,
Что был покойный подарком и,
Мол, не смогли уберечь.

И вдруг собьётся, опомнится:
Посуды звон, голоса...
И рюмка водкой наполнится,
Слезой прольются глаза.

* * *

На скале, окружённой волнами,
Вдалеке от материка,
Возвышается стойким воином
Башня старого маяка —
Сквозь туманы ли, ночи мгlistые,
Упреждая коварство вод,
Смотрит пристально в сумрак линзами,
Ночью за ночью, за годом год.

Старый техник, чья жизнь потрачена
На недремлющий луч во тьме —
Побеждает мазутом ржавчину,
Начищает стекло да медь...
Можно жить, наслаждаясь видами
Моря, пламени да песка,
Но красавица-дочь на выданье
У зрителя маяка.

А на острове жизнь дремучая,
Юность девичья коротка.
И тревожные мысли мучают,
Овдовелого старика.

Ни бродяги, как лев косматого,
Ни заезжего моряка.
Кто полюбит и кто сосватает
Дочь хранителя маяка?

Может, как-нибудь в ночь кромешную
Не запаливать огонька? —
Бросит буря на отмель здешнюю
Судно, ходом издалека.
И на берег, почти нехоженный,
Загорелы, в плечах крепки,
Выйдут, гальку сметая клёшами,
Разбитные холостяки;

И кому-то она приглянется,
По-русалочьи, на века.
И уймётся бродяга-пьяница,
Став хранителем маяка...
Но промолвит старик «Не балуйся!» —
Неизменен морской закон! —
Всем — под паром ли кто, под парусом, —
Ночью должен гореть огонь.

* * *

Тёмное время суток.
Тёплое время года.
Ангельская погода.
Сон необычно чуток.
Выключен телеящик.
Ластится к перепонкам
Музыка струйкой тонкой —
Снизу по восходящей:

Если судить по скерцо —
Катя кому-то рада —
Значит, сегодня рядом
С нею мужчина сердца.

Помню, как одиночкой,
В тихой своей печали,
Ночи она встречала
С рыжей, как солнце, дочкой...

Катя щебечет птицей,
Дочка её смеётся.
Радостно сердце бьётся,
Радостно мне не спится...
Счастье чужое лечит
И наделяет верой...
Выйду, пройду по скверу.
Может, кого-то встречу.

* * *

Как выскажу моим косноязычем
Всю боль, весь яд?
Язык мой стал звериным или птичьим.
Уста молчат.

В. Ходасевич

Я многого от жизни тщетно ждал:
Друзей отважных, подвигов, походов...
По книжным странам истово блуждал
И присягал на верность Дон Кихоту.

Вдыхая смысл в пустую суету
И слыша зов Прекрасного Далёка,
Я жилы рвал, я догонял мечту...
Но вот оно, Всевидящее Око —

В окно больницы бледная луна
Глядит бесстрастно, смотрит не мигая,
Не трепетна уже, не влюблена,
Не южная, как в юности, — другая.
Под этим светом книги не прочесть,
Не написать возвышенные строки,
И если где-то свет нездешний есть,
То нынче он течёт из этих окон,
И жизнь мою, как рукописный труд,
Просматривает по диагонали —
Вот так рентген просвечивает грудь,
Выказывая тщательно детали...
Едва ли умер и едва ли жив —
Не в этом нынче срок определится:
Свободным от заслуг и перспектив
Лежу закладкой на пустой странице —

Черновике измятой простыни,
В казённой тишине ночного блока,
Не слыша ни обыденной возни,
Ни голосов Прекрасного Далёка.
Оставлю несусветно скучный след —
Больничных карт врачебную интригу
И жизнь свою — не вышедшую в свет,
Большую ненаписанную книгу...

25.03.2014 г.

* * *

Я уже не вернусь.
 Не дойдя до вокзала и кассы,
Даже не обернусь
 убедиться, что смотришь вослед.
Заблудившись среди
 чемоданово-сумчатой массы,
Словно мёртвый шагну
 среди мёртвых на голос и свет.

Погружаясь в ночной переход
 к поездам и перронам,
Не гадая по спин напряжению
 лиц или мышц:
Кто ТУДА, кто ОБРАТНО.
 Как прежде везде посторонний,
Навсегда перейду Рубикон,
 А возможно и Стикс.

30.11.2014 г.



ЛЮДМИЛА ЛИСТОВА



«Я вернусь...»

РАССКАЗ

1

Ехать не хотелось. В июле Нина Павловна уже так измоталась с доводкой многоэтажки и реконструкцией школы, что не могла спать. Укладываясь в прохладную постель, она ещё долго чувствовала на щеке жар накалившегося металлического абажура; чертежи, кальки плыли перед глазами, по узлам и планам скользили, перегоняя друг друга, катучие рейсшины.

А тут ещё Лисик. Сначала он прыгал от радости, узнав, что они с матерью едут на Аршан. Потом потерялась кошка, и мальчишка ныл, несколько раз приступал даже реветь. В конце концов заявил, что никуда не поедет:

— Вдруг Ночка вернётся, а нас нет!..

«И зачем я всё это затеяла? — сокрушалась Нина Павловна, вяло собирая вещи. — Придётся ехать, деньги пропадут. Скорее бы это прошло! Ну ладно, ну три денька, как-нибудь перетерплю...»

— Знаешь, Лисик, кошки — они такие, особые животные, — ласково говорила, усадив сына рядом на диван, — любят свободу и ходят сами по себе.

ЛИСТОВА Людмила родилась в Иркутске в семье энергетиков. Окончила политехнический институт. Несколько лет работала по специальности: электромонтёром, инженером-релейщиком. Позже поменяла профессию, и уже более тридцати лет в журналистике. Автор рассказов, повестей, романа-трилогии *«Душа скорбящая»*. Публиковалась в альманахах «Енисей», «Иркутский Кремль», журналах «Сибирь», «Россия молодая», «Москва», «Русская Сила», «Роман-журнал XXI век», «Южная звезда», а также в коллективных сборниках, выходивших в Иркутске, Москве, Минске. Выпустила семь книг прозы. Людмила Листова живёт в Иркутске, редактор православной газеты «Верую!». В 2009 г. удостоена премии имени Святителя Иннокентия Иркутского.

— Как это?

— Ну, захотелось, скажем, Ночке дальние страны посмотреть, она и пошла. Тем более, ты ещё её всё время за хвост тянул...

— Я больше не буду-у! — опять заныл мальчишка.

— Ну, вот и хорошо. Давай Господа попросим, чтоб Ночка вернулась. Мы приедем, а она с таким маленьким рюкзаком под дверью сидит, нас ждёт.

— Вот здорово! — просиял Лисик.

Вместе горячо помолились и стали укладывать вещи.

Ехать надо было очень рано. Но когда Нина Павловна пришла будить сына, он, уже одетый, лежал, болтая ногами, на диване и рассматривал карту. Как вырос, порадовалась мать и улыбнулась, вспомнив его возмущённое «Не называй меня ребёнком! Я отрок!»

И всё шло хорошо — солнце весело и ярко било в окна, обещая жаркий день, деловито и дружно уплетали в Лисиной кормушке старую булку голуби, и замки в железной двери закрылись без обычного визга. Мать и сын, благословясь, тронулись в путь. По асфальту тянуло утренним холодком, а с листья падали редкие тяжёлые капли. Но, уже отойдя от дома, Лисик спохватился, что забыл свой зонт.

— Ну как же ты! — сразу вспыхнула Нина Павловна. — На карте лежишь, а собраться нормально не мог.

— Давай вернёмся, — захныкал, как маленький, Лисик. — Почему ты мне не напомнила?!

— Вот опять я виновата!.. — ответно вздёрнулась Нина Павловна. И, будто спохватившись, приобняла сына за плечи и сказала: — Мы опоздаем, давай поедem без зонта, Бог поможет, верно, не должно быть дождика.

И они, успокоенные, поспешили к остановке.

— Мама, смотри, вон ещё ветки! — то и дело дёргал её за рукав штормовки сын, показывая в окно троллейбуса на сломанные недавним ураганом тополя. Их перекрученные, расщеплённые стволы, обнажённой розоватой корой напоминающие кости, тут и там мелькали по обочинам. Глядя на них, Нина Павловна представляла треск и грохот, с которыми гнулись, крушились и падали эти деревья, вспоминала, как чёрная буря застала их с сыном на свекровкиной даче. Заперев Лисю с бабушкой на веранде, Нина Павловна пыталась привязать клонящуюся до земли ветку сливы. Колючки впивались в руки, верёвку вырывало, а бешеный ветер, заголяя белёсую изнанку листьев, волнами и ямами ходил по огороду, и под его мощными ударами вздымались и падали ветки, стелилась ботва, парусом надувалась, рвалась и шёлкала тепличная плёнка. Размотался, растрепался на мелкие клочки пластмассовый флюгер, упал и раскололся резной петух с Лисиного домика.

— Мамочка-а, иди скорей! — вдруг услышала полный ужаса крик сына и, оглянувшись, увидела в окне его огромные, чёрные от страха глаза; а новые, ещё более сильные тёмно-серые, будто дым, несущиеся клубы ветра так пронзительно и страшно засвистели в проводах, что Нине Павловне на мгновение представилось: вот он, конец, и она теперь не сможет, не успеет уже миновать эти несколько метров до двери. Как же беспощадна и неожиданна будет та великая всеобщая кончина! Только бы не дожить до неё, мелькнула и придала сил, и подтолкнула к дому мысль.

Баба Катя зазорила в тёмной горнице свечку, встали перед иконой. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — быстро, жарко шептала Нина Павловна, прижимая к себе дрожащего сына...

— Мама, смотри, какая ветища на проводе висит!

— Да-да... — машинально отозвалась Нина Павловна. — Лися, на следующей выходим. Возле автовокзала поклонились Спасо-Преображенской церкви.

— Господи, благослови нас хорошо съездить, — повторил за матерью Лисик и перекрестился, чуть кося взглядом на прохожих. Надел кепку.

Места в микроавтобусе оказались лучшие — два мягких кресла в самом начале салона. Пассажиры, в основном женщины предпенсионного возраста, шумно рассажива-

лись, перекладывая шуршащие пакеты и клетчатые «шанхайские» сумки. Нина Павловна, чтоб не искушаться, привычно старалась не смотреть на одинаково брюкастых, с короткой стрижкой, совершенно омужиченных бойких тёток, а Лисик уже вцепился глазами в окно, излучая нетерпеливую радость и жадно вбирая сразу всё: старенькое зданье автовокзала и стайку воробьёв, клюющих рассыпанные семечки, обломанную вершину тополя и ровную ватную стрелку от тающего в утреннем небе реактивного самолёта.

2

Поехали. Ещё мелькал город с разрушительными картинами недавнего урагана, но народ в автобусе ахал на них уже как-то лениво, весь устремившись в отпуск, грядущие вольные дни. Нина Павловна уложила свои сумки и тоже наконец удобно уселась в кресле. Лисик по-прежнему смотрел в окно. Напряжённая спина, куцыми крылышками выступающие под свитером лопатки, торчащий на макушке хохолок светло-русых волос...

— Сыночка, расслабься, обопрись назад, — мать пыталась ласково опустить его на спинку сиденья. И по тому, как взглянул на неё своими небесными, погружёнными в себя глазами, как, плавно поведя головой, опять повернулся, а карта то и дело сползала с его колен и он механически поддёргивал её, Нина Павловна вдруг увидела, как рядом с нею он совершенно поглощён своим миром; и ощущая его радость и за него радуясь, всё же ревновала его к этому закрытому от неё миру, снова, как впервые, остро и больно чувствуя множество пульсирующих живых нитей, связывающих его с нею, будто он, десять лет назад родившийся, всё так же дыбит халат и гладко перекачивается под сердцем...

Оставив сына в покое, стала смотреть вперёд, где в зелёной колоннаде леса неслась асфальтовая лента дороги. На взгорке показалось Смоленское кладбище. Нет, Лисик не помнит, как хоронили отца. Он умер, когда сыну было только полтора года.

Олег и Нина познакомились в стройотряде на Шикотане. Он учился на самолётостроительном, она — на архитектурном. Их совместные хождения на шикотанский мыс Край Света обернулись осенней студенческой свадьбой.

Та, овеванная штормами Тихого океана, убелённая пеплом вулкана Тяти-Ямы, романтическая молодость с песнями про паруса Крузенштерна, незнакомую звёзду и надежду, с мужем-комиссаром путинного отряда и синеглазой дочкой Катюней, осталась для Нины Павловны где-то далеко. И ей порой не верилось, что она уже так много успела в той первой своей жизни. И голоса дочери Катерины, офицерской жены, и внучки Манечки, кричащие в телефонную трубку с дальних гарнизонов — лишь дорогие весточки и напоминание о прошлом.

Вторая жизнь началась для неё, когда Олег, ушедший утром сильным мужиком с молодецкой статью и уверенным взглядом человека, имеющего крепкие тылы, ввалился в дом дождливой ночью в мокром, обвисшем, как на вешалке, заляпанном грязью костюме, с искажённым лицом и трясушимися руками.

— Мать, я убил человека! — сигареты, тут же сминаемые, белыми крючками падали на пол. ...Крики, истерика, тупое сидение на табурете посреди кухни. стакан водки, который так и не пригубили...

Приехали в церковь. Стучал в тяжёлые ворота, дико, рычаще орал, пока не открыли. В пустом тёмном храме упал на колени и плакал, плакал, ребячьи всхлипывая и ударяя кулаком в пол. Нина, заледенев, стояла рядом: ни слезинки, ни жеста утешительного...

Он задавил на служебной машине пьяного деда, который сам упал под колёса, поскользнувшись на мостовой. И никто не обвинял Олега. Он сам винил и судил себя. Он стал другим человеком. Куда-то уходил, молчал. Смолил одну за другой «беломорины». И пил, остервенело, по-чёрному пил.

Его спасла соседка, верующая старушка. Сначала в храм ходил один. Возвращался тихий. Потом стали ходить вместе с Ниной. И что бы они ни делали, о чём бы ни думали,

что ни чувствовали, на всём теперь лежал тревожный отблеск той дождливой ночи, когда слепящий свет обезумевших фар превратился в одиноко мерцающее дыхание лампы в тёмном храме.

Повенчались — белый шарфик да ветка сирени...

Стали ходить к сиротам, водили ребятишек к себе, отдавали вещи. И вдруг неожиданный Божий подарок — сын. Им, уже давно приговорённым после абортов: детей больше не будет.

Умирал Олег мучительно. Саркома. «Ты уже потерпи как-нибудь тут, поставь Лису на ноги, а я тебя там буду ждать», — говорил он, поглаживая руку жены. Отказался от обезболивающих, и чем сильнее становились мучения, тем каменнее сжимал губы.

Последние слова его заглушались хрипом, и Нина так и не поняла, что он сказал, одно только слово услышала почти ясно: «прости» или «простил...»

Когда батюшка отпел Олега, его черты как бы просветлились, улыбка выступила столь явно, что, взглянув на покойника, многие невольно улыбались; и вдруг, словно опомнившись и смутившись, опускали глаза, но тут же, получив внутреннее, свыше разрешение, вновь тихонько и благоговейно расцветали лицом.

...Потом — эти мёрзлые комья, катились и глухо стукались о чёрную креповую крышку.

— Мам, ты что, спишь? — затеребил её Лисик.

— Нет, сыночка, просто задумалась. Всё хорошо, — ласково отозвалась Нина Павловна, быстрым лёгким движением взъерошив его мягкие послушные волосы. Сын нетерпеливо, так похоже на отца, мотнул головой и снова повернулся к окну.

Автобус, насадно завывая, выруливал на просторную видовую площадку. Впереди безбрежно расстился привычный и всегда вновь неожиданно, неправдоподобно прекрасный, уходящий мраморно-сизой голубизной в туманную мглу Байкал. Внизу серела подкова Култука. Засидевшиеся пассажиры шумно высыпали на асфальт. Кто-то доставал собственные припасы, другие ели румяные, огромные, как расстегаи, домашние пирожки с капустой, которые весёлые торговки услужливо выхватывали из-под белых вафельных полотенец; тут и там уже тащили в пальцах горячих, лоснящихся золотыми боками омулей.

Нина Павловна с наслаждением перекатывалась с пятки на носок в удобных лёгких туфлях. Оставив сына с пирогом в руке обследовать стоящий на обочине грузовик, подошла к краю площадки. Два океана, две голубые чаши — Байкала и неба — соединялись и утопали друг в друге, и непостижимая огромность и великолепие их вместе с посёлком, соснами, карабкающимися по каменистым склонам, с белыми высверками чаек под лучами неяркого ещё, не набравшего зною солнца, так захватывали, что хотелось зажмуриться. Но взгляд Нины Павловны напротив всё больше притягивался, тонул, в душе её таяло, отпускалось что-то, словно, осторожно вращая колокол, ослабляли струну. На этом суетном, но так невесомо парящем над краем Байкала пятячке возникало чувство взлётной полосы, будто она колыхалась, вздымалась, дрожала под ногами. Нине Павловне вдруг захотелось хотя бы распахнуть руки, чтоб ветер трепал волосы, влетал в рукава. Но — кругом люди: даже этого было нельзя. И она только стояла, овеваемая простором, прямая и тоненькая, немодно одетая в длинное сиреневое платье, придерживая трепещущие концы шифоновой косынки.

Неуместный сигнал маршрутки. Испуганное «мама, иди!» Снова дорога. В салоне пахло печёным омулем, викторией и беззаботностью. Попутчики жевали, разговаривали, смеялись. Жажда, самозабвенность, с какой Лисик снова приник к окну, была понятна Нине Павловне; ей уже не требовалось обычного усилия, чтобы представить себя в его возрасте и вспомнить свои детские чувства. За стеклом расстилались то усыпанные цветами бескрайние поля с редкими стадами издали игрушечных коров и овец, то к самой дороге подступал лес, где изумрудные гигантские ели перемежались весёлой летящей зеленью берёз, то величественно и сурово нависали над головами щербатые утёсы, пёстрыми слоистыми уступами таранящие небо. И когда среди старых домишек мелькали эти новенькие, с белыми резными ставнями, затейливо-аккуратные и будто нежилые добротные дома с серыми пиалами больших антенн, а луга, во все стороны текущие вдаль, упирались

в сопки, что синими гигантами нежились в туманах на горизонте, Нина Павловна, поглядывая на короткую линию карты, не хотела и не могла соединить её ни с исполинскими воротами, с человеком данным им именем «Тункинская долина», ни с собственным бессилием понять и впустить в душу то, что она видела. Глаза её закрылись, всегда бледные щёки слегка зарозовели, освобождённый выпавшей шпилькой заструился по спине поток тронутых инеем русых волос.

Приехали. Наконец-то!

3

Санаторий. Он был странный. Вот отступить на пятьдесят лет назад: белые корпуса с толстыми круглыми колоннами в старо-советском стиле, гипсовые пионеры с горном и физкультурницы с веслом... и всё это, облупившееся и обиженно-униженное новым порядком, разбавленное свежими аллеями и серыми корпусами, лучилось радостью прежних, сегодняшних и будущих постояльцев. Чувствуя себя в этом нескончаемом ряду, Нина Павловна выгрузилась на Аршанскую землю: вот — сумки, маленькая, большая, пакет с едой, вот — многолетняя и сего дня усталость, вот — упования. Сын. Белёные отцовские ресницы, серые с синими крапинами, будто лазурит, самоуглубленные, не от мира сего, глаза...

...Как-то легко прошедшая раннее материнство в юности, Нина Павловна училась быть матерью снова. И всё теперь давалось ей с трудом. И поздние затяжные роды, и врождённая болезнь сына, и неведомое ей раньше щемящее беспокойство. Оставшаяся вдовой с маленьким ребёнком, боялась всего: его мучительных приступов, сокращения, безденежья. Мальчик рос слабым, часто болел и сидел дома. Он скоро привык больше к общению со взрослыми, и Нина Павловна, стараясь заменить Лисику отца, постепенно стала для него болезненно необходимой; и эта зависимость, которую отмечали даже люди посторонние, порой тяготила её. Похоронив мужа, она всё не могла, да и не хотела отойти от невидимой двери, чрез которую он прошёл. Одинокая душа её искала и находила уже иное. Но каждый день «мира видимого» требовал сил, терпения, любви. И эта, когда-то спокойная, пышная, с шелковистой косой в пояс, теперь худенькая, жилистая и нервная женщина каталась с сыном на велосипеде, влезала на горы, рыбачила и пилила лобзиком. Изменившийся, словно опять отрочески-лёгкий облик её с тонкими морщинками у глаз и поредевшей сложенной вдвое косой на затылке; и платье, хлещущее по ногам, вертящим педалям; и радость от трещающей серебряной сорожки на упругом удилище; и вся её трудная, но по-новому прекрасная жизнь укреплялась и освещалась надеждой на Бога и грядущей встречей Там.

Здесь же — церковь, работа, дом... И если бы не Лисик, его стареющая мать до конца дней уже не подтягивалась бы на турнике, не играла в прятки, не прыгала с бани и не ловила бабочек. Но когда, сидевшая ночью над чертежами (прихватывала ещё и халтурки), днём с Иисусовой молитвой на устах, без конца растирающая сыну таблетки, парящаяся возле плиты, она уже валилась с ног, на помощь приходила молчаливая, вечно с близенькими «по Олежеку» слезами на глазах, свекровь. Летом Лисик с упоением жил у бабы Кати «на дачке».

Здесь Нина Павловна построила сыну домик — настоящий маленький терем с весёлым цветастым петухом на фигурном коньке. Когда она, дочь столяра-краснодеревщика, махала топором, пилила, строгала и украшала ставни берестяными картинками, соседские мастеровые мужики, слепившие на своих участках двухэтажные крепости с кладбищенскими оградами, приходили тайком поглядеть на «бабскую работу» и, видимо, от избытка разнообразных чувств в знак протеста прибили к стене дома её тапки. Улыбнулась, отодрала и ещё два года в них шлёпала...

Итак, приехали. Они уже шли, поглядывая на схему, данную в частном туристическом агентстве. «Подожди, что это? А, да, горы, красивые... Туманы какие...» Шли вдоль уз-

кого заросшего канала, своей странно яркой зеленью напоминающего пруд, хотелось спуститься и поискать в нём кувшинки. Корова в белых и чёрных пятнах смотрела задумчиво и нежно. «Му-у», — сказала она и, смахивая мух, мотнула тяжёлой головой.

А вот и река. Бурливая, громкая, прозрачная Кынгырга в карликовых, похожих издали на картинки с японских гравюр, соснах. Лисик весело, легко вбежал на вздрагивающий под ногами подвесной мост, тут же влез на перила, прыгнул вниз, подбежал к воде, вернулся, потрогал крепления, снова — к грохочущей, то пенящейся и бешено крутящейся, то полированными жгутами сливающейся холодной воде.

«Да, и он. И он чувствует то же. Приехали, подожди... Но что это?!» Так бывает, когда ребёнку подарили слишком много игрушек, и он хватается то за гривастого льва, то открывает коробку с мозаикой или вскользь прикасается к бубенцам петрушки, но при этом он краем глаза уже увидел главное — ту большую красную машину на батарейках, в которую можно залезть и ездить. И он нетерпеливо перебирает и теребит все эти неглавные игрушки, словно боясь окончательно увидеть её, главную, и отпустить свою радость на волю.

Они шли чистым и светлым сосновым бором, переступая по сухим камням через говорливо бурлящие ручьи. Идти, знакомиться, устраиваться. Надо. Но уже теснило и распирало, и подгоняло детское, забытое: кружиться, бежать вприпрыжку. И смеяться, и петь, громко, заливисто. Упасть в душистую пружинащую хвою, смотреть, смотреть в небо...

Просторный, чистенький, двухэтажный дом, округлая с кружевным карнизом крыша похожа на шляпу Наполеона, тощая и высокая щенястая собака Керри с откровенным требованием в говорящем взгляде: «Быстро есть давайте!» Средних лет хозяйка с чёрными, будто с другого лица взятыми бровями и густыми, не требующими косметики ресницами, вся в розовом от блестящей помады до пластмассовых пляжных тапок — и с соответствующим всему этому великолепию велюровым именем Виолетта. Скармливая прожорливому животному пачку печенья и мысленно назвав её Керкой, а улыбчивую женщину Валухой, Нина Павловна поднялась за нею на второй этаж и очутилась в маленькой уютной комнате с двумя новыми деревянными кроватями, застеленными одинаковыми пушистыми пледами, с легчайшей тюлью на окошке, за которым дожидались сосны. Лисик уже всюю обследовал двор.

— У нас всё можно! — лучезарно разрешила Виолетта. — Холодильник, плита, баня — в вашем распоряжении. Удобства на улице, вода в ручье.

Нина Павловна разложила вещи. Позвала из окна сына, уже ныряющего по дорожным ухабам на старом хозяйском велосипеде.

Попили чаю и — скорее — лёгкие, весёлые, отправились.

Бор. Мост. Кынгырга. Жара.

Нина Павловна быстро устала. Но они всё же дошли до павильона, где пьют воду. Аршан понравился обоим. Приятно пощипывали горло солоноватые пузырьки. Набрали в бутылку воды, купили кое-что из еды и не спеша вернулись домой. Керка бессовестно объедала Лисику, наверное, считая достаточной благодарностью волочащихся на его штанинах щенков.

На затенённой веранде под наполеоновской крышей Нина Павловна соорудила почти праздничный ужин с домашними огурцами и местными ореховыми пирожными. Поели, немного отдохнули и снова — на улицу.

Вечером, когда в фиолетовое окно уже бились лохматые, сыплющие золотую пыльцу ночные бабочки, а в чёрных кронах едва колышущихся сосен проклюнулись острые звёзды, Лисик неожиданно заснул прямо с книжкой в руках. Нина Павловна осторожно укрыла сына, удивляясь и радуясь, что он так легко освоился на новом месте, и встала на молитву. Родная домашняя икона Казанской Божьей Матери, где Богородица и Спаситель, осыпанные голубенькими цветами, смотрели особенно ласково, поставленная на чужой тумбочке, превратила этот временный приют в жилище, вот на эти три дня им Богом данные.

Нина Павловна достала молитвослов, надела косынку, встала прямо и строго. Не спеша, как-то особенно просветлённо, с благоговением и благодарным пением сердца прочла

вечернее правило. Внизу у хозяйки гудел телевизор, слышались голоса, звон посуды. Но ничего этого она не замечала. Спокойное, удивительное, глубокое, давно с нею небывалое чувство тихо входило в душу с каждым словом молитвы. Усталая, но как-то полно, приятно усталая, прожив этот бесконечный день, она, отпущенная на волю, ощущала какую-то особую гранёную чёткость движений и мыслей. Потушила свет, надела ночную рубашку, бесшумно улеглась, натянув до подбородка покрывало, шуршащее новым, льдисто-белым в свете отдалённого фонаря пододеяльником.

Комната играла смутными тенями. Звёзды то сияли ярко и нежно, то игристо помаргивали в чёрных ветвях. Нина Павловна смотрела и смотрела неотрывно туда, в глубину, и ей ясно, молодо представлялись свои давние чувства, там, на Шикотане.

...Невысокий, со смешными серыми вихрами волос. «До чего же нелеп этот Олежек, — подумала, увидев, впервые комиссара в выгоревшей стройотрядовской робе, — голова, как репейник, ноги — колесом, и совершенно определённый уморительный животик». Но когда однажды вечером в этом женском путинном царстве он взял гитару и запел, одновременно грустно и яростно, так, что надувались жилы на багровой шее, Нина увидела его иначе, другим человеком. Он преобразился совершенно. И рот, почти лишенный губ, показался ей признаком особой суровой мужественности, и светло-голубые, какие-то небесные глаза смотрели твёрдо и честно, и скупое мелькнувший в ворота уголок тельняшки был не данью дешёвому шикотанскому шику, а трёхлетней службе на Морфлоте.

— Олег, ну Олежка, спой ещё нашу, про морячку! — кричали со всех сторон раскрасневшиеся у костра девчонки. И он согласно улыбался, но, смешно нахмутив брови, снова пел про свой любимый, легендарный Севастополь. А когда начались танцы, прорвавшись через кольцо девчат, вдруг очутился возле Нины и, сунув ей в руку жёсткую лопатку ладони, представился, будто отпарентовал:

— Зубов.

...Те их звёзды над мысом Край Света. Подолгу смотрели на них, сидели, обнявшись. И как-то Олег сказал:

— Тебе даже не надо идти за мной на край света, мы уже здесь.

Она не ответила и не засмеялась, только крепче прижалась к его плечу.

Нина Павловна прислушалась, приподнялась на локте, ей показалось, что Лисик застонал. Нет, это завывает хозяйский телевизор. Сын дышал ровно и непривычно тихо. «Слава тебе, Господи», — прошептала, ещё раз перекрестив его.

— Мама, так вы называли меня Елисеем в честь королевича Елисея? — спросил он, когда она впервые прочитала ему Сказку о мёртвой царевне.

— Нет, в честь Елисея Сумского, святого.

— Вот здорово!

«Спи, спи, мой королевич», — уже засыпая, подумала Нина Павловна.

Отвернувшись от звёзд, сладко потянулась и привычно подвернула под щёку угол подушки.

4

Она открыла глаза: умытые ясным утром сосны глядели в окно. Лисик, уже одетый, стоял перед иконой на молитве. Мать тихонько распахнула створки. Разве бывает ещё такой воздух?!

Оделась, помолилась. Подхватила пластмассовое ведро, взяла кусок хлеба для Керки, пошла за водой. Ручей журчал у дальнего края ограды, где стояли, как грибы, жёлтые четырёхместные домики. Судя по голосам, белью на верёвках и припаркованным машинам, частное предпринимательство Виолетте удавалось.

Ночью прошёл небольшой дождь, всё вокруг тихо светилось и цвело. Нина Павловна спустилась к ручью. Зачерпнула воды, поставила ведро и уже хотела поплескаться, но

замерла: перед нею едва заметно покачивалась легчайше-распушённая и в то же время щедро огружённая бриллиантово переливающейся влагой ветвь молодой лиственницы, на каждой изумрудной игле — по крошечной сияющей капле. Нина Павловна рассматривала её как чудо, невольно потянулась — коснуться, — отдёргнулась. Переведя дыхание, женщина осторожно оглянулась, и ей показалось, что все здесь, кроме неё, знают это. Две девочки играли в песочнице, женщина полоскала бельё. Люди парились, ели, смеялись, но все они как будто помнили и знали об этой ветке. А, может быть, она ошибалась: они, занятые собой, своими делами, вовсе не помнили, не видели и не хотели знать о ней? «Но ведь даже одна эта сиятельная ветвь — столь великое чудо, что ради неё одной стоило создать Вселенную!..»

Вновь неторопливо шли по бурой мягкой хвое, осыпанной сиреневым бисером богородской травы и синими кляксами мелких ромашек. Из проулка выбежала большая лохматая собака. Лисик прильнул к матери. А Нина Павловна, всегда боявшаяся собак, вдруг заговорила с псом, и будто против воли голос её полился мелодично и ласково, с незнакомыми самой мягкими нотками. Вывалянная в репейнике вислоухая собаченция что-то булькнула в ответ, переходя от угрюмого рычания к дружелюбному вилянию хвостом. Лисик засмеялся и бросил ей сушку.

На берегу проверили банку — пуста. Недолго побыли у реки. Вышли на центральную аршанскую улицу. Шли медленно, поднимались по длинному пологому взгорью. Лисик разглядывал коров, весёлые, все в цветах дворики, проверял глубину канав и ширину старых болотистых луж.

«Странно, вроде те же, такие же люди, как в Иркутске... Нет — лица! Другие. Какие странно добрые у всех лица. Как хорошо! Да, да, только оторваться от забот, от боли, зла, только отбросить эти гири. А может... да, точно! Это я стала другая здесь. Но что же случилось, что? Собака, ветка, прохожие — всё другое. И я? Но почему? Или это, как вошёл в свой храм и дорожки поправляешь, и цветы ставишь, и убираешь свечные огарки, и ещё не поднял глаз к иконам, не коснулся взглядом купольной росписи, но всё это время уже чувствуешь, знаешь — ты здесь, в Божьем доме, и тепло, и спокойно, и радостно на душе?... Так ли?»

Кругом всё мельтешило, двигалось, жевало. Чебуречная. «Та женщина в белых брюках — тяжёлые от краски проволочные ресницы, усталая, недовольная, неприятно красивая, словно испорченные духи. Лениво-презрительный взгляд. Она здесь, как соринка в глазу. Печать города на лице. Что-то не сработало в ней: явилась в футболке на раут. Здесь носят другие лица. Соринка в глазу? Да ты-то, ты, только что сама глаза открыла, Господь открыл. Заваленную брёвнами...»

— Мама, я не наелся!

— Я тоже. Сейчас ещё закажем. «Вот они, человеки! Тут Вселенная в глаза глядит, а нам одного чебурека мало... Буряточка молодая за тем столиком, как хороша, луноликая, смуглая, чёрное шёлковое по плечам — рассыпается, глаза, вздёрнутые к вискам. За столиком ещё трое — семья. Предо мною, рядом — целый народ, другой, непонятный. Врождённая интеллигентность в лицах и странная детская теплота...»

Лисик уплетал второй чебурек, жирным золотистым лаптем сползающий с тарелки. В мальчишке чувствовалась деловитость и та особая быстрота и чёткость движений, которая возникает у человека на людях. Торопливость его смешивалась с явным наслаждением новой едой и необычностью обстановки. Нина Павловна видела себя в нём, как в зеркале, и улыбалась.

— Не спеши, сыночка. Мы никуда не торопимся, — ласково сказала она, вытирая салфеткой его лоснящийся подбородок.

— У-у! — дёрнулся он в сторону. — Не надо!

«Ишь, какой ёжик становится, — с грустью подумала мать, — большой, а ты всё будто с маленьким. По привычке...» Присмирив, глядела, как по-мужски, размашисто, без намёка на аккуратность он ест. Тонкая шея, блестящие от масла крепкие пальцы, отцовская удивленная излучинка над левой бровью. Глаза бессознательно-жадно охватывают всё вокруг...

Вдруг вспомнилось его: «А я хочу, как все — есть корейскую лапшу, жевать резинку и смотреть боевики!» «А я ему мешаю... Умру — будет?»

Отвернула тугую рифлёную пробку. Налила лимонада.

— Мама, сколько молекул в этом стакане? — вдруг спросил Лисик.

— Двадцать девять миллиардов триста восемнадцать! — просияв мгновенной улыбкой, протараторила мать.

— Ничего себе! — отозвался сын. — Ну всё, я наелся. Пошли.

Подъём уже не казался таким долгим. Один санаторий, другой. Поворот, и вот знакомый вчерашний рынок. Какая пестрота! Над пучками целебных тункинских трав рядами развешаны цветастые, с алыми кистями, звенящие обереги. Просятся в руки тёплые на вид чётки с большими тёмно-медовыми деревянными крутяшами. Маленькие столы хозяйски-важно заселили пузатые, в густых блестящих узорах будды. У каждого торговца стадами теснятся, от мала до велика, фиолетовые, красные, белые гладкобокие слоны. Игрушки, кулоны, малюсенькие тонкого фарфора вазочки... Красивое и чуждое. Пусть играют...

Прочь, прочь. Туда, вдаль, в горы.

Сходили на водопады. В ту расселину, откуда, бурливо, радостно падая и лишь мгновение отдыхая в малых лазурных заводях, выбегает на волю то шумная, то суровая речка с дрожащим от мощи именем Кынгырга. Там, вверху, над развёрстными стремнинами в древнем страхе вздрагивает хрупкая плоть, а душа бесстрашно воспаряет и жаждет, но не может оторваться от земли.

— Лисик, не лезь, осторожно! — то и дело одёргивала Нина Павловна сына, а он всё равно лез, как ей казалось, лихо-куржливо подходил к самому головокружительному краю. Будто что-то в этом светлоглазом мальчике знало: ещё можно, не сейчас, не здесь ещё твоя смерть...

Нагляделись на радужные водопады. Спустились вниз. Долго бродили по зелёному взгорку с огромными бурными муравейниками. Попадались грибы, мелкая душистая земляника. Сухие сосновые шишки хрустели под ногами.

— Мама, смотри, какая нежная! — сын принёс ей свёрнутую, будто рулон ватмана, розовато-телесную берёзовую кору. — Это там, на упавшем дереве... Как раз для твоей новой картины, ну той, с подсолнухами.

— Да, сыночка, удивительная, — отозвалась Нина Павловна, присевшая на большой белый валун.

Незаметно вкрадчиво пахнуло холодом, и серая морошная рябь набежала на неяркое солнце. Рука сразу потянулась к штормовке, и призрак осени за спиной. В тепло, домой, к печке, картохе-рассыпухе...

Нина Павловна, чувствуя, как она теперь добра, что она теперь вернулась наконец-то к себе, ужасалась той прежней, ещё недавней, словно неожиданно выздоровевший человек, спокойно не понимала, как могла злиться по пустякам, кричать, отчаиваться. И ладно, я теперь не та, другая, та была не я — усталость, забота, боль, вечный страх за Лисю. И молодо, и ясно, и счастливо на душе! Как же я не видела, не знала про всё это? Только оно, только это доброе, ласковое, бесконечное и надо мне. Радость и свет, тёплый клубок в груди...»

Она чувствовала, как всё в ней истончается, и будто подбирается, и вся она, облегчённо отбросив «чемоданы», устремляется ввысь. «Господи, возьми меня к Себе!» — тихо и умоляюще-жалостливо, и как-то робко, девичьи доверчиво просила душа.

Всё вдруг смешалось — щемящий, знакомый с детства мармеладно-терпкий осенний воздух, и запах дыма, и пронзительность предзимнего одиночества. «Ах, вон, прошли тихо мимо — та бурятская семья. Сколько же в них нежности и тайны!»

Нине Павловне, сиротливо бредущей здесь, на чужбине с сыном, хотелось в их простое крепкое многолюдье, в тепло и любовь. Но она и сожалела о них, тех, кто, закрыв пёстрые цветки зонтов, ныряли в джип, уезжали в свой чужой мир и уют, ощущала их потерянными для её истинной веры. «Но ведь и они были тут и с надеждой повязывали свои лоскутки на тонких станах лиственниц, и ходили на водопады, и о чём-то смеялись

со своими детьми. И они, с раскосыми глазами и таинственными полулукавыми улыбками — здесь больше хозяева, чем мы, русоволосые. И они не спасутся?..» А ей, уже любившей их и только что потерявшей их, незнаемых, хотелось, чтобы спаслись.

«Во Царствии помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие Твое!» Так если и мне в неожиданной свободе и размягчённости сердца так остро хочется, чтобы все они спаслись, как же желает этого Сам Господь, любящий каждого из нас, папуаса, русского, китайца, так, как если бы он был у Него один! Как же всё-таки хорошо, что есть смерть, — легко и почти радостно-освобождённо подумала Нина Павловна, — кончится эта вечная готовка, недосып, страх, боль: не спать, не есть, не болеть!..

И когда она смотрела им вслед, уезжавшим в свою жизнь, рядом с огромными, глубокого зелёного бархата елями день, входящий в серую влажную хмарь вместе с детским страхом и тоскливостью осеннего поля со скрюченными пальцами картофельной ботвы, с парным теплом дома, с живыми ещё, молодыми родителями, Лискиной холодной ладошкой и вопросительно-тревожным взглядом — всё это плавно всплывало в вечность.

«Странно, его зовут странно — Снег. Марк Снег, Марк Сноу — того человека, кто услышал, увидел, написал эту мелодию. Мистический фильм «Секретные материалы», «Икс-файлз»... Там, где-то далеко, падает, летит невидимый снег, и кто-то идёт, уходит пустым коридором, забыв, оставив всё, уже ненужное ему. Голый, жалкий, одинокий. Снег услышал, узнал в себе это, таинственно напечатлённое Богом в душе. И слушаю перемежающиеся вечностью, бесконечными волнами текущие полувздохи и полустоны, отголоски, вскрики, взвои «сирен», и чувствую — так, туда уйдём, в неведомый коридор. И столько оставит здесь душа, и столько забудет. Всё и было, чтоб только перейти. Не возмёшь туда свои берестяные картинки, картошку, боль в спине. И только молитву, слёзы, его взгляд, эти небесные в белёсых ресницах глаза, эту мелодию, эту ветвь... Грехи, грехи забыла!»

Всё делать не то, не так... Им надо было спускаться, идти к мосту, к жилью, теплу, ветчине, а хотелось... Остаться! Оторваться, уплыть, улететь. Плоть тормозила, тянула к земле.

Вечерело. Увлажнив и остудив воздух, морось истаяла, и небо, переливая друг в друга лазоревое и розовое, торжественно и дивно сияло над головой.

Лисик молча проверил банку: ни рыбки. Так же молча пошёл вдоль берега. Было что-то загадочное в соединении реки и мальчика. Будто какой-то неведомый разговор шёл между ними, понятный и слышный лишь двоим. Нина Павловна, остановившись у беспокойной воды, смотрела на широкую долину, заваленную огромными белыми камнями-окатышами, и представляла, как весной здесь несётся грохочущий бурливый поток, способный этими валунами легко и быстро стереть, сорвать, разрушить хрупкие человеческие постройки. Но ведь не сносит же! Так Кто позволил построить всё это, жить, глядеть вокруг? Бережная временная колыбель: плюс — минус тридцать градусов — и всё! Всего каких-то тридцать градусов... В Чьей же огромной люльке лежит это глупое, капризное, любопытное и прожорливое чадо? Вот игрушка Кынгырга, слышишь, как звенит? Вот горы — не подходи близко к краю. Упадёшь! Уж сколько здесь упало... Вот, смотри, туманы, не тянись к ним, они холодные, сырые, бр-р... Вода целебная, не толкайся, хватит и тебе, пей!

Оставь свои тряпки, будни, дразги. Подними глаза, становись — служба началась. Смотри, вон там, в горах, ты всё ходила мимо, ставится малый престол Господень. И всё это — Он, и всё вокруг — Его, и ты, и одинокий мальчик на берегу реки... Она наконец совершенно ясно увидела горы, и беспомощная душа затосковала, затомилась, не в силах вместить небо, сошедшее на землю. Косматые немые туманы плыли по кручам и причудливыми куржаками уходили ввысь, истончались на главах и стремнинах, вновь клубились, таяли. Влажный ватный вал катился вниз, убеляя тёмную курчавую зелень леса, громадные клочки рвались и ширились. Вечно, величаво, грозно. Гигантские легчайшие гейзеры, молочные протуберанцы вздымались и умирали, чтоб восстать новыми исполинами.

Какие-то отрывочные мысли мелькали в сознании Нины Павловны. «Тайная могучая рука Творца... Да, и вот оно — главное. А всё остальное — зачем? Нет-нет, не то». Она смотрела и смотрела туда, где совершалось ЭТО, и быстро смаргивала набегавшие слёзы, чтоб не замутнить, не пропустить ни одного мгновения.

Чего же, чего так хотелось здесь, у подножия грозного, величаво сияющего престола? К чему так отчаянно-радостно и освобождённо рвалась душа? Взять за руку сына и, невесомыми, вознестись, тихонько подлететь и, блаженно зажмурившись, окунуться? Да, этого! Вольно парить и кружить, и плавать в туманах-облаках, стремительно-гладко скользить, нестись по упругой воздушной струе над каменистыми мосластыми склонами и зелёной шерстью деревьев. «Но... невозможно. Нам, таким, туда? Особенно мне. Для того надо быть, как эти туманы, — такой же чистоты и белизны... Летать! Летать? Соскучусь и скоро захочу домой. К чертежам, кастрюлям, грядкам. Не знаю. Нет, чтоб улететь — забыть и навеки оставить земное. Отложить попечение житейское...»

Нина Павловна взглянула на маленькую и такую сиротливую среди громад фигурку сына в чёрном стареньком трико и синей куртке. И сердце больно, виновато сжалось. Но туманы покоили, снова уносили ввысь и вдаль, нащёптывая своё. Всё, всё иное — там... И тело и душа. Это здесь — полетала бы, да надоест... Рождаешься и уходишь — один. И даже самый близкий вдруг затяготит душу, станет неспособен вместе, побыть бы одному, погрузиться, всмотреться в душу, чтобы услышать главное.

«Как же он должен быть прекрасен, вечный Божий сад... Господи, возьми нас к Себе!»

5

Керка, нагло уверенная в своей правоте, поджидала у калитки. Пока Лисик вытряхивал ей на съедение оранжевые лодочки чипсов, Нина Павловна прошла в дом.

— Ну, как вам Аршан? — спросила на веранде Виолетта. Стоя на табурете, она подвешивала к потолку метёлки трав. В ответ жиличка только вздохнула и неопределённо повела рукой.

Елисейку невозможно было загнать домой. Он булькался в ручье, качался с соседскими ребятишками на самодельной качеле, бегал на реку проверять банку, набивал коробку из-под сока чабрецом и, провожаемый ревниво-снисходительным взглядом Керки, таскал по двору толстых, как чурки, голопузых щенков.

Вечером долго не мог успокоиться. Уж и читали, и разговаривали, лёжа на кровати, и на удивление слаженно вместе помолились. Легли. Мать погасила свет, но Лисик всё подскакивал на бесшумной поролоновой кровати, вновь и вновь переживая впечатления дня. И Нина Павловна, слыша его восторженные восклицания и видя в сумраке сияющие глаза, пыталась успокоить, утишить сына, словно боялась: ну не надо же сразу так много всего, нельзя же в самом деле в один день столько счастья, ведь будет же ещё и завтра, и другие дни...

«Какие дни, — осеклась она, погружаясь в привычные раздумья. — Человек предполагает, а Господь... Не знаешь, что ждёт через два часа. Заснул вроде. Да, что-то было такое. А это: комически-удивлённое бровастое лицо Валюхи, когда она случайно увидела их в проёме двери, молящихся. Посмотреть её глазами. Нестарая ещё тётка, с косой вокруг головы (кто сейчас так носит?!) в старорежимном платье, напялила платок и на коленях (!) стоит, да ещё мальчика рядом бухнула. Жуть! Сектантка, наверное... — Нина Павловна улыбнулась, вспомнив, как молниеносно Виолетта слетела по лестнице, громыхая ведром, — испугали бедную женщину. Надо завтра объясниться...»

Долго глядела в звёздную глубину ночи. Вспомнилось, как сама впервые готовилась к исповеди, как крутилась на постели, будто на вертеле, то и дело вставала, чтоб записать ещё и ещё, и ещё один грех. Олег смеялся и знающе подбадривал, а она, тогда смутно представлявшая таинство покаяния, не испытывая блаженного чувства освобождения, замирала от ужаса: как же она будет перед чужим человеком, мужчиной (!) выворачивать наизнанку свою душу? Ей казалось, вот-вот вспыхнет подушка от горящих стыдом щёк. И всё же она пошла на другой день, и больше не от душного чувства собственной скверны, а движимая рассудочно-трусливой мыслью: «А что, если всё ЭТО действительно правда, а ты не поверишь и не пойдёшь?..»

— Мама, а мы сейчас тоже сами по себе гуляем? — вдруг будильником прозвенел в тишине голос сына.

— Да, да, тоже, — едва сдержалась, чтоб не рассмеяться. — Спи! Людей разбудишь.

Утром Нина Павловна расспросила Виолетту, как найти Аршанскую церковь. Хозяйка объяснила, хоть и путано, но с облегчённо-радостной готовностью: ну, стало быть, не сектанты...

Пока собирались, погода нахмурилась. Шли знакомой тропинкой сквозь притихший бор. Обоим взгрустнулось: завтра уже уезжать. Кынгырга помрачнела. «Ну вот, я вам уже показала во всей красе, будете помнить, а теперь мне некогда тут с вами, работать надо», — будто журчала-ворчала она.

В чебуречной долго ждали заказа. Лисик молча считал молекулы в стакане «Тархуна». Нина Павловна невидяще смотрела в проём двери, где появлялись и исчезали посетители в голубых полиэтиленовых балахонах — на улице сеял мелкий, как пыль, дождь.

Поели. Лисик упрямым столбиком повернулся к свету, тихонько прочитал молитву «после еды», скомканно перекрестился. «Как всё-таки ему ещё трудно обнаруживать на людях веру, — грустно, но уже без укора подумалось матери, — да разве только ему?..»

Нина Павловна оставила сына в чебуречной, сбежала в магазин за местными дождевиками-балахонами. Облачились в невесомую пузырящуюся плёнку и отправились, вплетаясь в густо расцвеченную голубыми пятнами вереницу курортников.

Вволю напились на прощание аршана, набрали в бутылку для бабы Кати. На рынке Лися выбрал себе маленького синего слона и плоский голыш, на котором уместился рисованный дилетантской рукой, но узнаваемый горный пейзаж.

— Ну, теперь в храм, — сказала сыну Нина Павловна.

— Да, пошли скорее, а то я что-то замёрз, — отозвался Лисик.

Нет, никакой зонт тут не помог бы, подумала мать.

Пока дошли до санатория «Саяны», промочили ноги. Решили зайти погреться. Читающий книгу молодой бурят-охранник пропусков не требовал, видно, считая всех своими.

В полумраке просторного гулкого вестибюля было тепло и малоллюдно. Нина Павловна купила в буфете горячего чая и коржиков. Согревшись, повеселели. В киоске присмотрели каучуковый прозрачный мячик с белым медведем внутри. Он лихо отскакивал от каменного пола, высоко и весело прыгал, увлекая за собой мальчика.

— Ну ты побегай тут тихонько, а я посижу, — сказала мать, снимая балахон. — Посушимся и сходим в церковь.

— Угу, — согласился Лисик, ударил прыгучим мячом, и они, почти одинаково подскакивая, понеслись в сторону большой бетонной клумбы.

«Тихонько побегай», — передразнила себя Нина Павловна. — Сейчас он тут наведёт шороху...»

Мяч, конечно же, сразу угодил в недавно политый цветник, и пришлось, озираясь на охранника, доставать и обтирать его. Лиське было велено играть в другом конце вестибюля.

6

Нина Павловна вернулась на лавку и увидела на ней мокрую взъерошенную девочку. Посидели немного молча. Потом женщина спросила:

— Ты тут одна?

— Я бабушку жду, она пошла за зонтиком, — ответила, замолчала, болтая недостающими до пола ногами и сосредоточенно глядя перед собой.

Она была, как дикое яблоко, маленькая румяная ранеточка. Небольшие янтарные глаза подслеповато щурились, маленький рот наивно приоткрылся, мокрая косица тугой верёвкой лежала на груди. В девочке чувствовалась какая-то несделанность, недовершённость. Худенькая нескладность и заявленная уже некрасивость могли бы вызвать сожаление, если бы не чистота и доверчивая простота взгляда.

Подскочил запыхавшийся Лисик, остановился с зажатым в руке мячом, вопросительно-ревностно посмотрел на мать, потом на девочку. И вдруг резко сказал:

— Ну что ты зришь?!

Нина Павловна удивлённо глянула на сына:

— Ты что это?! Разве так можно?..

Девочка наивно и молча смотрела на него.

— А зачем она зырит? — опять настойчиво выкрикнул он, резко дёрнулся, замахнулся на неё мячом. Девчонка даже не шелохнулась. Елисей, круто развернувшись, убежал.

— Прости его! — горячо шепнула Нина Павловна в маленькое, ставшее малиновым ухо и ринулась за сыном.

Когда привела его, пристыжённого, девочки на скамейке уже не было.

Нина Павловна ничего не сказала сыну. Она почти не расстроилась. Хотя поступок его удивил её, чувствовала, что он теперь переживает, но ещё не решается заговорить, знала, главные его искушения и испытания впереди, и была готова к ним. Ещё так велико и свежо было совершившееся в её собственной душе здесь, в горах, что дурной поступок сына не мог существенно замутить сияние этого счастья. Другое, невосполнимое и не зависящее от неё наполняло грустью сердце: вот так ушла в никуда, как умерла для них эта девочка, и Лисику не поправить уже перед нею своего поступка. Можно всю жизнь молиться, обливаясь слезами, о загубленных в абортах детях и взять на воспитание десять сирот, но именно тех, собственной волею убиенных, не вернуть. Можно покаяться в содеянном на исповеди, но не повиниться уж пред ушедшим навсегда человеком.

Моросило. Мириады мокрых мошек облепляли, сбегали зеркальными ручейками по дождевикам. В кроссовках хлюпало, волосы липли ко лбу.

Шли и шли. Сквозь водяную пыль. Вернуться. Нет, ещё десять метров...

— Мам, ну я нечаянно так сделал! — не выдержал наконец Лисик. — Прости меня, ладно?

— Зачем же у меня прощения просить? — не сразу отозвалась Нина Павловна. — Видишь, как получилось: близок локоть, да не укусишь — девочка-то ушла...

— Что же мне теперь делать? — плаксиво затянул мальчик.

— Перед Господом виниться да больше так не поступать.

Дальше шли молча. Оба терпели. Сыро, грязно, стыло. Нина Павловна поняла, что заблудились, а спросить некого. Упорно шли по скользкой дороге мимо приземистых деревянных домов, утопающих в мокрых кустах черёмухи. Вдруг с хомутом на плече из чёрной от дождя калитки вышел краснолицый бурят. На вопрос женщины повёл головой влево:

— Тамо!

Опять шли. Каждый — упёртый в своё. Маленький подвиг. Ещё один поворот. Вот она! Оказалось, Петра и Павла. Зашли во двор, обошли церковь кругом. Где же дверь? Опять круг. Нина Павловна случайно увидела, как бородатый мужчина махнул им сквозь запотевшее стекло окна, показывая, где входить.

В притворе капает, как через дуршлаг. В храме чисто, тихо. Знакомые иконы. С десяток прихожан. Ковёр на полу. Купили свечу.

— Разуйся, — шепнула мать Елисею. Тот тихонько прошёл на носках, возжёт свечку, приложился к образу Богородицы. Постоял, по-взрослому скорбно уронив голову на грудь. Бесконечное мгновение.

«Всё правильно. Прокапало, стало быть... Ну и хорошо».

Немного постояли, положили монеты на тарелку, стали, прощаясь, креститься.

— У нас завтра литургия, — тихо сказала полная женщина в красном платке, — приходите.

— Спаси Господи, уезжаем, — поклонившись, ответила Нина Павловна.

Что-то не складывалось. Она не могла понять, почему. Эта такая красивенькая, будто любовно выточенная игрушечка, небольшая и уютная церковка — островок, малая лодочка с горсткой людей... И вот они, другие, густыми гроздьями сидят под навесом за горячим шашлыком, с пивными банками в руках, совсем рядом, несколько десятков метров. И То, величественное, молчаливое, громадное... Не в церковь, а к Тому, туда, в горы, в туманы. «Но и я, я тоже — не на вечерню, а туда. Почему?.. Не сейчас. Не здесь. Уезжаем? Нет, что-то ещё... Но я снова приду, вернусь в неё, малую лодочку, такую же — в зелени и дожде, в тихость и размягчённость сердца».

На следующее утро женщина и мальчик стояли на обочине под двумя кривыми берёзами. Ждали маршрутку. Мальчик примерялся залезть на пригнутый к земле исшарканный ствол. Женщина задумчиво смотрела на дорогу, коротко провожая взглядом несущиеся мимо машины.

«Сколько же, сколько людей!.. И я никогда не узнаю и не увижу их. И на стольких иркутских улицах не была и не побываю. Вполне возможно, никогда больше не приеду и сюда. Попечение житейское... Но отчего так грустно, жалостно на душе? Остаться бы и жить рядом с этими туманами? Сможешь ли?..»

Она повернула голову, чтобы ещё раз глянуть на «свою» дорожку вдоль заросшего канала, и сразу же увидела ту самую девочку. Обжёгшись неожиданной радостью, быстро стащила сына со ствола.

— Елисей, смотри, вон та девочка, которую ты обидел, иди скорей! — она взяла его за плечо и почувствовала, как он, противясь ей, весь напрягся и застыл. Окрылённая радостью и тем неизъяснимо тревожным и светлым чувством летящей смелости, с какой, перекрестившись, прыгала с ним, ловила рыбу и гоняла футбол, она крепко взяла его за руку и подвела к девчужке.

— Прости, — едва слышно произнёс мальчик.

Ничего не понимая девочка-ранеточка только испуганно взглянула на них своими подслеповатыми глазами и качнулась к худой седовласой женщине.

— Андрей, скорее, автобус! — услышала Нина Павловна женский голос за спиной. Подошла маршрутка.

— Мама, она простила меня? — громко прошептал Лисик, как только они уселись на свои места.

— Простила, сыночка.

— Но она же ничего не сказала!

— Да, но я видела, как она кивнула, — ответила Нина Павловна. Ей действительно показалось, что девочка едва уловимо наклонила голову.

Глаза Лисика сияли. Он крутился на кресле, оборачиваясь назад, и даже помахал Аршану рукой. Сердце матери сжалось от грусти и нежности.

Дорога повернула. Лисик опять водрузил на колени карту, Нина Павловна, прощаясь, смотрела в окно: там снова поплыли поля, перелески, громады облаков.

Прошло немного времени, и словоохотливый водила с причёской «только освободился» включил телевизор, козлом торчащий на металлической раме в голове салона. С экрана полезли осклизлые монстры и мужики с автоматами.

— Господи, и здесь нет спасенья! — воскликнула женщина с задних рядов.

— Убавьте хоть звук! — филином пробубнил угрюмый дед с горбовиком.

— А другие хотят смотреть!.. — с сознанием своей полнорправности подала голос девочка-подросток, уже приготовившаяся «получать удовольствия»: полулежачая расслабленная поза, пакет воздушной кукурузы на животе.

Монстры и мужики продолжали свою «миссию»...

— Мам, достань мне ингалятор, — попросил Елисей.

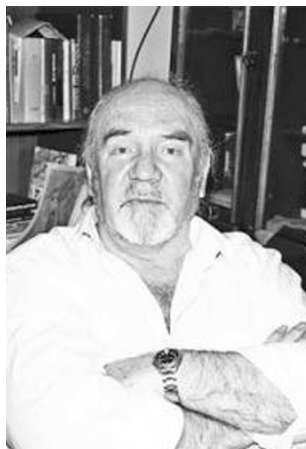
— Сейчас, сына, — незаметно вздохнув, отозвалась Нина Павловна.

До Иркутска оставалось сто восемьдесят три километра.

2004 г.



ИВАН КОЗЛОВ



Затерялась в минувшем любовь

* * *

На бесщётных погостах Отчизны,
По канонам языческой тризы,
Чашу мы до краёв наполняем
И по кругу её запускаем.
И ушедшим
Без грусти и лести
Воздаём по заслугам и чести
За высокие их имена
И за правду на все времена.
И на краткие эти мгновенья
К нам приходят друзья из забвенья
И по смыслу того, кто мы есть,
Воздают нам признание и честь.
С каждым годом теснее кусты
Закрывают листвою кресты —
И всё тише кружётся планета,
Что грозит разрушением света,

Где для каждого грянет мгновенье
Мирового конца и крушенья,
Если сердце не дружит со смыслом —
Если дым над тобой коромыслом
И уводит кривая дорога
От заветов вселенского Бога.
И всё ближе мерцает окрест
Без таблички и имени крест.
День грядёт —
У земного порога
Остановят нас именем Бога,
Грянет гром:
«Покажи, чем живёшь...»
Потускнеет сиянье киота —
С наших лиц оплывёт позолота,
Встанут рядом и правда и ложь.
Вот и думай, пока ты живёшь...

КОЗЛОВ Иван Иванович родился 1 сентября 1936 г. в г. Иркутске. Учился в 38-й школе в Иркутске-II. Во время службы (1955–1959) во Владивостоке закончил двухгодичную флотскую школу, затем там же, во Владивостоке — двухгодичную партшколу. После службы на флоте участвует в создании единой энергосистемы Сибири — работает на строительстве мощнейших ТЭЦ в Прибайкалье и на Крайнем Севере. В 1990 г. заканчивает Иркутский государственный университет, историко-филологический факультет. Известен в Иркутске как поэт, краевед, учёный, который исследует космос и земную гравитацию, как создатель исторических музеев. Иван Иванович Козлов осуществил давно задуманную работу: собрал и издал сибирскую поэзию за 400 лет со своими комментариями о поэтах нескольких поколений. В 2012 г. выпустил книгу стихов «Путь земной и небесный». Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

* * *

*Памяти Миши Поваричева,
безупречно светлого человека, юриста,
ушедшего трагически и загадочно.*

Я был уверен, всё мне по плечу,
Не дрогну,
Не смешаюсь,
Промолчу...
Но бесконечен бренной жизни круг —
Кометою во тьму ушёл мой друг
И, оставляя за собою след,
Пронёс над миром свой последний свет.
Средь суеты и непонятных дел
Он что-то нам поведать не успел.
И в миг,
Необъяснимый для ума,
Затмила свет
Убийственная тьма.
И тайный рок
Жестокий дал урок —
В крошечном мраке сдвинулся курок.
Туманна мера разума
И шатка.
Всё зыбко, как забвения трава,
Страшна необратимости загадка.
Бессильны утешенья и слова,
И истина является без фальши...
Но жизни шум
Рекой несётся дальше,
И должно путь предписанный пройти,
И должно крест назначенный нести,
И должно отыскать сокрытый след
И сохранить уже далёкий свет.

* * *

Вот и посох, а вот и сума,	Неудача научит...
Но пока я не лишний на свете —	Для чего я живу
Не сошёл от везенья с ума,	Каждый день,
Не запил от безделья в буфете.	Не тревожа ни мысли, ни души,
Не пишу я особых стихов	Не гнетёт меня сонная лень,
И особых признаний не жажду,	И порывы деяний не душат.
Но без всяких сомнений готов	Затерялась в минувшем любовь —
Ко всему,	В бесконечности скрылась комета.
Что случится однажды.	Ни туманных полос, ни следов,
Посох сам мне дорогу найдёт,	Равнодушие — гибель поэта.
И сума пригодится на случай.	Наша юность была не была,
День накормит,	Лишь тебя не устал вспоминать я —
Удача спасёт,	Когда ты опускалась в объятья,
Бог простит,	За спиною слагая крыла.

* * *

Мужского кодекса зеркало
Всегда блистало через край,
Когда шальная страсть искала
В любовных кущах звёздный рай.

Не ради хвастовства и лести,
И уж не от нехватки сил,
Я уважал законы чести
И жён чужих не уводил.

Мужского кодекса зеркало
Ценили жёны и мужья.
Вина любви всегда хватало,
Порою, аж через края.

И страсти неуёмный гений
Меня на новый подвиг звал,
Но я возвышенных мгновений
Ни у кого не воровал.

* * *

Благословенны женщины мои,
Благословенны краткие мгновенья
Безумных откровений и любви —
Ниспосланного нам благоволенья.

Быть может, по наивности натуры,
Не уходя в сомнения свои,
Я исполнял с восторгом партитуры
Мелодий упоительной любви.

Грустит негромко золотой кларнет,
Решая ребус вымпелов и точек:

Четыре сына — молодой квартет,
И соло — ослепительная дочка.

Все до единой, женщины мои!
Не откажите в милости прощенья,
Когда вам вдруг припомнятся мгновенья
Во времени истаявшей любви.

Вы незабвенны, женщины мои!
Пускай ушли и подвиги, и ночи —
Живут на свете сыновья и дочка,
Созвездье торжествующей любви.



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ



Колька Жмых

РАССКАЗ

В деревеньке нашей, утопающей летом в зарослях черёмухи и сирени, состоящей в основном из коренных русских жителей, во время последней и самой страшной из всех войн, когда-либо выпадавших на долю человечества, осело немало разноплеменного люда, бежавшего на Урал и далее на восток от неминуемой смерти.

Так, по рассказам моей бабушки Ефросиньи у нас в Рождественке наряду с другими эвакуированными во время войны прибилась одинокий, похожий на подранка, мальчуган. Это был худенький, русоволосый подросток с испуганными глазами, наполненными до краёв слезами и горем.

Деревенские жители сочувственно, по-отечески, относились к страданиям беженцев, многие из которых поселились в их семьях. Помогли на первых порах с одеждой, обогрели их своим душевным теплом и приветом, разделили между собой кров и последний кусок хлеба.

Приютили и Кольку — так звали двенадцатилетнего сироту-горемыку, потерявшего во время одной из бомбёжек своих родителей. Дел и забот в эту грозную пору хватало на всех с лихвой. Кольку поначалу по решению колхозного собрания направили на уборку урожая. И он, согретый сочувствием и вниманием старших, старался ответить им на это своим честным, по мере мальчишеских сил, трудом.

Но из поручаемых ему заданий больше всего любил Колька сопровождать гружённые овощами или другим, не менее ценным по тем временам грузом подводы, направляемые

КОРНИЛОВ Владимир Васильевич, поэт (род. в 1947 г. в с. Октябрьском Челябинской обл.) Автор книг: *Я всегда удивляться буду* (Иркутск, 1984); *Лирический полдень* (Иркутск, 1990); *Наедине с сердцем* (Иркутск, 1993); *Я в Сибирь навек командирован* (Братск, 1997); *Верю, боль моя в храмы войдёт* (Иркутск, 2004); *Родниковый мёд* (М., 2003); *Отпусти на волю музыку души* (М., 2009) и др. Член Союза писателей России.

в районный центр для сдачи государству. В дороге мальчуган ласково понукал измождённых работой лошадей. Никогда не позволял себе хлестнуть их кнутом или гибкой лозинкой. Знал норы и клички каждой. И умные животные в знак благодарности терпеливо сносили свои непосильные тяготы.

Председатель колхоза Анна Васильевна Ступина, заметив однажды такое речение и любовь мальчика к животным, доверила ему вместе с вернувшимся с войны инвалидом Михеем Гориним пасти общественный скот, сопровождать лошадей в ночное. Так и прижился Колька при конном дворе, совмещая обязанности «ночного директора» и младшего конюха.

Ночью он сторожил лошадей, охранял от разора колхозные корма и постройки... Сны у него были всегда короткими и тревожными. Они приходили к нему из той жуткой жизни, когда погибли его родители, со вселенскими грозами и пожарами, сметающими на своём пути всё живое. От страха Колька вздрагивал и в ужасе просыпался. Незадолго до его пробуждения, как всегда по утрам, Михеев петух уже успевал оповестить деревню своим залившимся пением о новом зарождающемся дне.

А в это время занимающийся в окнах рассвет сулил мальчишке нескончаемые на весь день хлопоты... Продрогшие за ночь в своих стойлах кони незлобиво всхрапывали, стучали копытами о деревянные настилы пола. И он, наскоро одевшись и сполоснув лицо студёной колодезной водой, принимался за свои нехитрые крестьянские обязанности. Входил в конюшню, оглядывал похрапывающих лошадей, осматривал капканы на крыс, которые в последнее время несчётно развелись на колхозном подворье и, перебегая стаями по конюшне, пугали мирных животных. Успокоенные его появлением кони приветствовали друга радостным ржанием, тянули к нему свои тёплые влажные губы.

Колька, ласково оглаживал каждую из приветствующих его лошадей, разговаривал с ними, внося в их быт спокойствие и умиротворение... Воздух конюшни, наполненный ночным дыханием животных и смешанный со струящимися запахами конского навоза и пота, остро проникал в его ноздри, словно едким нашатырём высекал из глаз слёзы. Но эти терпкие деревенские запахи не вызывали у Кольки отвращения и неприязни. Без лишней спешки и суеты выполнял он привычную работу. Носил со двора корм, доставал из колодца воду, поил лошадей, чистил конюшню, натаскивал свежую для настила солому...

Управившись с беспокойным хозяйством, Колька запрягал своего любимца Гнедого в кошёвку и по заснеженным зимним улицам объезжал все подворья, оповещая колхозников о предстоящем собрании или вручая кому-либо из взрослых парней повестку о призыве в армию.

Сверстники уважали Кольку за его самостоятельность, за бесхитростный, щедрый характер. Перед ними он никогда не задавался, разъезжая с поручениями по деревне в разукрашенной председателевой кошёвке. Несмотря на свое сиротство, он не озлобился на жизнь, а оставался добрым и отзывчивым подростком, готовым в любую минуту прийти на помощь.

Но, как говорится в пословице, «в семье — не без урода», так и в нашей Рождественке не всем была по нутру эта Колькина самостийность. Особенно невзлюбил его тринадцатилетний Шваня (такое прозвище было здесь у первого забияки и драчуна Шевцова Ваньки за не сходящие с его лица ссадины и шрамы). Он буквально не давал мальчишке проходить, постоянно при встрече оскорблял его, обзывал Жмыхом, укорял в жадности и рвении перед начальством только за то, что Колька не давал растаскивать по ночам с колхозного двора собранный урожай овощей и подсолнечника, за которые Анна Васильевна строго с него спрашивала. Особым дефицитом и лакомством для деревенской ребятни считался в то голодное время подсолнечный жмых, привозимый из райцентра для поддержания ослабленного после болезни и отёла скота. Невзирая на приказ председателя, вменившей с самого начала подростку охрану колхозного подворья, Колька всё же на свой страх и риск в редких, лишь в исключительных случаях, позволял кому-либо из сверстников, крадучись от Анны Васильевны, взять несколько плиток жмыха для поправки больного братика или сестрёнки.

Нелегко жилось деревеньке в эти ужасные годы. Всё чаще слышался в избах неутешный, раздирающий душу плач, означающий, что опять в чью-то мирную жизнь похоронкой ворвалось горе или вернулся с фронта искалеченный до неузнаваемости, единственный в семье кормилец.

Вдов в Рождественке к окончанию войны было чуть ли не полдеревни. Но сельчане, сплочённые общей бедой, помогали друг другу пережить это лихое, никаким высшим разумом не оправданное по своей жестокости время...

Не остался безучастным к людскому горю, отгородившись от всех высоким заплотом, и Колька Жмых. За два с лишним года, как очутился он в Рождественке, вырванный огненным смерчем из родного гнездовья, Колька заметно подрос и окреп. Ежедневная изнуряющая крестьянская работа не сломила подростка, а закалила характер, влила в его мышцы молодую, не знающую усталости силу. Это был уже рослый, красивый юноша с густой шевелюрой русских волос, из-под которой всегда приветливо смотрели на всех синие, с потаённой грустью глаза.

Одряхлевшие старушки и многодетные вдовы часто обращались к нему с просьбами подсобить им по хозяйству. И Колька, управившись со своими делами и отпросившись у Анны Васильевны, спешил на помощь. Латал и чинил прохудившиеся от времени крыши, пилил дрова, косил сено, копал подоспевший к уборке картофель... За безотказный характер деревенька любила своего приёмышу.

Оказывали пареньку внимание и подоспевшие к этой поре рождественские невесты. В редкие свободные минуты непрерывающейся четырёхлетней страды они умели подчиниться охватившему их внезапному веселию, выразить в стремительных плясках и песнях ту неистребимую на Руси веру в силу молодости и нескончаемости жизни. И Колька, изредка бывая по их приглашениям на вечеринках, чувствовал себя в эти минуты особенно счастливым и сильным, готовым свернуть любые горы, которые могли бы встать на его пути и посмели бы застить счастье деревеньки.

Так и случилось однажды. На 7 Ноября после окончания уборки урожая правление колхоза решило устроить в клубе торжественный вечер, посвященный 27-й годовщине Октября, с вручением скромных подарков и грамот от райцентра лучшим работникам, добившимся во время страды высоких результатов. Событие это отмечали всем миром. Не часто выпадали на долю селян такие передышки, когда можно было выпрямить в полный рост согбенную спину, стряхнуть с себя стопудовую усталость и, игриво развернув плечи и стан, кинуться в стремительный пляс или, настроившись душой на родное и близкое, исстрадавшимся сердцем затянуть песню о русской доле.

И вот в самый разгар гуляния на клубном крыльце, где покуривали после жарких танцев парни и стоял, слушая их разговоры, Колька, появился в расстёгнутом полушубке и съехавшей набекрень шапке подвыпивший Шваня. Лёгкий озноб пробежал по спинам ребят. Все хорошо знали, каким страшным и задиристым бывает этот пьяный верзила, на голову возвышающийся над своими сверстниками.

А Шваня тем временем, обеда мутным взором испуганных ребят и выбрав для очередного скандала подходящий объект, шумно навалился с кулаками на сгрудившуюся толпу, которая под его дерзким натиском враз схлынула с крыльца и кинулась врассыпную. И только взволнованный постыдным бегством парней Колька один оставался стоять на месте, до конца ещё не понимая, что может на сей раз выкинуть озверевший подонок, чем может завершиться для него этот угрожающий жест огромных Шваниных кулаков.

А тот, не знающий никогда противления своей силе, дыша в лицо Кольки самогонным перегаром, всей тяжестью пьяного тела наваливался на юношу, пытался схватить за грудки и сбросить его с крыльца. Но Колька успел опередить этот оскорбляющий мужское достоинство жест и первым со всего размаха нанёс удар в челюсть ненавистному Шване. В воздухе что-то хрустнуло, и верзила, охнув, начал грузно оседать на ступени, пытаясь ещё по инерции ослабевшими руками достать обидчика. Но тело и ноги уже не слушались своего грозного хозяина, а лишь судорожно загребали под себя снег.

В это время в клубе, узнав о случившемся, селяне с тревогой высыпали на крыльцо. Но никто, даже Анна Васильевна, не пытались прийти Шване на помощь. Слишком много зла и обид принёс он жителям Рождественки, постоянно задирая и калеча ребят, оскорбляя все эти годы беззащитных девчат и женщин. Люди понимали, что со стороны Кольки это было справедливым возмездием за все пролитые им ранее сиротские слёзы. Вряд ли посмеет теперь этот посрамлённый принародно громила поднять на кого-либо руку, ибо вырос в деревеньке свой заступник и опора для слабых — Колька Жмых.

Откуролесила, отплясала последними метелями лютая зима 1945-го. Весна наступила ранняя и как никогда дружная. В начале марта ноздреватые сугробы почернели и завалялись набок. В оврагах и низинах быстро накапливалась талая, звенящая по-вешнему ручьями и напоенная хмелем весеннего солнца студёная вода.

Всё оживало вокруг и вносило в людские души затаённый трепет и надежду на возрождение утраченных за долгие годы войны дней мирной жизни. Обезумевшая стихия со своей смертельной жутью всё дальше откатывалась от наших отчих границ... И люди, окрылённые успехами на фронтах советских войск, всё чаще и пристальнее вглядывались в измождённые лица возвращающихся домой после ранения солдат, надеясь в ком-либо из них опознать сквозь прищур заслезившихся глаз эту нечаянную и долгожданную радость встречи с мужем или единственным кормильцем, оставшимся в живых у состарившихся от непосильного в это лихое время нечеловеческого труда родителей.

Ждали этой весной возвращения своих и жители Рождественки. На обветренных после сошедшего снега, едва просохших прогалинах и взгорках по вечерам на голос гармони собиралась молодёжь. Девушки и ребята после изнуряющей за день крестьянской работы, заслышав песню, словно обретали второе дыхание. Наспех перекусив и принарядившись, они с радостью летели по раскисшим от вешнего половодья улицам к излюбленным местам навстречу чарующим мелодиям, распахнув свои исстрадавшиеся от тяжкой жизни юношеские сердца.

К этому времени заметно окреп и стал уже смахивать своей рослой статью на взрослых, подлежащих призыву в армию парней, и Колька Жмых. После одержанной над Шваней победы юноша чувствовал себя уверенней и уже не боялся быть застигнутым врасплох своим прежним обидчиком.

А Швана, постыдно поверженный принародно, с той самой минуты словно сломался изнутри, утратил свой боевой петушиный пыл. Он редко появлялся в клубе и других людных местах, но всегда был один, без сопровождающей его многочисленной трусливой свиты.

Это ещё более снискало Кольке уважение среди жителей деревеньки и вызвало искренние к нему симпатии даже самых привередливых местных красавиц... В ту весну в расцветающей непорочной душе паренька ярко раскрылся самобытный талант гармониста. В совершенстве освоив единственную из сохранившихся в клубе музыкальных инструментов старенькую гармонь, Колька со всей страстью отдался этой пленительной стихии, играя в свободные вечера на заливистой тульской двухрядке. И она, чувствуя его умелые ловкие руки, словно выговаривала своим трепетным сердцем полюбившиеся селянам наигрыши и песни. Слаженно и задушевно звучали в вечернем воздухе голоса ребят, объединённые одной общей русской душой, способной даже в лихие годы так страстно откликаться на все радостные и трагические проявления жизни.

Особенно чистым голосом, поднимающим песню до самых ангельских высот, славилась Даша Малинина, хрупкая белокурая красавица с вечно сияющими в улыбке ямочками щёк и с голубыми, как само пасхальное небо, глазами. Её-то и заметил однажды своим вызванивающим шестнадцатую весну сердцем Колька Жмых. С того дня оно стало напоминать ему о себе тихими, грустными вздохами, лёгкой, подрагивающей в груди болью. Но это ничуть не огорчало Кольку, а наполняло его душу каким-то таинственным, доселе неизведанным чувством, объяснения которому он не знал, а лишь смутно догадывался...

Стремительно летели дни, приближаясь к вешней страде. Природа, набухая почками и наливаясь неистребимыми соками жизни, заметно обновлялась. Вербы, обласканные лу-

чами солнца, позванивали на ветру распутившимися серебристыми серёжками. Словно Христовы невесты, овеянные лёгкой весенней дымкой, вырядились они в парчовые платья к Вербному воскресенью.

Повеселел в эти дни и Колька, замечая на себе при встрече с Дарьей потаённые взгляды её ласковых васильковых глаз... Робко зарождалось в их душах несказанно светлое и глубокое чувство. Всё чаще искали они предлог, чтобы хоть на минутку ненароком где-нибудь встретиться и вновь убедиться истосковавшимися сердцами в том, что нет выше на земле счастья, чем видеть осиянные любовью друг к другу глаза.

Но время настало горячее. Всем миром готовились селяне к посевной. Прибавилось хлопот и у Кольки. Тракторов для вспашки полей не было. С самого начала войны весь подвижной состав колхозных машин, кроме сеялок и прочего инвентаря, забрали на действующие фронты.

...А вспашку земли проводили на исхудавших, еле переставляющих ноги быках и лошадёнках, вместе с которыми зачастую впрягались и женщины. Поэтому Колька заранее готовился к этой ответственной поре. Старательно холил за зиму подопечных ему питомцев, чинил к весне их конскую упряжь, помогал кузнецу ремонтировать изношенные плуги, подковывать своих четвероногих друзей. Особенно бережно ухаживал он за ослабевшими от непосильной работы лошадьми. Подкармливал их жмыхом и остатками сбережённого для подобных случаев сена, поил тёплой, настоянной на ржаных отрубях водой, вместе с ветеринаром делал им прививки от болезней. И благодарные животные, поправившись к весне, вновь становились в свой «копытно-гвардейский» строй и безропотно тянули лямку на этом трудовом фронте...

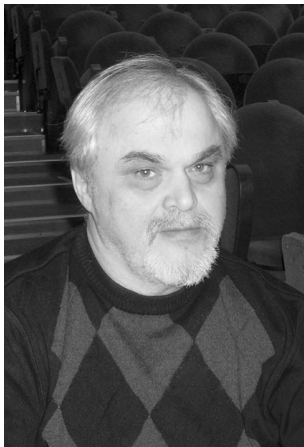
А закуражившая весна брала своё, отпущенное ей недолгое хмельное счастье. Дни заметно прибавили в силе. На засеянных пашнях появились дружные всходы. Зазеленела, преобразилась по-праздничному земля. Зашелестели, засветились на солнце своей молодой, прозрачно-дымчатой листвой берёзки... Воздух, напоенный ещё не сошедшими в падах тальми водами и уже напитавшийся тонкими запахами зацветающей черёмухи, пьянил и дурманил своим весенним хмелем сердца.

Бережил он души и Дарьи с Колькой. Снова по вечерам заговорила гармонь. И Дашино сердце, чуя этот, давно запавший ей в душу голос, птицей летело к их заповедному под раскидистым шатром черёмухи месту.

Сладкими поцелуями осыпал юноша на свиданиях свою возлюбленную. Больше всего на свете боялся он, что каждая такая встреча с Дарьей может быть для него последней: вдруг по чьему-то злому умыслу оборвётся их так внезапно начавшееся счастье. И Колька, трепетно обнимая свою единственную, за годы сиротства, радость, нежно шептал ей самые ласковые, самые заветные слова, выстраданные его истомившимся сердцем за долгие дни разлуки.



ЮРИЙ РОЗОВСКИЙ



Непогода

*Меняет года времена перо поэта —
Зима — и сразу же весна, и тут же лето,
А дальше осень... Боже мой! Какая прелесть!
Не зря они, не только мной, в стихах воспелись.*

Снова

Это ж надо так случиться —
Снова лютая зима
Беззастенчиво стучится
Прямо к людям в терема.

Обняла руками срубы,
Снегирями стала рдеть
И давай в печные трубы,
Словно в дудочки, гудеть.

Только все потуги даром.
Пусть проказит, как дитя.

Печи русские пожаром
Отдуваются, пыхтя.

Снег вокруг лежит глубокий,
Слышен лай дворовых свар.
На столе золотобокий
Закипает самовар.

Невзирая на погоду,
Люди с блюдами у рта
Дух степенно дуют в воду.
Ну не утро, красота!

РОЗОВСКИЙ Юрий Витальевич. Родился в с. Чистоозёрное Новосибирской области. В 1965 г. вместе с родителями переехал в Братск. Первые публикации увидели свет в 2000 г. Издал четыре поэтических сборника: «Не опаздывайте жить», «Совсем немного до рассвета», «Медовый ветер», «Царь-бобиль и волшебные грибы». Публиковался в журналах «Сибирь», «Истоки», «Синильга», «Вертикаль» «Сибирячок», а также в новосибирских, красноярских, иркутских и братских периодических изданиях. Лауреат Сибирского литературного конкурса «Золотая Синильга» имени Геннадия Карпунина в номинации «Проза» (2008). Удостоен Почётной грамоты мэра Братска за значительный вклад в развитие культуры города, нравственное воспитание братчан и активную жизненную позицию (2008). Лауреат конкурсов «Золотая строфа» (2011), «Белая скрижаль» (2011) и «Звезда полей» (2011); победитель конкурса Общества любителей русской словесности имени Л.Н. Толстого (2012), лауреат национальной литературной премии «Серебряное перо Руси» (2012). Член Союза писателей России. Живёт в Братске.

Хорошо-то как!

Хорошо-то мне как, Господи! Разбегусь и, как в мир иной, Полечу по крутой осыпи, Снег вихря. И на лёд речной,	Паром душу в мороз выставлю. Боже мой, как же свет мил! И снежком в облака выстрелю — Получай от меня, мир!
Хохоча, на санях вылечу. И снежинку смахнув с глаз, Я ногами протал вытопчу, От восторга пустаясь в пляс.	Вновь зима на волос проседи Нанесла ледяной лак. Хорошо-то мне как, Господи! Боже мой, хорошо как!

Вьюга

Натыкаясь друг на друга, Снежных звёздочек тела Вниз струятся. Клянчит вьюга Хоть немножечко тепла.	Сердце стынет, словно льдина, Корка инея на нём. «Ну пустите у камина Чуть погреться над огнём!»
Так и просит у хозяев, Чтоб пустили ко двору, Потому что ну нельзя ей Быть так долго на ветру.	Только ей никто не верит, Тёплой жизнью дорожа. И стоит она у двери, Подвывая и дрожа.

Весна

На улице солнце. Весеннему глазу
Подвержены все: от пичуг до людей.
И старый подъезд, не влюблённый ни разу,
О лестнице грустно вздыхает своей.

И голубь голубку ласкает на ветке,
Любимой на ухо воркуя стихи.
И с кошкою кот отдыхает в беседке.
И шорохи громки, и громы тихи.

Весна — это чудо и жизни начало,
И шёпот влюблённых, и милым цветы.
Весна — это много, весна — это мало.
Весна — это солнце и небо, и ты.

* * *

Теперь уже весна не снится. А что ей снится? Вот она, Как краснощёкая девица, У моего стоит окна.	— Чего сидишь? Айда со мною, Я здесь стою давным-давно. И жду тебя. Ногам уж сыро — Тут под окном бежит ручей. Айда, ужель тебе квартира Милее солнечных лучей?
--	--

Ужель тебе уют милее,
Чем самому увидеть, как
Из каждой почки на аллее
Пробьётся первого листка

Зелёный облик, чтобы позже
Под ветром в кроне трепетать?

— Нет, нет, — отвечу я, — дороже,
Весна, твоя мне красота.

Ты подожди меня немного,
Уж нагуляемся мы всласть.
И выхожу. Ручьи, дорога...
Ну вот, опять не дождалась!

Дождь июньский

Ишь ты, грохнуло-то как
В небе нынче!
Дождь слепой — большой чудак,
В страхе хнычет.

Летний ветер на него
Налетает.

«Уходи, мол, без того
Слёз хватает».

Дождь был мелок и труслив,
И послушен —
Взял и спрыгнул в водослив.
Стало суше.

Калитка

От ласки ветреной, вся белая,
В саду черёмуха дрожит.
Её калиточка замшелая,
Как мамка девку, сторожит.

За столько лет калитке деревце
Уж стало дочери родней,
Вот только с ветром силой мериться
Ей с каждым годом тяжелей.

И петли еле держат старую,
Вцепившись в досточек гнильё.
Так нет же, с ветром жалкой сварою
Скрипит замшелый дух её.

Никак не может успокоиться
И сотрясает палисад.
Но лишь калитка приоткроется —
Бесстыжий ветер рвётся в сад.

Гостья

В июле осень постучала
В окно моё.
Я ей открыл: «Входи. Сначала
Чайку попьём.

Или чего-нибудь покрепче
Соорудим?»
Она в ответ: «Ещё не вечер.
Там поглядим.

Ну, а пока позволь я сяду
И посижу.
Который год уже я кряду
Сюда хожу.

И каждый год одно и то же:
Дождь, листопад...

И каждый год всё так похоже
На год назад.

Вот я пораньше и решила
Прийти чуть-чуть,
Что до меня тут раньше было
Взглянуть хочу.

Нет, нет! Мне сахару лишь ложку.
Да, да — одну.
Спасибо! Сяду я к окошку,
Во двор взгляну».

Из кружки гостья отхлебнула
Горячий чай.
И вдруг к окну лицом прильнула,
Зло закричав:

«Я так и знала! Что же это
В твоём стекле?!
Как жизнь и зелень, значит, лето?
А мне — так тлен?

Ну нет уж, так не справедливо,
И чай дрянной.
Послушай, может, лучше пиво
Или вино?»

Я ей налил немного водки,
В стакан, на треть.
Она взяла и села кротко
В окно смотреть.

Она смотрела и смотрела,
Молчала зло.

И вдруг я вижу, пожелтело
Всё за стеклом.

«Э, нет, — сказал я ей, — подруга,
Ты прекращай!
Вот, лучше выпьем друг за друга.
И всё. Прощай!

А то уж сильно загостилась».
«Да, да, дела...» —
Сказала осень, не простилась
И прочь ушла.

Вздыхнул я, два стакана вымыл.
«Разобрались...»
Июльский ветер с улиц вымел
Опавший лист.

Бабье лето

Лето бабье, словно птица,
С холодами улетит,
Но пока его зарница
Крышу дома золотит.

Листья нежно гладят щёки,
Ветер кружит в волосах.
Красно-жёлтые потёки
Размываются в лесах.

Дождь груздями собран в шляпках,
Словно крупная роса,

И назад на птичьих лапках
Улетает в небеса.

Ягод спелых переливы
Вылезают из земли.
По-особому крикливы
В небе синем журавли.

Так и хочется куплетом
Чью-то голову вскружить.
Этим поздним бабьим летом
Не опаздывайте жить.

Перед дождём

Браня покой, горластый гром
По крышам скачет.
Погода кукуется дождём,
Вот-вот заплачет.

В порыве ветреном земля
И жаждет ласки.
Дрожат листвою тополя,
Поблекли краски.

Ещё немного — и польёт,
Разверзнув хляби.
И небо в голос заревёт
Совсем по-бабьи

* * *

Дождит. И небо, словно жель,
Скрипит дыряво.
Конечно, Бог на свете есть,
Но есть и дьявол.

Земля, попавшая под течь,
Раскисла грязно.
И трудно душу уберечь
От струй соблазна.

Ей не укрыться от грехов
Под ветхой крышей.

Лохмотья туч невысоко,
А солнце выше.

И не всегда к земле лучи
Пробиться могут.
В такие дни огонь свечи
Нужней, ей-богу.

Одной мерцающей едва
Лучистой дрожью,
Чуть освещающей слова
Молитвы божьей...

Непогода

Непогода, а хочется света,
Солнца хочется — вынь да положь.
Но, стекая по листьям, «не лето...»
Прошуршал мне сентябрьский дождь.

И захлопнуло форточку ветром.
Да, с погодой какой разговор?
Здесь, в Сибири, бывает и летом
Так — не лето, а всяческий вздор.

Здесь зубами от холода клацать
И в июне совсем не грешно,
Но зато и темнеет в двенадцать,
А в четыре утра не темно.

Мне по нраву особенность эта.
Тут Сибири весь мир не чета.
А какие здесь бабии лета!
А какие грибные места!

А сорога, ельцы и налимы,
Щука, окунь — лови, коль не лень.
И такие белёные зимы,
И такая морозная звень!

Я её ни на что не сменяю,
Непогоду сибирских широт.
А на сырость уже не пеняю:
Дождик льёт? Ну и пусть себе льёт.

* * *

Красоты не убавило время ни грамма,
Только в зелени глаз виден жёлтый отсвет.
Кто придумал, что осень солидная дама?
Осень — женщина самых заманчивых лет!
Та, что сердце любое огнём воспаляла
Так, как спичка легко воспаляет свечу.
Кто подумал, что осень от флирта устала?
Нет, она лишь разборчивей стала чуть-чуть.
Чтоб понравиться ей, мало силы и стати,
И признаний в любви впопыхах, на бегу.
Чтоб понравиться ей, надо чтобы... А, кстати,
Я и сам это толком понять не могу.
И блуждаю бесцельно в огне листопада,
И ногами топчу золотое бельё.
— Осень, милая женщина! Мне ли ты рада?
Или занято сердце сегодня твоё?

* * *

Укрылось солнце за горами.
И в кровь искусанный закат
Почти что выпит комарами,
И сосны старые скрипят

Над голубою Ангарою —
Ко сну готовятся они.
И укрываются корою
В траве лысеющие пни.

На них, как волосы, редуют
Пучки несрезанных опят.

Холмы брусникой еле рдеют
И блики солнца не слепят.

Идёт, идёт пора ночная.
На сопки падает тайга,
Своею тяжестью сминая
Опушки, просеки, луга.

В последнем свете дали тают,
Сливаясь с водами реки.
И в небо стайками взлетают
То ль звёзды, то ли светляки.

Не грусти

Задрожала в ветвях паутинка
От упавшего сверху листа.
Загрустила моя половинка.
— Ну не надо, моя красота!

Ну не надо, любимая. Что ты?
Это осень печалит сердца.
Этот ветер и птиц перелёты
Без конца, без конца, без конца.

И, как морок осенний, надежды
Оседают в распадках глухих.
Старый лес примеряет одежды,
Щеголяя расцветками их.

Это осень — озябшая дама.
Это лист под ногою хрустит.
Это я повторяю упрямо:
— Не грусти, не грусти, не грусти.

Облака-гуси

Облака гусиной стаей
Всё летят на край земли.
Их косяк вдали растает —
Гуси милые мои!

Долетите ли до цели
Иль охотник вас собьёт?

Держит небо на прицеле
Ветер северных широт.

Осень, молнией блистая,
В душах птиц родит испуг.
Облаков осенних стая,
Плача, тянется на юг.

Зима

Зима. Все окна перед взором
Покрыты призрачным узором.
Деревья с лиственным убором
Уже простились до весны.
Уже не слышно пенья птицы.
И, сонно опустив ресницы,
Припав к подушкам колесницы,
Царица Осень смотрит сны.

И мчит Зима в санях из снега,
Не зная отдыха, ночлега.
И кони от такого бега
В попоне инея бегут.

А за санями вьюги свищут.
Шальные ветры всюду рыщут,
Как будто всё кого-то ищут...
Но не отыщут, не найдут.

И я иду под снегопадом
И всё ищу кого-то взглядом.
Мне хочется, чтоб были рядом
Твои глаза, а с ними ты.
Но, видно, ты зиме не рада,
А может, буйство снегопада
Укрыло завистью от взгляда
Твои небесные черты.

Молитва

Лидочке

Пускай Господь тебя хранит
И Дева Пресвятая.
Пускай свеча твоя горит,
От пламени не тая.

Пусть ангел будет сторожить
В душе источник света.
Пускай ты дольше будешь жить,
Чем я. Прости за это,

Но я иначе не хочу
И благодарен Богу,
Что он зажжёт твою свечу,
Мне осветив дорогу.



ТАМАРА БУСАРГИНА

«Насущное отходит вдаль, а давность,
приблизившись, приобретает явность...»

И.В. Гёте. «Фауст»



Т.Г. Бусаргина с мужем Глебом Пакуловым

Наш дворик с раскидистыми клёнами, заросший травой и белыми, синими, жёлтыми полевыми цветочками, особенно красив в осеннюю пору. Сейчас, с возрастом, он стал почти единственным местом моего вечернего общения с природой. С прогулки я приношу моему уже старенькому коту его любимую травку — пырей, а себе несколько веточек с цветами, дома их перебираю, собираю в букетик. Вот и на днях, пристраивая букетик в вазочку, я вдруг уловила щемяще знакомый

запах, запах такого далёкого и такого, как оказалось, близкого детства. Я опять перебрала букетик и, конечно, узнала этот запах — это был запах войны. Былинку лебеды, вроде бы совсем здесь лишнюю, я оставила в букетике. Из благодарности.

Война застала нашу семью на севере Иркутской области, на руднике Колотовка. Там мои родители разведывали запасы слюды-мусковита. 22 июня 1941 года, когда наша чёрная «тарелка» голосом Вячеслава Молотова возвестила о вероломном нападении на СССР фашистской Германии, папа с отрядом геологов был на гольце. Мама в слезах, с криком «Война!» понеслась по коридору нашего общежития, повсюду из дверей выбегали жёны и дети геологов и техников отряда. Вскоре, заглушая плач и причитания взрослых, с криками «Ура! Война!», восторженно размахивая чем-то, изображающим оружие, стали носиться по коридору мальчишки, в том числе мой четырёхлетний брат Юра и его друг, пятилетний Костя Остроумов. Их отшлёпали и растащили по комнатам.

Долго ещё в нашем длинном коридоре пахло валерьянкой.

На другой день все геологи, техники, рабочие спустились с гольцов, и, хотя из базы экспедиции, из посёлка Мама, распоряжений пока никаких не поступало, в тот же день папа, как военнообязанный и начальник партии, во главе отряда (все в ватных телогрейках, с охотничьими ружьями за плечами) вышагивал вдоль речки Колотовки — мужчины

БУСАРГИНА Тамара Георгиевна. Родилась в Иркутске. Окончила исторический факультет Иркутского государственного университета и факультет теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Автор более сорока публикаций по истории искусства Восточной Сибири, детскому художественному творчеству. В настоящее время — доцент кафедры искусствоведения Иркутского государственного технического университета. Кандидат искусствоведения. Живёт в Иркутске.

осваивали строевой шаг. Мы, ребятня, шагали рядом под бодрые звуки песни, которую тогда полагалось знать всем — и детсадовской, и школьной детворе. Хотя в последующие десятилетия моей жизни не было вовсе никакого повода спеть эту песню, я помню её дословно. Называлась она «Письмо Климу Ворошилову». Как славно под неё шагалось!

*Климу Ворошилову письмо я написал:
«Товарищ Ворошилов, народный комиссар!
В Красную Армию нынешний год,
В Красную Армию брат мой идёт.
Слышал я, фашисты задумали войну,
Хотят они разграбить советскую страну.
Товарищ Ворошилов! Я быстро подрасту
И встану вместо брата с винтовкой на посту!»*

Почти весь папин отряд геологов вскоре мобилизовали на фронт, забрали и папу, но неожиданно осенью папа вернулся — бронь: войне нужна слюда. Уже к Новому 1942 году погибли почти все, кто был призван на фронт из нашего рудника в самом начале войны. Я помню, что особенно тяжело переживали гибель под Москвой двух мальчиков-геологов, только что окончивших Киевский горный институт, Саши Кузавкова и весёлого хохла Миколы Крапивко (он всегда рекомендовал себя хохлом, поясняя, что украинец живёт на Украине, а хохол, где хочет, там и живёт).

Посёлок Колотовка очень красиво прятался меж высокими, как мне казалось, недоступными для немцев горами. В первые месяцы войны голода особого мы не знали. У местного населения всё ещё можно было купить орехи, грибы и ягоды, в речке водилась рыба, ещё оставались от традиционного северного завоза сушёные овощи, рыбные и мясные консервы — геологов неплохо снабжали. А всё-таки быстро пришло ощущение — что-то сильно поменялось в нашей жизни. Уже зимой 1942 года на Колотовке появились с кучей детей несколько репрессированных семей (не то ингушей, не то чеченцев). Слух за ними шёл недобрый, и мы сильно испугались, когда однажды вечером несколько бородастых мужиков и парнишка пришли к нам, как выяснилось, за помощью. Они надеялись её получить, так как узнали, что у начальника партии жена, какая-никакая, а землячка (моя мама — помесь грузина с осетинкой). Еды они не просили — к этому времени вся летняя благодать куда-то делась. Просили тёплые вещи для детей (вскоре всем посёлком их приодели), а отогревать избы предложили таким способом — кавказцы заготавливают в лесу дрова для себя и для барака, где жили семьи геологов и располагалась контора партии. Как прожили эту зиму — не знаю, помню смутно, что мама делала какую-то мучную затирку со свиным жиром, изредка в неё добавляла солёных или сушёных грибов, да много было мёрзлой кроваво-красной спелой брусники, её раскатывали на столе, она подпрыгивала... Тем же самым подкармливали и репрессированных. Никакой вражды не было — все мыкали горе, каждый своё.

К осени 1942 года отца перевели в Мамское рудоуправление по многим причинам: подводить итоги изысканий (это называлось камералкой), мне надо было поступать в первый класс; была, как оказалось, и ещё одна, может быть, самая главная причина нашего отъезда на Маму — геологов в самый тяжелейший период войны уже готовили к восстановлению освобождённых районов Украины, украинской геологии, хотя, как я понимаю теперь, в результате некоей эйфории после разгрома немцев под Москвой немного поторопились со сборами. На Украину мы отъедем из Иркутска позже, а пока я учусь в первом классе у худенькой, светлой, во всех смыслах, незабвенной Валентины Ивановны Сазоновой, которая выпускала наш первый класс уже вдовой. Сохранённая каким-то чудом моей бабушкой похвальная грамота, выданная мне «за отличные успехи и примерное поведение», с портретами Ленина и Сталина, занимает почётное место в моей комнате. (Об этом мамском периоде моего военного детства я написала в очерке-рассказе «Платье с балаболками» — см. журнал «Сибирь», 2010 г., № 1.) Но всё-таки я не могу удержаться от соблазна воспроизвести один эпизод из того очерка.

Каким-то чудом к школе мне раздобыли светло-сиреневый портфель, я до сих пор помню его дерматиново-карамельный запах. Наслаждалась я им всего-то недели две. После уроков я любила ходить на берег реки Витима, дома всё равно есть было нечего, и я тянула время до прихода родителей (их иногда отоваривали в конторе серой мукой с отрубями, сушёными овощами, хлебом). Пока я рассматривала камешки на берегу, портфель украл. Побродила по берегу, поплакала, да что делать — пошла домой. Там постояла у двери, мысленно готовясь к выволочке, открыла дверь и обомлела: посреди нашей кухни, держась за руки и закрыв глаза, синхронно, как два маятника, раскачивались, переминаясь с ноги на ногу, две прехорошенькие девочки лет шести-семи. На них были надеты волшебнo-красивые, зелёные с искоркой платья. Платья были увешаны пушистыми балаболками цвета сосновой коры, и балаболки на шелковых витых верёвочках тоже раскачивались под монотонный призыв девочек: «Мама, иди сюда! Мама, иди сюда!»

Качались близняшки, видимо, давно и походили на заводных кукол. На мой приход они никак не отреагировали, поняли — это не мать.

Мне здорово повезло. Моя скорая на расправу мама почти безразлично выслушала мои оправдания, махнула рукой — сумку сошьём, а вот беда, так беда! Мать девочек, врача, отправляют на фронт, отец девочек, тоже врач, давно воюет, а нам, как полной семье, препоручают этих детей на неопределённое время, а может быть, и до победы, и кто знает, может, и навсегда...

Приход своей матери девочки почувствовали ещё в сенях. Врачиха оказалась высокой, строгой и не очень разговорчивой. Мама уже топила печь, и мать девочек попросила у мамы кастрюлю и сковородку, отварила макароны и стала их жарить на рыбьем жире. Это было испытание. Мы с братом были не в силах покинуть кухню, пришлось уводить нас силой. Вечером, сидя с папой на диване, я, тайничая, шепнула ему на ухо: «Сталин, наверное, каждый день ест жареные макароны». Папа с улыбкой посмотрел на меня и отвернулся — я увидела в его глазах слёзы.

Забегая вперёд скажу, что вопрос о посылке матери девочек на фронт был отложен, они уехали в Бодайбо. Зная мою беду, врачиха оставила мне вместо утеряннoго портфеля желтый деревянный санитарный чемоданчик с красным крестом на крышке. Я проходила с ним весь первый класс на Маме и прихватила с собой на Украину.

Есть примета — в лихолетье на помощь человеку по весне самой первой вылезает крапива. Со времён голодного детства на Кавказе мама знала, что если намочить руки да насыпать на ладонки соль, можно скатать крапивный шарик и смело положить его в рот — тогда он совсем не жжёт. Это и полезно, а, главное, хорошо заглушает голод. В это же раннее лето 1943 года мы опробовали супы с лебедой: другие составляющие понятия «суп» варьировались в зависимости от обстоятельств, но чаще всего это были колючие клёцки или перловка. Под окнами нашей квартиры мама кое-что посадила, даже разрезанную на кусочки картошку. Но дождались мы только лука, так как в июле 1943 года выехали в Иркутск.

Лето сорок третьего в посёлке Мама осталось в моей памяти ещё и потому, что именно там я увидела первый в моей жизни фильм. О чём он, толком не знаю, запомнилась лишь смешная тетёшка в длинном платье, которая всё от кого-то убегала, попыталась перепрыгнуть через скамейку, упала — и, о ужас! — у неё под юбкой оказались брюки! Тетёшка оказалась дяденькой! Было очень смешно. Была ещё попытка посмотреть фильм «Красавица Харита», но его до нас успели посмотреть взрослые, надеясь, что картина про любовь. Оказалось, что это вовсе даже не про любовь, что ещё куда ни шло, а про колхозную корову-рекордсменку.

Нас посадили на глассер, небольшой такой громкоголосый катерок с пропеллером. Пока он разворачивался по Витиму, я успела последний раз взглянуть на свою первую в жизни школу, хотя она вспоминается мне до сих пор ещё и по другому поводу. Когда мне было около пяти лет (надо сказать, иногда я вспоминала такие картинки и случаи из своего детства, что родители удивлялись: «Тебе же было тогда всего три года!»), мы с мамой приходили к школе и по верёвке, которую спускал папа со второго этажа, подавали

ему передачу: почти весь инженерный корпус геологов был арестован: кто-то оказался левым-правым троцкистом, кто-то шпионом или просто вредителем. Уж не знаю, что их спасло — рано замёрзший Витим или подоспело сталинское письмо о «перегибах». Папу выпустили и даже вернули партбилет.

Пароходом плыли до Киренска, по дороге часто останавливались, иногда из-за мелководья, но чаще для заготовки дров для пароходной топки. Я с тех пор не была на Лене, но и сейчас помню её необыкновенной красоты берега, её леса и «щёки»... В Иркутск прилетели на самолёте.

Родители готовились к отъезду на Украину довольно долго, тщательно изучали её геологию, особенно Донбасс, где им предстояло разведывать и подсчитывать запасы горючих сланцев да извести. Папа часто говорил: «Какая неинтересная, по сравнению с сибирской, эта геология!» В Иркутске я целый месяц проучилась во втором классе (в здании школы музыкантских воспитанников). Чему я научилась за это время, толком не знаю, но, кажется, именно в этой школе мы разучили гимн Советского Союза. Да ещё помню, как наша молодая учительница велела поспрашивать у родителей слова только что появившейся песни «Вьётся в тесной печурке огонь». Песню общими усилиями реконструировали и решили разучить всем классом, и когда учительница (каюсь, имени её я не запомнила) дошла до слов «между нами снега и снега», разрыдалась и села. В этой школе, как и на Маме, нас кормили. При всех сталинских вывертах, невероятных тяготах войны, власть думала о будущем, о детях, подкармливала как могла. Мне было очень жаль брата, но ни булочки, ни мёрзлого пончика я ему принести не могла, за этим строго следили учителя — случались голодные обмороки. Короткое время учёбы во втором классе связано с одним из самых ярких впечатлений от общения с настоящим искусством: учительница повела нас в Иркутский театр юного зрителя, где мы смотрели спектакль по сказке А. Толстого «Золотой ключик». Воспоминание о испытанном мною восторге от самого театра и от зрелища грело душу мою много лет — в Артёмовске никаких театров не было. Я до сих пор помню папу Карло, свои переживания по поводу козней лисы Алисы и кота Базилио и, конечно, самого Буратино с его весёлой песенкой:

*И ничуть не страшно мне
На дороге при луне,
Это очень хорошо,
Даже очень хорошо!..*

В Иркутске всё-таки было не так голодно, как на Маме в последнее время нашего пребывания. Бабушкины чаепития сравнивать с довоенными никак нельзя (где кисломолочные палочки в разноцветных полосках или «атласные подушечки», а халва?!), но ближе к вечеру бабушка всё равно ставила самовар. Вечернее чаёвничанье было неотъемлемой частью общения семьи, хоть и изрядно к тому времени поредевшей (умерли дедушка и баба Харитина, бабушкина сестра). На чаепитии, если повезёт, случалась и «божедомка» ещё с довоенных лет — Константиновна. Она приходила, снимала с себя кучу платков, усаживалась на сундуке возле стола и ждала, когда закипит самовар. При этом, раздувая свои невероятной величины ноздри, нюхала табак. Отчихавшись, она лезла в глубокий карман юбки, доставала оттуда грязноватую тряпочку, в который был завернут сахар, колола его щипцами на кусочки с мизинчик, бабушка из теска доставала какие-то травки, заваривала их. Константиновна одаривала всех сахаром, долго примериваясь, кому какой кусочек (нам с братом старалась выбрать те, что побольше), и начиналось чаепитие. Константиновна умудрялась со своим кусочком, который она упрятывала в какие-то потаённые закоулки своих впалых щёк, выпивать по 10–12 стаканов. «Худа, да ёмка» — говорила обычно бабушка.

В сентябре 1943 года Харьков был освобождён, и хотя ещё долго война шла совсем рядом, мы, продав купленный ещё до войны красивый дубово-бархатный мебельный гарнитур, выехали на Украину. В Иркутске нас посадили в битком набитый пассажирский

вагон, и вот гдегодились деньги, вырученные за мебель. С нами нелегально ехала мамина шестнадцатилетняя сестра, не считавшаяся членом семьи, и, если нашу Нину не удавалось спрятать от контролёров, приходилось платить штрафы.

Кажется, в Новосибирске нас пересадили в «500 весёлый» товарный вагон, в котором уже находилось полным-полно всякого эвакуированного народу, в основном из Средней Азии. Среди них было много еврейских семей с детьми. Большинство ехали в Харьков, но были и те, которые решили в Харькове у родни или знакомых переждать время, когда, наконец, освободят «красавицу Одессу», хотя до этого было ещё ой как далеко!

В дорогу нас снабдили сахаром, какими-то консервами, чем-то ещё. Из всего мне больше всего запомнилось зелёное эмалированное ведро, заполненное топлёным маслом до каёмочки у самой горловины. Хлеб по талонам отоваривали на определённых станциях, кипяток в бидонах папа приносил почти с любой стоянки, а их было много. Когда взрослые говорили «Нас опять в тупик», мы знали — это долгая стоянка, можно под присмотром взрослых вволю побегать и сделать все свои дела и делишки. Было тесно, взрослые спали по очереди на нарах, нам, ребятишкам, полагались кое-какие привилегии: наши места с самыми мягкими тюками взрослые не занимали. Ночью было уже прохладно, но была ли «буржуйка» в товарняке, я не помню.

За всё время пути до Харькова (а ехали мы недели три, если не месяц) в память мне врезались два эпизода. Один запомнился потому, что на одной из станций, где-то за Уралом, папа потерялся — отстал от поезда. Я очень любила отца, да и что мы такое без него в нашем положении! Целые сутки панического страха за папу не прошли даром — у меня поднялась температура, мама была в отчаянии. Уж не знаю, какими путями, но папа нас догнал — мир не без добрых людей.

А вот ещё картина, которую долго помнила вся наша семья. Отъехали, наконец, от Новосибирска, помаленьку утнездились, уторкались кое-как в теплушке, почти перезнакомились, и, как водится, все стали открывать свои мешки, корзины, баулы — время ужинать и как-то устраиваться на ночь. Кипятком на станции запаслись, мама достала хлеб, нарезала его, открыла зелёное наше ведро и стала намазывать хлеб маслом. Успела намазать только два кусочка — мне и брату, и заметила, что возле неё оказалась целая толпа ребятишек, они протягивали к ней руки с хлебом, сухариком, а то и вовсе пустую ладошку... Мои родители после часто вспоминали глаза этих детей.

Надо ли говорить, что очень скоро зелёное эмалированное ведро стало использоваться только под кипяток!

По мере нашего хотя и черепашьего, но всё же движения к Харькову росли и усталость, и напряжение. Со станционных остановок, а то и Бог весть откуда ещё, приходили всякие слухи. Однажды, когда особенно долго мы стояли в каком-то тупике, началась паника — Харьков опять отдали врагу; ведь он четырежды переходил из рук в руки. Пришлось самому начальнику поезда убеждать пассажиров не поддаваться на вражеские провокации — наши наступают по всем фронтам. А стоянки участились оттого, пояснял он, что тыл нашей Родины трудится ударно и посылает на фронт много новой техники. Действительно, мы часто пропускали эшелоны с новенькими танками на открытых платформах и с чем-то тщательно зачехлённым — все знали, что это «Катюши».

Было тревожно и неудобно; я часто зарывалась на нарах в какое-нибудь тряпье и вспоминала как сказку своё скудное, прямо скажем, по сегодняшним меркам, довоенное детство. Главной волшебницей в этой сказке, если мы жили в Иркутске, была бабушка, Настасья Николаевна, папина мать.

Дом бабушки стоял на 3-й Советской, напротив церкви Св. Александры, закрытой ещё до войны. Целой я её не помню. Её долго рушили, но была она так крепко сделана, что её развалины я ещё видела в шестидесятых годах. По субботам и воскресеньям на Ланинской улице был базар-барахолка. Каждое воскресенье бабушка покупала там рыбу и пекла пирог. Мы с двоюродной сестрой Галей часто бегали на барахолку — чего там только не было! И лишь воздушная тревога (перед войной в Иркутске часто выла сирена, не знаю, почему), мы, как и все, в панике бежали домой.

Бабушка была неграмотной, её репертуар по части сказок был невелик, а вот пословиц, поговорок, всяких присказок она знала уйму, и, главное, всегда они являлись неожиданно и к месту, как из волшебного сундука. Мой брат рос хилым, худым и бледным, но поесть любил. Бабушка вздыхала: «Ой, мнучек, мнучек, ведь у тебя аппетит, пока шапка не слетит, а пошто пузо к спине приросло?» Особенно хорошо она разбиралась во всяких приметах, и я нарочно к ней приставала: «Баба, а у меня глаз чешется — это к чему?» Или: «Правая-левая рука зудится — к чему?» Все приметы по части всяких чесаний я уже знала наизусть, но мне так хотелось к ней просто подойти и прижаться, и я выдумывала вопрос, который заставил бы бабушку подольше думать, а мне бы подольше на коленях полежать... «Баба, у меня попа чешется, это к чему?» — могла я спросить. Баба, чуть подумав, отвечала: «Дак чё, деука, верно, масло будет дешёво».

Бабушкин набор песен и присказок я, можно сказать, прослушала на «бис», когда рос мой брат. Песни у неё были особенные, и она их озвучивала по многим поводам, но чаще с покупкой детворе какой-нибудь обновки... Купили мне пальто с забавным воротничком «лисий хвостик» и муфту-кошелёк в виде медведя. Тут же, надевая на меня обновку, бабушка запела: «Катя, Катя, Катерина, нарисована картина». Я не очень понимала, какие такие «блонды» эта Катя вышивала, но скоро песню выучила (мне было почти четыре года) и распевала её часто. Папе особенно понравился в моём исполнении вот этот куплет:

*Офицеик, офицеик,
Маядой и хаястой,
Где видал таку кьясиву —
Пьяводи меня домой.*

Папа долго меня передразнивал.

Тётя Зина, папина сестра, купила мне и дочери Гале платья в клеточку, с большими карманами. Мы нарядились, а бабушка, приплясывая вокруг нас, пропела:

*Юбка клёш,
Карманы на боку,
Подайте Христа ради,
Работать не могу!..*

Бабушка и дедушка до революции, так уж получилось, были связаны с богатыми и знаменитыми домами Иркутска: бабушка служила в обслуге у Второвых и Рассушиных. В нашей семье сохранились кое-какие предания об этом, их могло бы быть больше, но нас, внуков, не очень занимали все эти «эксплуататоры и буржуи», хотя бабушка однажды в сердцах, когда мы с сестрой дружно начали хаять их дореволюционное житьё-бытьё, сказала: «Жили не тужились, без ужну спать не ложились». Дед в своё время служил кучером у «барыни», так её звала бабушка, тогдашней владелицы дома Волконских. «Барыня» частенько, когда ей приходилось выезжать из усадьбы по делам или в гости, на обратном пути была вынуждена сама садиться на козлы — кучер был пьян. Дед мой, совсем как отец протопопа Аввакума, «прилежаща пития хмельного». Бабушка, когда ей было уже далеко за восемьдесят, говорила: «Алёшенька был шибко красивый» и даже считала, что у деда был роман с «барыней» — иначе как бы она могла ему прощать такое?

Бабушка была приставлена к «барышне» в доме Второва, об этом мы только то и знаем, что «барышня» была красавицей и любила сидеть «в ванне с молоком». Изю всего, что рассказывала бабушка о своей службе у В.А. Рассушина, мне больше всего запомнилась одна картинка, которую красочно воспроизводила бабушкина дочь, тётя Маня. Жена архитектора В.А. Рассушина, дочь богатых золотопромышленников, очень строго, просто аскетически воспитывала своих сыновей; и это потому, утверждала тётя Маня, что «барыня» была немкой. Чуть ли каждый день она, схватив ремень и не выпуская изо рта «пахитоски» с длинным мундштуком, гонялась по комнатам за сыновьями, а на шлейфе её платья с визгом и лаем каталась любимая моська. Золото, по словам тёти Мани, «валялось

в разном виде», в слитках и поделках, по всему дому, но мать наказывала детей своих за непочиненные рубашки и носки: её дети ничем не должны были выделяться из общей массы. Впрочем, бырыня была очень доброй. У них постоянно столовались дети прислуги и студенты архитектурной мастерской Рассушина. Будучи поборницей всеобщего образования, учила грамоте детей своих работников. Заметив способности и тягу к учёбе тёти Мани, оплатила её четырёхлетнее обучение в церковно-приходской школе, где училась и хозяйская дочь. Тётя Маня присылала нам на Донбасс настолько литературно интересные и безупречные с точки зрения грамотности письма, что современные выпускники школ, а то и университетов, могли бы, думаю, только позавидовать.

Из всех бабушкиных сказок (условно говоря) я особо выделяла известный сюжет о деде и бабе, которые ели кашу с молоком, — там упоминается подполье, занимавшее в жизни бабушки и дедушки очень важное место. Бабушка была молитвенницей. По утрам, пока дедушка маялся с похмелья, бабушка, открыв оконную штору, за которой пряталась икона Богородицы (ведь сын и дочь были членами партии), молилась, и оттого, сколько времени продлится её молитва, зависела судьба деда. Дед терпеливо ждал, пока бабушка прочтёт положенное, но иногда ему было совсем невмоготу, и он, кряхтя и ворочаясь на кровати, подавал голос:

— Настенька! Ты это Ему уже, кажись, говорила. Не глухой, поди.

Бабушка бросала на него гневный взгляд и продолжала молиться. Понимая, что бабушку не разжалобить, дед заходил с другого боку.

— Настенька! — участливо спрашивал он. — А как у тебя сёдни «рожа»?

— Ох, пожалел волк кобылу, — говорила бабушка, тут же закрывала штору окна и суетливо лезла в подполье, доставала оттуда чекушку с розовой жидкостью, наливала деду неполный стаканчик, остальное выливала на свои опухшие красные ноги — у бабушки была «рожа» на ногах... Мне иногда казалось, что когда-нибудь дед, не стерпев похмельной муки, несмотря на свой мирный нрав, сделает ей таки «хлоп по пузу кулаком» и бабушка улетит в подполье.

А вот никаких считалок от бабушки я не помню. Может быть, она их и не знала — слишком рано пошла «в люди». Все наши считалки были с улицы, и только одна досталась нам от папы. Вероятнее всего, она сложилась после японской войны 1904 года. Японского в ней ровно ничего не было, так ведь, допустим, в «Турецком марше» Моцарта тоже ничего турецкого нет. Считалка длинная, а потому мы с братом и на Украине владели ею монопольно — эдакого никто запомнить не мог. Вот она:

*Жили-были три японца:
Як, Якцидрак, Якцидракцидрони.
Жили-были три японки:
Цыпа, Цыпадрыпа, Цыпадрыпалимпомпони.
Вот они женились:
Як на Цыпе, Якцидрак на Цыпедрыпе,
Якцидракцидрони на Цыпедрыпелимпомпони.
Вот у них родились дети:
У Яка с Цыпой Кока,
У Якцидрака с Цыпойдрыпой Кокацока,
У Якцидракцидрони с Цыпойдрыпойлимпомпони
Кокацокадурациони.*

Папа много значил в моей детской жизни. Читать до школы я не умела, мама была никудышной учительницей, а папа предпочитал читать мне Пушкина — у кого не было пушкинского юбилейного издания 1937 года! Все сказки Пушкина я знала наизусть, любила на потеху взрослым петь арию Ленского вместе с Собиновым на толстой пластинке.

Игрушек у нас с братом было мало. Может быть, это связано со снабжением посёлка Мама. Все мои родные и знакомые заметили за мной одну странность: я не могу пройти, особенно зимой, мимо выброшенной куклы или игрушки-животного, особенно медведя.

Сколько я кукол перешила, пересушила, перегладила их наряды, передарила. Один мишка уже сорок лет сидит у меня на балконе, а красавица-кукла (она явно не предназначена для игры) встречает меня в кресле у дверей в прихожей квартиры. Этот комплекс из детства. В клубе посёлка Мама был последний предвоенный новогодний карнавал, где моя мама изображала многодетную цыганку. Мы с соседскими детьми крутились и галдели возле её расписной юбки, а на руках мамы спала, закрыв свои лучистые голубые глазки, моя любимая и, кажется, единственная в детстве, кукла Маша. Карнавал нам надоел, мы ушли спать, а наутро мама сказала, что Машу она где-то на улице выронила. Ещё долго-долго я, представляя, как она, одинокая, замерзает в снегу, плакала в подушку...

Самая длительная остановка была уже под Харьковом. Когда мы приехали в город, на огромной вокзальной, уже освобождённой от руин площади не было свободного места. Люди сидели на узлах, чемоданах или вовсе на земле, всюду бегали дети. Некоторые семьи, несмотря на осенние холода, провели на вокзальной площади уже не одну ночь — не у всех было жильё, город сильно разрушен, а если у иных квартиры и уцелели, то жильцы, вселившиеся в них при немцах, освобождали их неохотно. Без милиции не обходилось. Нас к вечеру поселили в сохранившееся здание треста «Укргеолнеруд» на Сумской улице, недалеко от памятника Тарасу Шевченко. Утром, выйдя на улицу, первое, что мы с братом увидели, неимоверного обхвата дубы с бархатными тёмно-коричневыми стволами и необыкновенными листьями, что ковром лежали под ними. Жёлуди, которых тоже было много, оказались несъедобными.

Не знаю, какие работы по специальности выполняли мои родители, но приходили они к ночи уставшие, грязные и мрачные. Управление располагалось над большим оврагом, с которого открывался красивый вид на пригород Харькова Журавлёвку. Мы с братом живо обследовали все окрестности, но приближаться к оврагу нам не разрешалось — именно там и трудились родители. У этого оврага немцы расстреливали евреев, раненых, пленных. Родители, как и все геологи треста, откапывали трупы, грузили их по машинам и отвозили к месту захоронения. Мы боялись этого оврага, и очень обрадовались, когда через несколько дней нас переселили в чудом сохранившийся высокий дом (кругом были развалины) на зелёной Девичьей улице. Как теперь я понимаю, мы жили в мезонине когда-то богатого особняка дореволюционной постройки. Наши две комнаты имели причудливые потолки, один был в виде полубочки с хорошо сохранившимся на стене растительным бордюром-орнаментом, потолок другой комнаты был с парусами, которые держали свод. Из комнат был выход на большую кухню, а с другой стороны — на балкон с видом на роскошный запущенный парк. Лёжа на железной кровати, я, воображая себя принцессой в каком-то заколдованном замке, уснула. Проснувшись мы все от страшной канонады. Дом весь дрожал, казалось, зенитки бьют прямо из нашего сквера. Все выбежали в кухню, где более опытные, прошедшие оккупацию соседи успокоили нас: это нестрашно, похоже, заблудились один-два немецких самолёта, скоро их собьют. И действительно, минут через пятнадцать всё прекратилось. Было очень страшно. А что же настоящая война?!

Много чего мы слышали тогда от соседей. Одна пожилая женщина рассказала, что в здании треста «Укргеолнеруд» была немецкая комендатура, но гестаповцев они не так боялись, как бандеровцев. Немцы, прежде чем убить, иногда пытались или делали вид, что пытаются, хотя бы в чём-то разобраться, а вот бандера не разбиралась. Харьковчан они не любили, это ведь русский город. Почитай, половина убиенных в овраге на их совести.

Мама повела меня в школу, что была рядом с домом, но эту школу собирались открыть только после Нового года. А потому на семейном совете было решено, что уроки арифметики будет давать мне папа, чистописанием займётся мама (она была чертёжницей), и вообще, «чтение — вот лучшее учение». Тут меня заставлять не нужно было. Читалось всё без разбору: от сказок Андерсена и братьев Гримм до Лермонтова, Тургенева и Толстого. Книгами (свой был только Пушкин) меня снабжала Нина, тоже большая любительница чтения. Уроки же арифметики и чистописания шли ни шатко ни валко, тут я не шибко преуспела. У родителей своих забот хватало.

Как хочет человек забыть свои горести! Как хотелось тогда забыть войну!.. На первом

этаже нашего дома уже работала парикмахерская, и мы с братом впервые увидели в окно, как делают маникюр, но не очень поняли, для чего. Приехал московский цирк, и хотя это было не первое знакомство с цирковым искусством (однажды из-за метеоусловий вместо Бодайбо на Маму залетел иркутский цирк С.Ю. Шафрика, в котором работал мой двоюродный брат Коля Петров гармонистом, а его жена Юля была гимнасткой), но всё же цирк в Харькове мне понравился больше — там были собачки и гимнасты под куполом...

В наши детские обязанности входило выкупать по талонам хлеб и сахар (вместо сахара обычно выдавали патоку). В этих длинных очередях частенько происходили потасовки. И вот в один из дней в разгар бабьих разборок и настоящей драки к прилавку подошёл инвалид на деревяшке и зычно так прокричал: «Бабы! Наши Одессу взяли!» О Господи! Что тут стало! Толпу как подменили — все обнимаются, плачут, кричат «Ура!» В этот же вечер, или чуть позже, был большой салют, и над нами пронеслась эскадрилья самолётов, построенная в имя «СТАЛИН». Это был самый конец апреля 1944 года.

На Донбасс, в частности, в Артёмовск, куда нас определили уже в Харькове, отправились вскоре после взятия Одессы. Дом, в котором должна была помещаться контора экспедиции, ещё освобождался по суду, и мы обосновались в селе Пшеничном, где предполагался главный пункт геологических работ. В хате, куда нас поселили на житьё, висели в рамках фотографии расстрелянного немцами мужа (председателя поссовета) и сына хозяйки. Фотографии были изрешечены пулями. Мама с участием спросила: «И сына убили? Вот уж горе, так горе!» И вдруг лицо хозяйки как-то странно посуровело, и она процедила сквозь зубы: «Сынов я бы ещё нарожала, был бы муж». Я до сих пор не могу определить своего отношения к её высказыванию. И забыть его не могу. Вспоминается рассказ хозяйки о постое румын в её хате. Свободное от ратных дел время они проводили на болоте (оно было сразу за огородом), разводили костёр и стреляли лягушек, затем, нанизав на прутики, жарили их на огне. Один рыжий румын, заходя в хату после лягушачьей охоты, обычно хлопал себя по животу и, закатив глаза от удовольствия, говорил: «Мати, карашо!» На селе нам сразу же придумали дразнилку: «Геологи — белы ноги!» Во-первых, то и другое было правдой, а во-вторых, малороссийское аффрикативное «г» как-то смягчало дразнилку, мы не обижались. К слову сказать, в Украине ругаются со вкусом и обходятся без крепких выражений. «Шоб тобі повывлазило, кытаець!» — кричал шофёр экспедиции мужику, который вдруг вынырнул откуда-то и чуть не угодил под колёса его грузовика...

В Пшеничном, видимо, больших боёв не было, и село не было разрушено. Красивые белёные хатки с садами почти все были крыты соломой. Через дорогу от села шли поля кукурузы, куда нам ходить не разрешалось, говорили, что там и сейчас прячутся беглые немцы. И действительно, мы видели, как их ловили и увозили из села. Там же, в лето 1944 года или позже, мы с братом оказались за селом, когда нас застало полное солнечное затмение. Тьма подступила незаметно. Когда же из села послышался вой собак, рёв коров и показались на небе звёзды, да такие близкие — рукой достанешь, мы от испуга даже и не пытались бежать, поняли, что наступил конец света, которым нас часто пугала Лукьянова, уборщица в конторе папы.

Мы, городские, поселковые, рудничные дети, многое открыли для себя в этой новороссийской деревне. Запомнилась чудная ночёвка на бахче, куда в свой курень пригласил нас соседский дедушка, стороживший колхозные арбузы. На рассвете я проснулась от испуга — кто-то прямо у моего уха часто дышит, словно принюхивается ко мне. Я решила, что это волк, их было много, однажды они чуть не загрызли моего отца, когда он ночью возвращался из соседней деревни с партийного собрания. Я разбудила деда. Он меня успокоил: у волка другие повадки, это лиса. И правда, когда мы вышли из куреня, её рыжий хвост мелькал уже далеко.

В Пшеничном была школа-трёхлетка, где преподавание велось на украинском языке. Я решила идти в третий класс. При немцах никто не учился, а чему детей учили до немцев, всё было забыто. Я оказалась самой маленькой и, как теперь бы сказали, самой «продвинутой» по всем предметам. Ученицей я была неудобной, мне всё казалось, что «вчителька» просто коверкает русские слова, пыталась её поправлять. Однажды она объ-

явила на уроке, что мы будем учить «байку Глибова «Мавпа и окуляры». Мне «байка» показалась чем-то знакомой и очень смешной. Судите сами:

*На старість мавпочка недобачаты стала,
А вид людэй вона чувала,
Що цз ще лыхо нэ якэ,
Як бы достаты окуляры..*

Я потом оценила всю мелодичность и красоту украинской «мовы», а тогда от души повеселилась, возмущив национальные чувства учительницы. Не удивительно, что она обрадовалась, когда меня увезли из села, — наш дом в Артёмовске был свободен.

Артёмовск, где обосновалась контора и база экспедиции, был в те времена небольшим пыльным городом с одной главной улицей, естественно, Артёма. Папа забрал с собой из Пшеничного Лукьяновну, женщину лет шестидесяти, напичканную всякими страхами про оборотней и нехороших людей, которые запросто превращаются в свиней и медведей. Этот природный мистический настрой, свойственный вообще украинцам, укрепился с несчастьями, которые принесла война: муж, староста при немцах, спасавший многих, в том числе и молодёжь от угона в Германию, сидел в тюрьме, а дочь совсем не по своей воле родила девочку от немца и покинула село. Ребёнок был, видимо, не совсем здоров, с криком «немни, немни!» девочка долго ещё пряталась под кровать при любом шорохе. Лукьяновну все жалели. В папиной экспедиции она проработала семь лет.

...Семейство, которое при немцах заняло дом нашей хозяйки Сарры Пинхусовны, сидело на узлах у крыльца и встретило нас враждебно. Старуха прошипела маме в лицо: «Всё равно ты здесь жить не будешь!» И действительно, в доме поначалу было жить трудно — вечно что-то скрипело, слышались шаги, открывались сами собой двери, но наша Лукьяновна точно знала, как обороняться от нечистой силы, и вскоре всё стихло. А дом был высокий, с большими окнами и планировкой, удобной для совмещения нашего жилища с конторой. К слову сказать, первое в моей жизни посещение церкви тоже связано с Лукьяновной. Однажды ночью мама разбудила нас с Юрой, и мы увидели, что вся наша улица в движущихся, дрожащих огоньках: люди в страстную седмицу несли их домой из церкви, которая, говорят, стала действующей при немцах. Принесла огонёк и Лукьяновна, накопила в углах кресты, закрестила им все окна. На Пасху я уговорила Лукьяновну взять меня на всенощную, где пряталась за её спину, когда ко мне подходил батюшка с кадилом.

В Артёмовске было несколько школ, одна из них — украинская, но поскольку в неё не нашлось желающих, школа стала русской и женской. Моя тётя Нина, которая приехала с Кавказа с пятью классами образования, в школу не пошла, стеснялась, что переросток, к тому же она плоховато говорила по-русски. Нина жила с нами на Донбассе до девятнадцати лет, до замужества, и, честно говоря, заменяла нам с братом вечно занятую маму. Нина сшила мне из какой-то дерюжки сумку с карманом для пузырька с чернилами, достала где-то дефицитный химический карандаш и несколько лет мне и потом брату строгала из него чернила, из газет нашла тетрадок, и я, как и все, научилась писать между строк... Однажды, когда урок уже шёл, директор школы ввела в класс девочку. На ней было синее в светло-серую клеточку пальто, розовая пушистая шапочка с белым помпоном и белый пушистый шарф, тоже с помпоном. И вся она была такая розовая, пухленькая, просто девочка из сказки. «Дети, — обратилась к нам учительница, — с вами будет учиться дочь нашего прославленного паровозного машиниста Николая Кривоноса. Зовут её...» (уже не помню как!). Когда директриса сняла с неё пальто, мы впервые увидели школьную форму с кружевным воротничком. Самым же большим потрясением были её тетради с разноцветными обложками — в прямую и косую линейку, в клеточку. Классовое чувство, конечно, взыграло, но девочку обижать мы боялись — фамилия завораживала, да и девочка была тихой и даже на перемене не выходила из класса. Её увозили и привозили в одно и то же время, видно, подгадывали к расписанию папиного паровоза. Вскоре расписание его работы или маршрут изменились, и наше небесное видение повезли учиться не то в Ворошиловград (ныне Луганск), не то в Сталино (ныне Донецк)...

Как мне тяжело думать о сегодняшней судьбе этих городов! Да и мой Артёмовск, и село Пшеничное не раз мелькали в сводках о боях в Донбассе!

До окончания войны выживали в Артёмовске по-всякому, ждали Победы. В экспедиции было подсобное хозяйство. Сеяли кукурузу, подсолнечник и картошку, хотя она и росла плохо. Подсолнечник экспедиция сдавала на маслобойку, а из кукурузы на городской крупорушке делали крупу и муку. Самое счастливое гастрономическое воспоминание — свежеежатое ароматное подсолнечное масло с кукурузным хлебом. В войну хлеб получали по карточкам, а кильку (её там называли камсой) можно было, если повезёт, купить свободно. На маленьком огороде росли лук и всякая зелень, по обочинам огорода — паслён. Ранетками и даже яблоками «белый налив» наши мальчишки частенько разживались в соседских садах, а собирать «паданку» ребяташек даже приглашали. С маслобойни, что была недалёко от нашего дома, часто возили жмых, макуху по-местному. Брат мой всегда дружил с мальчишками старше себя по возрасту. Пока Юра стоял «на шухере», его друзья умудрялись залезть в кузов при погрузке машины и выбросить пару-тройку кругляков этого жмыха — пир на весь мир... Так что в войну жизнь на Донбассе была вполне сносной. Самое голодное время будет впереди, но об этом чуть позже.

Донбасс — безлесная земля. Я помню только один Новый год с ёлкой, да и то он мог и не состояться. Нам повезло. Сестра М.Д. Каманиной (о которой речь впереди), заведовала детским домом. Она принесла нам сосёнку метра полтора росту — в дом завезли лишнюю. Сколько было радости! Мы, за неимением игрушек, навесили на неё что попало, наскоро что-то смастерили сами, но главным украшением была вата. Родители приехали с рудника, и мама меня спросила: «Ты помнишь свою ёлку на Маме? Этот дом тоже деревянный!» Ещё бы я не помнила! Что спровоцировало меня тогда, в новогоднюю ночь 1941 года, на геростратов подвиг, не знаю. Под ёлкой стоял большой ватный, покрытый слюдяным блеском Дед Мороз, и было много ваты, прикрывающей крестовину. Я поняла, что фейерверк будет что надо, подошла к печке-голландке, открыла дверцу, подожгла лучинку, а затем и вату под ёлкой. Огонь медленно и очень красиво полизал её, дошёл до ствола, и ёлка вмиг вспыхнула до самого потолка. Спасла нас соседка, которая стирала бельё. Мой брат после заикался года два. Но зато как причудливо-красиво выгорел наш пол! По его линиям я танцевала, а Юра путешествовал на своём деревянном грузовике!..

Порадовала нас артёмовская ёлка только в новогоднюю ночь — когда мы проснулись, её уже кому-то отдали. И всё-таки победный 1945 год мы встретили с ёлкой!..

Сам миг, когда я узнала о Победе, навсегда связан у меня со странным соседом Григорием Сметанкиным, здоровенным мужиком средних лет, благополучно пережившим в Артёмовске оккупацию, да ещё с женой-еврейкой. Лида при малейшей опасности пряталась в погреб, хотя вполне очевидно, что прятаться надо было ему — Лида не очень походила на еврейку... Позднее на выигранный в военную лотерею — были такие — персидский ковёр мы купили дом, в котором жили Сметанкины, и перебрались из конторы. Дом был выстроен из неимоверного обхвата дубов, имел низкий потолок, маленькие окошечки и земляной пол. А погреб был действительно глубоким... Мы с девочками играли в «классики» на улице, когда из нашей ограды выбежал с красным полотнищем в руках Сметанкин и с диким криком «Победа! Победа!» помчался к школе, увлекая за собой толпу. Сердце просто выскакивало от счастья. У школы вмиг соорудили что-то вроде трибуны, откуда ни возьмись появились всякие начальники, хорошо говорили, нашёлся и оркестр, музыка, танцы — на всю ночь.

Вскоре стали приходиться с войны мужчины, и я помню, как соседка Валя прибежала в нашу усадьбу, стучала в окна и как полоумная кричала: «Вася, Вася приехал!» Когда мы выбежали, Вася, растерянный, стоял у калитки — ждал, когда жена придёт в себя. Позже Вася часто вечерами играл на гармошке и пел нам разные песни из окопного фольклора. Одну из них я хорошо помню. Она о том, как солдат или младший офицер пришёл с фронта, «а дома меня встретила жена, жена моя с погонами майора». Состроив страдальческую физиономию, он жаловался нам, ребятам:

*Теперь я не курю, не пью вина,
Боюсь не принести домой полочки,
И без жены боюсь ходить в кино —
Припишет самовольную отлучку...*

Но мы-то знали, дядя Вася повеселиться и выпить не дурак, и никакая Валя ни в чём ему не указ!

Стали возвращаться девушки, угнанные на работу в Германию. Помню одну стройную девицу, которая ежевечерне проходила мимо нашего дома в красивых шёлковых платьях, юбки развевались колоколом, и хотя она придерживала подол руками, мы успевали разглядеть широкие, причудливого плетения кружева её комбинации. А уж туфель на высоких каблуках у неё было множество! Верно, она быстро обзавелась кавалером и исчезла из города. Понимаю, что это несправедливо, но скажу прямо: посматривали на неё косо, и уж точно никто не считал, как пелось в популярной тогда песне, что ей «положено по праву в самых лучших туфельках ходить».

К сентябрю 1945 года моего брата Юру стали собирать в школу. Помогли нам в этом, представьте себе, американские подарки. Их в 44–55 годах получала экспедиция раза два. Называли их «второй фронт». Мне запомнилось мясо в банках (почему-то сладкое), жир, похожий на манную кашу, солёный жареный арахис и, что особенно ценно, сухари, которые в воде увеличивались в размерах. Всё это делилось и съедалось работниками экспедиции быстро. Но были и подарки с одеждой. Помню, нам достался чёрный свитер с двумя белыми оленями на груди, мужская куртка с искусственным (как я теперь понимаю) мехом, какое-то бельё, ещё что-то. Всё это, вместе с большим персидским ковром, при обычной экспедиционной оказии в Ростов (оттуда возили трубы для бурения) свезли на ростовскую барахолку. В новых ботинках и хороших брюках, в перешитой по росту и перекрашенной в чёрной цвет военной гимнастёрке, с папиной полевой сумкой и ремнём с медной бляхой, подаренной соседом Васей, Юра и пошёл в школу.

...Я до сих пор не совсем понимаю, почему после войны жить в Артёмовске стало намного хуже. Да, было два подряд неурожайных засушливых года. Мы бродили по улице по колено в тёплой, мягкой пыли, воображая, что бродим по воде. Всякий день, придя в школу, мы рассказывали друг другу, где увидели умерших от голода людей, очень часто стариков. У ворот нашего дома был большой камень. На нём часто сидел и ждал хоть чего-нибудь, хоть ложку мамалыги, высокий сухой старик. Утром, отправляясь в школу, я обратилась к нему по обыкновению: «Дедусь, здравствуй!» Он мне не ответил, я тронула его за плечо — и он повалился на землю.

Однажды, в это самое голодное время по нашей улице проехал цыганский обоз. Я с девочками сидела у калитки и заметила: что-то выпало из кибитки. Мы ещё подождали — пусть колымага отъедет подальше, вдруг там что-то интересное. Когда обоз отъехал на безопасное расстояние, мы подбежали и подняли свёрток — а в нём мальчик! Он свалился из рук задремавшей матери в нашу пыльную по колено улицу, как в перину. Бежать за цыганами было поздно, я понесла свёрток маме. Мама моя тут же за него ухватилась. Дело в том, что по кавказским обычаям найдёныши и подкидыши — дар Божий, к ним в семье отношение лучше, чем к своим. К тому же цыганёнок был хорошенький, большеглазый. Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы мы не увидели бегущих в нашу сторону с воплями и причитаниями цыганок...

Постоянное чувство голода мучило всех, и детей и взрослых. Взрослые тоже вспоминали своё довоенное житьё, часто, как дети, явно его приукрашивали. Мастаком по этой части была Неля, чернокудрая, с глазами навывкате, львовская еврейка, приехавшая из Казахстана к сестре Лиде, нашей подвальной сиделице. В её расскази мы плохо верили. Во Львове, по её словам, идя с фабрики, она заходила в магазин и свободно покупала невиданные вещи и всё съедала. Для наглядности она ставила свой сухонький кулачок на живот и била по нему как по наковальне, другим, словно вколачивала в свой тощий живот всё, что она накупила — «кулбасы», «канклет» (именно так!), да туда же — сыр, а напоследок — пирожное. При этом в её лице было столько блаженства!

Много разного интересного народа приехало в Артёмовск после войны. Приехала к нашей соседке сестра. Она представилась: «Каманина, Манюрочка, — и быстро поприветствовалась: — Мария Даниловна. Манюрочкой звал меня муж». Мужа её не было в живых уже шесть или семь лет. Он, генерал, родной брат знаменитого полярного лётчика Н.П. Каманина, спасавшего челюскинцев, был сброшен с балкона «Дома на Набережной», пока Мария Даниловна была на кухне, готовила мужу и пришедшим с ним мужчинам угощение. За нею пришли быстро. Мария Даниловна, решив, что ей просто предстоит беседа со следователем, оделась обычно, по-летнему. Тогда один из трёх пришедших произнёс: «Не забудьте паспорт», отделился от группы, пошёл за ней следом и тихо проговорил: «Идёшь на день — бери на неделю, идёшь на неделю — бери на месяц, идёшь на месяц — бери на год». Мария Даниловна всё поняла: в сумку, помимо своих вещей, положила мужнино тёплое бельё. Она всегда с благодарностью вспоминала того человека. Ей дали десять лет лагерей, но выпустили раньше, без права жить в Москве... Через некоторое время семья Каманина прислала из Москвы кое-какие вещи из её довоенной роскошной жизни генеральши: зимние пальто с горжетками из лис и песцов, с хвостами и мордами, необыкновенные шляпки с вуалями и перьями. Она устроилась на работу медсестрой, но вскоре всё, что прислали, было проедено. Мама, как могла, иногда её подкармливала, и за это Каманина подарила ей небольшой гобелен французской работы девятнадцатого века, изображающий Наполеона на белом коне. Это был подарок самого Н.П. Каманина невестке, только потому он и был прислан Марии Даниловне. Он и сейчас у меня, хотя после войны мы снесли на барахолку всё, что ещё кому-нибудь могло пригодиться. Мне до сих пор жаль настоящего, правда в детском варианте, черкесского костюма с позолоченными газырями и кинжалом, с золочёными висюльками на поясе и кудрявой, барашковой белой папахой. Какая-то толстая тётка, долго торгуясь и размышляя вслух, а зачем, собственно, ей эта черкеска, всё-таки дала нам за неё булку хлеба и налила в железную баночку из-под американской тушёнки тёмного самодельного жидкого мыла.

О бахмутской барахолке нельзя не рассказать. Она сохранила своё название потому, что попасть на неё можно было лишь перейдя речку Бахмутку, по имени которой когда-то Артёмовск назывался Бахмутом. Воды в ней было по колено, но перебраться на другой берег, не подцепив штук десять пиявок, было невозможно... На этом базаре, по нашим понятиям, было всё. Хозяйки, продающие молоко, спрашивали покупателей, будут они брать его «с холодилой», то есть с лягушкой или так. «Так» часто означало, что домой принесёшь простоквашу. По базару бегали мальчишки с водой, рекламируя свой товар кричалкой:

*Ну, кому воды холодной,
Есть холодная вода.
Рупь для пуза — не беда!*

Вода в Артёмовске плохая, известковая. Где брали мальчишки другую, не знаю. Мы же носили на базар надоевшую кукурузную крупу, которую с подсобного хозяйства экспедиции выдавали всем работникам. Её продавали или меняли на какую-нибудь другую крупу, чаще перловку или ржаную муку.

После демобилизации к нам приехал с Дальнего Востока мамин брат — Георгий Гахокидзе, Жорик по-домашнему. На барахолке продавались ковры со всякими замками и лебедями. Это был ходовой товар, и наш Жорик тоже решил подзаработать. Мы сняли клеёнку со стола, надавали ему каких-то тряпок, которые он грунтовал по одному ему известному рецепту. Дядю подвели два курса художественного училища, что он прошёл до армии во Владикавказе (тогда Орджоникидзе, если ещё не Дзауджикау). Его картины с дворцами, озёра с лебедями и красавицы с амурами были какие-то не такие красивые. Их плохо брали. Жорик вскоре женился и укатил во Фрунзе...

Но уж никакой голод не смог нас лишить удовольствия смотреть трофейное кино! Нина устроилась контролёршей в клуб. «Багатский вор», «Глория Тоска», «Девушка моей

мечты», «Индийская гробница», «Ромео и Джульетта» — я смотрела эти картины и позже, уже в Иркутске, но в памяти моей они навсегда связаны с Артёмовском. Помню, как я вся вжалась в сиденье, когда из ворот замка со зловещим ритмичным звоном лошадиных копыт надвинулась на меня вся закованная в латы конница семейства Капулетти. Что бы со мною стало (я росла впечатлительной), если бы тут же счастливо не отгородилась от этого ужаса спасительным образом — «У нас есть Сталин!» И я успокоилась.

Сэкономленные на билетах деньги шли на мороженое. Куда теперешнему до того мороженого! Оно так ловко (мы следили, чтоб с горкой, да чтоб вафли были целыми!) вылетало из квадратной или круглой железной формочки, а потому с квадратными или, что нам особенно нравилось, круглыми вафлями. Львовская Неля фыркала: «Это мороженое? Так вы уж возьмите в рот кусочек сахара и сядьте голой попой на снег...»

В сорок восьмом году, всё ещё голодном, несмотря на отмену хлебных карточек, году, когда постоянно задерживали зарплату и по-прежнему мамалыга из кукурузы была роскошью даже для работающего человека, на папу завели уголовное дело: он, не считаясь ни с какими правилами документации, в 46 — 47 годах посылал к завхозу экспедиции очередного шатающегося от голода просителя с запиской приблизительно такого содержания: «Выдайте подателю сего килограмм кукурузной крупы (или муки, если есть). Бусаргин». Фамилией просителя он, как правило, не интересовался. Опытный завхоз не только записывал фамилию в свою тетрадь, но и у некоторых приходящих брал роспись. Это его спасло, а папе дали три года «за халатность». Жить без папы стало совсем нелегко. Мама, оставив нам килограмма два крупы и липкий комок карамели, уезжала на всю неделю в село Пшеничное, где шли основные работы. Вскоре маме пришлось сдать внаём нашу хату, взять Юру с собой, а меня отправить к бабушке и тётке Зине. Я приехала в Иркутск самостоятельно, ведь мне шёл уже четырнадцатый год. Вот так и закончилась моя украинская одиссея. А остальные — папа, мама и Юра — приехали в Иркутск года через два...

Вот, вспомнила детство своё, тех, кого сейчас со мною нет, и оказалось — «вы снова здесь, изменчивые тени...»

Иркутск, 2015 г.



СЕРГЕЙ ЭПОВ



Запоздалое

М. Цветаевой

Тоска по Родине — давно
Разоблачившийся Огинский.
Как чёрно-белое кино
Сомнамбулической агиткой.

Так от Шопена загрузить,
Отреагировав на траур,
Чтоб после грусть свою носить,
Как носит свои перья страус.

Всяк Дом кино и всяк театр
Не завлекут и не развеют,
И даже русский император
Сказать уже мне не посмеют:
«Сегодня я разговаривал с умнейшим человеком России».

ЭПОВ Сергей Рудольфович, поэт, критик (род. в 1960 г. в г. Иркутске). Автор книг стихов: *Посторонний* (Иркутск, 1999); *Минуты сон* (Иркутск, 2003); *Алфавит-13* (Иркутск, 2012), а также критических статей в периодике. Член Союза писателей России.

* * *

Чёрная дыра моего сердца.
Пылинка камнем падает с потолка.
Колышется звук на тысячной доле герца.
Адам-Ньютон. И яблоко-падалка.

Почти insult. Пульт в руку. Экран, как мина.
Протуберанец выстрелил и погас.
Какой войны ещё и какого мира...
Мой друг опять заряжает в меня фугас.

Мой ад — мой сад чёрно-белый зимний.
Как будто у рая может быть негатив.
Переворот дозрел. К концу осени взяли Зимний.
Но шансов нет. Да и не было никаких.

Я сам у себя, как склеенный «в лотос» лотос.
Индийские йоги — оптимистичный ад.
Я вижу дерево в воздухе — это логос.
Хрустальная гамма. Музы висячий сад.

Лаэрт

Чистилище — химиотерапия.
Танталовы муки и Дантов ад.
Вполне лечебная тирания.
Татуировка «НЕ КАНТОВАТЬ» —
Несессеры на корабле... Офелия,
Прощай. А с Гамлетом — завяжи.
Вся жизнь порой не больше мгновения.
Твоя могила. И мы в ней с Гамлетом — миражи.

* * *

Это изнанка обиды, возможно, месть.
Но ничего не добавить к тому, что есть.

Как у парадных дверей позабытый код.
А на окошке большой безымянный кот.

Самодостаточность — гибель, порочный круг.
Лучше сердечный враг, чем смертельный друг.

Ну, хоть бы кто-то не мог без тебя прожить.
Пусть пять минут. И достаточно. Чтоб спешить.

Самоубийство — грех. Но пусть будет. Как вариант.
Не выдаваемый на руки фолиант.

* * *

Слышно, как свечи горят.
Стук башмаков, стук фарфора.
Вкрадчивый шум разговора.
Это о нас говорят.

Свет, приглушённый на треть.
Пишет Вермеер портрет.

* * *

Дельфинарий лучше, чем лепрозорий.
Этот сценарий — не золото по лазури.
Лимб — это странный профилактикий,
Невдалеке от адовой амбразуры.

Так где же всё-таки был почтальон Данте,
Который, как всем известно, приходит дважды,
Гуляя по тлеющей этой дамбе,
Сгорая от жалости и от жажды?

* * *

Не от заката к рассвету — от дома к дому —
Двигается, крадучись, ночь, зажигая окна.
Капернауму ужаснее, чем Содому.
Так повествуют пергаменты и полотна.

Кто-то сидит у костра, только в дом не входит.
Кто-то молчание слушает, содрогаясь.
Каждый своё, оставаясь собой, находит,
В книге у Бога бессмертного отражаясь.

* * *

Человека нельзя оставлять одного,
Как кошку, —
Он начинается с ума сходить и бояться.
Его как магнитом притягивает к окошку,
Чтоб хоть чему-нибудь удивляться.

Он книги читать иногда умеет,
Когда душа этого запросит.

Он сам не помнит, что он имеет,
Пока его кто-нибудь не спросит.

Он сам не знает, кого он любит
И что такое любовь как способ
Существовать.

Он себя погубит.
Ведь он редчайшая в мире особь.

* * *

Позор и красота — почти одно и то же.
Ведь подиум — всё тот же эшафот.
И выхватит экран жемчужный пот на коже.
Наоми Кэмпбелл, где твой эфиоп? —

Пусть русский олигарх, танцующий ли мачо —
Бессмертный Хоакин, недремлющий Кортес...
Где старый Дон Кихот, идальго из Ламанча,
Чтоб выйти против вас с копьём наперевес?

* * *

Зачем ходить за смертью, ведь она
Приходит лишь тогда, когда захочет.
Ведь ей известны наши имена —
До дефисов, апострофов и точек.

Зачем платить харонам, палачам —
Лишь бы не больно, быстро и по адресу.

Зачем не спать и думать по ночам...
Поплачь, мой друг, а ты, мой враг, порадуйся.

Зачем искать три пальмы, три сосны,
Паромом перетягивать два берега...
И это там, где каждый видит сны
И отличает дерево от дерева.

* * *

Тридцать один день августа день за днём
Обозначили жёлтым пунктиром осень.
Ещё вчера вечером было светло как днём,
А нынче темнеть уже начинается в восемь.

И далее — за увяданья роскошью —
Платиновый минимализм зимы.
Просто займи и выпей... к чему все рассказы...
Кстати, и денег нет... Ну, так займи.

* * *

Виолончель изогнутое небо
Прорезанная молниями дека
Под слоем лака ласковая нега
Коричневое время человека

Как дерево для Евы гриф изогнут
И звук уже утяжеляет воздух
Смычок скользит и душу умыкает
И яд в неё неслышно проникает

* * *

Молчание — беззвучие людей.
А тишина — невинность снега, сказка.
Болтун — уж тем одним прелюбодей.
Опасность и сигнальная окраска.

Отсутствие не есть небытие.
Душа — лишь звук, как функция у флейты.
Не рот и не бутылка — питье.
Как сон без снов, где мучаются фрейды.

А тишина звучит, как тишина.
Она округла бархатом футляра.
Она в самой себе завершена,
Как веточка живая капилляра.

Молчать — начать когда-то говорить,
Гореть, сгорая, задыхаясь, с треском.
Чтоб тишину тем самым сохранить —
Как снег в тени на выступе отвесном.

* * *

Глаз — это очень много.
Уно глас — и ты видишь всё —
Как по морю плывёт минога,
У Феррари крутится колесо.

Уно глас — и ты слышишь дальний
Столик... испанскую речь... Гауди...
И ощущаешь себя их смешным идальгой.
Вот и счёт принесли. Расплатись. Иди.

* * *

Теперь куда? — От пласа Каталунья
На Невский... мимо площади Пигаль...
Наверное, сегодня полнолуние —
С ума схожу... Гиллем — не этуаль,

А нечто большее... реальная богиня...
Реальная мечта... И вот опять

Кассета... диск... магнитофон... бобина...
Божественная одинокость. Вспять

Бегут мгновенья... чистота движений
И непрерывность линии... Куда
Теперь?... мой одинокий гений...
До холодильника, где спрятана еда.

* * *

Мэдхен — бабочка — Манхэттен —	Полстраны — контрабандисты.
Симметричный взмах парчи.	Не тревожь её покой.
Белла выкрапа Ахметом.	Нам нужны контрабасисты,
Там торгуют всем. Молчи.	Чтобы джаз играть любой.
Русский — это дважды русский.	Удивит Радиоэхдом
Как Максим Максимыч — друг.	Барселонский гитарист...
Путь извилистый и узкий —	Мэдхен — бабочка — Манхэттен...
Оступился — и каюк.	Виноград и кипарис.

Пина

1

Я буду говорить только в присутствии адвоката,
Ликёра «Вайт Моцарт» и авокадо,
При включенном свете и Интернете,
И всех товарищей из интерната,
Имеющих бизнес во Вторчермете,
Не обходящихся без интер-мата,
В присутствии гракхов и олигархов,
Того, кто на всех нас давно нахаркав,
Воров в законе, коней в загоне,
Всех хиппи с травкою на газоне,
Партера в бархате и велюре
При дирижёрской шевелюре,
В присутствии судей и прокурора,
В присутствии залпа с крейсер-Аврора.

2

Это уже начинает напоминать «Ночного портъе» —
Вылазки поздно вечером в магазины —
Исключительно за жратвой, в часах «Кортъе»,
Что-нибудь живанши... раздвигая стулья от Пины

Бауш...доев конфитюр и хлеб,
И в смертельной лени сварить картофель...
Этот мир роскошный похож на хлев...
В ожидании смерти ли... катастрофы ль...

3

Кафе «Мюллер», кабак «Петров».
Ночной портъе и девочка Филиппина.
Нейтрон нейтральных норвежских портов,
Нейтрон нейтральных швейцарских часов,
Нейрон нейтральных полит-мозгов,
Обложка диска горящего Цеппелина...

Взгляд на уровне стульев, столов и ног —
Стулья сами двигаются, и ноги
Сами ходят... а это же залог
Приключения... о мой Бог...
Голоса над ними... а это — их боги.

«Ещё бокал, ещё сигарета — лишь не домой...»
Плюс слабый кофе, плюс слабый кофе, плюс слабый кофе...
Ужасно горько, ужасно глупо сидеть одной.
Как будто присутствовать при собственной катастрофе.

4

Смерть — это тоже театр. Театр ухода.
Хочешь не хочешь, но это всегда ритуал.
Финиш, крещендо, финал, музыкальная кода.
Будь ты француз или немец, цыган, лаутар.

Это прощание, это хрустальная память,
Вымыслов чутких и пряных реликтовый лес,
Скатерть тяжёлая и невесомая паперть,
Хрупкая красная глина кирпичиков лет.

* * *

Прошедший август в памяти мелькнул,	Должно быть так — морошка на столе
Как птица, пролетевшая сквозь рошу.	И Даль, пусть и не сам, но в виде книги.
Он превратился в знак и заглянул	Апостроф — словно ворон на стволе.
Мне в душу, чтоб расчислить её проще.	И пуля в животе — конец интриги.

* * *

У разных людей — в разных местах болит.
«Ай лав ю» говорит тебе Айболит...

Ты пока ещё просто белая боль.
Но поймёшь очень скоро, что такое любовь.
Будешь фреской моей. Для тебя я Андрей Рублёв.

Я не стану пугать тебя Страшным Судом.
Ты увидишь трёх ангелов за столом.

Если ты до конца одолел свой путь,
Значит, я в тебе уже — в этом суть.

Ты питался мной, ты делился мной.
И теперь ты сидишь рядом со мной.

Ты моим был замыслом о тебе.
Наконец, ты стал подобен себе.

* * *

Жили-были барон Мюнхгаузен, жена его Якобина да ихний сынок Ярмольник.
И никто не верил барону, а он был и впрямь невольник
Чести, в прошлое верил свято —
Самому Гиппократу он клятву давал Гиппократ;
Кто не видел садов висячих Семирамиды? —
Сколь ужасней оленю терпеть обиды,
У Мичурина тоже росли гибриды,
Но Земля не меняет своей орбиты;
Луноход на Луне — костыли слепому —
На ядре — честнее — понятно любому.
Потому и не любит народ барона.
Потому и барона нет у народа.

* * *

Вошёл — и — HELP ME в потолок.	Бороздка — сварка — шов — игла...
Винил простуженно скрипит.	И уха зрячий окуляр.
Горизонтальный тяжкий рок	
Плитой надписанной лежит.	Мой бедный Йорик, углерод —
	Здесь были губы и глаза...
Съём звука — тонкая игла —	Ты мой спрессованный народ...
Магичный перпендикуляр.	Тростник... звучащая лоза...

* * *

Появились окна. Утро.	С вечера собравшей ранец,
Сизым клином раструб света.	С на губах улыбкой кроткой,
Белый иней, словно пудра,	Тишину шагами ранит.
На асфальте серебрится.	
Сумрак уползает слепо.	Атмосфера революций.
Кто-то спит, а кто-то снится.	И репрессий с недосыпу.
	Нервных скомканных прелюдий
Наст драконовою шкурой —	С пупырышками на коже.
Платина с алмазной крошкой.	И молитв Отцу и Сыну.
Утро школьницей сутулой,	И Святому Духу тоже.

Политика — искусство реального

И король сказал: «Да ладно вам...»	Нейтрализовали с ликом ангела
И война нам больше не желанна...»	Деву Орлеанскую в законе.
«Ваши пальцы пахнут ладаном!» —	
Из костра уже кричала Жанна.	Как жилось вам с этим ретранслятором,
	С неменяемым визионером?..
Сторговались Франция и Англия —	Ваша вера стала ретро-шлягером,
Им терпеть волонтаризм доколе?	С идиотский хит-парад размером.

* * *

Жозеф, ведь я где-нибудь еду —
Мария, Мария, Мария, Мария, Мария
Твоя.
На завтрак не ждите. К обеду.
Вы думаете, это бредит балерина? А у тебя на балет аллергия...
Творя,

Ты паришь, как Барышников — Шагал — Шемякин,
Сердце — Высоцкий — Венеция — Париж.
Зимний пейзаж был графично-щемящим.
Напрасно Джульетту сосватал Парис.

Гондола плывёт, как шляпа на голове заказчика реквиема.
Моцарт в ужасе прячется за бильярд.
Жизнь — трансформер — чудна и коверкаема...
Опять наша курица снесла бриллиант.

* * *

Вариться в своём собственном вине, Давным-давно перебродившем в уксус. И чувствовать себя, как на войне — Набором идиом на устном русском.	Вариться в своей собственной вине, Давным-давно перебродившей в скепсис. И чувствовать себя, как на войне, Своею кровью с униформой спекшись.
---	--

* * *

Оставлять эту жизнь жалко, как комнату в общежитии,
Переселяясь в новый просторный дом,
Что заслужил. Жизнь продолжится по прибытии.
Рай всемером или всё-таки ад вдвоём...

А червячок сомнения станет реальным чудищем —
Землепроходцем, призраком, жертвой дурной родни.
И не грамматика — сам своим станешь будущим —
Взгляд — сразу зеркало, сразу зрачки-огни.

* * *

Я жду, когда ко мне вернётся речь, Как дождь на засыхающую почву. Чтоб чувствовать, как влага будет течь Сквозь трещины... чтобы забыть, как почву	Никчемную зачем-то проверять, Приоткрывая чёрную ракушку. Себя себе тихонько возвращать, Сверясь, как по детскому рисунку.
---	---

* * *

При чём тут экибана, зло, Бодлер, Товарищи, вернувшиеся с фронта, Солдаты, посещавшие бордель, Влюблённая в еврея фараонша?..	Вся жизнь — война, Хайдеггер Мартин прав — Начавшись, это кончиться не может. Собравшему букет альпийских трав И эдельвейс забыться не поможет.
--	--

СОН – SOS

Такое веселье, что просто чума.
Так странно, двусмысленно смотрит луна,
Что души почти отделились от тел,
Как будто уже Судный День между тем.

Все празднуют завтра победу —
Война завершится к обеду.
Прожекторы рыщут по небу —
По небу полночи.
Небу.

* * *

...А снег скрипит — словно режут зелёный лук.
Весна, на мой взгляд. — бюро недобрых услуг.

Весна — это дёсны, цинга, авитаминоз.
Не жизнь, короче. Какой ещё там прогноз...

И ключ от квартиры — скрипучий скрипичный ключ.
Мой нотный стан скособолен. Зато певуч.

* * *

Письменная речь — уже перевод.
Любой язык — иностранный. И мы — народ,

С воспалением мозга определённым,
Островком, своей водой отделённым.

Мы — рецепторы, реципиенты —
Друг другу выписываем рецепты.

Но лечить других пациентов своим лекарством —
Это хвастаться перед индейцами американством.

* * *

Так курят хирурги, натурщицы, актёры и балерины...
В гриме, костюме, держа сигарету в перчатке, пинцете, чужой руке...
МАТИА BAZAR всплывает сопрано из Палестины...
Наши цыгане плотами сплавляются по реке...

И... не смывая грима, уснуть в гримёрке.
Будем ждать Моцарта — пьяного из кабачка.
Сам император на реквиеме — в галёрке.
Все преференции у гениального дурачка.

* * *

Какое сборище сомнамбул —	Не монолог — полёт инъекций.
Сомнамбулат.	Янтарь в сосне.
А звук... как взбалтыванье ампул.	А дальше — тысячи проекций.
Шприц. Гамлет. Взгляд.	Как сон во сне.

* * *

Есть люди, которые могут спать на спине.
Есть люди, которые могут летать во сне.
А я летаю, как сплю — животом вниз —
Как птицы летают. И это не мой каприз.
(Смотрю снаружи, как голубь исследует мой карниз.)

Крылья не сложишь в рюкзак, словно парашют.
Это на рай пародия — гладенький рай.
Щёлкает шёлк, как выстрелы — shoot да shoot.
Это паденье всего лишь. Опять же вниз.

Мускулы крыльев — любимая боль в спине —
Ты поднимаешь себя усилием изнутри.
Можно закрыть глаза — даже в вышине.
Можно открыть. Сам себе говоришь: «Смотри».

* * *

В жизни надо быть готовым и к жизни, и к смерти.
Потому что в смерти уже — ты пришёл.
Это здесь — децибелы и дециметры.
Там же — теодицея... не ты нашёл,

А ты найден: попал к себе же —
От чего так упорно бежал в тупик.
А молитвы и песни — одни и те же.
Предупреждали Битлы, что нельзя купить...

* * *

Пока не призовет поэта	Дела же — от врагов. Печально,
К священной жертве Аполлон,	Что в смерть мы входим, как в музей.
Не дозовёшься с того света,	
Хоть секундантов полон дом.	Дуэль всегда договорная.
	И у неё — две стороны.
Студент, который Кюхельбекер,	Не жди к обеду, дорогая,
Который в сумме Студебекер,	Из невозвратной стороны.
Хранил меня как талисман	
И вечно прятал свой наган,	«Мадам Клико» исходит пеной —
	Огнетушитель по ноль-семь.
Чтоб не убить меня случайно —	Пусть будет рукопись нетленной.
Угрозы — только от друзей,	И пусть сгорит она совсем.

* * *

Что такое личная жизнь?	Одиночество до гроба — одно.
Что такое личная смерть?	А за гробом — совершенное дно.
Это кошелек у тебя.	Сколько лиц, сансар — колеса
А потом уже для тебя.	У всего лишь одного не-лица.
Раздавать, дарить — кто привык —	А свобода — это гелий, когда
Как одна из привычек живых.	Покидает он накачанный шар.
А у мёртвых — всё к одному.	А свобода — это попросту «да».
Кто отныне главный в доме?	Это пламя. То есть дух его — жар.

* * *

Делиться надо всем — и водкой, и грейпфрутом,
И горький шоколад от сердца оторвать,
И баночку икры... когда назвался другом.
Иначе вас никак не будут называть:

Ни другом, ни врагом, ни гостевым бойфрендом,
Бухгалтерский учёт для дружбы ни к чему.
Нью-Йорк, Нью-Йорк, кто стал тебе Синатрой Фрэнком?
А кто и может стать — то надо ли ему?

* * *

Научимся маленькой делать зиму, а лето — большим.
Пора взрослеть, становиться ребёнком большим.
И джина надо обратно загнать в кувшин,
Чтоб Таиланд в январе не мерять на свой аршин —
Пляжный, в песок зарываясь по-самое-не-хочу.
Лучше я здесь заболею и не пойду к врачу.
Найду проблему, ведь я без них не могу.
Позавтракаю с тобой, а ужин отдам врагу.

* * *

От «все спасутся» до «обрящу ли кого?»	Наш кодекс от «не знаем ничего»
И от «толцыте» до «оставь надежду».	До «ничего, конечно же, не знаем».
Упало яблоко, разлилось молоко,	Для нас, ленивых, совесть — это яд,
Адаму с Евой выдали одежду.	Вздувающий пергаментные вены.
Змей жалит нас в пяту, а мы его	«От древа отойди, отдай мне яб...
Главу пятою этой сокрушаем.	локо... прямой потомок Евы».

* * *

Что перейдёт из этой жизни в ту? —
Сама душа — вся целиком — живая —
Туда, где ждут и любят красоту...
А здесь она томится, ожидая.

Не падишах-шахидский талисман,
Не кукла, начинённая тротилом.
И встретит там не серый полисмен
За переходом перед тротуаром.

Дела не умещаются в багаж.
Вердикт суда — сплошной татуировкой.
И в вечность перейдёшь с тем, чем богат.
Рабом ли божьим, божьей ли коровкой?

Hamlet — нам

Смириться под ударами судьбы,
Иль мясо проколоть своё кинжалом...
А может, панорамою гульбы
Так вдохновиться, что большим пожаром

Окончить... сделать гриль из короля —
Пусть капает расплавленное золото,

Чтоб окропить им датские поля
И чуть подальше — ледяное плато,

Офелию опять свести с ума,
Залезти в кузов и груздём назваться...
Такое предложить ей, чтоб она...
Короче, не смогла бы отказаться.

* * *

Рабы не мы но мама мыла раму
А мы тихонько промывали рану
А мы хотели больше боли скрасть
Раба любви хамдамовская страсть

Берётся краски смешивать дальтоник
Не надо импортировать наркотик

В Китае вас за это бы казнили
Казнили бы и в странах Суахили

Но я симпатизирую индейцам
Что курят листья из огромной трубки
Ведь это мы обкуренные трутни
Природу не обманешь лицедейством



ИВАН КОЛОКОЛЬНИКОВ

Иркутск. Война. Музыка

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ИРКУТСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война стала временем тягостных испытаний для всей нашей страны. И в это невероятно трудное время большую роль играло искусство, которое придавало людям бодрости и силы духа: и тем, кто находился в действующей армии, и тем, кто самоотверженно трудился в тылу. Что же касается сибирских городов, то во многих из них в этот труднейший период отечественной истории культурная жизнь не только не утихала, но, напротив, была ключом. Причиной стало то, что из центральных и западных районов Советского Союза в глубокий тыл были эвакуированы различные деятели литературы, театрального и музыкального искусства, художники...

Что касается Иркутска, то хорошо известно, что город является одним из старейших культурных центров Сибири. В частности, музыкальные и театральные традиции стали формироваться в городе ещё в последней четверти XVIII века. Поэтому культурная жизнь Иркутска в период Великой Отечественной войны отличалась интереснейшим явлением синтеза местных культурных традиций с теми идеями, которые пытались реализовать в нашем городе приезжие деятели литературы и искусства. Невольно возникшее межрегиональное сотрудничество дало ценнейшие результаты.

История музыкальной жизни Иркутска пока изучена лишь фрагментарно. В частности, не существует полноценного анализа событий, происходивших в данной сфере в военные годы. Хотя отдельные эпизоды музыкальной жизни города в 1941–1945 годах освещены в работах И. Харкеевич и Д. Скоробегова, но большая часть значимых событий этих лет ещё не описана. Эта статья, которая является результатом работы автора с материалами государственных и частных архивов, призвана восполнить столь ощутимый пробел.

Начало войны было для иркутян таким же обескураживающим, как и для всех жителей страны. Очень важно, что в эти дни деятели искусства без каких-либо приказов сверху стали осознавать, какую важную роль играет их работа. Ведь немудрёная песня или театральная сценка может поднять настроение, позволить на время отвлечься от тяжёлой действительности, чтобы затем ощутить приток свежих сил, которые были так необходимы в эти дни всем нашим соотечественникам... И поэтому с самых первых дней войны работники иркутских театров, а также участники исполнительских коллективов Иркутского радиокомитета стали регулярно давать концерты в воинских частях, на мобилизационных пунктах и на вокзале, откуда уходили на фронт эшелоны с пополнением. А потом в город прибыли первые раненные. И начались регулярные концерты в госпиталях.

КОЛОКОЛЬНИКОВ Иван Арсеньевич, журналист, аспирант исторического факультета ИГУ. Родился в Иркутске. Сотрудничает с «Восточно-Сибирской правдой». Преподаватель кафедры журналистики и медиаменеджмента ИГУ. В планах подготовка книги очерков о музыкальной культуре Иркутска 1930–1960 гг.

Иркутский радиокомитет стал в довоенные годы своеобразным центром музыкальной жизни региона. Здесь существовали сильные коллективы профессионального статуса: симфонический оркестр, камерный хор, оркестр народных инструментов, группа певцов-солистов и концертмейстеров. Музыкальные коллективы радио и их отдельные участники были частыми исполнителями концертов, проходивших на различных сценах города. С началом Великой Отечественной войны сбор от многих их выступлений стал передаваться в Фонд обороны или Фонд помощи детям фронтовиков. А в сентябре 1941 года силами хора, симфонического оркестра и солистов радио была поставлена опера «Родина зовёт», написанная за несколько лет до войны советскими композиторами Генрихом Бруком и Дмитрием Васильевым-Буглаем. Эта опера со стандартным для предвоенного периода сюжетом, повествовавшим о готовности советского человека служить своей стране, безусловно, имела в дни войны какое-то новое звучание. Весь сбор от этого спектакля и концерта, дававшегося после его окончания, поступил в Фонд обороны.



Вениамин Пронин

Из числа вокалистов, занятых в спектакле «Родина зовёт», выделялся Александр Авдеев, исполнявший там роль Никанорыча. Певец прибыл в радиокомитет в конце 1940 года по творческой командировке сроком в один год. Согласно отзывам современников, этот исполнитель обладал красивейшим басом и незаурядными артистическими способностями. Ко времени приезда в наш город Авдеев имел богатейший певческий опыт. По истечении срока командировки талантливый вокалист принял решение остаться в

радиокомитете на постоянную работу. Вполне возможно, что причиной для принятия этого решения была начавшаяся война. Певец стал частым участником различных иркутских концертов. Наряду с ним в них выступали несколько ярких вокалистов, работавших в этот период в радиокомитете. Это Лидия Мясникова, Ревекка Посвольская, а также эвакуированные из Ленинграда и Киева певицы Вера Чекулаева и Марфа Снага-Паторжинская. Кроме того успешно выступал скрипач Лев Рештейн, начавший работать на радио ещё до войны. А в конце 1941 года к нему присоединился ещё один одарённый скрипач — Вениамин Пронин. Он был эвакуирован из Одессы, где незадолго до войны окончил консерваторию по классу легендарного Петра Столярского, воспитавшего немало славных учеников, в том числе Давида Ойстраха. И Рештейн, и Пронин играли в симфоническом оркестре радиокомитета, но часто выступали и как солисты.

В течение всего периода войны сотрудники радиокомитета готовили огромное количество эфирных концертов и выступлений на открытых площадках. Заметную роль в развитии иркутского музыкального вещания данного периода сыграл эвакуированный профессор Одесской консерватории Александр Абрамович, который в годы войны был ответственным музыкальным редактором радио. Некоторое время он выполнял обязанности художественного руководителя творческих коллективов радио. Стоит сказать, что в 1941–1942 годах численность симфонического оркестра и хора радио серьёзно сократилась, поскольку многие оркестранты и хористы ушли в действующую армию. Оркестр народных инструментов был временно распущен. Однако музыканты эвакуированных театров, а также участники театральных оркестров Иркутска оказали большую помощь радиокомитету, выступая в составе его симфонического оркестра. Вот почему в репертуаре коллектива продолжали оставаться произведения крупных форм, к исполнению которых оркестр всегда относился с большой ответственностью.

Деятельность радиокомитета, несмотря ни на какие сложности, продолжала оставаться многообразной и яркой. Но наиболее значимым событием в культурной жизни города

военных лет стал приезд эвакуированных оперных театров из Харькова и Киева. В их составе в город эвакуировались лучшие вокалисты и дирижеры Украинской ССР. Вначале, летом 1942 года, в Иркутск приехал Харьковский театр оперы и балета, где в то время блистали певцы Михаил Роменский, Анастасия Левицкая, Петр Белинник и молодой дирижер Вениамин Тольба, впоследствии получивший большую известность. Вслед за тем, уже осенью, в Иркутск прибыл в полном составе и Киевский театр оперы и балета им. Т.Г. Шевченко, который первоначально находился в Уфе. Однако власти этого города не решили должным образом проблемы с размещением сотрудников театра. Зато Иркутск пообещал поселить их в гостинице «Центральная». Киевлянам условия понравились. И вот постепенно весь театр перебрался в наш город. Здесь в его состав влился Харьковский театр.



Константин Лаптев

В составе труппы Киевского театра в Иркутск приехали ярчайшие оперные певцы: Иван Паторжинский, Мария Литвиненко-Вольгемут, Зоя Гайдай, Андрей Иванов, Константин Лаптев, Ирина Масленникова, Александра Ропская, Мария Бем и многие другие. Также в этом театре работали высококлассные режиссеры Николай Смолич и Владимир Манзий, дирижер и композитор Владимир Йориш, ряд одарённых артистов балета... Тем, кто знаком с советским музыкальным искусством, должно быть известно, что Смолич, Иванов и Масленникова впоследствии успешно работали в Большом театре СССР. Правда, длительность их пребывания в главном оперном театре страны была различной. Что же касается Лаптева, то этот самобытный исполнитель с 1952 года продолжал свою карьеру в качестве солиста Театра оперы и балета им. С.М. Кирова в Ленинграде (такое название носил в те годы Мариинский театр).

Постановки, осуществленные Киевским театром в Иркутске, шли на сцене драматического театра. Первым спектаклем стала своеобразная «визитная карточка» всех украинских оперных коллективов — «Запорожец за Дунаем» С. Гулак-Артемовского. Премьера оперы состоялась 4 декабря 1942 года. В качестве супругов Одарки и Карася перед иркутянами предстали Мария Литвиненко-Вольгемут и Иван Паторжинский, которые по праву считаются непревзойденными исполнителями этих ролей. Уже на следующий день после премьеры «Запорожца за Дунаем», 5 декабря 1942 года, состоялась премьера «Ивана Сусанина» М. Глинки. В дни войны это выдающееся творение отечественного музыкального искусства имело особую значимость, поскольку отражало неподдельный патриотизм русского народа. Главную роль в спектакле исполнил Михаил Роменский, у которого Сусанин был в своём роде коронной партией. О том ярком образе, который он создавал, позволяет судить эпизод киножурнала 1949 года, куда включён небольшой фрагмент сцены встречи Сусанина с поляками («Страх не страшусь, смерти не боюсь») из 3-го действия оперы. На этих кадрах мы видим Роменского, с поразительной правдивостью передающего волю и непоколебимость русского старика. Сохранилась также газетная рецензия, написанная в декабре 1942 года Владимиром Сухиненко, ведущим музыкальным критиком Иркутска. Вот что он писал об «Иване Сусанине» в постановке киевской оперы: *«Звучный голос, превосходные высокие ноты, отличная дикция — вот те качества М.Д. Роменского, которые позволили ему создать замечательный образ. Артист имел большой успех. Наиболее удавшимся персонажем оперы является Ваня в исполнении артистки М.П. Егоровой. Красивый, ровный во всех регистрах (что особенно ценно у меццо-сопрано и контральто) голос, хорошие верхи, безукоризненная дикция являются достоинствами певицы»*. Также в опере «Иван Сусанин» перед иркутянами выступила в роли Антонида молодая певица Ирина Масленникова. Вскоре после этой премьеры она отбыла в Москву, где прошла конкурс в Большой театр и стала затем известнейшей вокалисткой.



Мария Литвиненко-Вольгемут и Иван Паторжинский в ролях Одарки и Карся (опера «Запорожец за Дунаем»)

Лаптев (Фигаро), Михаил Роменский (Дон-Базилио), Мария Бем (Розина), а также дирижер Вениамин Тольба. Владимир Сухиненко расценил данную постановку как «мастерски сделанный спектакль».

Следующей оперной постановкой Киевского театра, осуществленной в апреле 1943 года, стала «Травиата» Д. Верди. Безусловно, некогда опера шла на иркутской сцене. Но, во-первых, с этого момента прошло немало времени. Во-вторых, постановка военного периода запомнилась жителям города на долгие годы. Это объясняется тем, что в обоих исполнительских составах перед иркутянами выступили сильнейшие оперные артисты. В партии Жермона блистали Константин Лаптев и Андрей Иванов. Эффектно исполняли роль Виолетты артистки Зоя Гайдай и Мария Бем. Критикой было особо отмечено вокальное мастерство Бем, которая преодолевала сложнейшие места в первом действии оперы «с завидной точностью и лёгкостью».

Сегодня не так просто найти даже простых свидетелей, помнивших выступления эвакуированных артистов в Иркутске. Тем ценнее воспоминания, которыми поделилась с автором этой статьи Тамара Самуиловна Кузнецова, заслуженный работник культуры РФ, ветеран областной школы искусств: *«Из оперных постановок Киевского театра меня поразил спектакль «Травиата», потому что это было на высоком уровне. И замечательные были певцы. Запомнилась мне Мария Бем, хотя потом я её уже никогда и нигде не слышала. Она была не только певицей замечательной — она была замечательной актрисой. И внешне была очень интересна»*. Зато опера «Чио-Чио-Сан» в постановке Киевского тетра оперы и балета прошла, по воспоминаниям Тамары Самуиловны, без особенного успеха. По её словам, при бесспорных художественных достоинствах спектакля, вызывал досаду тот факт, что опера давалась на украинском языке, т. е. в том виде, в каком была подготовлена для украинских слушателей. Можно понять разочарование музыкальной общественности города, знавшей и любившей данную оперу, неоднократно ставившуюся ранее на иркутской сцене.

Летом 1943 года Киевский оперный театр поставил в Иркутске «Евгения Онегина» П. Чайковского. Эта легендарная опера также много раз шла в городе до этого. Новая

В начале 2013 года, готовя радиопередачу о пребывании Киевского театра в Иркутске, я очень хотел позвонить Ирине Ивановне, чтобы записать воспоминания об её коллегах и, возможно, недолгом пребывании в нашем городе. Московские меломаны сообщали, что она, несмотря на преклонный возраст, находится в ясной памяти, хотя наладить с ней контакт весьма непросто. И всё же я намеревался совершить попытку и даже достал телефон Масленниковой. К сожалению, в феврале 2013 года она скорпостижно скончалась. Ушла последняя артистка, находившаяся в Иркутске в эвакуации. Кстати, лишь немногим ранее ушел из жизни и Вениамин Наумович Пронин, упоминавшийся выше.

В первые месяцы 1943 года Киевским театром были поставлены на иркутской сцене оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини, «Наталка-Полтавка» Н. Лысенко, «Чио-Чио-Сан» Д. Пуччини. Две первые постановки были отмечены в иркутской прессе как яркие явления в культурной жизни города. Особенно эффектно была постановка «Севильского цирюльника», где блестяще показали себя Константин

постановка, как и «Травиата», запомнилась, в первую очередь, благодаря высочайшему исполнительскому уровню артистов и дирижера Владимира Ёриша. Выразительным, по словам Владимира Сухиненко, было и художественное оформление спектакля, осуществленное художником Александром Хвостовым, заслуженным деятелем искусств УССР. В этой постановке успешно выступали Андрей Иванов (Онегин), Зоя Гайдай и Наталья Захарченко (Татьяна), Мария Егорова (Ольга), Иван Паторжинский (Гремин) и другие яркие вокалисты.



Режиссёр Владимир Манзий и певица Александра Ропская

В течение лета и осени 1943 года театр интенсивно работал над оперой «Наймычка» украинского композитора Михаила Вериковского, в основе которой лежит сюжет одноименной поэмы Тараса Шевченко. Важно отметить, что опера была создана незадолго до войны и до Иркутска нигде не ставилась. Поэтому премьера явилась большим событием. Вениамин Тольба вспоминал о том, что первоначально предполагалось поручить дирижирование спектаклем автору оперы. Тем более, что летом 1943 года композитор приезжал в Иркутск и смотрел за ходом работы над своим сочинением. Но осенью Вериковский почему-то не смог приехать, чтобы дирижировать спектаклем. Поэтому дирижером премьерного спектакля, прошедшего 15 ноября 1943 года, стал Тольба. Ставил же оперу ещё один одарённый работник театра — режиссёр Владимир Манзий, создавший за свою жизнь немало интересных спектаклей. В «Наймычке» перед иркутянами

выступили Паторжинский, Литвиненко-Вольгемут, Гайдай и другие яркие певцы театра.

Помимо названных восьми опер иркутяне смогли посетить шесть балетов: Киевский театр подготовил «Коппелию» Л. Делиба, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Шахерезаду» (балет на основе симфонической сюиты Н. Римского-Корсакова), «Бісову ніч» В. Ёриша, «Лилею» К. Данькевича и «Штраусиану». Безусловно, постановка каждого балета была ярким событием в культурной жизни города, но особо важным — постановка балета «Бісова ніч», который был написан Ёришем уже в дни войны и впервые поставлен, как и опера «Наймычка», именно в Иркутске. Главные роли исполняли мастера украинского балета Антонина Васильева, Зинаида Лурье, Александр Соболев и другие. Композитор Юлий Мейтус, находившийся в тесном творческом содружестве с Киевским театром и приезжавший в Иркутск в период пребывания в городе украинских артистов, писал об этой постановке: *«В целом спектакль нужно признать творческой удачей авторов, исполнителей и театра. Создан яркий, весёлый, радостный спектакль, от которого веет свежестью, молодостью, юношеским задором».*

Надо заметить, что приезжие артисты стали активными участниками музыкальной жизни города. Зоя Гайдай, Андрей Иванов, Константин Лаптев, Мария Литвиненко-Вольгемут, Иван Паторжинский, Михаил Роменский, Мария Бем, Кузьма Минаев, Николай Платонов и многие другие регулярно выступали перед иркутянами в камерных концертах. Часто выступали они и в радиоконцертах. Симфоническим оркестром Киевского театра также был дан ряд концертов. При подготовке этих программ с коллективом работали четыре дирижёра: Владимир Ёриш, Вениамин Тольба, Николай Покровский и Яков Розенштейн. Примечательно, что 31 января 1944 года был дан концерт, программу которого составили различные увертюры, и в нём перед иркутской публикой поочередно выступили все четыре дирижёра.

Также Киевский театр организовал в Иркутске несколько музыкальных фестивалей. Из них наиболее масштабным был Фестиваль русской музыки, проходивший в течение

полтора месяцев летом 1943 года. В концертах прозвучали произведения М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Бородина, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, А. Аренского, А. Глазунова, С. Рахманинова и др. В рамках фестиваля давались оперы «Иван Сусанин» и «Евгений Онегин». Кроме того, в этом фестивале участвовало большинство солистов Киевского театра, а в одном из концертов выступала молодая иркутская пианистка Любовь Семенцова. Она исполнила «Фантазию на темы былин Рябинына» Аренского.

При активном участии Киевского оперного театра в иркутских госпиталях стал периодически проводиться День культобслуживания раненого бойца. Помимо украинских артистов перед ранеными выступали солисты радиокомитета (Лидия Мясникова, Александр Авдеев и другие), а также артисты Театра музыкальной комедии. Надо заметить, что и другие города страны поддерживали инициативу проведения Дня культобслуживания раненого бойца и вслед за Иркутском стали организовывать дни, когда различные артисты отправлялись для выступлений в госпитали.

Между украинскими артистами и иркутянами установились очень тёплые отношения. В мае 1944 года оперным театрам Киева и Харькова предстояло возвратиться на Украину и вновь стать двумя самостоятельными организациями. Иркутяне пришли проводить полюбившихся артистов на вокзал. Прощание было трогательным. Все думали, что братская дружба между Сибирью и далёкой от неё Украиной будет жить вечно. Уезжая из Иркутска, народный артист УССР Владимир Манзий писал на страницах «Восточно-Сибирской правды»: *«С чувством глубокой благодарности покидаем мы столь далёкий от Украины и столь близкий нашему сердцу Иркутск. Мне думается, что эта дружба должна расти и в дальнейшем. Высококультурный Иркутск должен иметь оперный театр. Если от нас потребуется помощь, мы рады будем её оказать»*. Очень жаль, что до сих пор в городе нет оперного театра, поэтому ещё дороже иркутянам старшего поколения воспоминания о тех постановках, которые они видели в период пребывания в городе театров из Харькова и Киева.

С первых дней войны активно работали над созданием новых произведений «оборонной тематики» (главным образом, песен) иркутские композиторы Генрих Ланэ, Юрий Матвеев и Эммануил Хинкис. Также в город были эвакуированы композиторы Леонид Гуров (Одесса) и Семён Заславский (Ростов-на-Дону). Последний приобрёл потом большую известность как автор оперетты «Искатели сокровищ» и ряда популярных песен. В составе Киевского театра оперы и балета в город прибыли Владимир Йориш и Борис Чистяков, также пробовавшие себя в качестве композиторов.

Итак, в городе находилось большое количество композиторов. Поэтому возникла благоприятная ситуация для создания Иркутского отделения Союза советских композиторов. Оно было образовано весной 1943 года. При оргбюро композиторской организации было сформировано пять секций: творческая, пропаганды и популяризации, музыковедческая, военно-шефская, материально-бытовая. Первоначально в состав иркутской композиторской организации вошли композиторы, находившиеся в городе в эвакуации: Владимир Йориш, Борис Чистяков, Семён Заславский, Леонид Гуров. Наряду с ними членами организации стали иркутские авторы: Генрих Ланэ, Юрий Матвеев, Эммануил Хинкис, Даниил Розенцвейг. Также в состав отделения вошли как специалисты в области музыкального искусства певец Иван Паторжинский, музыковеды Александр Абрамович и Владимир Сухиненко, дирижер Яков Розенштейн. Руководителем Иркутского отделения Союза советских композиторов стал Владимир Йориш.

В первый год своего существования композиторская организация работала достаточно активно. По радио и на открытых площадках был дан ряд концертов, в которых прозвучали произведения, созданные её членами. Одним из самых насыщенных по своей программе стал открытый концерт, состоявшийся в Театре юного зрителя 28 марта 1944 года. В нём прозвучали произведения Ланэ, Йориша, Заславского, Гурова и Матвеева. Особое внимание на этом вечере было уделено произведениям Генриха Эмильевича Ланэ, одарённого иркутского композитора, создавшего немало ярких симфонических и камерных со-

чинений. Именно в годы войны им были написаны две сонаты для скрипки и фортепиано (d-moll и e-moll), впоследствии высоко оценённые известным композитором Генрихом Литинским. В названном концерте они были исполнены Вениамином Прониным и Владимиром Сухиненко. Последний, окончивший консерваторию как пианист, время от времени выступал в таком качестве перед иркутской публикой, хотя куда больше был известен жителям города как музыковед. Кроме сонат на упомянутом вечере прозвучали скрипичные фантазии Ланэ, которые сыграл Исаак Кривицкий, концертмейстер симфонического оркестра Киевского театра.

После отъезда эвакуированных композиторов к местам постоянного проживания численность Иркутского отделения Союза советских композиторов сильно сократилась. Наиболее активно продолжали работать три иркутских автора: Генрих Ланэ, Юрий Матвеев и Эммануил Хинкис.

В конце 1943 года в стране проходил республиканский конкурс концертных исполнителей. Первый тур проводился в областных и краевых центрах, второй и третий — в Свердловске. В Иркутске претендентов на участие во втором туре прослушивало жюри, включавшее Марию Литвиненко-Вольгемут, Ивана Паторжинского, Владимира Сухиненко, Владимира Йориша и режиссера Иркутского драмтеатра Георгия Боганова. Председателем был директор Иркутской филармонии Олейников. В Свердловск были посланы Пётр Белинник, Вера Чекулаева, Лев Рештейн, Вениамин Пронин и Виктория Бронштейн, о которых в данной статье уже сообщалось. А вот балалаечник Леонид Каменский не был допущен к участию во втором туре, хотя обладал великолепной техникой игры на своём инструменте и в Иркутске считался виртуозом. Авторитетное жюри постановило: «отказать ввиду недостаточной музыкальной зрелости и малоценного репертуара». Однако в протоколе первого этапа конкурса, найденном автором этой статьи, перечислены те вещи, которые Каменский играл перед комиссией. Им были сыграны следующие произведения: «Мазурка № 3» и «Вальс-каприз» В. Андреева, «Красный сарафан» А. Варламова и «Уральская плясовая» в обработке Б. Трояновского. Таким образом, авторитетные деятели искусства, заявившие о малой ценности подобного репертуара, в своей оценке проявили полнейшее неуважение к ярчайшим образцам музыки русского народного стиля. Относительно поехавших на второй тур стоит заметить, что Пронин и Чекулаева выступили достаточно ярко.

Немаловажно то, что именно военные годы стали периодом становления Иркутского театра музыкальной комедии. Он был образован весной 1941 года на базе опереточной труппы, приехавшей из Горького в 1940 году. Театровед Наталья Флорова-Лещева называет стационарирование театра в Иркутске беспрецедентным событием. Однако это не так. Такие случаи были в различных городах. Дело в том, что для довоенного времени перемещение трупп из города в город было весьма характерным явлением. Чтобы «привязать» труппу к какому-либо городу, нужен был приказ из Москвы о создании в этом городе полноценного театра того профиля, который имела труппа. Рассмотрим то, что было в нашем городе. Существовало здание городского театра, но до 1934 года в нём работали разные труппы. То была опера, то драма, то оперетта. Но на афишах нередко присваивали театру профиль той труппы, которая работает в нём в текущий момент. Например, в 1931–1934 годах в Иркутске работала Сибгосопера. На афишах и в газетных анонсах писали «Иркутский государственный оперный театр». Между тем официально такого формирования не создавали. Стационарирования Сибгосоперы в Иркутске в итоге добиться не удалось, поскольку на неё претендовал Новосибирск. Потом, уже во второй половине тридцатых, в Иркутске работала хорошая опереточная труппа, однако полноценного театра на её базе не создали, поэтому артисты после очередного сезона просто-напросто разъехались по стране.

Теперь же разберём случай с труппой из Горького. Понятно, что жители этого города называли её Горьковским театром музыкальной комедии. Это было весьма типичным явлением, как мы видим на примере «Иркутского оперного театра». Но вот условий для создания полноценного театра горьковчане не обеспечили. Иркутск же был более успешен

и смог добиться права сформировать полноценный театр. Он разместился в историческом здании на улице Ленина, которое хорошо известно иркутянам.

В первые годы существования Театра музыкальной комедии на его сцене успешно выступали такие артисты, как Августа Воробьёва, Григорий Гросс, Михаил Снегов, Николай Загурский, Мария Морозова, Павел Литхен и другие. Особенно любила иркутская публика Гросса, одарённого комика, работавшего в театре и в качестве режиссёра. Одной из лучших его сценических работ была роль тюремного сторожа в «Летучей мыши» И. Штрауса.

Как уже было отмечено, артисты Театра музыкальной комедии регулярно участвовали в шефских концертах, устраивали импровизированные выступления в госпиталях. Но главной их работой была подготовка различных оперетт. В войну театром было поставлено немало разноплановых спектаклей: «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве, «Марица» И. Кальмана, «Ярмарка невест» В. Якоби, «Бал в Савойе» П. Абрахама, «Сорванец» (оперетта на основе музыки В. Колло), «Три встречи» М. Старокадомского. Это неполный список тех ярких постановок, что шли в эти годы в театре!

Одной из наиболее удачных оперетт, подготовленных в театре в годы войны, стала «Фиалка Монмартра» И. Кальмана. Режиссером-постановщиком был Николай Смолич. Ранее он ставил эту оперетту в Ленинграде и теперь лишь перенёс её на иркутскую сцену, расписав перед артистами всё, что должно быть в спектакле, вплоть до мельчайших жестов. Также в военные годы в Иркутске работал ещё один знаменитый театральный деятель — режиссёр Георгий Крыжицкий. Некоторое время он находился на посту главного режиссёра Театра музыкальной комедии. Из оперетт, которые шли на иркутской сцене в постановке Крыжицкого, следует выделить «Гейшу» С. Джонса. В спектакль была введена балетная часть, включавшая ряд танцевальных номеров в восточном стиле, музыка которых была создана Владимиром Йоришем. А главная героиня из японки превратилась в китаянку. Причина понятна: японцы в этот период поддерживали фашистскую Германию.

Также в первый год войны в Иркутске длительное время находилась ведущая артистка Московского театра оперетты Клавдия Новикова. Она неоднократно выступала перед иркутской публикой в концертах и спектаклях Театра музыкальной комедии. Кроме того, Новикова во время работы в Иркутске проявила себя и как постановщик. Вместе с Флавием Блицем, который работал в театре как артист и как режиссёр, она подготовила постановку оперетты С. Каца «Взаимная любовь», премьера которой состоялась 22 октября 1941 года.

Однако особенно стоит отметить тот факт, что непосредственно в Иркутске была создана антифашистская оперетта «Под небом Праги». Её авторами были композитор Семён Заславский и драматург Павел Маляревский. По решению отдела искусств при СНК СССР специально для постановки данной оперетты в город был командирован главный режиссёр Московского театра оперетты Алексей Алексеев. Премьера спектакля была приурочена к празднованию 25-летия Октябрьской революции. Она состоялась 7 ноября 1942 года. Оперетта Заславского шла с большим успехом. Одарённый иркутский публицист того времени Александр Багашев, написавший немало ярких рецензий на спектакли местных театров, отмечал: *«В умелом контрастном показе двух миров, приютившихся под небом Праги, — бесспорная заслуга П.Г. Маляревского. Но хороший текст — это ещё не оперетта. Тем приятнее отметить, что композитор С.А. Заславский «одел» либретто прочной музыкальной тканью. <...> Ряд запомнившихся мотивов, удачные вступления, гротесковый марш и, наконец, дышащая силой, пафосом борьбы и верой в победу тема Ленеши — всё это создаёт предпосылки яркого музыкального спектакля. Остро и своеобразно раскрыта музыкальная партитура спектакля дирижёром Е.А. Синицыным, находя своё полноценное звучание в финале второго акта».*

В годы войны продолжало активную работу Иркутское музыкальное училище. Педагогический состав этого учебного заведения пополнился за счёт ряда эвакуированных специалистов: уже упоминавшихся ранее музыковеда Александра Абрамовича, композитора Леонида Гурова и скрипача Вениамина Пронина, а также пианисток Доры Глезиной и Анны Сосинской. Иркутские музыканты старшего поколения с большой теплотой вспоминают об этих людях.

Пронин стал вести скрипичный класс. Абрамович преподавал музыкальную литературу и запомнился удивительно интересными лекциями, где в качестве иллюстратора часто выступала Глезина. Сосинская же вела педагогическую практику. Очень светлые воспоминания оставил о себе Гуров. Вот что рассказывает об этом человеке Тамара Самуиловна Кузнецова: *«Леонид Симонович вёл гармонию и сольфеджио. Запомнился как терпеливый и доброжелательный человек. Он очень увлекательно преподавал анализ форм»*. В 1945 году Пронин возвратился в Одессу. Покинул Иркутск и Гуров, приглашенный на работу в Кишинёв. Но Абрамович, Глезина и Сосинская в последующие годы продолжали преподавательскую деятельность в Иркутском музыкальном училище.

Также необходимо отметить, что в 1944 году училище принимало участие в республиканском смотре музыкальных учебных заведений. На третьем туре в Москве выступала Любовь Семенцова, окончившая училище по классу фортепиано ещё в 1942 году, но продолжавшая заниматься в скрипичном классе. Правда, на первом месте для неё всегда была пианистическая практика. Именно как пианистка и выступала она в столице. Совсем скоро эта одарённая девушка поступила в Московскую консерваторию, где училась в классе известного педагога Владимира Натансона.

Несмотря ни на какие трудности, продолжала работать музыкальная школа. Вот что вспоминает Маргарита Григорьевна Соколовская, учившаяся там в годы войны: *«Меня не перестаёт удивлять вот что. Ведь шла ужасная война, а всё-таки в государстве выделялись деньги на обучение детей музыке. Воспоминания о школе у меня самые лучшие. Мы учились в каменном здании на улице Степана Разина, где было очень холодно. Но отношение педагогов к детям было очень тёплым, по-настоящему душевным. И обучение в то время шло на самом высоком уровне. По специальности я обучалась у Нины Михайловны Поляковой. Были и другие яркие педагоги, готовившие юных пианистов: Татьяна Гуговна Бендлин, Татьяна Александровна Мурашкина, Татьяна Николаевна Семенцова... Завучем была Ольга Эвертовна Сиббуль. Она всегда была очень аккуратно одета. Помню академический концерт в невыносимо холодном зале. Я играла «Мотылька» из «Бирюлек» Майкапара. Приходилось дуть на руки, чтоб их как-то согреть. Ольга Эвертовна была в красивом наряде с жакетом, с брошкой. Как-то мы, ученики музыкальной школы, выступали по радио. Это было очень ответственное мероприятие, ведь мы знали, что играем на всю область»*.

Также именно в годы войны в Иркутске наряду с музыкальным училищем и музыкальной школой стало функционировать ещё одно музыкально-образовательное учреждение. Это была школа музыкантских воспитанников Красной Армии, сформированная весной 1943 года. Одним из главных энтузиастов в деле создания этого учебного заведения выступил иркутский кларнетист и дирижёр Исаак Гершевич, который стал в данной школе педагогом по классу кларнета. В 1946 году состоялся первый выпуск учащихся этого заведения. Оно успешно продолжает свою работу и в наши дни.

Образованная в 1940 году Иркутская филармония в военные годы ещё не была значимым центром музыкальной жизни города. В те годы она имела мизерный исполнительский штат. Главной задачей артистов филармонии было культурное обслуживание районов области. Однако именно в штате филармонии работала эвакуированная в Иркутск московская пианистка Виктория Бронштейн, с успехом выступавшая перед жителями города. Также в начале 1945 года при филармонии был скомплектован Ансамбль Сибирской песни и танца, руководителем которого был назначен ведущий работник Иркутского радиокомитета — хормейстер и дирижёр Василий Патрушев. Аналогичный ансамбль, возникший в то же самое время при Новосибирской филармонии, перерос впоследствии в Сибирский народный хор. А вот ансамбль Сибирской песни и танца, организованный в Иркутске, несмотря на успешное начало своей деятельности, существовал недолго. Имея хорошего творческого наставника в лице Патрушева, ансамбль был, тем не менее, распущен из-за того, что управление финансовой частью осуществлялось неумело. Считалось, что распускают коллектив на время, а оказалось — навсегда.

Большую культурно-шефскую работу вели в годы войны различные коллективы художественной самодеятельности, существовавшие в Иркутске. Одним из самых значимых

коллективов подобного рода была агитбригада, созданная на базе Дома народного творчества для художественного обслуживания госпиталей и воинских частей. Наиболее сильными самостоятельными коллективами были хор Иркутского мединститута и ансамбль Дворца пионеров. Обоими хорами руководил Патрушев. Их участники нередко выступали в госпиталях, а также перед воинами, отправляющимися на фронт. В Государственном архиве Иркутской области удалось обнаружить выписку из Приказа по Народному комиссариату здравоохранения СССР от 19 февраля 1945 года: *«За проведённую большую работу по культурно-шефскому обслуживанию раненых и больных бойцов и офицеров героической Красной Армии, находящихся на излечении в эвакогоспиталях Наркомздрава СССР, объявить благодарность Патрушеву Василию Алексеевичу»*.

Наконец, немаловажной составляющей музыкальной жизни города военных лет являются выступления гастролеров. В военные годы Иркутск посетили такие видные музыканты, как скрипач Буся Гольдштейн и пианист Игорь Аптекарев. Помимо них в городе выступали известная опереточная певица Людмила Геоли и исполнительница русских народных песен Галина Фотеева. Также в годы войны в Иркутск приезжали джаз-оркестры Леонида Утесова и Эдди Рознера, аккордеонный ансамбль п/у Ефима Розенфельда, популярные в то время эстрадные певцы Аркадий Погодин и Кэто Джапаридзе. Особенно долго в городе находился ансамбль песни и пляски Центрального Дома культуры железнодорожников, которым руководил Исаак Дунаевский. Вместе со своим руководителем коллектив совершал длительную поездку по городам Сибири и Дальнего Востока. В Иркутске железнодорожный ансамбль выступал на многих площадках.

Таким образом, военные годы, несмотря на тяжелейшую ситуацию в стране, стали своеобразным временем расцвета музыкальной культуры такого тылового города как Иркутск. К сожалению, многие ценные начинания этого периода не были в должной мере поддержаны городскими властями. Например, Иркутское отделение Союза советских композиторов практически не поддерживалось отделом по делам искусств при Облисполкоме, что даже отмечалось в местной прессе, и в 1951 году оно прекратило своё существование. Возродилась композиторская организация в Иркутске лишь в 1997 году. Увы, продолжает оставаться актуальным пожелание Владимира Манзия по поводу того, что «высококультурный Иркутск» должен обзавестись своим оперным театром. Зато оперетты в нашем городе на протяжении семидесяти с лишним лет ставятся регулярно, поскольку Театр музыкальной комедии, ныне Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского, продолжает успешно работать. С первых лет своего существования пользуется авторитетом среди музыкантов страны Иркутская школа музыкантских воспитанников, выпускники которой работают в ведущих оркестрах страны. Таким образом, нельзя сказать, что ценные начинания военных лет не имеют продолжения. А вот старожилы города часто вспоминают о том, какое огромное значение имело в годы войны искусство, позволявшее отвлечься от тяжелой действительности и получить заряд положительной энергии.



НАДЕЖДА КУДАШКИНА



А счастье — это капельки росы

..*

Казалось в детстве: счастье будет — вёдрами,
А оказалось — каплями росы,
Что на лужайке жизни были собраны
В предутренние росные часы.

Я их в душе храню предельно бережно
И так боюсь случайно расплескать:
Ведь знаю, в этом точно я уверена,
Вторично их уже не отыскать.

Всё, что дано, и капельки алмазные
Ношу с благоговением в себе,
И жизнь за скупость не кляню напрасно я,
И благодарна матушке Судьбе.

За то, что одарила полной чашею:
И сладкого, и горького дала,
Отправив в путь с посильною поклажею
И счастьем меня не обошла.

КУДАШКИНА Надежда Николаевна, поэтесса (род. в 1934 г. в г. Сталинске, ныне Новокузнецк Кемеровской обл.). Автор книг: *На судьбу я не в обиде* (Иркутск, 1993: Стихи по кругу. Вып. 2); *Предзимье* (Иркутск, 1994); *Я — мишень* (Иркутск, 2005); *Мир — это сказка* (Иркутск, 2010), *Я завещаю вам любовь* (Иркутск, 2014) и др. Член Союза писателей России.

Заблудившийся солнечный луч

Я в январский колючий мороз
Заблудилась в лесу, заплутала.
Снег коварный все тропки занёс,
И тревожно, и страшно мне стало.

Нет следов ни зверей, ни людей,
И глядят на меня мрачно ели,
И стучит по стволам Берендей.
Свет с небес пробивается еле.

Злые тени сгустились вокруг.
Незнакомое место пугает.
Нет надежд на спасенье... И вдруг —
Диво-дивное лес озаряет:

Животворный ласкающий луч
Пробивает туман непроглядный,
Прорубает «оконце» среди туч,
Лес становится тёплым, отградным.

Луч коснулся заснеженных крон
И случайно «включил» птичий гомон.
Узнаю направление сторон:
Тень высокой сосны — словно гномон.

Заблудившийся солнечный луч,
Благодарна тебе за спасенье!
Ты выглядывай чаще из туч,
Хоть не на́долго, хоть на мгновенье!

Ну зачем?

Ну зачем, словно летняя радуга,
Всё искрится вокруг сказкой дивною,
Ну зачем эта сладкая па́губа*
Оказалась такою недлинною?
Словно вспыхнул рассвет зорькой алою,
Для Земли ясный день возвещающий,

Но затмила его туча шалая
И убила рассвет наступающий.
И созвездия с ритма сбиваются,
И Земля замедляет движение,
И надежды, увы, не сбываются,
И у радости нет продолжения.

Мамино тепло

В морозный, третий день зимы
Позёмка змейкою вилась.
Средь этой снежной кутерьмы
И я случайно родилась.
А мир неласков был и груб,
И жизнь — как хрупкое стекло,
Но вдруг моих коснулось губ
Живое мамино тепло.

В трубе волчицей выюга выла,
Тонули звёзды в облаках,
А мне тепло и сладко было
В надёжных маминых руках.
Любовь её и ласку эту
Я через годы пронесла,
Её тепло, как эстафету,
Потомкам в дар передала.

Ненаглядный апрель

Скоро в отпуск идти холодам,
Покорится зима, отлугует.
Молодая весна наколдует
Непременного таянья льдам.

И все слёзы исплachtet капель,
Растопив ледяные оковы,

И захочется снова и снова
Заглянуть в ненаглядный апрель,

Вновь поверить в его миражи,
Самосбродству его удивиться
И опять безоглядно влюбиться
В незнакомку по имени Жизнь!

*Па́губа — устаревшее русское слово, означает «погибель», «большой вред» (словарь С.И. Ожегова).

Где у возраста граница?

Говорят, что с возрастом умчатся
Навсегда в заоблачную синь,
Чтобы с нами больше не встречаться,
Паруса летящих бригантин.

Я опять, как в юности бывало,
В яростный вступить готова бой,
И зари закатной парус алый
Вдаль меня уводит за собой.

Только где у возраста граница,
Что мечты рассеивает в дым?
Мне же как девчонке снова снится
Ветер, рвущий крылья бригантин.

Видно, я больна неизлечимо,
Значит, суждено мне до конца
Видеть, как несутся бригантины,
Наполняя ветром паруса.

Зимняя сказка

Лихо сдвинули избушки
Шапки набекрень.
У берёзовой опушки
Заблудился День.

Королевство Берендея
Бережно хранят.

Ели шубы понадели,
С пиками стоят,

Прихожу сюда с опаской —
Я спугнуть боюсь
Неразгаданную сказку
Под названием *Русь*.

Детство

Нам хочется скорее повзрослеть
И с детством поскорее распрощаться,
Нам кажется: не будем сожалеть,
Не будем снова в детство возвращаться.
Как мы не правы, мы поймём потом,
Когда нам грустно почему-то станет,
Захочется вернуться в отчий дом,
Где наше сердце от любви растает,

Где вновь увидишь маму молодой
И алые герани на окошке,
И клумбы с ароматной резедой,
И рыжики у бабушки в лукошке.
Куда ты мчишься, детство, погоди,
Дай счастьем безмятежным насладиться,
Ведь мы не знаем, что там впереди,
Ну а тебе назад не возвратиться...

Не наглажусь

Тропинка узкая, от снега хрусткая,
Послушно стелется под ноги мне,
И белоснежные берёзы нежные
С ветвей на голову мне сыплют снег.

Я тишь звенящую, ненастоящую
Своим дыханием спугнуть боюсь,
Как будто в сказку я вошла с опаскою,
Что в этой сказке я не состоюсь.

Искрятся инеем снега обильные,
И в белом танце я с тобой кружусь,
На дали синие, на руки сильные
Гляжу, и кажется, не наглажусь!

Свидание с прошлым

Вот петляет река суетливая,
Убегает — попробуй слови!
В тихом омуте ивы стыдливые
Ночью косы полощут свои.

Там, сбегаая крутыми откосами,
Чтоб напиться воды из реки,
Не боясь замочить ноги босые,
По колено забродят мостки.

Ну а утро засветится зябкое,
Разольётся туман молоком
И от взгляда чужого украдкою
Принакроет им плечи платком.

Половодье небес опрокинуто,
И плывут облака по воде...
Всё, что было когда-то покинуто,
Не отыщется больше нигде.

Сонет № 14

(из венка сонетов «Я — песчинка в часах бытия»)

Не вчера побелели виски:
Жизнь своё не уступит, не жди.
Так и хочется взвыть от тоски
Под осенние злые дожди.
До тебя далеко-далеко,
Отменили в твой край поезда.
В небесах разлилось «молоко»,

И горит, не сгорая, звезда.
Шепчут мне о любви тополя,
И ромашки цветут на лугу,
И тебя я забыть не могу,
И о вечном мечтает Земля.
Кружим с ней, молоды и легки...
Ну зачем побелели виски?

Урок астрономии

Схему своей Галактики
Мелом черчу на доске,
А за окном — кораблики,
Радость в ребячьей руке.

Смотрю на виновницу с косами —
Я двойку поставить должна.
Глядит на меня курнося
Семнадцатая Весна!

Прошу рассчитать расстояние
До звёзд в световых годах,
В ответ получаю — молчание,
Недоумение в глазах.

И дела ей нет до Галактики,
До звёзд и до тайн бытия —
В одном замечательном мальчике
Вместилась Вселенная вся!

С землёй останусь на века

Я знаю: всё живое — тленно,
Всех стережёт «девятый вал»,
Но не хочу другой вселенной,
Где злая Вечность правит бал.
За вечное существование
Живую душу не продам,
Неисполнимые желания
Не прокляну и не предам.
Не стану на подножку вскакивать,
Знать расписание ни к чему,
Не буду свой отъезд оплакивать,
Его как должное приму.

Неугомонная Вселенная
Всё так же будет петли вить,
А моего исчезновения
И не заметит, может быть.
Но в ней останусь лёгким облаком,
Щемящей песней тишины,
Осенним перезрелым яблоком
И птичьим посвистом весны.
Спущусь с небес резной снежинкою,
Слезой прольюсь из родника,
Взойду на поле тонкой ржинкою —
С Землёй останусь на века.

Село Заречное

Гнёзд стрижиных считаю горошины,
А на берегу этом крутом
Всё грустит, сединой припорошенный,
Мной предательски брошенный дом.
Здесь о хлебе забота извечная,
Здесь весной от черёмух — бело,

И красивое имя — Заречное —
Носит исстари это село.
Город мой — суэта бесконечная,
Убежать бы в заветную тишь,
Но боюсь: ты, степное Заречное,
Мне измены былой не простишь!

Роща у села Чебогоры в Иркутской области

Я в рощу с тихим трепетом войду,
Как в дом, где похоронка за божницей,
Густые ветви тихо отведу,
Чтобы живым и мёртвым поклониться.
Здесь сиротливо между старых пней
Берёзы смотрят в небо голубое

И в День Победы плачут по весне
О сёстрах, не пришедших с поля боя.
И не для славы, и не для наград,
А чтобы стать полозьями в обозе,
Как добровольцы, много лет назад
Ушли на фронт сибирские берёзы.

Русь

Ты — в спелом колосе, в певучем голосе,
Ты — в песне иволги и соловья,
Ты — в шуме города и в стуке молота,
Ведь ты у каждого из нас — своя!

Моя — подковою на счастье кована,
Навеки крещена Байкал-водой,
Врагами клятая, почти распятая,
Вставала сильною и молодой.

Назло всем врагам вскинь гордо голову
И в нашей верности вновь укрепись,
От взлётов будущих, от нас, так любящих,
В тебя так верящих, не отрекись!

* * *

Умопомрачительные дали до звезды, что глянула в окошко.
Что мне в этом мощном сгустке плазмы, если до него не долететь?

Мы живём с ней в разных измерениях: светит мне она вчерашним светом.
Так зачем опять ищу на небе дерзко подмигнувшую звезду?

Помня про космические дали, знаю, у неё мне не согреться,
Но какая неземная сила мне окно зашторить не велит?..



НИКОЛАЙ ЗАРУБИН

«На золотом крыльце сидели...»



Тулун. Большая улица. Фото Б.П. Афанасьева. 1910

В Тулунском краеведческом музее хранится до десятка открыток с видами Тулуна первого десятилетия прошлого, двадцатого, века — издание фотографий Б. Афанасьева. На них — Большая (главная) улица, мост через реку Ия, торговые и жилые дома, телеги, ходки, впряжённые в них лошади как особые меты времени, телеграфные и электрические опоры, со-

баки, люди. Снятое с разных точек волостное село Тулун представляется поселением зажиточным, сложившимся и утвердившимся на земле Иркутской со всей основательностью, надолго — с тех самых пор, когда глава некоего бурятского рода поставил здесь свою юрту, а ещё через какое-то время свою избу выстроил первый поселенец из «рассейского», пришлого из-за Уральских гор, нахрапистого, сильного телом и духом казачьего люда.

Кому, в какой особый приветный час пришла в голову идея изготовления этих замечательных в своём роде открыток, бог весть. Но человек этот, верно, даже, возможно, не будучи из числа местного старожилого населения, был человеком глубоко и беззаветно влюблённым и конкретно в Тулунскую землю, и в землю Иркутскую, и в Сибирь, представить размеры и многообразие природы которой, наверное, было бы не под силу даже самому неутомимому исследователю и живописателю.

В шестидесятых годах я проживал на окраине Тулуна и редко бывал в его центре, но в одно из посещений набрёл на открывшийся в те же годы краеведческий музей, и вошёл в его хранилища. Говорю, хранилища, а не залы, потому что никакими залами музей не располагал, а те две средних размеров комнаты в деревянном здании постройки 1926 года да одна большая в пристрое пятидесятых годов, что имелись, были сверху донизу буквально забиты экспонатами, среди которых суетливо, но уверенно передвигался собиратель и хранитель этих ценностей, экскурсовод и подвижник музейного дела Павел Фёдорович Гущин. Там-то впервые и натолкнулся я на те, выставленные для обозрения, открытки с видами старого Тулуна начала двадцатого века. Тогда-то и попытался взглянуть в запечатлённое на них. Оттуда-то моё любопытство, переросшее в желание познать. И П.Ф. Гущин оказался именно тем человеком, который пробудил и взрастил во мне осознанную любовь к своему краю, кося гореть не перегореть во мне до скончания моих дней.

ЗАРУБИН Николай Капитонович, прозаик, публицист, поэт (род. в 1950 г. в г. Тулуна Иркутской обл.). Автор книг: *Сторона родная*: стихи (Иркутск, 1997), *Послужи земле*: повесть, рассказы, очерки (Иркутск, 2000), *Осенние песни*: стихи (Красноярск, 2007); *Пока жива память*: публицистика (Красноярск, 2007); *Тулун — центр Отчизны*: публицистика (Красноярск, 2007); *Без села России не бывать*: публицистика (Красноярск, 2011). Член Союза писателей России.



Г.С. Виноградов. 1905 год

Впоследствии стал часто бывать в музее, и мало-помалу открывался мне мир, который и манил к себе, и тревожил, и побуждал к более углублённому его изучению. Позднее прочёл у Г.С. Виноградова поразившие меня слова: «...Всё время не покидает интерес к изучению Родины. Не к ознакомлению, а именно к изучению». Будучи главным редактором газеты «Присаянский край», слова эти вынес над заголовком издания в качестве некоего ориентира, которому тем самым как бы призывал следовать своих сотоварищей по перу.

Я вглядывался в те снимки, в предметы быта и орудия труда, читывался в какие-то хранящиеся в музее тексты газет, тетрадок, агиток, листовок. Я приходил и спрашивал у П.Ф. Гущина об интересующем меня вопросе. Я видел в глазах его ответный интерес, ответный огонь. Приходил, чтобы открыть для себя какую-то новую, неведомую мне страницу истории родного края.

Кстати, об интересе, какой бывает самым разным, но интерес к «изучению Родины» — превыше всего. И надо же было так точно, предельно ёмко, несколькими словами обозначить главную суть и

смысл бытия человека, главную идею, которую должен иметь пред собой человек, занимающийся любой, а не только подобной, как Г.С. Виноградов, научной деятельностью. *Изучать Родину* — есть ли что-то на земле превыше этого дела, значимей этого предназначения?!

Те фотографические открытки в последующие годы моей жизни продолжали стоять перед внутренним моим взором. Я никогда не забывал о них и о запечатлённом на них, потому что они отражали время почти физически, осязаемо подчёркивая его быстротечность. Они отражали свою эпоху, о которой хотелось знать, как можно больше. И потом, это была моя Родина, пусть и в предреволюционную пору, когда ещё в цельности и нетронутости оставалась национальная идея, выраженная в триединстве понятий: самодержавие, православие, народность. И ещё одно непреложное обстоятельство в пользу открыток с видами Тулуна — среди запечатлённого на них проживал и молодой тулунский житель Георгий Виноградов.

Благодарен я судьбе и за то, что на моём жизненном пути встал такой человек, как Павел Фёдорович Гущин, который пробудил во мне «интерес к изучению Родины» и который в самом начале моей душевной и мыслительной работы «по изучению» ответил на многие и многие мои вопросы.

— Понимаете ли, в чём тут дело... — почти всегда с одних и тех же слов начинал он свой рассказ и уходил в такие глубины, устремлялся в такие выси, охватывал такие шири, что в моём воображении рисовались целые картины как отдельных человеческих судеб, так и имевших быть на Тулунской земле конкретных событий.

Так случилось, что газета, главным редактором которой я был, соединилась с другой, получившей и другое название. Вставший во главе этого нового предприятия человек вымарал вынесенный мною в заголовок ориентир-девиз и поставил свой: «Каждый дом стоит в центре мира, каждый человек бесконечно важен». Вот так — не больше и не меньше. Спорить с таким утверждением невозможно, так как каждый дом действительно стоит в «центре мира» и каждый человек действительно «бесконечно важен». Только это всё общие, никого и ни к чему не обязывающие слова — ни конкретного работника газеты, ни читателя. А вот необходимость «изучать Родину» должна прививаться человеку с детских лет. Изучать, чтобы любить. Изучать, чтобы знать. Изучать, чтобы радеть о ней. Изучать, чтобы никому не позволять молвить о ней худого слово, а не токмо дозволить ступить на родную землю сапогу чужестранного завоевателя.

И Г.С. Виноградов изучал, да так глубоко и всесторонне, что создал свои собственные направления в этнографии. В науке, которая была для него всем.

«...Этнограф не может быть сухим. Этнография такая чудная наука, которая живёт, увлажняя душу. У этнографа — сказка. Разве сказка может высушить? У этнографа — былина. Разве былина мертва? У этнографа — песня. Разве в песне не жизнь? У этнографа — обряд. Разве обряд не отражение живой веры? Это единственная наука, которая входит в сокровенные тайны народной души. В этнографии мы видим себя такими, какими мы были сто, двести, пятьсот лет назад».

Не через сухое слово, а через увлажняющие душу народные сказки, через воспетую в былинах

жизнь богатырей земли Русской и жизнь простых крестьян, через песни отживающего поколения, через обряды как отражение живой веры, через труды по этнографии, детскому фольклору, народной педагогике, народной медицине, крестьянской живописи и многие другие направления этой замечательной научной дисциплины Г.С. Виноградов как бы стремился достучаться до поколений последующих, какие будут и через сто, и через двести, и через пятьсот лет. Достучаться, чтобы сказать о необходимости следовать во всём скопленной за многие века в народе народной мудрости, ибо, как он утверждает в «Народной педагогике», «народ живёт не одно столетие; до появления европейской школы он имел своих мучеников за идею, разных мастеров, музыкантов, архитекторов, мыслителей, знатоков окружающего мира, медиков, агрономов и так далее, которые каким-то образом наследовали, перенимали умения, навыки, опыт уходящих в могилу поколений; не уносили и сами своих знаний в могилу, а какими-то путями и способами делали их достоянием своих наследников».

В музее впервые я увидел фотографию собственного деда по отцу — Зарубина Семёна Петровича, снятого в японском плену в 1906 году в кругу солдат и матросов, находящихся на излечении в госпитале города Мацуяма. Увидел и услышал от П.Ф. Гущина, что дед мой, оказывается, был первым коренным тулунским социал-демократом, вступившим в РСДРП как раз во время военных действий в Порт-Артуре 1904–1905 годов.

В тех же шестидесятих годах впервые я услышал и имя Георгия Семёновича Виноградова.

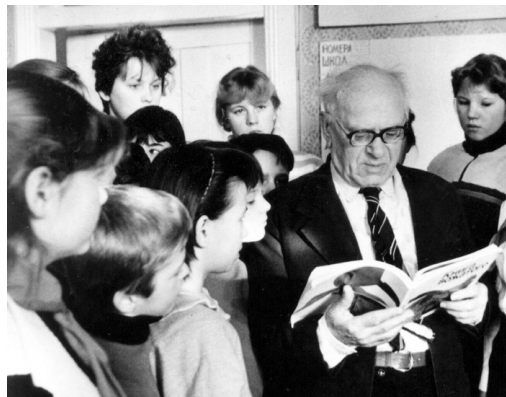
— Понимаете, — говорил мне П.Ф. Гущин, в руках которого, помню, было нечто вроде рукописи в печатном варианте, — имя это хорошо известно в узком кругу учёных, занимающихся этнографией, народным фольклором, а вот в нашем городе, где Георгий Семёнович родился и вырос, о нём знают лишь единицы. Но поверьте, пройдёт не так уж много времени и о Виноградове узнают все как о выдающемся учёном, исследователе местных сибирских говоров, создателе своего особого направления — детского фольклора, которым до Георгия Семёновича не занимался никто. Узнают и будут гордиться своим земляком, будут изучать его наследие.

Осталось в моей памяти и воспоминание о волнении Павла Фёдоровича, в каком пребывал он всякий раз, когда начинал говорить о Г.С. Виноградове.

— А вот я сейчас вам кое-что покажу... — и направлялся то к сделанному из неокрашенных досок стеллажу, то к стоящему у стены старинному сундуку, приспособленному им для хранения наиболее важных документов, и вынимал нечто, представляющее, как я понимал, и лично для П.Ф. Гущина, и для музея величайшую ценность. Хотя, надо отметить, трепетное отношение к любому экспонату музея, а не только к имеющим непосредственное отношение к Г.С. Виноградову, было вообще ему присуще. В том, как я понимаю сегодня, и проявлялась натура истинного краеведа, историка, собирателя и пропагандиста музейных ценностей. Этими достоинствами Павел Фёдорович и обладал в полной мере.

— У меня собраны почти все опубликованные произведения Георгия Семёновича, причём есть рукописные подлинники, есть воспоминания людей, с которыми он жил и дружил, которых любил, — продолжал Павел Фёдорович свой рассказ. — Замечательный был человек. Умница, профессор и большой учёный. И ведь вышел-то из простой ямщицкой семьи волостного села Тулун — Семёна Фёдоровича и Елены Алексеевны Виноградовых. А ямщина, скажу я вам, была в те годы делом весьма трудным, но почётным, особенно до строительства Великого пути — я о нём вам ещё расскажу подробнее. Даже дом на улице Поповской, а ныне Якова Свердлова, где вырос Георгий Семёнович, сохранился. Я я его вам как-нибудь покажу...

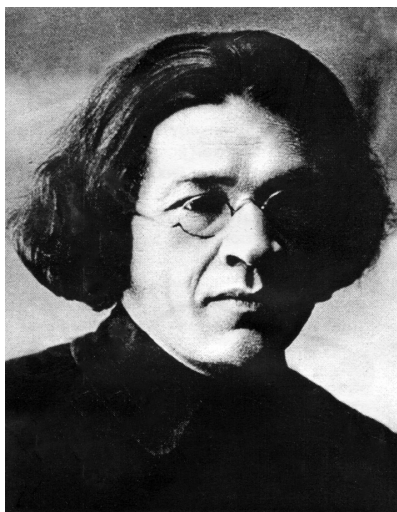
Дом он мне показал при первом же удобном случае.



П.Ф. Гущин среди детей

В последующие годы ездили мы с ним на Бурмайское кладбище, где похоронен был командир местных партизан Я.К. Шляппо, в село Икей, в места восстания крестьян под предводительством братьев Степановых, на Кокучейское кладбище, где захоронены были останки лётчиков, перегонявших самолёт, который разбился вблизи этой деревни в 1944 году.

Павел Фёдорович умел увлечь, хотя, думаю, намеренно к этому не стремился. Будучи историком по профессии, преподавал он свой предмет в Тулунском педагогическом училище со всей страстью, на какую был только способен, нацеливая студентов на изучение края и ежегодно совершая с ними экспедиции по Тулунскому и соседним с ним районам. Привезён-



Г.С. Виноградов

ные из таких экспедиций экспонаты и положили начало Тулунскому краеведческому музею, долгие годы располагавшемуся в стенах педагогического училища. Музей же и стал впоследствии чем-то вроде центра по пропаганде творчества Георгия Семёновича Виноградова, а его бесценный, вплоть до самой смерти, *общественный директор* П.Ф. Гушин стал первым «поводырь» по страницам произведений замечательного исследователя языка — и не только русского, но и других народов Сибири, — тех непреложных ценностей, кои рассеяны в говорах, сказках, прибаутках, потешках, присказках, пословицах, поговорках, дразнилках, издевках, складнях и т. д. и т. п.

П.Ф. Гушин наверняка был и первым доморощенным тулунским публицистом, который написал о Г.С. Виноградове заметку в местную газету «Знамя Ленина», и эта сторона деятельности главного «музейщика» Тулунской земли ещё ожидает своего исследователя. Одну из таких заметок под рубрикой «Рассказы о земляках», датированной 19 апреля 1966 года, хочу процитировать полностью, хотя она в чём-то вторит вышесказанному:

Академия наук СССР 22 апреля будет отмечать 80-летие со дня рождения нашего земляка — учёного-этнографа Георгия Семёновича Виноградова. Вечера, посвящённые памяти выдающегося учёного, состоятся в Томске, Тюмени, Иркутске и других городах. Георгий Семёнович много сил отдал изучению быта крестьянина. Его многочисленные труды были посвящены изучению фольклора, особенно детского, обычаев, говоров, сельхозработ и других занятий сибирского трудового люда. Учитель Г.С. Виноградов стал писателем, горячим поборником изучения родного края. В Тулунском историко-краеведческом музее имеются его труды: «Детский народный календарь», «Детская сатирическая лирика», «Детские тайные языки», «Детский фольклор и быт» и другие. Во время пребывания в Тулуне (до Октябрьской революции) учёный проводил большую общественно-культурную работу. Здесь им был основан первый историко-краеведческий музей, в котором было представлено большое количество экспонатов, отражающих историю и быт местного края. В Тулуне Георгием Семёновичем было организовано общество по изучению Сибири и улучшению быта народа. С 1921 по 1929 год Г.С. Виноградов работал преподавателем в Иркутском государственном университете. Он вёл курсы «Введение в русскую этнографию», «Фольклор в Сибири», «Язык русской народной словесности» и одновременно с этим проводил семинар по этнографии русской народности в Сибири, принимал деятельное участие в издании журнала «Сибирская живая старина». С 1930 года Г.С. Виноградов работал в Ленинграде в Институте языкознания и в Пушкинском доме».

Как видно из этой короткой заметки, представление о Г.С. Виноградове у П.Ф. Гушина было полное, соответствующее масштабу личности учёного.

В семидесятых и первой половине восьмидесятых годов многое из собранного П.Ф. Гушиным было, однако, утрачено: частью уничтожено по указке и под присмотром работников областного краеведческого музея, поскольку подлежащие уничтожению экспонаты не имели ценности для Иркутска (Тулунский музей в те годы был филиалом областного музея), чему лично я был свидетелем. Наиболее ценное, как, например колокол и коллекция предметов из серебра, под предлогом отсутствия в Тулуне условий для хранения экспонатов, было изъято из его фондов и вывезено в Иркутск, частью разворовано и растащено. Утрачены коллекции старинных монет и бумажных дензнаков, отдельные экспонаты, сотни фотографий и экземпляров дореволюционной периодической печатной продукции, рукописных документов — дневников, разных отчётов, воспоминаний старожилов и так далее.

Популавился и фонд Г.С. Виноградова.

— Приезжают, понимаете ли, отовсюду, просят, клянутся, что вернут, но не возвращают, — жаловался мне Павел Фёдорович. — А я верю! И как тут не верить, если это не просто люди с улицы, а все кандидаты наук, учёные...

Через какое-то время сокрушался снова, видно, был очередной проситель-кандидат:

— А как умеют убедить, как умеют тронуть тебя за живое!..

И то сказать, современных копировальных аппаратов тогда не было, не водилось в музее и денег на то, чтобы заказать обычные перепечатанные на машинке копии. Музей и вообще-то нищенствовал: перенесённый на первый этаж одного из домов посёлка стекольного завода, фактически оказался на окраине города, в стороне от основных мест скопления и передвижения жителей Тулуна.



Празднование 300-летия Дома Романовых в Тулуне

существовании этого учреждения, просто сделать вид, что его не существует в природе — и время сделает своё дело. Под предлогом улучшения условий или под каким-либо другим надо вынести это учреждение за город или сбросить с плеч долой заботы о нём, передав под юрисдикцию области, до минимума довести содержание. Так, или примерно так, местные власти и поступали в отношении Тулунского краеведческого музея, а уж преднамеренно или по недопониманию — не могу судить.

Уже после смерти Павла Фёдоровича, спустя более десяти лет, усилиями другого директора, другого подвижника музейного дела — Лидии Алексеевны Башкатовой, экспозиции музея, наконец, были перенесены в другое место — ближе к центру города. Её же радением Тулунскому краеведческому музею было присвоено имя П.Ф. Гущина. При ней начала организовываться в музее посвящённая Г.С. Виноградову полноценная экспозиция, так как до этого Георгию Семёновичу в родном ему Тулуне был отведён всего лишь небольшой стенд в зале истории. Виноградовской экспозицией и начинал свою работу музей на новом месте.

Помимо всего прочего Лидия Алексеевна успела исхлопотать стоящее через дорогу от музея здание под выставочный зал и, всем на удивление, открыла таковой, где в ближайшие пять-шесть лет прошли выставки наиболее известных художников Иркутска: В. Тетенькина, А. Костовского, В. Кузьмина, В. Лапина, Р. Бардиной и других. Кроме того, почти все названные художники, каждый в своё время, да не по одному разу, побывали в живописнейших местах Тулунского края на пленэрах.

Тулунскому музею, видно, на роду написаны мытарства: ремонт отданного под его экспозиции запущенного деревянного здания по причинам, которые, думаю, понятны каждому, затянулся на несколько лет. Исчерпаны были и возможности повлиять на ситуацию.

Короче, один в один повторялась история с музеем в пору П.Ф. Гущина. И я помню, как радовался, когда встречал Павла Фёдоровича в другой обстановке: то ожидающим свой маршрутный автобус, то просто на улице, то где-нибудь на очередном мероприятии, каких всегда в городе было много. Вне музея П.Ф. Гущин уже не казался таким удручённым и подавленным, каким в последние годы его жизни видел я его всё чаще и чаще.

Бессребреник, чистейшей души и большого ума, обладающий высочайшей эрудицией, этот уникальный и замечательный в своём роде человек, конечно, в силу своих преклонных лет и душевной незащищённости не мог достигать до местной элиты, партийной и советской власти, которая вспоминала о музее, может быть, только накануне каких-то знаменательных для страны дат, хотя говорить и обещать любили многие. Только вот дальше говорилили дело не шло.

Уверен, что значение трудов Георгия Семёновича Виноградова по-настоящему понять и оценить мог только такой же светлый, духовно родственный учёному человек, каким был Павел Фёдорович Гущин!

Хорошо знаю, как долго и безуспешно хлопотал он, чтобы бывшей Поповской — а в советское время имени Свердлова — улице было присвоено имя Г.С. Виноградова. Долго и безуспешно хлопотал он и о том, чтобы родительскому дому Виноградовых придать статус охраняемого государством архитектурного памятника. Грустно и смешно сказать, в те годы дом поначалу использовался как контора местного промкомбината, в пределы территории которого он был включён; затем, когда конторские работники переселились в помещение, где располагались цеха основного производства, в доме Виноградовых был устроен цех по пошиву детского ширпотреба (!), о чём я знаю не понаслышке, поскольку моя собственная супруга работала в те годы бухгалтером на этом предприятии.

Не единожды на разных уровнях поднимался вопрос о необходимости переноса дома в другое место и организации в нём Дома-музея Г.С. Виноградова. Много раз писала о том местная газета, много раз писал и говорил о том же П.Ф. Гущин.

Проблематично было попасть в музей и приезжему человеку. Интерьер представлял из себя окрашенные в тёмный грязно-синий цвет стены, полы в отдельных местах прогнили, но главное, что мучило и мешало работе, это постоянный холод в осенне-зимне-весенний период, ощущение какой-то затхлости, происходившей, вероятно, из-за сырости в подвале этого пятиэтажного кирпичного дома.

Давно известно, не надо принимать никаких официальных решений о закрытии какого-либо имеющего историческое, культурное, нравственное значение учреждения, ибо слишком велик может быть общественный резонанс. Надо просто забыть (!) о



Празднование 300-летия Дома Романовых в Тулуне

тральной районной библиотеке свою собственную работу по популяризации имени Г.С. Виноградова начинает, теперь уже бывший её директор, Любовь Ивановна Константинова. Первое, о чём она хлопочет вместе с коллегами, так это о присвоении библиотеке имени Георгия Семёновича. И добивается своего. Параллельно идёт работа по накоплению копий работ учёного и по организации своего небольшого музея. Местный художник Анатолий Ишмаев специально для библиотеки пишет его портрет.

В 2003 году в центральной районной библиотеке побывал прославленный писатель Валентин Григорьевич Распутин. Остановившись против портрета, заметил: «Настоящий профессор. Таким я себе Георгия Семёновича и представлял...»

Позже Л.И. Константинова рассказывала мне о том, что слова писателя они восприняли как слова одобрения их работы в этом направлении и что будут со своей стороны продолжать делать всё, чтобы имя Георгия Семёновича и его труды активно популяризировались во всех тридцати библиотеках Тулунского района, а значит, и во всех основных сёлах Тулунского края.

* * *

Человек так устроен, что более всего ностальгически сожалеет о прошлом, в котором ему уже никогда не побывать. Романтизм прошлого завораживает калейдоскопом всевозможных событий, поучаствовать в которых особенно хотелось бы в детстве и ранней юности, как хочется походить на старших, подражать им, пережить то, что пережили они. И для каждого поколения свои идеалы, свои ориентиры, своя ягода-«заманиха». Для моего поколения — Великая Отечественная война, потому наиболее любимой игрой в детстве для меня и для моих сверстников была игра «в войнушку». Именно игра позволяла перенестись в непережитое нами время, встать вровень со старшими, почувствовать себя как бы соучастниками тех событий.

Но были и другие игры, о которых помним порой и сожалеем как о чём-то невозвратном, но несказанно привлекательном — это дразнилки, издёвки, считалки — всё то, о чём с такой поразительной поэтической силой рассказал в своих трудах мой замечательный земляк Георгий Семёнович Виноградов:

— Скажи: чайник.
— Чайник...
— Твой отец — начальник.
— Скажи: руль.
— Руль...
— Я пос...у, а ты — покаруль.

Или:

*На золотом крыльце сидели:
царь, царевич,
король, королевич,
сапожник, портной —
кто ты будешь такой?
Говори поскорей,
не задерживай добрых и честных людей!*

Как в советское время, так и в последующее, перестроечное, власть местная оставалась глуха, нема и слепа. И с каждым новыми выборами, с каждым приходом во власть очередной команды, рушились и новые надежды. И никто ничего не хотел сделать для того, чтобы достойно отметить имя земляка, которое сегодня в России стоит вровень с наиболее значительными, наиболее заметными, наиболее почитаемыми — в России, но не на его родине в Тулуне!

Однако жизнь не стоит на месте. В другой стороне, на окраине Тулуна, в цен-



ТАТЬЯНА МИРОНОВА



Есть тайна в сумерках вечерних

* * *

Чуть брезжит за шторами свет.
Ноябрь. Суббота.
Холодный, предзимний рассвет —
Печальная нота.

Чернеет заброшенный сад,
Качая ветвями.
И ветер средь тёмных оград
Играет листьями.

Выводит печально скрипач
Осеннюю ноту.
И музыка эта, как плач.
Ноябрь. Суббота.

МИРОНОВА Татьяна Геннадьевна, поэтесса (род. в 1955 г. в г. Балхаше, Казахстан). Автор книг: *Мой дом* (Иркутск, 1988); *На близость твою уповая* (Иркутск, 1994); *И увижу сон я золотой* (Иркутск, 2001); *Лепестки* (Иркутск, 2003). Член Союза писателей России.

* * *

Владыка мой, что ты хранил
во млечных складочках пелёнок!
Мне не хватило бы силёнок
всё описать, да и чернил,

и времени, конечно, тоже.
Но как я радуюсь всему,
что Ты явил, презревши тьму,
украшив радугою ложе.

Тоска

Студеный свет небес и поля
и жалкий вид осин.
Тоска страшнее, чем неволя.
Не плачь, ты не один.

Сквозят и ангелы, и бесы.
Не плачь, ты не один.

Не тьма пылит вдоль поднебесья,
не птичий клин —

Светёлка спрячет и укроет.
Стакан вина, графин...
С тоски не только волки воют.
Не плачь, ты не один.

Пожелание

Я буду долго жить старушкой бодрой,
Качать в подоле правнуков своих,
Слагать торжественные оды,
Когда меня настигнет стих.

Я буду радоваться жизни,
Смотреть на этот белый свет.
Не плачьте на печальной тризне,
Ведь смерти нет.

А есть дорога в неизбежное,
Откуда входа нет сюда.
Как бьётся сердце моё нежное,
Когда, я думаю: когда?..

* * *

Сними невидимый покров
и ты узришь узор тончайший
на круговой небесной чаше,
и прочитаешь всё без слов.

Узришь все знаки мироздания
сквозь наслоения веков.
Сними невидимый покров —
умножь печальные познания.

В степи

А над степью неба много,
вплоть до краешка земли.
И ведёт к нему дорога,
вся избитая, в пыли.

Но легли следы, как тени,
вплоть до краешка земли.

Сколько кровных поколений
шло по ней. И все прошли.

Их никто не видит, кроме
вдаль глядящего тебя...
И заплачешь ты о доме,
степь, как матушку, любя.

В эмиграции

Нет спасенья от жизни,
а она такова,
что вдали от Отчизны
сердце бьётся едва.

Нынче Сена угрюма,
небо в тучах сплошных,
и навязчива дума
о просторах родных.

Ах, сейчас бы в Калугу,
да теперь там не ждут...
Кони ходят по лугу,
и ромашки цветут.

Этих дум окаянство
о России былой,
словно вылет в пространство,
возвращенье домой.

Свидание

Не по дороге столбовой,
а по тропинке потаённой,
в тени узорной и зелёной
я шла, чтоб встретиться с тобой.

И ты навстречу тропкой шёл,
и мы с тобой не разминулись.

Ты помнишь, как багульник цвёл,
как мы друг к другу прикоснулись?

И были ласковые речи,
и васильковым был твой взор.
А куст — свидетель нашей встречи —
неувядаемый с тех пор.

На заре

Тонок месяц на заре.
Жёлтый цветик в янтаре
капелек росы.
Ранние часы.

Гулит горlinkа в ветвях,
шмель пасётся на лугах.

У колодца, что без дна, —
тишина.

Тихо на сердце моём.
Явь повита чудным сном,
где одеты в жемчуга
речки быстрой берега.

* * *

Июль — душистые луга,
все в незабудках берега.
Мне двадцать лет. И я пою:
«Наверно, так живут в раю...»

Мне не сидится, я лечу
к лесному, в зарослях, ручью.
Ты вслед смеёшься: «Дорогая,
не потеряй ключи от рая».

* * *

В дикой злости степного ветра —
терпкий запах полынных трав...
Ты не жди от меня ответа,
кто из нас с тобой нынче не прав.

Этот спор бесконечно давний.
Улыбнись и открою ставни,

и подставлю лицо лучам.
Я тебя никому не отдам.

Ни степному залётному ветру,
что готов дверь сорвать с петель,
никому, никому на свете,
ни когда-нибудь, ни теперь.

* * *

Укради меня ночью тёмной
у бессонницы на виду.
Напои меня синь-истойой,
проведи по тонкому льду

на другой бережок, дружок,
где живёт ещё тихая тайна,
где рождественский сыплет снежок
и ложится на сосны, не тая.

Где не страшно доверчивой быть
и возможно ещё любить.

День и ночь

1

Из ночи в ночь перелетая,
не замечая день за днём,
воображенью потакая,
живу и растворяюсь в нём.

2

Цеплялся день за край подола,
не отпускал, казнил меня.
От мук мельчайшего помолла
бежала я как от огня.

Когда в горячечном бреду
так жарко маки призывали
остаться в солнечном саду,
остаться, быть! — как приказали, —

я, слух замкнув, потупив очи,
спасения искала в ночи.
И ночь сапфировой волной
меня накрыла с головой.

* * *

Останься, останься на том берегу,
где молодым тебя помню,
где ива стоит в серебристом снегу,
с веточкою надломленной.

Останься, чтоб я возвратиться могла
в юность из этих лет.
Какой я счастливой тогда была,
каким был широким свет.

Я помню, по тропке бежала к тебе.
Звонили колокола.
Казалось, навстречу бежала судьбе.
Какой я наивной была!

Не сон ли чудесный приснился нам?
На том, на том берегу
тебя от меня закрывает туман.
А я всё бегу и бегу...

Сумерки

Уже не день, ещё не ночь —	тьма наступает неизбежно.
есть тайна в сумерках вечерних,	И в этой поступи сквозной
когда, пытаясь превозмочь	всё тает: тропка, лист резной
осенних зарослей свеченье,	и куст прибрежный...

* * *

Был покладист ты, нежен	Стал и жёстче, и резче
и распахнут для мира...	твой прерывистый слог,
Нынче город заснежен,	будто первый ответчик
и молчит твоя лира.	ты за то, что не смог

Словно выстудил город	зло и лихо отвадить.
всё в ранимой душе.	Неспокойно душе,
И пронзителен холод —	будто что-то наладить
нестерпимый уже.	невозможно уже.

По ту сторону

1

По ту сторону судьбы
все несбывшиеся встречи.
Путь незнанием отмечен
по ту сторону судьбы.

2

По ту сторону любви
расстояния безбрежны,
расставанья неизбежны
по ту сторону любви.

3

По ту сторону добра
искажённое пространство,
и такое окаянство
по ту сторону добра.

4

По ту сторону тоски
тихо светится улыбка,
и сиянье её зыбко
по ту сторону тоски.

5

По ту сторону зари
распустила хвост Жар-птица.
Как и мне, и ей не спится
по ту сторону зари.



ГЛЕБ БОБРОВ

Битва за Санжаровку

Грузно осев прожжённой, разодранной в клочья литой броней в грязный талый снег, некогда грозный Т-64 напоминает сейчас скорее развороченную братскую могилу, нежели боевую машину. Останков экипажа здесь уже нет, но с правой стороны люка оператора-наводчика выгоревшей башни заметны грязные, шелушащиеся под январским солнцем дымчато-чёрные потёки.

Это — жир. Сгоревший человеческий жир.

Его запах до конца жизни будет преследовать всех тех, кто выжил в Санжаровской мясорубке — битве за высоту 307,9 — одну из ключевых точек в создании «Дебальцевского котла».

Если попавшие в окружение части ВСУ и наёмников разгромят, а к этому есть все предпосылки, то украинская армия потерпит поражение в зимней кампании, которая, скорее всего, станет поражением и в их войне против восставших республик Донбасса.

А значит, были не напрасны жертвы бойцов и офицеров отдельного механизированного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики.

Высота 307,9 находится на юго-западе от маленького села Санжаровка Артёмовского района Донецкой Народной Республики. Однако сражаются здесь луганчане — отдельный механизированный батальон Народной милиции. Сами они называют себя «Батальон им. Александра Невского». Также эту часть называют «Батальоном Плотницкого» (часть формировалась под его патронатом в бытность Игоря Венедиктовича министром обороны ЛНР). Или еще короче — батальон «Август», в честь Августовской иконы Божией Матери — почитаемой иконы Богородицы, написанной в память её явления в 1914 году русским воинам перед Варшавско-Ивангородской операцией в годы Первой мировой войны.

Само село ополченцы взяли с ходу и практически без боя. Отступив от населённого пункта, украинские силовики нанесли по Санжаровке массированный удар из всех имеющихся у них в наличии артиллерийских систем.

Пострадали только мирные жители. Прямым попаданием 120-миллиметровой минометной мины был разрушен дом, девочка-подросток получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Ребёнка удалось экстренно эвакуировать. А батальон стал готовиться к штурму господствующей высоты.

На стратегически важной высоте 307,9 вооружённые силы Украины создали настоящий укрепрайон. Украинские танки «Булат» (модернизированный советский Т-64) стояли в капомирах. Перед высотой на танкоопасных направлениях созданы накрытые сетями 3D танковые ловушки. На самой высоте врытые в землю железнодорожные вагоны, перекрытые в два наката сверху железобетонными плитами и землёй. Отрыта сеть инженерных сооружений полного профиля. Сама оборона была значительно усилена контингентом польских наёмников.

* * *

25 января 2015 года в 6.30 началась артподготовка, которая, к сожалению, мало что дала — слишком серьёзно окопались. Наёмники восприняли обстрел буднично, за что впоследствии

и поплатились. Первым, скрытно обойдя высоту, около 9.00 на позиции противника вылетел танк Михаила Савчина с позывными «Монгол». Один из вражеских экипажей в это время беспечно курил на броне — ведь обстрел же «закончился»! За что и был расстрелян в упор.

Тем временем остальные танковые взводы с нескольких направлений пошли на штурм высоты. Непосредственно командовал наступлением на поле боя командир танковой роты Александр Карнаухов. Завязался встречный танковый бой. Потеряв несколько единиц бронетехники, противник откатил назад. Наши машины выскочили на высоту 307,9 и буквально стали закатывать под бетон деморализованных наёмников. Ранее отошедшие украинские танки пошли в контратаку. Ополченцы к тому времени практически полностью израсходовали боекомплект. Начали откат. Отход штурмовой группы координировали Александр Карнаухов и командир танкового взвода Дмитрий Роговский. Откатывались уступами, загораживая друг друга. По фронту их прикрывал танк Монгола.

Есть такой закон войны: «Идёшь первым — отходишь последним». При этом в серьёзном бою шансы выжить стремятся к нулю. Первая ракета ПТУРС (противотанковый управляемый ракетный снаряд) ударила танк Савчина в область башни. Спасла динамичная защита, но танк встал. Следом, в другую полусферу, ударил ещё один гранатомётный выстрел. Танк загорелся. Комбат дал приказ покинуть горящую машину. Экипаж приказ не выполнил. Танк продолжал бой, раз за разом, словно тяжёлые дубели, вколачивал в наседавшую бронетехнику противника. По радиации слышен был крик Михаила: «Прикрою, мужики! Отходите!» и далее: «Это вам за Семёновку!», и новый танковый выстрел. После третьего прямого попадания ПТУРС жирно чадящий Т-64 Монгола запылял всюду, но сделал ещё как минимум два прицельных выстрела. Экипаж, сторажившись, вёл бой. Успевшие отойти бойцы батальона не могли сдержать слёз.

Сразу после отхода по батальону был нанесён массированный артудар, раненых прибавилось. На оставленной высоте горели танки. Поле боя, словно траурной пеленой, покрылось чадом пожарища.

* * *

Потери противника: три танка «Булат» полностью сожжены, несколько танков ВСУ повреждены, однако степень поражения и их ремонтпригодность по понятным причинам установить пока невозможно. Также сожжены две БПМ-2 и два БТР-80. Противник, в основном наёмники, потерял порядка шестидесяти человек убитыми и ранеными.

Потери ополчения: два бойца погибли, пять бойцов ранены (в основном в результате артобстрела после боя) и пять человек на сегодня числятся пропавшими без вести (экипажи двух танков). Два танка потеряли непосредственно на высоте (одному механику-водителю удалось вернуться). Два танка попали в замаскированные танковые ловушки, однако без серьёзных повреждений. Среди раненых — герой этого сражения, командовавший наступлением непосредственно на поле боя, Александр Карнаухов. Тяжёлые ранения в обе ноги, угроза ампутации. Врачи не оставляют надежды.

* * *

Павший смертью храбрых Монгол — командир танкового взвода Михаил Евгеньевич Савчин. Сорокалетний уроженец Луганщины, родом из городка Зимогорье, видимо, в прошлом шахтёр — рассказывать о себе не любил, а теперь уж и не расскажет.

Тридцатилетний командир танковой роты Александр Карнаухов, шахтёр из Краснодона. Ещё один герой — командир танкового взвода Дмитрий Роговский — 50 лет, шахтёр из Лисичанска. Комбат — пятидесятилетний Александр Костин, в прошлом майор Ракетных войск стратегического назначения Советской армии, бывший шахтёр. Все офицеры, все жители Луганщины, все шахтёры — взрослые, состоявшиеся мужчины, вставшие на защиту своего края.

А с той стороны фронта? Обманутые мальчишки с Волыни, Житомира и Львовщины. Отморозки из Правого сектора, Нацгвардии и фашистских территориальных батальонов, вобравших в свои ряды деклассированных элементов, криминалитет и новоявленных нацистов. Наёмники из Польши и Прибалтики.

Битва на высоте 307,9 показала, на чьей стороне будет победа. Ибо победа всегда на стороне правого.

Дорога мщения Женьки Ангары

На её шее тонкая серебряная цепочка с небольшим православным крестиком. Вокруг распятия ещё одно украшение — колечко. Она говорит «обручальное». Да вот только не серебряное оно. Это кольцо с чекой от гранаты. Однако девчонка не врёт, они действительно с этими кольцами венчались в церкви. Ведь вначале, словно у библейского Иова, война напрочь разрушила всю её жизнь и семью. Разбила вдребезги привычный мир. Отобрала мужа. Потом разнесла в клочья отца с братом. Причём буквально. Теперь Женька склеивает свою жизнь по кусочкам. И первым подарком Судьбы стало обретение любимого человека. Почему и знак их обета так суров — с вырванной чекой не шутят...

Большая семья

Родилась Женька восемнадцать лет назад в трудящемся зажиточном селе на тысячу дворов в самом центре благословенного Станично-Луганского района. Семья дружная и большая. Мать, отец и дети. Десять детей. Кроме старшей тридцатилетней дочери, все погодки возрастом от 10 лет. У первой дочери давно уже своя и тоже многодетная семья: всего шестеро — четверо своих и двое приёмных. Женька у матери вторая по старшинству.

Говорит, жили дружно, не тяжело. Все обязанности в семье поделены, все работают наравне.

Мать, Людмила Юрьевна, бухгалтер, всю жизнь проработала в сельсовете. В 2009 году её наградили званием «Мать-героиня». Помимо домашнего очага считает своим долгом дать детям приличное образование. И это не только выполненные вместе с родителями домашние задания на «отлично», но и музыкальная школа, куда приходилось возить детей за пятнадцать вёрст, и последующая учёба, к коей готовят каждого.

Отец, Анатолий Леонтьевич, в свои 55 лет прошёл долгий путь от танцора Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа, в составе которого он объездил полмира и весь Советский Союз, до ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, о чём он так не любил вспоминать. Последние годы занимался сезонной работой на стройках, зимой числился в котельной, плюс вёл домашнее хозяйство — нормальная, размеренная жизнь военного пенсионера. При этом главным стимулом для него всё же были дети. Только потом они поняли, что отец поменял свою карьеру на семью. Детвора его безумно любила, и он к каждому пытался найти свой подход. Действительно, был талантлив — прекрасно пел, играл на гитаре, но главное, служил, что называется, пастырем в семье. Таким оказался его духовный выбор — многие годы считался не последним человеком в местной общине евангелистских христиан-баптистов. Однако для остальных выбор оставался свободным. Мать — православная. Женька также считает себя православной, притом, что церковной жизнью не живёт, хотя исповедуется и причащается.

Учились хорошо и в удовольствие. Сама Женька, как и её брат-погодок Лёша, пошла в школу с пяти лет. После школы окончила колледж технологии и дизайна. Сейчас поступает в педагогический университет и вновь на делопроизводство.

Первые блокпосты

Семья из религиозных соображений всегда была абсолютно аполитичной. Когда в стране начался Майдан и гражданское противостояние, молились и ни во что не вмешивались. Отец говорил: «Мы ни за правых, ни за левых». Он и ранее принципиально не ходил на выборы, тут же и подавно «в политику не вмешивался». Однако политика сама вмешалась — впёрлась обеими ногами в жизнь этого дома: вначале бунт и государственный переворот в Киеве, потом гражданская война в Донбассе.

Женьке крепко запомнился один момент из этих первых дней. Когда киевские силовики дошли до самого Луганска, на блокпостах под Станицей встал «Айдар». В тот день Анатолий Леонтьевич забрал в Станице детей из музыкальной школы и повёз домой. Их битком набитую «Славу» остановили. Проверили. Упырок в камуфляже потехи ради гаркнул в открытое окно: «Слава Украине!» и замер в ожидании. В машине молчали. Он повторил. В ответ упрямое молчание пяти пар растопыренных детских глаз. Айдаровец взбеленился:

— Чи не знаете, шо надо отвечать?! Говорить надо «Героям слава!» Понятно?!

И вновь упорная тишина. Отец сидел прямо и смотрел вперёд. Женька говорит, что отчётливо видела его побелевшие костяшки на сжатом руле.

Вояка начинал сатанеть — сунул в салон машины автомат и как-то неожиданно тонко, срывая голос, провизжал: «Слава Украине!!!» И тут случилось нечто: хорошо поставленный хор детских голосов слажено ответил: «Слава Богу!» У потового случился культурный шок. Он завис, потом, неловко стушевавшись, промямлил в ответ: «А... Ну, тада, спасибо...» И потом, чуть просветлев взглядом, неожиданно добавил: «Езжайте с Богом». На этом блокпосту к ним больше не приставали.

Позывной «Ангара»

Перед войной у Женьки был девичий роман. Общались с парнем почти три года, правда, в основном по телефону. Весной 2014-го она окончила свой колледж. Мир уже летел в тартарары. Планы на будущее по своей обдуманности напоминали «русскую рулетку». В этих условиях они вдруг впопыхах расписались, хотя родители были категорически против. Следом, с началом боевых действий и первых обстрелов, она уехала жить к свекрови в Курск. Устроилась на работу в ателье, но всё как-то не задалось, и к сентябрю, с окончанием активных обстрелов, молодая вернулась домой.

Возвращение вышло шокирующим — тут она впервые напрямую соприкоснулась с войной. Дорога из Счастья до Станицы заняла более трёх часов — езда черепашьим шагом с постоянными остановками и изматывающие, унижительные «шмоны» на каждом украинском блокпосту. Да ещё на большаке, прямо позади их автобуса начался бой. За малым к ним «не прилетело». Приехала же — словно высадилась в пустыне. Людей нет, маршрутки не ходят, попуток тоже не видно — без машин вообще, пустая дорога. Притом, что добралась до Станицы под вечер, часов в шесть. Вокруг гнетущий антураж — пустые дома, много разрушений и зияющих провалов выбитых окон, безлюдные улицы. Мысли соответствующие: «Ну всё, попала. Стою одна, связи нет. В Станице, знаю, орудует Нацгвардия. Смеркается...» — вспоминает Женька.

Спас сосед, каким-то чудом оказавшийся в нужном месте, в нужное время. Не без приключений добрались до родного села — по дороге их тормознули на очередном блокпосту и не хотели пропускать. И лишь увидев дату рождения (дело было на следующий день после именин), айдаровец смиростивился, через губу поздравил с «прошедшим» и пропустил.

С молодым мужем жизнь тоже не сложилась. Он оказался инертным наблюдателем, считал, что надо находиться, как можно дальше от происходящего. Мол, «дурных нема подставляться — разберутся без нас». Её воротило от этой позиции: «Почему за меня должен решать кто-то? Это моя жизнь. Это мой город. Это моя страна...» Сама же тянулась к друзьям-ополченцам — вчерашним ребятам из Камброда, рядом с которыми она жила у своей тётки и бабушки в годы учёбы в колледже.

Да и в целом неглупая девчонка прекрасно видела и понимала, что сделали с её го-

родом. Как он пострадал от варварских, неоправданных обстрелов. Знала, как выживали люди. Не раз сама сталкивалась с киевскими силовиками. Слетающие с её языка термины: *укропы, каратели, хунта, фашисты и полицаи* — не ругательства, а осмысленные выводы сложившегося мировоззрения.

Тем временем отец продолжал поддерживать семью. Работал, возил в блокадный город молочные продукты. И на блокпостах айдаровцев, и на позициях ополченцев всегда оставлял молоко и брынзу. Не в виде дани или задабривания «человека с ружьём». Он просто жил по Писанию. Для него действительно не было «ни элина, ни иудея», а лишь только люди, разделённые и озлобленные войной. Зная об этом, его уважали бойцы по обе стороны фронта. Один раз такое отношение спасло и Женьку. Ведь она, даже начав сотрудничать с ополченцами, всё равно еженедельно моталась к своим — в семью. На одном из досмотров у неё как-то обнаружили георгиевскую ленточку. Было всё — угрозы, оскорбления, маты, но дело не дошло даже до побоев: «Та це ж дочка Леонтьевича». Отпустили.

Вскоре она начала уже всерьёз помогать бойцам батальона «Заря». В ответ дома начались ежедневные скандалы. Девчонка упрямая — заступила в «Заре» на службу у КПП. У мужа начались форменные истерики. Она ушла. Сказке конец. Так Женька стала «Ангарой».

Казак удалой

В «Заре» она помогала ребятам, занималась делопроизводством, имела выход в Интернет. Там, в социальных сетях, познакомилась с Виктором — российским добровольцем, бросившим неспешный бизнес в Питере и с июля 2014-го сражавшимся под Луганском. Получивший уважительный у казаков позывной «Дон», он все эти месяцы, что называется, не вылезал из самого пекла. К осени он уже дорос до командира взвода казачьей сотни, стоявшей под Станицей.

В перерывах между дежурствами на переходе через мост, удержанием рубежей и постоянным «боданием» с противником, Дон всеми правдами и неправдами создавал ударное противотанковое подразделение: доставал, выменивал, выпрашивал ПТУРЫ и гранатомёты, находил и переманивал специалистов, обучал и обкатывал людей. Знакомая с азами штабной работы, Женька тут как раз пришлась ко двору. Умения работать с картами в google maps, компьютерные навыки и основы делопроизводства выгодно отличали её от большинства казаков-ополченцев, а тем более бывших станичников, коих здесь служило немало.

Бои под Дебальцево застали Ангару в расположении сотни — девчонку от души заваляли штабной писаниной. Дон не вылезал с передовой. Общались по телефону. С каждым разом общение становилось продолжительней. Их все больше и больше тянуло друг к другу.

К весне дороги домой не стало. К тому времени по селу поползли слухи, нашлись dobroхоты, и Женьку «сдали». Сейчас она спокойно констатирует: «Ну, и в войну же были полицаи, как без этого?» Но тогда мать по телефону настрого приказала: «Домой не приезжай. Пошли за тебя разговоры. Схватят».

В конце мая им дали кратковременный отпуск. Поощрили. Они с Доном решили смотаться на неделю в Крым — хоть одним глазком заглянуть в счастливое будущее. Религиозный и глубоко патриархальный отец эту идею не оценил. Женька до сих пор не может без слёз вспоминать свой последний с ним разговор. Так и съездили. Знать бы...

Дым над тропой

31 мая, в день Святой Троицы Анатолий Леонтьевич, взяв 17-летнего Алексея и 14-летнего Данила, поехал на торжественное богослужение в Луганск. Хотя украинские силовики и обещали всех пропускать на Троицу, переход гражданским лицам в день большого религиозного праздника оказался наглухо закрыт. Безрезультатно простояв больше часа, мужчины направились к своему знакомому, тоже члену общины, в Кондрашовку и там провели домашнее богослужение. Уже оттуда решили всё равно пройти в Луганск: родня, церковь, как же так — Троица ведь?!

Из Кондрашовки вела укромная тропинка, о которой, впрочем, все знали. Люди по ней ходили, хотя военные всё время грозились её перекрыть. Но отец решил пойти посмотреть, есть ли путь в город.

Около полудня Лёша позвонил домой, сказал, что, дескать, всё нормально, богослужение закончилось, они уже собираются домой. Потом долго никто не звонил. Материнское сердце что-то почувствовало, она набрала, мол, вы где? И вновь ответил Лёша:

— Мам, мы уже идём, хотим посмотреть тропинку, можно ли будет пройти? Сегодня, говорят, мирные здесь ходили, значит, и мы сможем.

Так они и пошли: впереди любознательный Даник, за ним отец, замыкал Алексей. Поговорив по телефону с матерью он, приотстал, как говорится, по малой нужде, буквально, на десять шагов. Это-то его и спасло. Грянул взрыв. Не растяжка. Рванул фугас или тяжёлая мина, на которую наступил Данил. Мальчика буквально порвало взрывной волной в клочья. Отца тоже сильно покромсало осколками, но он ещё непродолжительное время был жив и даже находился в сознании. Улыбался, пытался успокоить старшего сына и говорил: «Я — к Богу!» Сам Лёша не пострадал. Он кинулся на автостанцию звать на помощь. Люди пришли. Тела собрали. Отвезли в морг. Всё.

Когда забирали, по дороге из Станицы в родное село на одном из блокпостов нарвались на отморозков из Нацгвардии. Вначале вояки прицепились к гробам:

— Что в гробах?! Перевозите или пустые?

— Нет, не пустые. На похороны едем. Вот справки и свидетельства о смерти...

— Плевать! Открывайте...

Заставили открыть. Потом начали проверять документы и сличать их с изуродованными останками. Всё это сопровождалось смехом, издёвками и глумливыми комментариями:

— Что?! На ту сторону захотелось, к сепарам! А вот нечего шастать! Получили, что хотели.

Особо «воякив» повеселило, что младший не дожил месяца до своего пятинадцатилетия. Одним словом, оттянулись хлопцы на славу. Всей процессии — убитой горем матери, бабушке, тёткам и прочей родне доходчиво рассказали, что Нацгвардия думает про горелую вату, колорадов и порционные куски сепаратистов.

Дети очень тяжело перенесли трагедию. Дима, брат-близнец погибшего Данилы, две недели не мог есть, нормально спать, не заходил в комнату, где они жили с Даником. Не менее тяжело перенёс утрату и Лёша. Про мать и говорить нечего...

Месть — не женское дело

После гибели родных Женька забыла о былом миролюбии и отцовском нейтралитете. Если раньше война не касалась её лично, то теперь она знала, что назад дороги нет. И понимала, кто должен ответить за отца и брата. Практически сразу разведка казаков выяснила, что мину поставили днём, когда в направлении Луганска уже прошли первые люди. Поставили специально, с единственной целью устрашения — отвадить упрямых станичников «шастать» в осаждённый город. В город, в котором у большинства были родные, работа. Город, без которого Станице, накрепко завязанной на Луганске всеми жизненными и экономическими связями, попросту не выжить. После глумления над останками Данила и отца, после крови, ужаса и страха всей войны она хотела мести, хотела крови. И главное, у неё оказались не только причины, но и возможности конкретно взыскать по этому счету — такое не прощают.

Однако тут вмешался Дон. Он чётко сказал: война дело не женское, а вендетта, тем паче, традиционно дело мужчин. Слово с делом у доросшего до начштаба батальона ополченца не разошлось аж ни разу.

Вскоре наблюдатели вычислили хитрую усадьбу на окраине, в которую повадились наведываться увешанные оружием бородачи в дорогом натовском камуфляже. Идентифицировать чеченцев из батальона им. Джохара Дудаева особого труда не составляло. В один из дней, когда в усадьбу заехала особо представительная делегация, следом за ними в окно прилетел реактивный снаряд ПТРК «Фагот». Что может натворить противотанковая кумулятивная ракета в закрытом помещении, военные понимали хорошо. Для того и посылка.

Перед операцией Женька от руки написала на небольшой бумажной ленте пару слов пожеланий оккупантам, подписала свой импровизированный транспарант: «За папочку!» и по-девичьи аккуратно приклеила его широким скотчем к пусковой трубе ракетного комплекса. А после операции, просмотрев видеоотчёт, спокойно отметила:

— За Даника тоже будет. По-любому...

Сама Ангара, кстати, боевого оружия в руки не берёт. При штабе оно ей ни к чему, а на позициях обходится «Макаровым», по штатному расписанию положен. Однако за спиной у этой девчонки достаточно людей, которым по силам решить её проблемы. Эта ещё одна семья, на это раз — фронтовая. И не только в переносном смысле этого слова.

14 июля сыграли свадьбу. Расписываться не стали: «Кому нужны эти формальности!» Ответ держали лишь перед Богом — венчались в Николаевской церкви. Перед событием невесте сшили корсет из камуфляжа и нашли настоящую фату. У Дона вообще из всей одежды один потёртый маскхалат. Так они и пришли в храм. А вместо обручальных колец подошла чека от гранаты.

— Мы нашли друг друга на войне, полюбили, венчались. Потому и решили такой знак себе взять, — говорит Женька. — Но это не знак смерти. Мы будем жить. Останемся здесь — это наша земля, родная. Никому не отдадим и убегать никуда с неё не станем. Витя хочет завести пасеку. Я буду учиться, обязательно поступлю и закончу институт. Буду работать. И, конечно же, у нас будет столько детей, сколько Бог даст. Хоть десять — опыт есть.

Три пули разведчика Унгера

Посреди письменного стола лежит маленький марлевый квадратик, точнее, операционный конверт, в который завернута пуля калибра 5,45 мм. С виду мелкая и неказистая. Самая последняя из трёх и — самая проблемная. Я её видел раньше, правда не так — вживую, а на рентгеновском снимке, где она, словно стартующая ракета, застыла острым кончиком вверх, аккуратно, между позвонками шейного отдела и гортанью. Тогда, пробив под острым углом обвес и срикошетив о пластину бронежилета, она вошла в тело, пройдя сквозь рёбра ниже подмышечной впадины. Перебив по пути ключицу, каким-то чудом кувыркнувшись меж сонной артерией, позвоночником и яремной веной, она остановила свой путь в мягких тканях горла.

Именно из-за этой «пульки» моего собеседника хоронили трижды: вначале киевские каратели, принявшие в оптику прицелов недвижимое тело за 200-го «ватника». Потом однопольчанин, встретивший вышедшего к своим полумёртвого бойца как посланника с того света. И, наконец, врачи легендарной питерской Военно-медицинской академии им. Кирова, где эту пулю наконец извлекли. И лишь потом, после успешной операции, сказали: «Саша, мы не хотели тебя пугать, но раз всё обошлось, то знай — с такими ранениями не живут».

Мебельщик

Началось всё сорок лет назад в далёком августе 1975 года в городке Свердловске Ворошиловградской области — в простой советской семье родился маленький Саша Унгер. Обычный город, обычная семья. Отец — милиционер, как мог боролся с экономической преступностью. Видимо, боролся эффективно, так как был предательски застрелен ночью 1979 года. Удивительно, но сын, несмотря на возраст в четыре годика, помнит тот прощальный папин поцелуй, когда отец заступил на своё последнее ночное дежурство. Утром пришли сослуживцы и принесли страшную весть. Мать, инженер-конструктор ряда промышленных предприятий Свердловска, одна тянула семью. Надорвалась — в 2004 году ей удалили почку. Сейчас пенсионерка, инвалид II группы.

Мальчик звёзд с неба не хватал, но и не бездельничал — добротная середина и самая рядовая биография донбасского школьника: учился без провалов — «хорошист», активно занимался спортом. Как юный рапирист, выступал на городских соревнованиях. Позже увлёкся боксом, правда, уже не для спортивных достижений, а ради умения защитить себя и близких.

После школы поступил в Международный институт управления бизнеса и права на базе Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет. — *Прим. ред.*). Однако из-за серьезных семейных обстоятельств, окончить университет так и не удалось.

Пока учился, подрабатывал водителем. Потом полученные знания и упорство помогли занять управленческие должности на ряде промышленных производств — работал на кирпичном заводе и заводе автоклапанов.

С 1993 года перебрался в Луганск. Женился, а в 2000 году у Унгеров родилась дочь Елизавета. Родители вкладывались в ребенка как могли — образовательные кружки, танцы, спорт. Сегодня она успевающий в учёбе, образованный и развитый подросток.

В 1998 году Александр решился начать свой бизнес. Много и тяжело работали. Как он образно говорит, «да, пахали, но ведь на себя!» Делали мебель, столярные изделия, инкрустации из шпона. При этом производство было социально ориентированным: продукцию выпускали массовую и недорогую, неимущим и малообеспеченным делали серьёзные скидки, со своих работяг три шкуры не драли. Результат при такой бизнес-модели был вполне прогнозируемым: крепкое производство практически не развивалось и рынка не захватывало, а собственник ездил на скромной машине ВАЗ 2121 «Нива», от которой впоследствии и получил свой боевой позывной: Саня «Нива». Бизнес Унгера устоял, но сама страна рухнула — началась война.

Доброволец

В ноябре 2013 он со своим напарником поехал в Ровно заключать договор с заводом-производителем исходных материалов для мебельного производства. Возвращались 20 ноября, в самый разгар майданных страстей. До вечера блукали, пытались проехать Киев. Там, говорит, он воочию увидел первые признаки национального беснования. Страна день за днём слетала с катушек. Уже в феврале 2014-го в Луганске бывшие бандюги, в очередной раз срочно перекусавшись в новые политические цвета, устроили стрельбу в самом центре города.

Сегодня Александр рассказывает о том времени так: «Все происходящее я воспринимал как чистое безумие. Почему никто не хотел замечать очевидного — попрания наших безусловных прав? Права на язык, на веру, на родственные отношения с братской для нас Россией. Почему отстаивание своих исконных прав и свобод или, например, то же неприятие наглого переписывания истории с их стороны воспринималось как тяжкое преступление? И главное — ведь с нами никто даже не пытался разговаривать. Ведь ни разу! Нас просто пришли тупо ставить в стойло! Ну, конкретно, как скот!»

Тем временем кровавый шабаш нарастал, ежедневно повышая ставки. Корсунь. Запорожье. Потом Одесса. И вот Луганск — бомбоштурмовой удар по зданию областной государственной администрации. А следом, ещё кровь на ступеньках не остыла, как стеной поднялся неистовый свидомый вой и циничные вопли СМИ о взорвавшемся кондиционере. Это и стало последней каплей. Унгер понял, что всё, мира не будет. На следующий день после удара по обл администрации он пошёл записываться в ополчение.

На тот момент в Луганске насчитывалось всего два легитимных боевых подразделения: батальон «Заря» и военная комендатура. Унгер, не выбирая, просто пришёл и записался в разведку, подчинявшуюся комендатуре. Вскоре начались боестолкновения. И тут, как и на любой войне, разведподразделения, по умолчанию, оказались на самом острие. В критических моментах, как например в летних боях обороны Луганска, их стали бросать на усиление — в первую линию, в самое пекло.

Вместе с бойцами разведки Унгер принимал участие в боях за Металлист, Юбилей-

ный, Сабовку, Георгиевку. Ко времени стабилизации фронта они уже, в основном, ходили в глубину линий противника: вскрывали координаты обстреливающих Луганск артиллерийских батарей противника, фиксировали точки расположения складов, транспорта.

Были и нестандартные задачи. Так, Александр участвовал в захвате выживших лётчиков самолета Ан-26, сбитого в районе Давыдо-Никольского. Одного пилота взяли местные Краснодонского ополчения, а вот второго — как раз разведчики комендачей. Причем взяли в буквальном смысле слова: скрутив при попытке застрелиться. К уроженцу Винницы, бортмеханику Сергею, потом приехала мама — Мария Васильевна. Прибыв в подразделение комендантского полка, женщина была просто ошарашена. В медицине это называется «когнитивный диссонанс», а на улице «разрыв шаблона» — её ожидания и реальность вошли в неразрешимое противоречие. Бедная женщина, уже оплакивающая своего наверняка кастрированного и безусловно изувеченного «сыночку», увидела того в полном здравии — сытого-умытого, одетого в новенькую гражданскую одежду. А ведь она морально уже была готова лицезреть толпы озверевших русско-башкирских спецназовцев и, главное, украинскую страшилку номер один: злобных чеченов, непрестанно насилующих женщин и детей.

Вместе с матерью пленного сына разведчики провезли по всему Луганску — показали город, разрушения, дали поговорить с горожанами. И... отпустили домой. Расставаясь, бортмеханик молчал, мать плакала. Когда их посадили в автобус, Сергей вдруг сказал: «Я за штурвал самолёта больше не сяду никогда. Клянусь!»

После на связь выходила его жена Людмила. Тоже плакала, тоже благодарила. Говорила, что если Бог даст им сына, то назовут они его в честь командира разведчиков Михаила Гончарова с позывным «Дубки». Правда, если случится такое, ему об этом уже не узнать — Миша погиб через полгода.

Разведчик

Тем временем сержант Унгер, что называется, не вылезал с передовой. В ноябре 2014-го в Станично-Луганском районе его группа выявила позиции ВСУ в районе Валуйского. В декабре они обнаружили склады в Камышном и Верхней Ольховой. По данным разведки Унгера и его группы, нашей артиллерией было уничтожено порядка 50–60 единиц бронетехники и артиллерийских установок противника. Все обнаруженные склады наши также накрыли. Офицеры-артиллеристы, имевшие за плечами советскую армейскую школу, смеялись: «Сань, тебе бы в Союзе уже с орденом Боевого Красного Знамени ходить, если б не Героем...»

В январе разведчики комендатуры успешно провели операцию сопровождения и обеспечения безопасности работы большой группы журналистов вдоль всей линии фронта — от Свердловска до Фашевки. Противодействовали вылазкам вражеских диверсионно-разведывательных групп, проходивших на снегоходах почти до ВВАУШа (военный городок бывшего военно-авиационного училища штурманов, юго-восточные окраины города. — *Прим. ред.*) и запускавших оттуда беспилотники ВСУ, ведущие безнаказанную артразведку. Потом по выявленным целям Луганск несколько дней расстреливали из «Градов» и «Ураганов». Не стало ДРГ противника — кончились и обстрелы.

Потом начались бои за Дебальцево.

Туда Саша попал 5 февраля. Комендантский полк держал правый фланг обороны стратегически важного посёлка Чернухино.

11 февраля ими была предпринята первая попытка провести штурмовую группу численностью до взвода. Унгеру поручили проводку этих двадцати четырёх бойцов. Входили грамотно — в стык между подразделениями ВСУ. Должны были занять оборону под мостом. Однако при заходе они обнаружили замаскированные позиции киевских силовиков: слева мощные огневые точки, а справа — танки, открывшие огонь прямой наводкой по соседям — ещё одной прорывавшейся группе, возглавляемой командиром комендантского полка Сергеем Грачёвым. Осознавая риск уничтожения, Унгер принимает решение об отходе и выводит из-под трёхчасового перекрёстного огня всех своих двадцати четырёх бойцов без единого убитого и раненого. До цели в тот раз не дошли буквально 300 метров.

В ночь с 11 на 12 февраля была повторная попытка завести штурмовую группу. Они первые вошли в окраинный посёлок Октябрьский города Дебальцево. Это была сборная в составе бойцов комендантского полка, батальона «Заря» и группы бойцов командира с позывным «Добрый». Следом под прикрытием нашей артиллерии вошла ещё одна штурмовая группа комендачей под командованием Сергея Новомлинского с позывным «Пуля». Заведя свои группы, Унгер с бойцами сопровождения вывел в расположение штаба полковника Грачёва и ещё несколько офицеров полка. А уже утром был получен новый приказ: проводка пешей колонны новобранцев с ящиками боекомплекта для вошедших в Дебальцево штурмовых подразделений.

Унгер был ведущий. Двое бойцов обеспечивали боевое охранение, и десять человек «шерпов» — необстрелянных носильщиков в караване боеприпасов.

В точке прибытия под мостом выйти на связь с встречающей группой не удалось. При этом отсутствие боекомплекта могло сорвать основную задачу штурмовых подразделений: доразведку позиций противника и ночной штурм с прорывом обороны в точках своих боевых задач. Оставить ребят без боекомплекта было равно предательству, и Унгер принял решение двигаться дальше. Два бойца успешно выдвинулись в посёлок и предупредили, что группа с боеприпасами идёт в Октябрьский.

Двигались скрытно, не обозначаясь. Первая двойка прошла удачно и вошла в точку прибытия. Следом Александр возглавил выдвижение основной группы.

Около 9 часов утра, не доходя до первой линии домов, они были накрыты массированным огнём. В первое мгновение на группу обрушился огневой шквал всех средств, имевшихся на позициях ВСУ, — миномёты, станковые и подствольные гранатомёты, снайперы и пулемётчики буквально смели редкую цепочку разведчиков. Унгер почувствовал глухой удар и, оставаясь в сознании, рухнул в снег. Им в целом повезло, если можно так сказать, что шли грамотно: рассредоточено, «тройками», поэтому-то и удалось избежать больших потерь. Помимо раненого Александра, один двадцатилетний боец Дмитрий был убит, сразу наповал. Остальные успели залечь.

Ребята стали кричать: «Саша! Дима!», но Унгер понимал, что они сейчас прекрасно видны в снайперские прицелы, и, не шевелясь, выкрикнул команду «Отход!». Те сразу не послушались, сидя в относительном прикрытии насыпи, кричали: «Комендатура?! Кто живой?!» Старший группы отвечал: «Не подходить! Держитесь от меня подальше!» И лишь когда вокруг стали плотно ложиться разрывы минометных мин и ВОГов (гранатометные выстрелы для станковых и подствольных гранатометов. — *Прим. ред.*), ребята на счет «три» рванули под огнём к спасительным постройкам. Завязался бой, длившийся до вечера. Киевские каратели поверили, что оба лежащих на открытой местности бойца мертвы.

300-й

Поначалу он притворился мёртвым, понимая безнадёжность своего положения. Потом начал замерзать. Временами путалось сознание, и он уже ощущал себя то убитым, то парализованным. Унгер не мог перевернуться, мешали два автомата, висевших на простреленном в нескольких местах правом плече. Неподъёмный бронежилет вдавливал в промёрзшую землю. Позже он поймёт, что этот тяжёлый «бронник» в общем-то и спас ему жизнь: помимо изначально приторможенной пули, натворившей с ним столько бед, на тяжёлой спинной бронепластине бойцы позже обнаружат несколько насечек и деформаций — она приняла на себя как минимум два серьёзных осколка.

Рядом на позициях ВСУ «под парами» стоял БТР, но противник не торопился выходить в простреливаемое поле. Но самой большой опасностью был холод. Саша согревался, разминал руки, сжимая-разжимая пальцы, напрягал мышцы тела, попеременно на счёт качая мышцы спины и пресса.

Он потом рассказывал: «Я прекрасно понимал, что если потеряю сознание или, не дай бог, провалюсь в дремоту, усну, то это всё — кранты. Где-то рядом, в сознании, держала Янка (имя жены. — *Прим. ред.*), а под сердцем грели мысли о дочери. Умереть сейчас — это как предать своих девчат. Вот я и работал, качал мышцами все эти 13 проклятых часов...»

Так Унгер продержался до темноты. Когда окончательно стемнело, попробовал перевернуться и... не смог. Поначалу, говорит, дико испугался, словно вспышкой смертной боли обожгло: «Парализовало!» Но потом отдышался и понял, что он просто примёрз к земле. Просто. Примёрз к земле...

Сантиметр за сантиметром он сбросил с простреленного плеча два автомата. Потом вытащил левой рукой отточенный штык-нож — срезал разгрузку. Также выгрызая по сантиметру, вырубил из смёрзшегося от крови снега и льда немую правую руку. Следом вырвал, вырубил ватные, чужие ноги. И пополз...

Сейчас он смеётся: «Полз вначале, как Маресьев в кино: в левой здоровой руке пистолет, нож на боку — вот и всё оружие. Ну, воин-разведчик, чё там...»

Дополз до насыпи, как-то перекатился да встал на корточках. Потом поднялся и побрёл, смутно угадывая направление. Чуть разогревшись, почувствовал ноги, пошёл более осмысленно. Двигался как пьяный, шатаясь, ежесекундно рискуя упасть и больше не подняться. Желание, говорит, было просто дойти, да и сам этот поход он вспоминает с очевидным содроганием — как пытку. Через два-три часа, счёт времени он давно потерял, его грубо окликнули: потребовали назваться, в ночи громко клацнули автоматные предохранители. Разведчик, каким-то иным, запредельным чутьем уловив, что это свои, ответил:

— Я из раненых комендачей. Унгер моя фамилия...

В ответ прозвучало обнадеживающее:

— Не гони, тварь... Унгера убили!

Значит, точно свои...

Стрелять сразу не стали — подошли, сняли капюшон и чуть не затискали в объятиях. Под мост спускался уже поддерживаемый с двух сторон однополчанами. Однако сил хватило лишь на этот последний рывок. Саша начал проваливаться и прямо сказал: «Мне не дойти...»

Воскресший

Далее всё вспоминается им через матовое стекло полузабытья — носилки, двести метров, чуть ли не бегом до машины. Полевой лазарет в Зорянке. перевязка, эвакуация, больница в Алчевске — там удалили первую пулю из правого плечевого сустава. Оттуда перевод в Луганскую республиканскую клиническую больницу, ещё одна операция — удалили вторую пулю, которую невозможно было заметить без аппаратного обследования из-за развившейся огромной гематомы во всю правую половину туловища. Там же нашли и третью пулю, извлечение которой в условиях блокадной республики, отсутствия набора узкоспециализированных инструментов и препаратов не представлялось возможным.

Поначалу он хотел переждать до окончания войны, ведь видимых неудобств засевшая в теле пуля ему по первости не доставляла. Разведчик прошёл полный курс лечения. Возвратился в строй. Александра Унгера торжественно наградили медалью «За отвагу» II степени. Он начал тренировать непослушную руку и потихоньку встраиваться в службу, но вскоре появились первые грозные симптомы. И главное, не оставляющая ни на минуту боль. Дополнительное обследование и приговор: «Без операции возможен частичный или полный паралич с непредсказуемыми последствиями. Пулю надо удалять».

Помощь пришла с неожиданной стороны. Первыми от командира полка, полковника Сергея Грачёва, о проблеме Александра узнали журналисты Государственного информационного агентства «Луганский Информационный Центр». Следом подключились творческие союзы. В ходе X Санкт-Петербургского международного книжного салона секретарь Правления Союза писателей ЛНР Андрей Чернов при посредничестве российских писателей провёл успешные переговоры с нейрохирургами Питерской Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Следом подключилась тяжёлая артиллерия: главные врачи двух Луганских научно-медицинских центров Олег Вольман и Александр Торба помогли с последними освидетельствованиями и документами, а министр здравоохранения ЛНР Лариса Айрапетян подготовила именное обращение к главе Военно-медицинской академии. Все финансовые затраты на эту командировку взял на себя трудовой коллектив одной мо-

сковской компании. Их руководитель — равнодушный человек, писатель, легендарный в среде прошедших Афганистан, Югославию и ветеранов ВДВ человек — как-то вскользь обмолвился перед коллегами о предстоящей операции. Вердикт сослуживцев был неумолим: «А почему это только вы хотите ему помочь? А мы что, Донбассу — чужие?!» Через неделю после операции Александр Унгер сидит рядом и рассказывает о будущем.

— Понимаешь, я с этими госпитализациями, переездами, перевязками и так много времени потерял. Ребята служат, воюют, я не могу выпасть из процесса. Война не закончена, да и без боевых действий работы тут на десятилетия. Нельзя мне из строя выпадать. Никак нельзя...

Слушая, записывая рассказ Александра, я думаю: и это что, реально таких людей победить?! Купить, прикормить печеньками с рук, прельстить кружевными трусиками, что там ещё обещали со сцены Майдана? Вот неужели на «той» стороне до сих пор нет понимания, что они столкнулись с окончательным выбором людей Донбасса? И любой язык силы здесь может решить лишь одну проблему: высвобождение невиданной энергии противостояния. Возьмём одну конкретную судьбу: жил себе, растил ребёнка и работал простой луганский мебельщик. Вы ему бомбардировку мирного города — он вам запись в ополчение. Вы ему «Едину Крайину» — он вам полсотни сожжённых единиц бронетехники. Вам мало?! Вы ему три пули в корпус и несовместимое с жизнью ранение — он назло вам выползает и становится в строй с непогашенным больничным. Так, может, всё же хватит повышать ставки?

ЕЛЕНА ЗАСЛАВСКАЯ

г. Луганск

Заметки на полях войны

Так рождается республика

Так рождается республика:
Кровь мешается с землёй,
Идут бои под Мариуполем,
И под Нижней Ольховой.

К малой ли, большой ли родине,
Ты поди-ка разберись,
Здесь и предки похоронены,
И детишки родились.

Вырастает Новороссия,
Выходя из бурь и гроз,
Нависает звёздным космосом
Наших былей, наших грёз.

И отдать и жизнь, и молодость
Я за родину готов,
Русь ли это, Новороссия,
Всё равно, но здесь мой дом.

Коль умру — взойду колосьями
Тёплых золотых хлебов.
Обо мне молись ты Господу,
Я воюю за любовь

Так рождается республика:
Кровь мешается с землёй,
Идут бои под Мариуполем
И под Нижней Ольховой.

Случается война

Случается война. Успеть.
Глаза в глаза. Вперёд, на вдохе,
В лицо не признавая смерть,
А только подвиг.
Хребты разбитых баррикад.
По звонку стрельба и пламя.

И круг за кругом новый ад
Владеет нами.
И причитанием плывёт
Звон колокольный.
И пуля, что во мне совьёт
Гнездо, уже в обойме.

Нас разделяют границы

Нас разделяют границы.
Линия фронта. Линия жизни.
Мы будем друг другу сниться —
Это всё, что осталось, ты слышишь?
Я ничего не забыла...
Но снова в который раз
Обрывается связь мобильная,
Остаётся сердечная связь.

Ни прощения, ни отмщения,
Только боль распиная грудь,
Не осталось путей сообщения,
Только Млечный Путь.
И по звёздам, что в небе светятся,
Через взорванные мосты
Я лечу к тебе, чтобы встретиться
У взятой тобой высоты.

Письмо

Дорогая Настя,
Если бы ты только приехала в этот город и увидела его!

Он, как птица с перебитыми крыльями.
Он, как самолёт в крутом пике.
Он, как человек с распахнутой снарядом грудью.

И в горле становится ком,
И мысли путаются,
И в глазах — солёное море.

Но я всё равно тебе пишу,
Чтобы ты хоть на миг увидела его лицо,
Постаревшее за одно лето войны
На много лет.

Дороги изрыты воронками.
Провода висят, как оборванные струны.
В стенах домов пробоины.

Открытые раны —
Пространственно-временные проломы
В прошлое, в мирное время,

Во время, когда
Мы были счастливы,
Мы были вместе,
Мы были...

Помнишь, как мы катались на велике,
Обгоняли маршрутки,
А люди махали нам из окон.

Помнишь, как мы писали картины,
И писали стихи,
И писали признания.

Ты написала на моей двери:
«Дай сердцу волю,
Заведёт в неволю».

Моё сердце блуждало.
Моё сердце блудило.
Моё сердце заблудилось
И никак не вернётся домой.

В моём доме без стёкол холодно,
Зато звёзды заглядывают прямо в квартиру,
Попить чайку со сгущёнкой.

Кошки возле домов сбились в стаи.
Вороны в парках кричат так,
Что слышно за километр.

Собаки-бродяги
Не бояться людей,
А, как и люди, бояться обстрелов!

Свечки и спички стоят дорого.
Мясо стоит дорого.
Молоко стоит дорого.
Но есть вещи совсем бесценные.

Люди говорят друг другу «Здравствуйте!»
И это приветствие обретает старый смысл,
Давно утерянный и затёртый.

Я знаю, что если я сегодня не отправлю тебе письмо,
Завтра может не быть света,
А может, и меня не быть,
Но засыпаю я всё равно счастливый.
И только по утрам мне всё ещё хочется плакать.

Настя, приезжай.

Заметки на полях войны

(связка писем другу для поднятия боевого духа)

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

А.С. Пушкин

1

Заметки на полях войны.
Окопная строка, в которую вписали
Солдат, как буквы.
Ты один из них.
И мой эпистолярный
Прочтёшь едва ли.
Может быть, потом.

Вернись живым.
И мы друг друга снова прочитаем
И перечтём.
Пусть память сохранит,
Как вырываясь из глубин гортани,
Как поцелуй, как лёгкое дыхание,
Живое слово нас соединит.

2

Заметки на полях войны.
Ты полон злой решимости, отваги,
Ты пишешь их, а я пишу стихи
Тебе, традиционно на бумаге,
И письма, не e-mail, а от руки —

Забывтое искусство древних магий
Творить из рифм и ритмов новый мир.
Ты воссоздашь его из словосочетаний,
Из почерка, как кружевной узор,
La lettre ouvre le secret du coeur.

3

Заметки на полях войны.
Что написать тебе, наследник Титуреля?
Ты думаешь, приходит наше время
Осуществить увиденные сны?
Но будем до конца честны,
Всё то, о чём нам ангелы напели,

Как гули, в изголовье колыбели,
Лишь гул, который мы
Разбить пытаемся на ямбы и хореи,
А разбиваем лбы.
Здесь Монсальват — громада террикона.
А чаша — это банка самогона.

4

Заметки на полях войны.
Жизнь, сделав поворот, меняет вектор.
Ты был филологом, поэтом,
А стал солдатом. Боевик
И террорист, как пишут СМИ.
Им в тон гудит Ахметка.

И мне на ум одна приходит мысль:
Что если ты стреляешь так же метко,
Как пишешь, — будет в этом смысл.
Умолкла муза. Снова перестрелка.
И я пишу тебе: «Держись».
Post scriptum. «Обнимаю крепко».

5

Заметки на полях войны.
Жизнь набело. Её не перепишешь.
Людская кровь не сок пунцовых вишен
И не чернила. Некого винить,
Кроме себя. Храни тебя Всевышний.
Мечтаю я: мы сядем визави,

И скажешь ты: «О нас напишут книжки.
И фильмы снимут, тоже может быть,
О том, как познают мальчишки
Кровавый жаркий вкус борьбы,
А девочки уже не понаслышке,
А наяву боль узнают любви».

6

Заметки на полях войны.
Ты говоришь мне, что у вас спокойно
И выстрелы пока что не слышны,
И умирать, наверное, не больно.
Ты говоришь, у вас там соловьи
И степь ковыльная колыхнется, как море...

А я читаю хроники в Сети:
Тот ранен, тот убит, тот похоронен.
И счастье, не успевшее войти
В мой дом, готово обернуться горем.
И я твержу любимые стихи:
«На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Чёрный хлеб

Долго не было беды. Долго.
Долго не было войны. Долго.
Успели дети подрасти.
Успели внуки подрасти.
А правнуки пока что не успели.
И сын сказал: «Я ухожу. Прости».
И внук сказал: «Я тоже. Отпусти».
И правнуки заметно повзрослели.
И снова кровь горячая лилась.
И Родина кроилась и рвалась.

И брат на брата шёл, а друг — на друга.
И стало чёрным молоко в сосцах.
И стала чёрной кровь в людских сердцах,
Как антрацит — наш краснодонский уголь.
Последний пласт. Из недоступных недр.
Наверх. Из самой преисподней.
История желает перемен
И крутит, крутит, крутит чёрный жернов.
Мы стали чёрным хлебом на войне,
А были... были золотые зёрна.

Эти русские

Эти русские мальчики не меняются:
Война, революция, русская рулетка.
Умереть, пока не успел состариться...
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом веке.

Эти русские девочки не меняются:
Жена декабриста, сестра милосердия.
Любить и спасать,
пока сердце в груди трепыхается...

В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом веке.

Ты же мой русский мальчик —
Война, ополчение, умереть за Отечество.
Ничего не меняется,
Ничего не меняется.
Бесы скачут,
А ангелы ждут на пороге вечности.

Я твоя русская девочка —
Красный Крест, белый бинт, чистый спирт.
В мясорубке расчеловечивания
Будет щит тебе
Из моих молитв.

А весна наступает. Цветущие яблони
Поют о жизни, презревшей тлен,
Так, будто они — православные,
Русские и после молитвы встают с колен.

И стала война раздавать имена

И стала Война	Воин?
Раздавать имена	— Много светлых имён
Героям.	Опалимы огнём
А Родина-мать...	Войн.
Ей пришлось замолчать	Много чистых имен,
От горя.	Но на каждом пятно
Он пал безымян	Крови.
В ковыль да бурьян	Много славных имён
В поле.	Мамы, папы нам дали.
— Как ты звать-величать,	Среди них и моё —
Как тебя поминать,	Поминайте, как звали...

ВИКТОРИЯ МИРОШНИЧЕНКО

г. Луганск

В лицо войне проклятие летит...

* * *

Война вошла в наш немудрёный мир,
Как острый нож в подтаявшее масло,
Вмиг превратив в бесформенную массу
Всех мирных полюсов ориентир.

Она детей лишила детских снов,
А стариков — их радостей немногих.
Вошла, ругнувшись грязно на пороге,
Не зная человеческих чувств и слов.

Вошла к больным и к тем, кто был здоров,
К святым и откровенным негодяям,
Чтоб у животных отобрать хозяев,
А у людей — спокойствие и кров.

Мы выстоим под артобстрелом зла,
Преодолев безумье убивавших,
И, слёзы утерев, помянем павших,
Собравшись у победного стола.

* * *

Ночь. Сожжена последняя свеча.
Храпят за тонкой стенкой оккупанты...
А балерина встала на пуанты:
Вся — лепесток на стебельке луча.

В слой пепла обратились города,
Не отыскать в них ни воды, ни хлеба...
Слепой художник пишет кистью небо,
Которого не видел никогда.

Напялив безобидности парик,
Терзают мир правители-уроды...
А старый доктор принимает роды,
Готов и жизнь отдать за первый крик.

Состав смертей покинул свой вокзал,
Промчалась гибель под секретным грифом...
Смычок порхает над точёным грифом,
И брызжут ноты, словно слёзы, в зал.

Ползёт войны безжалостный удав,
Оставив разрушенья и потери...
Пещерный человек рисует зверя,
Творцом себя впервые осознав.

* * *

Донбасс пылает, ошалев от жажды,
Крестами ошетичилась земля...
Теряю разум я — распят на каждом,
Присохшим языком не шевеля.

В который раз — страдания и боль,
Который век схожу с ума от боли...
Безмерная Отцовская любовь,
Прими и отпусти меня на волю!

Со мною — этих стариков, детей,
Простых людей обычного народа,
Сметённых злою волей — не Твоей!
На улицах, в домах, на переходах.

В лицо войне проклятие летит
Аккордом поминального обряда...
Земля невинной крови не простит.
Убийцам места нет с Тобой рядом.

* * *

Люди, пережившие войну,
Став немного сдержанней и строже,
Ощувив её дыханье кожей,
Долго не поверят в тишину.

Люди, пережившие войну,
Думая, что сделались добрее,
Как-то вдруг внезапно постарели,
Надорвав своей души струну.

Люди, пережившие войну,
Всякого, бесспорно, повидали...

Ничего... Вот только нервы сдали,
Побывав у паники в плену.

Люди, пережившие войну,
Обозначив жизнь свою пунктиром,
Каждый день у Бога просят мира,
Чтоб увидеть новую весну.

На пути в счастливую страну,
Оплатив проезд своею кровью,
С верою, надеждой и любовью
Люди, пережившие войну...

* * *

Я иду по непрочному льду.
Прогибается лёд то и дело,
А душа с растерявшимся телом
Расстается у всех на виду.

Я иду по непрочному льду:
Сердце как-то недобро застыло...
Я обратно вернуться не в силах,
И стоять не могу, на беду.

Я иду по непрочному льду,
Подгибаются в страхе колени,
В волосах оседают мгновенья,
Проводя седины борозду.

Я иду по непрочному льду,
И спина холодеет от пота,
И о чём-то прошу я кого-то,
Каждой клеточкой чуя беду.

Я, наверно, когда-то дойду,
И, лопатками в землю вжимаясь,
Припаду к ней, рыдая и каясь,
В полупьяном счастливом бреду.

И с нуля начиная отсчёт,
Снова жить научусь, улыбаясь,
Иногда по ночам просыпаясь,
Вспоминая тот треснувший лёд...

* * *

А знаешь, игры с огнём
В душе поселяют холод.
Я помню, как день за днём
Война разбивала город.

Посланниками беды
Снаряды кромсали небо.
А город просил воды,
Немного воды и хлеба...

Как без рекламных афиш
Сверкало шоу пожаров
Под хруст проломленных крыш
На вздыбленных тротуарах.

Оглохший, слепой, немой,
Он выжил в неравной битве.
Его укутал собой
Невидимый плащ молитвы.

А свист пролетающих мин
Был так ощутимо звонок,
Пылали костры машин
И свечи бензokolонков.

Теперь — не могильный склеп
Для заживо погребённых,
А — город, что встал, окреп,
Народом своим спасённый.

* * *

День ото дня — в который раз! —
Курком взведённым забавляясь
И наведя зрачок прицела
На обозначенные лбы,
Бесстрастно время щурит глаз,
Возмездия не опасаясь,
И в исполнение умело
Приводит приговор судьбы.

И плачет Ангел у крыльца,
Не сохранивший и не спасший,
Крылом стирая след погасший
Звезды, коснувшейся лица...

ВИТАЛИЙ ДАРЕНСКИЙ

г. ЛУГАНСК

Снаряд упал на перекрёстке...

Автобиография

Я пишу в отделе кадров Биографию. Изложить здесь нужно кратко Всю судьбу свою.	Встречи или расставанья — Словно не вчера, А случились сегодня, И любовь жива.
Но вдруг капнула слезинка На казённый стол. Написал меньше страницы — И вся жизнь, как сон.	Разболелась страшно совесть — Её не унять. Как же всё так получилось, Уже не понять.
Промелькнула перед взглядом, Словно смерть пришла И присела тихо рядом... Вот и жизнь прошла!	Так пронзает сердце болью Ветер вечности. Потерялся я невольно В бесконечности.
Аудитории, вокзалы, Горький алкоголь — И от этого осталась Лишь глухая боль.	Так прощай же, жизнь земная Скоротечная! По душе мне жизнь иная, Бесконечная.

* * *

Снаряд упал на перекрёстке
В толпу людскую. Вот и всё.
Лежат убитые так просто —
Они не здесь, им всё равно.

Их двадцать шесть — одним снарядом,
Всех, кто оказался рядом.

Взлетели мучеников души
Туда, где души предков ждут —
Будут они молитвы слушать
Всех нас, кто позже к ним придут.

А та украинская нелюдь,
Все те, кто к нам прислал снаряд,
Судьбу Иудину разделят,
К Бандере отправляясь в ад.

И мы, оставшиеся, знали,
Глотая горький едкий дым:
Теперь не время для печали —
Мы выстоим и победим!

* * *

Луганск под взрывы всё стоит в очередях,
Часами ждёт спасительную воду.
Давно уже здесь притупился страх,
И смотрят на войну как на погоду.

При свисте мин спокойно на душе,
Только прошепчешь: «Господи, помилуй!»
И сил надеяться как будто нет уже,
Но почему-то прибывают силы.

Здесь брошенные близкими живут,
И многие из них почти не ходят.

Здесь в тишине кромешной просто ждут
И счастье в ожидании находят.

Повсюду крик измученных котов,
Еле живых, покинутых, несчастных,
И им последнее отдать уже готов —
Для сердца не бывает жертв напрасных.

И всё это нужно принять как дар,
Наверно, это вспомнится как счастье...
Остыла жизнь, и вдруг такой пожар!
Светлей в душе, когда вокруг ненастье.

Осень в Луганске

Далеко за горизонтом,
Где-то за Донцом,
Дымных туч тяжёлый контур
Смотрит нам в лицо.

Канонад почти не слышно —
Фронт туда ушёл.
Город вновь зашевелился
И в себя пришёл.

Пусть не скоро до Победы
И тоска в сердцах,

Но народ в неё поверил
И забыл про страх.

Новороссия родная
За всю Русь стоит!
Родина наша такая,
Как звезда горит!

Только стыд сильнее гложет
Тяжко душу мне,
И всем тем, кто быть не может
На святой войне...

Помнишь?

Помнишь, друг, как было прошлым летом,
Как ревели установки «Град»?
Как попал в библиотеку
Тот большой украинский снаряд?

Помнишь ты то странное молчанье,
Тишину кварталов, площадей?
В свисте мин — последнее прощанье?
Наших простых оставшихся людей?

Помнишь, как смешались боль и счастье
В оскорблённых раненых сердцах?
Помнишь, как покинул в одночасье
Нас так надоевший страх?

Помнишь, как стояли над Луганском
Чёрные и злые облака?
Как в жару с водой катила тачку
Немощная бабушки рука?

Помнишь, ополченец скажет:
«Нужно ещё малость потерпеть»?
Помнишь, на душе отляжет,
Когда вновь отступит смерть?

Убьёт снаряд, возможно, этим летом —
Укропам мы это простим,
И, уходя, мы Бога встретим,
И просто с ними загрузим.

У сгоревшего БТРа

На поле в утреннем тумане
Чья-то закончилась судьба,
Главное, что не в обмане,
А что так рано — не беда.

Машина пламенем объята,
Взорвался сразу бензобак.
Не страшно погибать, ребята,
Коль погибать не просто так.

Здесь, на окраине посёлка
Попал в засаду экипаж —
Повоевать успел он сколько?..
И не укропский, явно наш.

«Вся эта жизнь — иной начало», —
Сказало сердце тихо мне.
И мне слова эти звучали,
Словно впервые на земле.

Отстоим!

Отстоим наш Луганск, так безумно любимый,
Город диких поэтов, задумчивых дам!
Отстоим наш Луганск непобедимый,
Это место святое я им не отдам!

Потому что у нас все навеки сгорают.
Здесь иначе не могут и не живут.
Люди наши здесь обретают
Свой последний, решающий путь.

Отстоим наш бесстрашный степной Севастополь!
Отстоим наш любимый родимый Донбасс!
Если час наш поистине пробил,
Совесьть нас не оставит сейчас!

Ветеранам Великой Отечественной

Вас почти уже не осталось,
И как больно вам уходить —
Вновь фашистская мразь восстала,
Чтобы Родину нашу убить!

Мы сумеем за вас ответить
И России подставим плечо.
Ваша жизнь нам навеки светит —
Не жалейте же ни о чём!

Все мы родом теперь лишь оттуда —
Из великой Святой войны!
Внуки выживших только чудом
С вечной Памятью обручены.

Радуйтесь вечно, герои наши!
И чем дальше, тем всё ясней
Светят в памяти души ваши
Для героев всё новых дней!

* * *

Сегодня мне приснилось лето —
Как странно так на Рождество,
Благоухание рассвета,
Цветов и листьев торжество.

Так сердце ждать уже не в силах
Преображение своё —

И пусть во сне, и пусть незримо
Видит иное бытие.

И в эту ночь, когда родился
Господь Спаситель на земле,
И сердцу робкому приснился
Венец пути в житейской мгле.

* * *

Смотрит кот человеческим взглядом,
Сам красивый — нет слов описать.
Не смотри так, Природа, не надо,
Всё равно нам тебя не познать.

* * *

Однажды в Киеве на площади весенней,
Там, где стоит и смотрит вдаль Сковорода,
Девчонка пела под гитару вдохновенно —
Я этой песни не забуду никогда!

Пел голос ещё робкий и тревожный
О том, кто научил её летать,
О той любви, которой невозможно
Ни позабыть, ни рассказать.

Такая мощь — дыханье океана —
Слетало с этих нежных губ!
Доверчивость самообмана
Пронзительнее самых грозных труб!

Подумалось: когда-то очень скоро
От наших песен не останется следа...
Но слово русское, родное
Прекраснейшим останется всегда!

* * *

Есть прелесть в увядании земли,
Есть наслаждение в болезни,
Есть ненависть в безумнейшей любви
И в опьянении — изысканная трезвость.

В каждом из нас — такая глубина,
Которой мы до ужаса боимся;

Нам память страшной вечности дана,
В которой мы когда-то растворимся.

Час тоски невыразимой!
Час, когда я сердцем нем, —
Миг судьбы неразделимой
Со вселенским бытием.

* * *

Снег и ветер. Русская тоска.
Фонарь качается, и улица пустынна.
Забудь про всё, почувствуй, как близка
Иная жизнь и как мгновенье длинно...

Забудь про всё — не стоят ничего
Волненья жизни, если покаянье —

Твердыня сердца твоего
И его высшее призванье.

И мне уже не жаль ушедших лет,
И мне уже не жаль былых стремлений —
Пронзает сердце бесконечный свет,
И тонет ум в бездонности мгновений.

ЛЮДМИЛА ГОНТАРЕВА

Г. КРАСНОДОН

Во степи солдаты без имён лежат...

* * *

Кто-то новые с радостью носит ботинки,
кто-то упорно копит на пальто...
У Донбасса в сердце сегодня льдинки,
наш Донбасс уютный уже не тот.

От ночного бдения устали веки.
Мы теряем в спорах своих друзей.
Если это истории новой вехи,
значит, каждое утро — большой музей,

где ещё находим по телефону
самые близкие голоса,
где молиться нужно родному дому,
что от слёз вытирает тебе глаза...

Кто-то очень жестоко размазал кашу
по тарелке времени и в умах.
Наш донбасский уголь — это не сажа.
Здесь — суров характер и велик размах!

Здесь степное поле и свободный ветер.
Здесь крепка и водка, и надежды нить...
Мы с тобой, товарищ, за беду в ответе,
и за счастье тоже по счетам платить...

Только будет утро и наступит вечер.
Сосчитает небо всех своих бойцов.
Но уже не верим фразе «время лечит»,
ведь над степью радуга ранена свинцом...

* * *

Это, словно кино, как в больном сне —
опоили дурманом нас по весне.
Ну а летом кровавые звёзды в ряд
в карауле над городом нашим стоят.

А в полях окопы — шрамом на лицо...
Не послать любимому письмо.
Сколько километров путь из рая в ад?..
Во степи солдаты без имён лежат.

Танки в Интернете, танки за окном.
Как конструктор «Лего», вдруг сложился дом.
По подвалу ходит старый мудрый кот —
в самом безопасном месте он живёт.

Город мой контужен, город мой устал...
Кто бы нам страницы эти пролистал...
Но писать надрывно мы обречены
хронику ненужной непростой войны.

Молитва

Услышь нас, Господи! Мы — живы,
Пошли на землю свой конвой
гуманитарный. Тянет жилы
сирены вой и ветра вой...

Поверь нам, Господи, мы — люди.
В братоубийственной войне
за всех солдат молиться будем
на той и этой стороне.

Прости нас, Господи, мы серы
и сиры в глупости своей.
В родной земле греша без меры,
мы просим процветанья ей...

Спаси нас, Господи, мы слабы:
от минометного огня,
стрельбы и ненасытных «Градов»
мы сами не спасём себя...



«Бог меня из колоды вынул...»

Говорят, что все творческие люди наделены каким-то особенным чутьём, необыкновенной интуицией, которая помогает им взглянуть на мироустройство не простым человеческим взглядом, беглым и невдумчивым созерцанием, а проникнуть в замысел Господен, божественную суть вещей и явлений, увидеть то, что не дано простым обывателям. Зачастую настоящие поэты, поэты с большой буквы, предчувствуют события, обладают даром предвидения своей жизни. К таким авторам относится и наш земляк, поэт-сибиряк Вадим Ярцев.

<i>...Уйду, не хлопая дверьми</i>	<i>...Мы все в Твоей большой горсти —</i>
<i>И половицами не скрипнув.</i>	<i>И стар и млад, и плюс и минус.</i>
<i>Господь, к Себе меня прими.</i>	<i>Поступки скверные прости.</i>
<i>Иду к Тебе без слёз и всхлипов...</i>	<i>Убогих разумом, прими нас...</i>

«На шумном праздничном пиру»

30 марта 2014 года ему исполнилось бы 47. Он ушёл от нас совсем рано, тяжело больной, но полный новыми поэтическими замыслами, так и не успев до конца раскрыть свой богатый творческий потенциал. Я не являюсь литературным критиком. Вадим просто был моим другом. Да почему был? Время, физическое или другое состояние человеческой сущности — для дружбы не имеют значения.

Он не был романтиком. Его стихи предельно правдивы, жёстки. Читать их не всегда лестно, очень тяжело — в них боль за нас как за нацию, за нашу Родину.

*Мы — никто. Мы пьяницы и шваль,
Жалкие ошмётки мирозданья.
Только всё же Господу нас жаль,
Всё-таки и мы — его созданья...*

«Бомжи»

Написанное им — беспощадная правда. Нелестная. Так уж повелось на Руси, что народ, расписавшись в своей беспомощности, «врачает» израненные, исхлётанные души водкой. Безысходность — вот что часто определяет нашу жизнь.

*...Уткнусь в подушку, волком взвою.
Одни мечты, а толку — шиш.
Мне в вечность хочется, на волю,
Да от себя не убежишь...*

«Однажды»

Историк по образованию, Вадим Ярцев вновь и вновь мысленно обращался к героическому прошлому нашей страны, реалистически оценивая его с позиции сегодняшнего дня.

<i>Вот так получилось. Прости мне, Господь,</i>	<i>За храмы сожжённые Ты нас прости,</i>
<i>Что я не умею молиться.</i>	<i>За ссыльных священников тоже.</i>
<i>Немецкие танки стоят под Москвой.</i>	<i>Ведь если нас что-то и может спасти —</i>
<i>Они проутюжат столицу.</i>	<i>Твоё милосердие Божье...</i>

«Молитва о России. 1941-й»

Предшествующие военным годам репрессии, когда, казалось, даже у стен были уши, наложили тяжелый отпечаток на судьбу русского народа, генофонд которого был почти

полностью истреблён. Мы живём, совершенно не задумываясь о своём бытии, как мышки в норке, стараясь лишней раз из неё не высовываться и не высказывать во всеуслышание собственное мнение, а гораздо чаще — руководствуемся мнением чужим. Из поколения в поколение передаются нам гены парализующего страха. Писать об этом — прискорбно, увидеть и прочувствовать чудовищные события того времени — ещё тяжелее. Вадим Ярцев — смог.

*Дневников мы тогда не вели,
В разговоры вступали не сразу.
Слишком многих из нас замели
За случайное слово или фразу...
...Будто кролики, шли на убой
Без малейшего чувства протеста,
И с портрета, довольный собой,
Усмехался злоеце Рябой.
Шли аресты, аресты, аресты...*

«Очевидец»

Он — автор самобытный, со своей жизненной философией, которую никому не навязывает (не могу говорить о нём в прошедшем времени) и не отстаивает свои взгляды с пеной у рта. Но, если вдуматься, за каждой его строкой обнаруживается нелицеприятная правда.

*...Во время скорби и печали,
Во дни салютов и торжеств
Здесь жертвы были палачами,
А палачи сменяли жертв...
...Меня никто не мог услышать.
Я замолчал на много лет.
Мне одного хотелось — выжить
И пережить весь этот бред...*

«Страх»

Не все современники воспринимали творчество Вадима Аркадьевича на «ура». Долгое время его не печатали, да и стране было не до литературы, тем более, такой откровенно обличительной. К счастью, он не сдался: писал, правил, снова писал. Вадим — настоящий борец с несправедливостью, борец, который боролся с ней посредством Слова.

*Кто-то в Боснии сдуру сгинул,
Кто в Чечне напоролся на залп...
Бог меня из колоды вынул.
«Пригодится ещё», — сказал...*

«Обжигались довольно часто»

Кровавые репрессии ещё долгим отголоском будут звучать в людской памяти.

К происходящим в последние годы в стране переменам многие смогли приспособиться и даже найти для себя выгоду. Вадим — остался верен себя, не обошёл в своём творчестве стороной и события нашего ближайшего прошлого: развал Союза и последовавший вслед за ним период разрухи и хаоса.

*Не с двушкой, затёртой и ржавой, —
Прощаюсь с великой державой...»*

«Прощание с Союзом»

*И было голодно в стране,
И было холодно и сыро...
Мальчишка ходит во рваньё,
Она всё реже видит сына...
...В колени бухнуться? Просить?*

*Услышать мрачное: «Иди ты»?
Такое время на Руси —
Подростки двинулись в бандиты...*

«Новое время»

Печататься в крупных изданиях ему привелось уже в конце жизненного пути: друг помог с издательством в Новосибирске первого сборника стихов «И все же несколько минут я был свободен», а петербургский журнал «Русский писатель» на бесплатной основе напечатал небольшую подборку стихотворений Вадима. Потом — публикация в «Сибири». Помню, как вместе мы мечтали о поездке на писательскую конференцию в Иркутск... Смерть нарушила наши планы, произведя свою корректировку событий. В Иркутске в писательской среде его творчество произвело настоящий фурор: его читали, не отрываясь, уговаривали продать взятые с собой несколько экземпляров поэтического сборника. Творчество Вадима Аркадьевича Ярцева было высоко оценено известным иркутским поэтом Владимиром Скифом. Уже после смерти Вадима подборки стихов вышли в иркутском альманахе «Белая радуга». В журнале «Наш современник» и в московском патриотическом еженедельнике «Слово», который редактирует Виктор Линник, вышло две замечательных подборки Ярцева с предисловием Владимира Скифа. Потом в Иркутске была издана книга его стихов «Марш славянки».

Прошло время — уже два года его нет с нами, а боль утраты ещё не утихла. Писать об этом тяжело, а не писать — стыдно. Нам просто посчастливилось быть сопричастными к его жизни и творчеству — кому больше, а кому поменьше...

*...Прими нас, Всевышний, скорей,
Укрой от метели и стужи
И тёплым дыханьем согрей
Замёрзшие, ржавые души...*

«Опять подошли холода»

Елена ПОПОВА
г. Усть-Кут



«Я писатель!» — со всеми вытекающими...

Герой-повествователь в прозе Владимира Максимова

Писателями становятся по-разному.

Владимир Максимов пришёл из науки. «Руководствуясь неясными предчувствиями», как он сам напишет о себе, взял да и отказался от третьего курса аспирантуры Ленинградского (в то время) зоологического института, навсегда покинув стены столь солидного образовательного учреждения.

Виновницей крутого поворота была литература, а точнее, творчество, а ещё точнее, мечта о творчестве, поскольку на тот момент (опять же по признанию самого будущего писателя) каких-либо завершённых произведений не было, а только замыслы и наброски.

Максимов бросился туда, где воцарялись апатия и уныние, — то был конец 1980-х — 1990-е годы, когда даже крепко стоявшие на ногах писатели замолкали. И не потому, что им нечего было сказать: некому стало говорить — читатель-книголюб резко пошёл на убыль. И система распространения книг рухнула, и единственное государственное книжное издательство, созданное для поддержки культурных сил Восточной Сибири, платившее авторские гонорары, приказало долго жить. В частные издательства надо было приходить со своими деньгами или отыскивать спонсоров, или долго ждать средств из бюджета, которые притекают скудным ручейком. Гонорары стали выдаваться книгами, однако далеко не все писатели оказались умелыми продавцами своего «товара». Торговля делала ставку на хорошо известных или хорошо раскрученных авторов.

Самое печальное, что в этих условиях вопрос художественного качества перестал быть главным. Многие пишущие с лёгкостью освободились от редакторской опеки. В выходных сведениях появилась строка: «Книга издана в авторской редакции», и мало кто догадывается, что сие означает: текст читал, возможно, только один автор, и хорошо, если к нему присоединился корректор.

Владимир Максимов двинулся по этой общей дороге со всеми её извивами и колдобинами.

Но вернёмся к поре «неясных предчувствий» и припомним, что один из первых его рассказов «Загон», написанный ещё во времена строгих подходов к творчеству молодых (конец 80-х), был одобрительно встречен как знатоками литературы, так и профессиональными писателями. Речь в «Загоне» идёт о волке, пойманном охотниками по заказу зоопарка. Связанный, «заузданный» палкой, крепко прикрученной к голове, скорее затаившийся, чем присмиревший, он лежал неподвижно возле зимовья, «внимательно, строго и неотрывно» следя за всем, что его окружало. Максимова удалось передать и состояние поверженного, но не побеждённого зверя, и сочувствие самого молодого из охотников его беде, вылившееся в поступок: к утру верёвки были перерезаны и матёрый хищник вновь обрёл волю. Немаловажное значение для столь неожиданного шага героя-повествователя имело появление на краю леса волчицы с волчатами и её тоскливый вой. «Я не знал, что навyla волчица волку. Но мне очень хотелось, чтобы она успела сообщить ему всё что хотела», — пишет Максимов, и читатель понимает: волк был не просто отпущен, а отпущен к своему семейству — деталь для будущего прозаика неслучайная, как выяснится позднее.

* * *

Максимов принял условия своего времени, гласившие: литератор должен надеяться только на себя. Он и писать решил о том, что знает лучше всех других, — о самом себе. Для этого был

введён образ героя-повествователя по имени Игорь Ветров, практически слитый с автором. Хотя и предполагается между автором и его литературным двойником некоторый зазор, Максимов делает всё, чтобы свести его на нет, и потому второе имя, пожалуй, излишне: всё равно, читая об Игоре Ветрове, видишь самого Владимира Максимова.

Тема диктует выбор жанра. И если через все (почти все) повести, рассказы и роман проходит сквозной герой, судьба которого совпадает с авторской судьбой, то всё это начинает выглядеть чем-то вроде беллетризованной автобиографии.

Каков же он, Игорь Ветров (будем придерживаться имени, данного автором герою-повествователю), и что откроется нам через этого человека, притом человека не простого, но пишущего. В детстве — ничего особо примечательного, оно такое же, как и у многих послевоенных ребятшек, подраставших в домах барачного типа, с играми «в войнуху», с одним велосипедом на весь двор, с фильмом «Бродяга» в поселковом клубе, с неразрешимым вопросом, бесконечно ли звёздное небо (рассказ «Пределы разума»). Жизнь небогатая, но семья дружная и потому счастливая, с чуткими родителями, заботливой бабушкой, с общим радостным ожиданием следующего ребёнка.

Юность, как известно, пора любви, и отношения Игоря с девушками — главное содержание рассказов о возрасте томлений и вздыханий («За шторой с этой стороны», «Морозный поцелуй», «В один дождливый день»). Довольно обширный набор девичьих имён говорит о влюбчивости героя, в чём и сам он откровенно признаётся. Но он не лихой сердцеед, и встречи с одноклассницами и студентками чаще всего плавно кончаются разлуками. Однако горького осадка не остаётся, поскольку, как замечает автор в одной из повестей, речь идёт о чувствах, не перерастающих «даже во влюблённость», это скорее «состояние предчувствия любви».

Далее, как тому следует быть, приходит черёд первым трудовым будням. Этот отрезок биографии героя-повествователя, связанный с подготовкой к будущей профессии охотоведа и биолога, запечатлён в маленькой повести «Такое вот Хироо...» и романе «Не оглядываясь назад», вышедших примерно в одно время. Первая — о преддипломной практике студентов Игоря и Юрки по наблюдению за миграцией морских котиков в Тихом океане. Страниц, посвящённых научному заданию, в ней немного, и они суховато информативны, главное внимание — полугодовому плаванью на траулере «Учёный». Океанские шторма с мучительной качкой, страсти вокруг красавицы-буфетчицы Зинаиды, влюблённой в боцмана, но попутно и в пику ему заигрывающей с Игорем, который, всё понимая, однако же с трудом сопротивляется чарам покорительницы мужских сердец, — такова основная сюжетная линия повести.

В отличие от неё роман наполнен описанием трудов студентов-охотоведов (в том же составе), постигающих секреты охотничьего промысла на берегах Татарского пролива. Это ночёвки в зимовьях, выставляющих к утру, изматывающая ходьба по глубокому снегу, постоянное напряжение от риска внезапной встречи с хозяином тайги, заботы о собственном пропитании — всё требует сноровки и привычки, которые приобретаются не сразу. По упорству преодоления трудностей невольно чувствуется отдалённая перекличка с Джеком Лондоном и его суровыми северными рассказами. А нам уже известно, что этот американский классик — один из самых любимых писателей Игоря Ветрова.

* * *

Постепенно вырисовывается образ героя-повествователя.

Перед нами симпатичный голубоглазый молодой сибиряк, невысокий, но крепкий, смотрящий на мир с улыбкой чаще весёлой, чем грустной. Он никому не желает зла, невзирая на современные нравы, ежеминутно провоцирующие человека на резкость и даже грубость! Он увлекает нас то в тайгу, то на Тихий океан, то на берег Днестра, вместе с ним мы попадаем на биологическую станцию в Беломорье («Времена года, времена любви»), погружаемся в будни буровиков Приангарья («В одном провинциальном городе»), наслаждаемся отдыхом в Больших Котах на Байкале («Пристань души»).

Доверительность авторской интонации, простодушие рассказчика в восприятии жизни — эти черты прозы Максимова привлекают читателя. Его книги неплохо расходятся и, насколько нам известно, пользуются спросом в библиотеках. И это притом (не станем закрывать глаза), что порой в них встречаются длинноты и повторы. Иной раз новые герои напоминают прежних, как, например, бездетная супружеская чета метеорологов из Петербурга, пожилой муж и

молодая жена (роман «Не оглядывайся назад»), подобную пару из рассказа «Кот в мешке» — тоже метеорологов. Кстати, судно «Учёный» и буфетчица Зинаида вместе с кошкой Мусей из этого рассказа уже знакомы нам по повести «Вот такое Хироо...». Можно подметить также чрезмерное внимание к подробностям быта. Читатель наверняка улыбнётся, натываясь на детальное описание завтраков, обедов и ужинов в условиях самых разнообразных. С другой стороны (всегда есть другая сторона), описания эти столь заразительны, что можно посоветовать людям, страдающим отсутствием аппетита, читать Максимова и по этому поводу. Но прекратим вторжение в область редактуры — её проблемы не главная наша цель. Лучше отметим страницы, вне сомнения, впечатляющие. Они связаны с путешествиями героя-повествователя, жаждой увидеть, ощутить огромный мир, померяться силой с природой, причём суровой, сибирской. Как, например, в эпизоде про таёжный переход молодого охотника из романа «Не оглядывайся назад».

...Чудесное прозрачное утро предвесеннего месяца февраля, лёгкий путь по твёрдому льду таёжной реки, всё вокруг бодрит и радует, и вдруг охотника охватывает «текущий холод быстрых сильных водных струй» — промоина в реке, грозящая затянуть своего пленника под лёд. Его спасает только то, что место оказалось неглубоким и хватило догадки приморозить куртку к кромке льда, чтобы не соскальзывать в воду, да чуть-чуть помог бестолковый в охоте пёс Шайба...

Нашёл своё отражение и Байкал — непостижимый, прекрасный и грозный. Вот зарисовка восхода солнца в туманный день: «...Кое-где была видна котловина Байкала и степенно отдыхающий на его невидимой водной глади туман, больше похожий на горы лёгких летних облаков, решивших на какое-то время прилечь в этом удобном месте. Вершины гор, распадки также были укрыты туманом, словно невесомым пуховым одеялом.

Мне вдруг захотелось разбежаться и рухнуть со своей горушки, как в перину, в эту белую многометровую мягкость...» («Туман»).

А вот совсем другое настроение — из описания семейного плавания по Байкалу на моторной лодке: «...И тут боковая волна резко и сильно, как опытный боксёр с хорошо поставленным ударом, шарахнула в корпус нашей лодки, вздрогнувшей от этого удара, как живое существо, всеми своими заклёпками, которые, как мне показалось, должны были от этого посыпаться, как мелочь из дырявого кармана.

Мы все повалились куда-то вбок, а волна с шурианием перекатила через тент.

Лодка с трудом, словно раздумывая, перевернулась ей или устоять, выровнялась. И тут же новая волна ударила в борт с того же бока...

— Спи, спи, Димочка. Всё в порядке, — услышал я сзади спокойный голос Натальи.

Такой спокойный, что в это трудно было поверить...» («Пристань души»).

Новизной содержания среди повествований об Игоре Ветрове выделяется рассказ «Сияние горных вершин». Один из немногих, он несёт в себе социальную проблематику. В том, как деревенские мужики копают колодец на даче нового русского, убедительно переданы дух времени и характеры персонажей.

* * *

Однако же последуем дальше за Игорем Ветровым — он же герой-повествователь, он же Владимир Максимов, — и вместе с ним устремимся за его главной мечтой.

Тема «Я — писатель» возникает рано, почти в самом начале творческого пути. Проходя по нему красной нитью или разматываясь золотым клубком, она ведёт героя в страну неведомую, но захватывающую. Проследим это движение, для чего ещё раз вернёмся к роману «Не оглядывайся назад», где мечта о творчестве впервые заявляет о себе во весь голос.

Вспомним, повествование обозначено весьма замысловато: роман-параллель. Сам автор в кратком вступлении объясняет, в чём эта параллель. Вместе с реальной историей Игоря Ветрова развивается дневниковая история Олега Санина (дневник обнаружен Игорем на чердаке дома, в котором поочерёдно останавливались оба героя). По мысли автора, история Олега должна стать мозаичным фоном для истории Игоря — с тем чтобы «не ограничивать себя рамками хронологической последовательности». Герои похожи: оба охотники, ходят одними таёжными тропами, но постепенно их параллельные линии расходятся. Почему? На этот вопрос автор предлагает ответить читателю.

Попробуем. Опуская любовные приключения Олега, более азартные, чем Игоря, отметим главное различие: Игорь — просто охотник, а Олег — охотник, страстно желающий стать писателем. Олег немного старше и потому опережает Игоря в мечтах. Своими планами он делится с любимой девушкой Таем: *«Если говорить о цели... то она у меня, конечно, есть. Я, например, хочу написать хорошую книгу. Настолько хорошую, чтобы любой человек, прочитавший её, пожалел, что она уже кончилась. Хочу получить Нобелевскую премию в области литературы. И, главным образом, не ради славы или всеобщего признания... Хотя и того и другого в глубине души мне тоже, конечно же, хочется. Но хочется всё-таки в меньшей степени, чем достаточного количества денег, которые позволяют человеку быть материально независимым, то есть — свободным... Ещё мне хочется жить с тобой в небольшом уютном домике...»* — и дальше следует общеизвестный набор благ из жизни свободного человека: чтобы дом был на берегу моря в окружении вечнозелёных елей, имелась яхта, на которой можно было «сорваться куда захотим» и т. д. Девушка слушает с нескрываемым недоумением и старается вернуть друга с высот на землю. После чего Олег несколько снижает и уточняет программу: *«Мне нужно зарабатывать на жизнь. Охота — один из таких, не самых плохих, кстати, способов... Накапливаю впечатления... Всё это может пригодиться потом для моих рассказов...»*

В дневниковой параллели мы видим мечту о писательстве в её самом романтическом варианте. Двойник Олег Санин понадобился, похоже, для того, чтобы отделить заоблачные грёзы о всемирной славе от Игоря Ветрова — на всякий случай.

* * *

Замкнутость на одном герое грозит стать оковами, если писать только правду и ничего кроме правды. Невольно подумаешь: а не легче ли было бы управлять лицом вымышленным, чем реальным, да ещё как две капли похожим на себя, то есть автора? Судьба прихотлива и не всегда подбрасывает выигрышный для литературы материал. Новые подробности старых историй погоды не сделают. Это с одной стороны. С другой становится всё более очевидным: автор взял на плечи двойной груз — рассказывать о писателе, одновременно взращивая его в себе. А всякое взращивание предполагает бездну усилий, не обещая однозначных плодов. Внешний мир постепенно сужается для Игоря Ветрова. Но так изменилась жизнь. Автор, то бишь герой-повествователь, повзрослел, обзавёлся семьёй, утвердился на избранном пути. Остались в прошлом путешествия в дальние края, оживая лишь в воспоминаниях. Личная жизнь сложилась счастливо. Близкие — жена и сын, и даже тёща, что немаловажно! — оказались близкими и по родству, и по душе. Такое, заметим, встречается редко в семье творческого человека. А ведь если посмотреть, причин для разобщённости нашлось бы немало. Супруги хотя и принадлежали к одной профессии, но пути их разошлись: он распростился с биологией, ринувшись в непредсказуемую стихию творчества, она осталась верна науке, выросла в серьёзного, увлечённого своим делом учёного. Их единственному сыну вполне могло быть уготовано одинокое детство, в лучшем случае, под бабушкиным присмотром. Однако зарисовки семейных праздников, радостных встреч после командировок, разговоры отца с сыном в рассказах «Я отомщу!», «Куда всё это исчезает?..» и др. убеждают в присутствии действительного, а не мнимого лада. Разве не удивительно, что решение героя уйти из газеты, чтобы стать вольным художником, было единодушно поддержано взрослым сыном и женой: пиши, мол, если ты писатель, не думай о доходах!

Образ жены Наташи (она, как и все члены семьи, выступает под своим именем за редким исключением) появляется во многих произведениях то мимоходом, то задерживаясь надолго, и всегда от него исходят свет, мягкость, тепло. За лёгкой манерой общения, непосредственностью угадывается мудрость жены, понимающей, как много значит для мужа возможность заниматься любимым делом. Не судить и требовать выбирает она, а сочувствовать и поддерживать — чуткость подлинно христианская, а не только женская.

Однако не всё безоблачно для человека, путившегося к склонам Парнаса. Счастье — тоже испытание. Спокойная жизнь способна взрываться из-за банальной причины. Например: писателю не пишется. Творческий срыв перерастает в нервный, разряд бьёт по жене — по ком же ещё! Происходит ссора, писатель спешно покидает дом, жена оставлена в слезах — он мчится на дачу, где уж никто не помешает творить. Увы!.. Мысли не собираются в расстроенной голове. Классический замкнутый круг: не работаете — вышел из себя — обидел любимого

человека — стало ещё хуже, рабочий настрой улетучился вовсе! Об этом написан «Рассказ ни о чём». На самом деле он очень даже о чём — о главном для писателя! И потому есть смысл задержаться на нём подольше.

Описаны подробно все муки творчества. Вот как это выглядит. Сначала нащупывается *«не-что — такое эфемерное и такое неуловимое...»*, затем оно *«преобразуется в мысли, а мысли начинают рассыпаться словами, которые тебе и надо успеть выстроить в идеальном, единственно верном порядке...»* Затем идут попытки за что-то зацепиться: за жужжание полусонной осенней мухи на окне или за *«какой-нибудь интересный пережитый эпизод»*, например, из рассказов, услышанных в пивнушке южного городка, в которой собираются инвалиды-афганцы... Потом возникает страх: *«вдруг я уже ничего никогда не смогу написать?.. Что если мне не удастся вновь завести этот неведомый «моторчик» внутри себя, когда вдруг радостно сознаешь, что вот оно, наконец-то пошло, записалось...»* И снова поиск, мысль о бессюжетном рассказе ни о чём, о первой фразе или заголовке, которые пробудят память, чувства и воображение и *«начнут вязать канву сюжета, создавая (при одном обязательном условии — если это хорошее повествование) нетленную ткань новой вещи»*.

Но ни радио, ни бессонные мысли о бренности бытия, ни пришедший на ум местный парень Егор с его мастой с похмелья — ничто не выводит на канву с нетленной тканью!..

Эта часть рассказа, возможно, и не увлечёт широкого читателя, которого не слишком волнует, как делается литература, — ему подай результат. А вот читатель из писательского круга мог бы поддержать разговор, сравнив переживания героя максимовского рассказа со своими. Мог с чем-то и не согласиться. Например, надо ли цепляться за случайные поводы к письму? Не больше ли выйдет толку, если писатель сначала заболит темой, а уж она определит пути её воплощения?

«Рассказ ни о чём» мог бы стать предметом размышлений о творческой лаборатории за каким-нибудь круглым столом. Есть также фрагмент, который можно считать небольшим эссе о Хемингуэе и Фолкнере, где два писателя сравниваются в их отношении к чувству страха, которое, по мнению обоих, угнетает человечество.

Таким образом, поиск темы вывел героя-повествователя опять-таки на литературу, и это неслучайно — только она составляет его главный жизненный интерес. И уже не вызывает удивления призыв в свидетели и собеседники внушительной компании классиков. Цитаты из них или просто имена щедро рассыпаны по страницам «Рассказа ни о чём» и по многим другим: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Шекспир, Бергсон, М. Булгаков, Грин, Шмелёв, Бродский... Опять же, от великих и польза великая. Цитаты идут в подтверждение высказываний автора — это раз, работают на интеллект героя-повествователя Игоря Ветрова — два, и третье, очень важное — несут просветительскую миссию читателю, особенно молодому и не особенно, по нашим временам, погружённому в книги...

Нет, жаль и очень жаль, что чтение рассказов вслух перед друзьями перестало быть писательской традицией!

«Рассказ ни о чём» заканчивается благополучно: чувство вины заставляет героя-писателя не мешкая собраться и вернуться в город, где непременно состоится примирение с женой, а значит, и с самим собой, и всё наладится, обрисуется...

* * *

Но счастье — испытание ещё и потому, что когда-нибудь оно кончается. И тогда меняется всё, сам воздух, кажется, меняется — им становится невозможно дышать...

«... Чем дольше мы жили вместе, тем больше нам не хватало друг друга» — эти слова из «Рассказа ни о чём» можно поставить эпиграфом ко всему, что написано о Наташе. Тем горше читать эпиграф к *«Прости, прощай...»* в книге, посвящённой памяти жены: *«И не могу сказать, что не могу жить без тебя — поскольку я живу...»*

Уход близкого человека всегда трагедия. Писателю Максимову суждено пережить её в двойной мере. В момент, когда всё устоялось и состоялось, и казалось неизблемым, — разом рушится и жизнь, и литература, эту жизнь воссоздавшая в желанных книгах.

«Прости, прощай...» обозначено как эссе, но жанр не имеет значения — это сгусток отчаянья, облечённый в подобие письма к любимой, которая его не услышит и не прочтает, но поверить в это невозможно. Так жизнь поставила одну точку сразу на двух сюжетах — реальном и литературном.

Очередная книга «Подарок для бездомной кошки», не так давно вышедшая в свет (а их у Максимова уже более десятка), делится условно на две части: жизнь до Наташи и после Наташи, с воспоминаниями о ней и трудным привыканием быть без неё. Снова мелочи быта, теперь уже безрадостные, но согретые одним — бережным отношением друг к другу отца и сына. Книга заканчивается рассказом «Никто не приехал», где герой-повествователь остаётся в одиночестве в том самом домике на Байкале и чувствует себя счастливым только во сне.

* * *

Что же в итоге? Промежуточном, естественно.

Писатель прошёл не такой простой путь, как это может показаться вначале, когда мы впервые знакомимся с подвижным, легко, под стать своей фамилии уносящимся из одного края света в другой Игорем Ветровым. Он шёл за мечтой — да, наивной, да, эгоистичной, но удивительным образом остался в пределах добра, а не зла. Как, многожды влюбляясь, не разбил ни единой судьбы, так и, погрузившись в писательство, не соблазнился богемой, не навлёк на себя демонических черт свободного от всего и вся самовыраженца, баловня судьбы, имеющего право не считаться ни с кем во имя творчества. Не стали предметом для подражания биографии любимых американских классиков, Лондона и Хемингуэя, — даже напротив. Сложилась крепкая семья, выдержавшая испытания перестройкой, — об этом и не говорится! Дух «шопинга» не проник через порог их дома.

В простых повествованиях не нашлось места страстям вокруг денег, картинкам из «красивой жизни» новых русских или кровавым разборкам бандитов. Читатель видит возможность человеческого счастья при единственном условии — любви друг к другу.

Много это или мало? Как сказать... Когда-то тихая семейная жизнь объявлялась мешанской, отвлекающей граждан от великих свершений на благо человечества. Много или мало, понять нетрудно, если знать, какими духовными скрепами держится согласие в семье. В условиях же нынешней нетерпимости между людьми всякие искорки душевных движений друг к другу воистину дорогого стоят.

Что же дальше? Что ожидает Владимира Максимова на новом повороте его жизненной и писательской судьбы? Будут ли следующие произведения продолжением истории Игоря Ветрова или возникнут иные сюжеты?..

Как бы ни сложилось, остается надежда, что пути нашего прозаика-земляка будут по-прежнему держаться светлой стороны.

*Валентина СЕМЁНОВА,
критик, член Союза писателей России*

Год литературы. Уроки Распутина



«Нет, весь я не умру...»

ПУШКИНСКАЯ РЕЧЬ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

И не будет ему забвения не только доколе будет жив хоть один пиит, но и доколе жив будет хоть один русский человек.

Валентин РАСПУТИН



В. Распутин в своём кабинете

Эта малоизвестная речь произнесена Валентином Григорьевичем Распутиным 4 июня 1999 года, на торжественном собрании в честь 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, со сцены Псковского академического театра драмы, носящего имя великого поэта. «Мы там были... — вспоминает одна из участниц собрания. — Казалось, что мы вечны и Распутин вечен...» Увы, Валентин Распу-

тин покинул этот мир 14 марта 2015 года, оставив свои труды, которые нам ещё предстоит изучить и осмыслить, так же, как предстоит заново понять его «Пушкинскую речь», бережно записанную на диктофон, расшифрованную и сохранённую для потомков Валерием Фёдоровичем Павловым, в 1999 г. — директором Псковского академического театра драмы.

Дорогое уважаемое собрание!

Я рад здесь выступить перед вами, но слово моё, разумеется, будет скромным: нет теперь тех фигур, вернее, их осталось очень немного, которые в достаточной мере смогли бы сказать то полновесное слово, которое соответствует этому великому событию — юбилею вашего земляка.

Я не решился импровизировать, поэтому прочту своё слово. Пушкин жил недавно. Соотнесем прожитое нами, старшим поколением, с возрастом Пушкина. Да ведь это всего три жизни. Чем старше становится человек, тем всё очевиднее — века для него принимают не фантастические, а реально близкие очертания, как некое жилое помещение, в котором меняются жильцы. Пушкину всего два века. В 1799 году Россия понесла удивительным плодом, ставшим затем «солнцем русской поэзии», «нашим всем». И горит-греет с той поры солнце бессрочно, и стоит наше всё непоколебимо от горизонта до горизонта, обогащаясь и расширяясь.

И не будет ему забвения не только, доколе будет жив хоть один пиит, но и доколе жив будет хоть один русский человек. Он пронизал своим волшебством каждого из нас, одних больше, других меньше, в зависимости от душевной и сердечной проводимости.

Даже люди огрубевшие или совсем окаменевшие как раскаянье повторяют его стихи. Он всем что-нибудь да дал. Многие живут с его поэзией в сердце, как с вечно прекрасным и неувядающим букетом цветов. Многие, не найдя в мире чувств ничего более нежного, повторяют его признания в любви. Многие его же словами затем утешаются. Едва ли это преувеличение: у нас не только говорить о любви, но и любить учились у Пушкина, от его нежных слов возжигали свои сердца, от волшебной проникновенности его строк в заповедной глубине напитывали дыхание.

Вот бьёт родник с чистой живой водой, без малого два века неспособный иссякнуть. Кто-то подойдёт и, зачерпнув полной чашей, утолив жажду, мгновенно оживёт, а кто-то, как эликсир, принимает по глотку и наращивает, напитывает в себе сладкое чудо быть человеком. Не дано нам по случаю юбилея, как водится, доложить, скольких Александр Сергеевич обратил к душе и в ту пору, когда душа признавалась, но пути к ней поросли мхом древности, и в пору «закрытия» души; скольких привёл он к нравственности, скольких к Богу. Он, кто, как известно, ангелом не был. Скольких привёл он к Отечеству, опалил его сладким дымом, указал на святость вековых камней, натомил милыми пределами! Совершенство может всё. Сосуд мог иметь и случайные черты, но напиток в нём, отбродив, производил божественное, то есть превосходящее земное действие, способное на чудеса. Читатель испытывает радость, преображение, возвышение, а автор продолжает парить, царить в своём вдохновенном совершенстве. Нравственное превосходство его музыки заключается в самом движении и звучании, превосходстве, в тончайшем и легчайшем узоре чувств, чего-то даже более тонкого, чем чувства, в прекрасной несказанности говоримого, в «звучах сладких и молитвах». И какое же у чуткого читателя томительное блаженство возникает после них, какое же торжество души!

Читатель по неопытности может с душой своей общаться тайно — Пушкин сумел сделать эти свидания открытыми и радостными, распахнуть в темнице окна, превратить её в светлицу. Отвечая митрополиту Филарету на его стихотворное послание, которое, в свою очередь, явилось ответом митрополита на известное пушкинское «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» — поэт через высокое духовное лицо обращается ещё выше, и многое, о чём нередко продолжают спорить, объясняет в себе:

<i>В часы забав иль празднои скуки,</i>	<i>Твоих речей благоуханных</i>
<i>Бывало лире я моей</i>	<i>Отраден чистый был елей.</i>
<i>Вверял изнеженные звуки</i>	<i>И ныне с высоты духовной</i>
<i>Безумства, лени и страстей.</i>	<i>Мне руку простираешь ты</i>
<i>Но и тогда струны лукавой</i>	<i>И силой кроткой и любовной</i>
<i>Невольно звон я прерывал,</i>	<i>Смиряешь буйные мечты.</i>
<i>Когда твой голос величавый</i>	<i>Твоим огнём душа палима,</i>
<i>Меня внезапно поражал.</i>	<i>Отвергла мрак дневных сует,</i>
<i>Я лил потоки слез нежданных,</i>	<i>И внемлет арфе серафима</i>
<i>И ранам совести моей</i>	<i>В священном ужасе поэт...</i>

За 100 лет до Пушкина Россия буйной волею Петра была сдёрнута с лежанки, пусть и насквозь национальной, и направлена искать более широкой деятельности.

Пётр сообщил ей недостающую энергию, Пушкин так и понимал Петра. Но вялостью зарастают не только мускулы, Россия была недостаточно подвижна и внутренне, душевно, наша душа как бы нагревалась и остывала, не пульсируя постоянно. Своим талантом, своим удивительно тонким, небесно настроенным инструментом, Пушкин дал нам капиллярную чувствительность, способность улавливать только ещё подготавливающиеся движения.

За этой способностью должны были открыться новые, заповедные миры, и лицо наше должно было преобразиться вниманием к ним, глаза замучиться от невиданных картин. Посмотрите на старые фотографии, старые картины, портреты — так оно, должно быть, и происходило: лица глубокие, несущие полуразгаданность каких-то давних и мудрых загадок. Было ли это? Было. Надо ли оговариваться, что не одного Пушкина тут заслуга, и что далеко не на всех пала печать преображения, теперь, впрочем, уже и утерянная. Почему — это особый разговор. Не пушкинская тема. Перед Пушкиным лежало огромное,

уже и обустроенное, но ещё не отделанное до конца общественное пространство. Но все основы и изломы общественного сложения и государственного служения были заложены, архитектура сложилась. Косность бывает разной. Бюрократической аппаратной косностью Россия прославлена до конца мироздания. Но не странно ли, всматриваясь в эпоху Пушкина, в самой подвижной, образованной, постоянно революционизирующейся части общества, которое носило тогда название света и переродилось потом в интеллигенцию, видеть худшую из косностей — косность одних и тех же заблуждений, чесотку нетерпения, возбуждённый зуд отлепиться от национального тела.

Даже заблуждения Пушкина носили какой-то необходимый, полезный для ума, общеукрепляющий характер. Он не миновал парижской лихорадки, занесённой после походов 1813 года, и оказался среди декабристов, но не поддержал их, разглядев изнутри, что цели декабристов пользы Отечеству принести не могут. Был блестяще образованным человеком, с восторгом купался в европейской культуре, без которой нельзя представить его творчество, возвысился ею. Но оттуда, с высоты всемерности, оглянувшись «на волшебных демонов, лживых, но прекрасных», ещё больше и страстнее полюбил и оценил своё, родное. И не однажды сказал об этом в стихах и прозе. Очень любил Чаадаева, восхищался его умом, считал его и братом, и учителем, но не мог согласиться с его взглядами на Россию как на растительную жизнь и заблудившуюся историю. И это в письме к Чаадаеву сказаны были знаменитые слова, которые с тех пор Россия впечатала в себя как клятву для верноподданных: «Клянусь честью, что ни за что на свете не хотел бы я переменить Отечество или иметь другую историю, чем та, которую дал нам Бог». Если поэзию Пушкина, особенно раннюю, можно назвать опьяняющим напитком, то его размышления об истории, о национальной судьбе и необходимости культурно-благотворительной работы для Отечества — это как раз чаша отвлекающая, из природного источника.

*Бедна стране, где раб и льстец.
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу...*

Свою избранность Пушкин понимал как дар, который должен быть отдан только служению красоте и отеческой крепости. Известны слова императора Николая, записанные им после беседы с поэтом в 1826 году: «Вчера я разговаривал с одним из самых умнейших людей России». Разговор у них, надо полагать, шёл не только о стихах. Пушкин был государственный человек. Вслед за Пушкиным все крупные таланты всегда держались того же положения, верноподданного, без лукавства и корысти. В пору Пушкина уже принято было в пресытившемся свете, который блистал талантом злоречия, не любить своё, насмешничать, издеваться. Вероятно, тогда это делалось элегантнее, чем в наше время, но яд есть яд, и когда отдаются ему с жаром сердца и талантов, действует он и затягивающе, и разрушительно. Общественное направление, которое лет через 30–40 после Пушкина своей талантливой безрассудностью превратилось в откровенное инквизиторство, иссекающее русскую жизнь литературными розгами, тогда только ещё высматривало кривизну. Пушкин не мог не замечать этой опасности.

Вслед Радищеву совершил он путешествие по той же дороге, но уже из Москвы в Петербург и с другого конца. Не вступая в спор с опальным автором, ставя его лишь на место гражданина, наложил на радищевскую правду о «чудище», то есть на правду социальную, правду свою, нравственную, и, так сказать, стратегическую, глядящую не под ноги, а далеко. Пушкин с головой окунается в историю и знает её до этнографических мелочей. Не однажды в письмах и замечаниях он указывает на ошибки: то Рылеев вручит языческому русскому князю герб со святым Георгием, то Загоскин не в те одежды оденет бояр. Мало того: как рыцарь, стоящий на страже чести истории, морали, Пушкин возмущается Вольтером, который в поэме «Орлеанская девственница» допускает кощунственные искажения образа Жанны д'Арк, национальной героини французского народа.

Трудно не согласиться с теми, кто полагает, что, продлилась пушкинская земная жизнь,

не покривела бы наша литература на правый глаз, на тот, который обращён к родному. Он бы своим обширным умом и огромным авторитетом предупредил, отвёл. «Власть и свободу сочетать должно во взаимную пользу» — это его слова из «Путешествия из Москвы в Петербург».

*Недорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги*

*Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
Журнальных замыслов стесняет балагура...*

(Из Пиндемонти)

Вот уж слова, как почти все у Пушкина, не имеющие срока давности. Как далеко глядел он, сколь многое провидел! И на сегодняшний день, торжественный и тревожный, он оставил нам завещание, относящееся не только к себе («Нет, весь я не умру»), но и к событиям, нависшим сейчас над всем миром бешеным и мстительным Злом. Пушкин сейчас — первый защитник сербов. В «Песнях западных славян», точно перевоплотившись в многовековое страдание сербского народа, он пропел ему неясную и торжественную славу, в 1836 году он так и отзывается о порядке, составленном отборным мировым сбродом в Северной Америке; о порядке, который бомбит сегодня сербов. Цитирую: «С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, её нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству». Как чудный дар, как дар бесценный, посланный России во исполнение замысла о ней, понимаем мы сегодня Пушкина. Как художника-виртуоза в стихе, сделавшего поэзию прелестной и одновременно мудрой, давшего ей художественную и государственную ёмкость. Как столп выше Александрийского, с которого началась слава русской литературы, не меркнувшая во весь 19-й и во весь 20-й века, сияющий сонм великих на этой стезе шёл от Пушкина и оглядывался на него.

Это он, Пушкин, надолго задал тон и вкус, высоту и отечественность нашей словесности, да и всей культуре. Он окончательно освободил русский язык от косноязычия. Слово при нём стало радостным, сияющим, крылатым, способным воспроизводить мельчайшее движение чувств, услышать несказанное и поднять до небесного вострубия торжественные минуты. Это он, Пушкин, соединил в один два языка, простонародный и литературный, и подготовил к чтению всю Россию. Пушкин — мера русского таланта и русской души. Удастся ли когда-нибудь эту меру уложить без остатка в нового гения — трудно сказать. Но уже одно то, что у нас гений такого масштаба и такой красоты был, уже одно имя Пушкина внушает надежду. Оно, это имя, говорит нам о тех великих закладах, которые в нас есть и требуют пробуждения, говорит о том месте, которое должны занимать русский человек и Россия в мире, напоминает о силах, с которыми выстаивал народ во все лихие годы, говорит о том, что нам делать, как сохранить честь и вечность. Красивое слово — *Пушкин*, вечно молодое, светлое, звонкое, песенное, искромётное, звёздное, но и честное, надёжное, доброе, работающее, правильное слово. Но и мудрое, ёмкое, всеохватное, сытное. Сытное — рядом с хлебом и водой. Любимое на всех российских языках и наречиях слово — *Пушкин*.

Информация с сайта «Российский писатель» — <http://www.rospsitel.ru>



«Строгая, но справедливая...»

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Творческая работа с порядком, как известно, плохо совместима. Капризная Муза и своих служителей делает такими же непредсказуемыми, как она сама. А повседневная жизнь между тем предполагает множество скучных и однообразных вещей: обязательно, отчётности!.. И потому в любой творческой организации рядом с Музой поставлен бухгалтер.

Небольшой кабинет в Доме литераторов им. П.П. Петрова, удалённый в противоположный угол от шумной гостиной, много лет занимали две сотрудницы по учёту финансовых средств. Это Нэля Семёновна Суханова — главный бухгалтер Иркутской писательской организации (ныне региональное отделение Союза писателей России) и Марина Борисовна Салеева — бухгалтер Бюро пропаганды художественной литературы. На первой лежала ответственность за средства, отпускаемые в своё время Литфондом Союза писателей и местным облфинотделом на содержание Дома и небольшого штата организации, вторая занималась оплатой выступлений писателей перед народом в библиотеках, учебных заведениях и предприятиях. В этом случае средства поступали в Бюро на договорных началах от предприятий и организаций.

Они хорошо дополняли друг друга: твёрдая, строгая Нэля Семёновна — боевая, несмотря на невысокий рост и лёгкую фигурку, и мягкая, участливая Марина Борисовна, крупнее статью, спокойная и терпеливая. И потому писатели охотно заглядывали к ним, оставляя за порогом излишнее балагурство, но не оставляя надежды на понимание и сочувствие к их житейским обстоятельствам, которые порой сводили на нет полёт вдохновения. В годы, когда все были молоды, у иных возникал соблазн поухаживать за хозяйками уютного кабинета — кстати, весьма миловидными, — однако они оставались неприступны, не давая мужьям повода для волнений.

В бухгалтерии писателей всегда поили чаем. Валентин Распутин не был исключением и, приходя в Дом, непременно спрашивал, можно ли чайку.

Из воспоминаний Нэли Семёновны:

— Как-то я заговорила о нашем, иркутском, чае — ещё работала чаеразвесочная фабрика. Пошли слухи, что её продукция стала хуже, чуть ли не радиоактивный чай продают в коробках «со слоном». Это в 90-е годы, перед закрытием фабрики, было. Валентин Григорьевич продолжил разговор, но немного о другом: как лучше заваривать чай.

— Ты заваривай его, Нэля, обязательно с какой-нибудь травой — мятой перечной или мелиссой, или смородиновым листом. Заливай не крутым кипятком, дай чуть-чуть поостыть. И пусть постоит только двадцать минут, а после его надо процедить — чтобы травы не успели отдать худшее, что в них тоже есть...

— С тех пор мы чай так и заваривали, и он пил с удовольствием...

Сегодня мы продолжим речь о Нэле Семёновне, поскольку именно она пришла первой в Иркутскую организацию Союза писателей СССР в 1964 году. Проработала в ней сорок пять лет, после оформления пенсии ещё четырнадцать, в 2009 году ушла на заслуженный отдых. Однако связи с писательской организации не теряла, а пять лет спустя вернулась, уже на общественных началах, и теперь занимается архивными делами, без неё пришедшими в запустение.

Есть люди, которые рождаются на свет как будто с уготованным для них заданием и следуют ему, не делая никаких попыток искать другой доли. На выбор места работы Нэли

Семёновны, конечно, повлияла в какой-то степени профессия мужа — Алексея Ивановича Суханова, учителя русского языка и литературы. Со студенческих лет он был дружен с будущими писателями-ровесниками, среди которых имелись и однокурсники. Молодая семья Сухановых даже нашла временный приют в комнатке при первом Доме литераторов, что находился по улице 5-й Армии. Муж вечерами играл с писателями в шахматы, маленькую дочь Марину посетители Дома угощали яблоком или конфеткой. Соседей с семьёй Елизаветы Корзун, трудившейся на нескольких хозяйственных участках по уходу за Домом. При ней было трое младших детей, трое старших жили отдельно. Один из старших, известный кинооператор Евгений Корзун, уже работал на студии кинохроники.

Наверное, та первоначальная слитность с писательским домом и определила отношение к нему Нэли Семёновны как к дому родному, что естественно продолжилось в бывшем особняке купца Бревнова по улице Степана Разина, 40, куда писатели переехали в 1978 году. Домашний адрес Сухановых к этому времени уже был другим.

На новом месте со временем был создан Дом литераторов, получивший имя писателя П.П. Петрова. Здание было передано писательской организации в бессрочную и безвозмездную аренду, содержалось на средства Литфонда. Штат сотрудников расширился. Помимо руководителя и секретаря-машинистки это несколько дежурных вахтёров, библиотекарь, литсотрудник, шофёр, киномеханик, гардеробщица, слесарь-сантехник. Появились директор Дома, завхоз. Заработало Бюро пропаганды художественной литературы, открылся кабинет инспектора Всесоюзного агентства по авторским правам (Г.И. Корнеева, в будущем главный бухгалтер журнала «Сибирь» и АНО «Изд-во Иркутский писатель»), книжная лавка, через которую писатели приобретали заказанные ими книги. Зарплаты, разумеется, были маленькими, ставки зачастую неполными — половинная, четвертная, но в целом учётов-отчётов прибавилось. Люди приходили и уходили, бухгалтерия оставалась в неизменном составе. Пережили перестройку, хотя и со многими потерями: не стало Литфонда, Домов творчества, за Переделкино никак не утихает борьба, рухнули государственные книжные издательства. Иркутские писатели сохранили свою организацию, ныне региональное отделение СП России, но расстались с Бюро пропаганды... А в одночасье едва не потеряли свой Дом.

Всё это грустные темы, и, увы, — повсеместные. Нэля Семёновна не любит пораженных разговоров и вместе со всеми надеется на перемены к лучшему. И потому продолжим рассказ о былом.

Постепенно сложилось так, что главбух Суханова стала, по сути, вторым лицом после руководителя писательской организации, его негласным замом (при имевшемся в лучшие времена официальном заме). Причина тому — равнодушие Нэли Семёновны к жизни беспокойных и непрактичных (порой до крайности) главных обитателей Дома — этих самых литераторов. Так, она не могла спокойно начислять зарплату исполнителю, если видела, что он недорабатывает. И не боялась сказать об этом прямо. Каждый день, входя в Дом, с первого взгляда отмечала, в чём непорядок. Если новенькая уборщица не везде протёрла пыль, то должна была понять сразу — небрежность в Доме литераторов недопустима. Что касается дежурных, или вахтёров, то здесь волноваться не приходилось — на этом маленьком посту работали удивительно ответственные, исполнительные и деликатные люди. Среди них оказывались вышедшие на пенсию представители солидных профессий: школьный преподаватель, геолог, заводской специалист. Нэля Семёновна до сих пор многих помнит по имени-отчеству: Тамару Игнатьевну, Веру Кондратьевну Федосову, Зинаиду Николаевну Лобееву, Людмилу Бруновну Терентьеву, Нелли Даниловну Баженову... Для многих было удивительным открытием, что взыскующее око Нэли Семёновны охватывало не только два этажа дома, но и проникало в глубину подземелья: главбух не робела спуститься в колодец тепло-водо- и прочих коммуникаций, дабы проверить состояние труб после ремонта.

Единственной сферой, в которую не вмешивалась Нэля Семёновна, было литературное творчество и сопутствующее тому всевозможное брожение умов и кипение страстей. Конечно, у неё были свои предпочтения имён и книг, которые по выходе в свет вручались

ей авторами с дарственной надписью. Книги она принимала с благодарностью и прочитывала, но мнением о них делилась негромко, и только с кем-то из читателей своего ближайшего окружения. С писателями — ни-ни. В них она больше всего ценила человеческие качества. Очень уважала писателей-фронтовиков — Инн. Черемных, А. Зверева, Л. Кукуева, Л. Огневского, В. Козловского.

Владимир Козловский, автор романа «Верность», запомнился таким:

— Всегда подтянутый, вежливый... В нём чувствовалась воспитанность. Помню, пришёл как-то с утра поиграть в бильярд — у нас внизу стоял бильярдный стол. А уборщица только вымыла пол. Он это увидел и говорит: «Я не натопчу!» Разулся и в носках пошёл к столу...

Приятное впечатление оставил Александр Вампилов.

— Опрятно одетый, часто видела его в костюме, белой рубашке. Правда, без галстука, и верхняя пуговица расстёгнута. На собраниях сидел где-нибудь на задних рядах, говорил мало, больше молчал, наблюдал...

Ей легко работалось с ответственными секретарями организации: Францем Тауриным (уехавшим в Москву после избрания в Правление СП СССР), Марком Сергеевым, Анатолием Шастиным, Андреем Румянцевым, Александром Лаптевым. Нравилось, когда, появляясь на работе, руководитель обходил кабинеты Дома и со всеми здоровался, а уходя также повторял обход и прощался. В этом Нэля Семёновна видела уважение к сотрудникам и склонность к так любимому ею порядку.

Секретари всех времён на неё полагались со спокойной душой. Так, А. Лаптев признавался: «Я за вами — как за каменной стеной».

Особенно ей запомнилась работа при ответственном секретаре Анатолии Шастине. Это 1979–1984 годы.

— Анатолий Михайлович был настоящий хозяин Дома литераторов. Ещё будучи парторгом он сумел добиться здания на Степана Разина, а когда его выбрали ответственным секретарём организации, он, можно сказать, все силы приложил, чтобы обустроить Дом как можно лучше. Помню, мы ездили в Ангарск закупать мебель — так вышло, что в Иркутске этого сделать было нельзя. Нам привезли набор различных шкафов — они до сих пор нам служат, хотя и обветшали. По лимиту были выделены дерматиновые кресла, аж двести штук — их расставили в нижнем зале, а лишние, по предложению тогдашнего директора Лыкова, обменяли на старинное зеркало, что на лестничной площадке, и два трельяжа. Эти кресла собирали своими руками Анатолий Шастин с Юрием Самсоновым. Даже старинные дверные ручки из прежнего Дома на 5-й Армии не были брошены — их забрали и поставили на здешние двери. В каждый кабинет провели селекторную связь, стало удобно решать срочные вопросы.

При Шастине, благодаря его заботам, было больше всего выделено квартир членам Союза. Тогда ещё действовало распоряжение Сталина: квартира писателя в случае его переезда переходит другому писателю. И было положено двадцать квадратных метров жилья бесплатно — под рабочий кабинет. Анатолий Михайлович умел убеждать власти любого уровня, чтобы помогали творческой организации.

Нэля Семёновна с удовольствием вспоминает былую атмосферу в Доме литераторов, когда отношения между сотрудниками Дома и писателями были и теснее, и теплее. Дружно переживали трудности. Финансирования не хватало на текущий ремонт, особенно в старом здании, чистоту порой наводили коллективно. С улыбкой рассказывает, как Юрий Самсонов белил высокие потолки, она и Марина Борисовна красили батареи, за Василием Козловым было вкручивание лампочек, как бухгалтерия и дежурные вешали шторы после стирки... Показывает поздравительные открытки к праздникам — многие были ей подписаны «от семьи» — семьи Луговских, семьи Кукуевых, семьи Реутских, и это говорит о том, что общение с писателями было возможно не только в стенах Дома, но и в домашней обстановке.

— Иногда мы заходили в гости к писателям, и нас встречали очень гостеприимно. Например, Ольга и Иннокентий Луговские, Елизавета и Лев Кукуевы. Не забуду, как попа-

ли на юбилей к Кукуеву. Сначала торжество проходило в Союзе писателей (ещё старом). Мы с Мариной Борисовной помогли накрыть стол, но на празднование не остались, ушли домой. Назавтра звонит Лев Архипыч, приглашает зайти на обед. И мы с Мариной пришли. Как они с женой Елизаветой Иосифовной нас встретили! Усадили за стол, угощали всякими разносолами. Ещё и песен попели. А потом вернулись на работу — как раз была «Литературная пятница», надо было подготовить к вечеру зал. Успели!

Помимо текущих дел, которые замыкались на Нэле Семёновне, вроде обсуждения сантехнических проблем с приходящим слесарем-совместителем, на её плечи ложились и весьма ответственные мероприятия, связанные с приёмом гостей Дома литераторов им. П.П. Петрова. Его посещали столичные писатели — участники творческих семинаров, а также писатели из союзных республик и зарубежных стран — Польши, Венгрии, ГДР, Италии, Монголии...

— Обычно приезжали летом, фактически каждый год, — вспоминает Нэля Семёновна. — Правление нашей организации в отпуске, и руководителю, и членам правления приходилось выбираться со своих дач, устраивать встречи в Доме литераторов, сопровождать гостей в поездках по области. Ну, и главбух на посту — финансирование шло из Москвы, из Иностранной комиссии Союза писателей СССР, перед ней надо было отчитываться. Случалось, и на Байкал приезжих возить, если писатели не успевали, иное лето по несколько делегаций прибывало...

Но вернёмся к делам внутрисоюзовским. Мало кому известно, что человек, гоняющий цифры (сначала на счётах, потом на калькуляторе, теперь на компьютере), помимо чёткости и дотошности должен обладать достаточно тонким душевным устройством, особенно если привелось ему работать с людьми не от мира сего. Такое устройство Нэле Семёновне оказалось присуще, и хотя её требовательность порой ранила впечатлительные художественные натуры, но в конечном счёте писательское сообщество признало: женщина она строгая, но справедливая, и к ней можно обратиться за помощью.

Такому выводу есть документальное подтверждение. У Нэли Семёновны сохранились письма, писательские автографы, поздравления с праздниками. Тот, кто прочитает их, откроет для себя мало кому известные штрихи истории Иркутской писательской организации, почувствует дух времени, а также прикоснётся к нелёгкому повседневному быту творческих людей и поймёт, как организация делала всё возможное, чтобы выручить попавших в сложные обстоятельства собратьев (не нарушая, само собой, инструкций о расходовании средств).

С согласия адресата приведём некоторые из писем — как сугубо деловых, так и личных, шутливых и серьёзных, а порой и таких, в которых слышится крик отчаявшейся души.

Милая Неленька!¹

Жалею, что не смог повидать Вас после отпуска. Как бы он ни прошёл, но думаю, что Вы всё-таки отдохнули немного.

О делах: чеки и платёжные поручения подписаны.

Роспись расходов по иностранцам оставляю. (Речь идёт о приёме делегации писателей из-за рубежа. — Н.С.)² Израсходовано даже несколько больше, чем взято, но хорошо бы погасить хотя бы это. Если будет недоставать — зачтите в счёт моей будущей зарплаты. Даты расходов по монголам ясны из телеграмм.

Пете (водителю. — Н.С.) придётся платить автомеханикам за ремонт. Можно отнести за счёт [расходов] по Дому литераторов, я думаю, тем более что Пете придётся платить за разгрузку и сборку мебели. (Отражено время обустройства на новом месте — в бывшем особняке купца Бревнова по ул. Ст. Разина. — Н.С.)

¹Не все писатели в курсе, что в паспорте наша героиня записана Нэлей, поэтому не надо удивляться разнообразию орфографии её имени в обращениях.

²Здесь и далее пояснения Н.С. Сухановой.

Кланяюсь Вам и желаю всяческих радостей. Не браните меня по финансовым неточностям.

Ваш А. Шастин

31.VII. 79 г.

PS. Да, Неленька, о завхозе Вам всё расскажет Пётр I (Реутский. — **Н.С.**). Думаю, что наши общие соображения, основанные на Ваших, имеют смысл.

Ещё раз — всего наилучшего!

Неличка, дорогая!

Улетаю, видимо, надолго. Жаль, что не увиделись.

Несколько дел:

Очень прошу Вас сдать в понедельник извещение в «Вост.-Сиб. правду», текст оставляю.

На 28 ноября намечено обсуждение творчества Дм. Сергеева в Правлении СП РСФСР. Его они вызовут за свой счёт, а Валентина Распутина надо послать за наш. Письмо, оправдывающее такую командировку, они высылают, мне звонили по телефону.

Бюро (пропаганды художественной литературы. — **Н.С.**) нынче сработало нормально. Не возражаю, чтобы им выдать премию.

Если что нужно в Москве — напишите мне до востребования. К-9, Центральный телеграф.

Всего хорошего. М. Сергеев

[1970-е годы]

Неля!

Главный бухгалтер у нас болеет. Но, думаю и уверен, что гарантийное письмо она подпишет, потому что у Ю. Самсонова есть рукопись, которую мы так или иначе будем готовить к печати (письмо для того, чтобы Самсонов мог получить ссуду от книжного издательства. — **Н.С.**).

Теперь о тебе. Может быть (это и просьба Бурыкина Ю.И.), ты нам поможешь во время болезни нашего гл. бухгалтера?

Позвони мне. 4-18-76.

С уважением,

Р. Филиппов,

гл. редактор издательства

24.04.81 г. Иркутск

(Письмо написано Филипповым во время его работы в Восточно-Сибирском книжном издательстве. В 1984-м он возглавил Иркутскую писательскую организацию. Бурыкин Ю.И. — директор издательства. — **Н.С.**)

(Строго конфиденциально. Секретно. По истечении 15 минут уничтожить!)

Неля. Дорогая. Незнакомая!

Вот заявление. «Укатали сивку крутые горки».

Я уже кое-что начал делать:

1. Обзвонил (слёзы!) всех, кому мы должны выступлениями, т.е. будем подбирать «хвосты».

2. По следам Вашего «гиганта» (имеется в виду кто-то из иркутских писателей. — **Н.С.**) выясняю размеры финансовых разрушений, которые могут на нас обрушиться.

3. Отправим в «Дарасун» (курорт. — **Н.С.**) ноту (письмо об оплате прошедших там выступлений. — **Н.С.**).

Жду нашей машины (она сломалась и выйдет на линию в понедельник 28), чтобы объехать всех предполагаемых заказчиков.

Шлите директивы!

Поскольку у писателей трудовой книжки, как Вы знаете, нет, оформляйте меня без

оной или выпишите новую. Я на литературной работе с 1962 года, после окончания Литинститута. Член Союза писателей с 1967 года.

Холост — женат.

Детей много.

Старшая 10 января 1973 г. родила внучку Настеньку. Здоровьем плох, но ещё свеж (если, конечно, к тёплой стенке). Свидетелем м. б. Галя Дронг. —

Верно. Г. Дронг.

В. Озолин

Чита

(1970-е годы. В это время поэт Вильям Озолин возглавил Бюро пропаганды художественной литературы при Читинской писательской организации. Речь идёт о совместных выступлениях читинских и иркутских писателей в Читинской области. — **Н.С.**)

Дорогая Нелля!

В связи с такой молниеносной скоротечностью нашего с Г.Р. [Граubiным] визита в Иркутск, а также праздником и обилием встреч, нам некогда было вспомнить о командировочных, но... это бы и не помогло, ибо остались они у меня дома. Приходится теперь оставлять Вам хлопоты.

Отметьте, пожалуйста, наши удостоверения. Заранее Вам благодарен.

Евг. Куренной

Поклон и сердечный привет Марку [Сергееву]

10.III.78

Нелля!

Не стал заполнять авансовый отчёт, ибо растерялся, что и как там писать!

Заполни сама.

Если оформишь туда и обратно ж. дорогой, то будет ол-райт!

С Первомаем!

Преданно Ваш —

Г. Михасенко

29.04.78

Нелля!

Тут — всё! Даже лишнее — Самсоновская командировка.

Будь добра, проследи, чтобы Самсон сдал рукопись (две тетрадки), которую я успел отрецензировать! Ну, и в свой черёд начислишь чего-нибудь за рецензию!

Остаюсь преданным слугой —

Г. Михасенко

07.12.81 г. Братск

Милый бух!

Ну что сказать о своём здоровье?

Ведь не зря народ, как последнее проклятье, говорит: «Чтоб тебя паралич разбил!» Тягостная это вещь.

Так, болей никаких вроде нет, но парализованная сторона — чужая, неподвластная мне. Правда, всё медленно отходит, но настолько медленно, что даже незаметно. Левая рука проснулась и заработала, но для крупных движений, а мелкие, например, нарезать луку — боже упаси. Нога движется уверенней.

А с осенью беда — мёрзну, вся левая сторона как в ледяной корке, сижу перед телевизором с электрогрелкой.

Все эти муки будут длиться полтора-два года, по словам врачей. Но где же взять терпение?

Одно благо — запретили пить. И я радёхонек! Теперь есть хоть причина, а то... Всегда найдётся и повод, и собутыльник... Хорошо-то как — не пить!

Ну, Неля, что угодно, только не паралич!

*С поклоном —
Михась!
15.09.84 г. Братск*

Неля, здравствуй!

Бумагу подписал, а по возвращении в Иркутск пойду в сберкасса за деньгами. Вернусь сразу после 15 марта. Всю зиму здесь прокашлял, наверное, аллергия на Москву. А в Думу как схожу, так забивает кашель. Не хожу — легче.

Неля, передай, пожалуйста, Галине Ивановне адрес Евгения Ивановича Носова, это её автор в «Сибири». Адрес такой: г. Курск <...>

Пусть, если есть у неё деньги, вышлет ему гонорар по почте. Он бедствует.

*Ваш В. Распутин
5. 02. 2000*

Среди писем, касающихся личных просьб, самое драматическое, если не сказать больше — трагическое, принадлежит Дм. Яблонскому, ибо написано оно в предчувствии скорого ухода из жизни.

Уважаемая тов. Суханова Н.С.

Пишу на всякий случай, чувствую себя плохо, всё может случиться в любой день.

Письмо передаст мой сын Андрей Дмитриевич Яблонский.

В соответствии с инструкцией «О порядке оказания материально-бытовой, медицинской и правовой помощи членам Литературного фонда СССР и их семьям» прошу выдать ссуду на мои похороны сыну Андрею Дмитриевичу Яблонскому и выдать моей жене Галине Васильевне Яблонской единовременное пособие.

Жена сама прийти не может, она очень больна. Все хлопоты возлагаю на сына. Помогите ему, пожалуйста, чем можете.

И ещё одна просьба — помочь ему решить вопрос о получении женой в райсобесе [пенсии] по поводу смерти кормильца — она не получает своей пенсии, так как по болезни не смогла доработать до стажа, положенного в таких случаях.

Думается, что в случае отказа райсобеса Литфонд СССР (по Вашему письму) в соответствии со своей Инструкцией (параграф 26) возьмёт на себя все юридические хлопоты по этому вопросу...

*С уважением Дм. Яблонский
(1970-е годы. Просьбы писателя были выполнены. — Н.С.)*

Короткая справка о Д.П. Яблонском.

Прозаик, известен романом о Гражданской войне «Таёжный бурелом», выдержавшим три издания в конце 60-х–70-е годы: два в московском издательстве «Молодая гвардия», одно — в Восточно-Сибирском книжном издательстве. В Союзе писателей СССР не состоял, но был членом Литфонда СССР с 1962 года.

Два письма от поэта Петра Реутского — одно умоляющее о помощи, другое радостное, с надеждой на лучшие дни (хотя и с грустинкой от расставания) — после переезда в городок Гаврилов-Ям, что вблизи Ярославля и недалеко от Москвы. Оба письма эмоциональны и живописны.

Итак, письмо первое.

Дорогая Неля!

Вот уже 23 дня, как моя Галина Алексеевна лежит в больнице, и не знаю, когда выйдет.

Всё началось с того, что она во время урока (работала учительницей. — Н.С.) упала в обморок. Её увезли на «скорой» и вот результат: сердце, нервы и прочее.

Ты отлично знаешь, что она не может получать зарплату, пока не будет закрыт бюллетень<...>

Далее следует перечисление всех последствий этого несчастья: деньги давно истекли; издательство задерживает гонорар за книгу; в Литфонде просить невозможно — уже получал; сделаны долги; картошка и капуста кончились; семья бедствует...

...Я не могу выехать в город, потому что два раза в день хожу к Гале, чтобы водить её на прогулку. Сама она не может, ибо в любой момент вероятен обморок.

Нэля, попроси кого-нибудь из наших ребят, кто не должен Литфонду, получить злополучные «сиротские» (ссуду. — Н.С.), а потом, когда будет возможно получить мне — урегулируем. Я просто в униженном отчаянье.

Выручи, голубушка.

Култук, почта, Реутскому...

Всем мой трезвый привет и пожелания гонораров. Галя присоединяется.

*П. Реутский
[1970-е годы]*

Письмо второе

Здравствуйте, дорогие Нэля и Марина!

Марина и Нэля! Доехали мы хорошо. Митя вёл себя, как должно мужчине (внук жены Галины Алексеевны. — Н.С.). Здесь ему нравится. Романтика! Наш дом крайний, сразу за ним дикий луг с цветами и озёра с лягушками. На лугу коровы, овцы и прочая живность. Он впервые увидел в природе петуха и козлёночка, так визжал от счастья, что собрал всех стариков.

Контейнер нам доставлен 9-го, шёл ровно 20 дней.

Завтра, 16 июня, едем все в Москву, потом Митя с бабушкой в Оренбург, а я на заработки. Бюро [пропаганды] в Ярославле нет, оно во Владимире. Объединяет Ярославскую, Калининскую и ещё какую-то области, а издательство на эту же зону — в Ярославле.

Театр имени Волкова по внешним размерам — как Большой. Там главным художником с осени прошлого года Юра Суракевич. Они с женой до слёз были рады встрече.

На партучёт встал, а мои писательские документы ещё где-то.

Куры, утки, котлеты свободно, за молоком, маслом и яйцами бывает очередь.

В городке (Гаврилов-Ям. — Н.С.) сплошные сады и озёра, ещё речка вся в зелени, а население 20 тысяч. Ав[иа]завод и текст[ильный] комбинат.

Митя загорел, Галя грустит. Климат хороший, но числа 11-го был такой ураган с ливнем, каких мы и не видели. Страх!..

Приветы наши Тамаре Леонидовне [Шешуковой] (зав. Бюро пропаганды. — Н.С.), Валентине Ивановне [Мариной], Светлане Ивановне [библиотекарю], Свете [секретарше], Вере Кондратьевне, Тамаре Игнатьевне [дежурным], шефу [Анатолию Шастину] и его верным слугам. Целую ваши пальчики.

*Пётр
[1981 г.]*

(В 1993 году семья Реутских вернулась в Иркутск. — Н.С.)

Привет, Нэля!

Это ты хорошо придумала, насчёт денежек, не забудется. Заявление на имя уполномоченного [Литфонда] шлю. Тебе посылаю пожелания доброго здоровья, как в старом году, так и в новом. То же — Марине.

Сам пребываю в полном здравии, хотя не отдыхаю, работаю. Но хожу ежедневно на лыжах, благо, что снега в Подмоскovie много, холода нет. Между прочим, физкультурничаю единственный во всей здешней богадельне. Правда, обижаться на последнюю грех,

хорошо кормят и поят, в Доме тепло, чисто, есть библиотека и кинозал. Несколько лет назад Переделкино перестроено и по комфорту почти сравнялось с Малеевкой.

Дали пригласительный билет — шагаю на съезд.

С приветом Л. Огневский

15.12.75

Дом творчества писателей Переделкино

Дорогая Неля!

Пишу Вам ещё из Малеевки, но собираюсь ещё прожить месяц в Подмоскowie, а затем в Киеве — на яблоках. Возвращаться летом в Иркутск — нет смысла. У меня к Вам большая просьба. Вышлите мне, пожалуйста, мои 70 рублей. Они мне очень-очень пригодятся. Пишу на всякий случай заявление в Литфонд. Адрес у меня новый в течение 26 дней. Индекс 142783 п/о Чоботы, Московской области, Ленинского района. Дом творчества Переделкино.

Буду ждать от Вас ответа.

А пока обнимаю. Привет всем, кто помнит меня.

Ваша Елена Жилкина

(Примерно 1980-е годы. — Н.С.)

Немало в архиве Нэли Семёновны открыток с поздравлениями — в пламенных стихах и сдержанной прозе. Приведём некоторые. Начнём с общего, никем не подписанного, на плотном бумажном прямоугольничке и похожего на старомодную запись в альбоме. Дата и повод не указаны.

Нэле Семёновне Сухановой

Царевна Несмеяна лопнула бы от злости, узнав, что Вы ни разу не улыбнулись на наши художества. Вытерпеть сразу столько писателей — непросто. Тем более что каждый считает себя «заводом, вырабатывающим» кому что удастся.

Иногда поздравление адресовалось двоим — Нэле Семёновне и Марине Борисовне, например, как это:

Дорогие Нэля и Марина!

В праздник Ваш разрешите Вас поцеловать, но в щёку, чтобы не приревновали мужья... Шучу, конечно... Но ведь чем чёрт не шутит, когда бог спит...

Главное — здоровья Вам и счастья!

Инн. Луговской

4 марта, 78

Иркутск, Ст. Разина, 40, Сухановой

Поздравляем желаем радостей обнимаем Распутин Шастин

(Телеграмма в день рождения из Москвы — писатели находились в командировке. 1970-е годы — Н.С.)

С Новым Годом Суханову Нэлю

От души поздравляют друзья!

Будь здорова в любую неделю

И красива, как Галя моя!

Пусть всегда будут счастье и мир

В Вашем доме и городе

П.И.Р.

Целуем — Реутские

(1980-е годы. П.И.Р. — Петр Иванович Реутский. — Н.С.)

Уважаемая Нелли Семёновна!

Сердечно поздравляю Вас с Новым Годом, желаю доброго здоровья, счастья и благополучия. Надеюсь, что в будущем году Вы отправите меня в Пицунду не зимой, а летом. Передайте мой привет и новогодние поздравления Марине Борисовне.

*С уважением
В. Алексеев
27/XII-83 г.*

Сухановой Нелли Семёновне

*Знают все немало штучек —
Канцелярских закорючек.
В жизни их не раз могли Вы
Применять без директивы.
Приходите из сберкассы —
Будем молча ждать у кассы...*

*С уважением —
мужчины
8/III-84 г.*

Сухановой Нелли Семёновне

*Пускай она стихов не пишет,
Пускай над прозой не корпит,
Она на нас приказы пишет
И за отчётностью следит.
Пускай журит она пиита,
Что в срок партвзносы не сдаёт,
Душа отзывчивая скрыта
За внешней строгостью её.
Уж скольких нас в Союз набрали?
Она ж одна нам дочь и мать.
Её нам, братцы, не пора ли
В Союз писателей принять?
Писал бы Пушкин ей поэмы,
Но с нами нет его давно.
Так выпьем за здоровье Нели,
Пока в бокалах есть вино!*

*Вас. Козлов
7.3.85 г.*

*Внучка светится маленькой радужкой,
И на сердце тепло и покой.
Как идёт Вам быть юною бабушкой!
Навсегда оставайтесь такой.*

*М. Сергеев
1986 г.
[8 Марта]*

*А ведь в самом деле:
нет на свете краше
нашей милой Нели
Семёновны нашей!*

*Ей привет в честь дня рожденья
От всех нас и учрежденья!*

*Р. Филиппов
29.06.92*

*Уважаемая Нэля Семёновна!
Поздравляем Вас с праздником весны — 8 Марта!*

*Мы любим Вас — чего таить!
И в этот яркий день весенний
О Вас, любимых, говорить
Хотели б так же, как Есенин.*

*О, даже в кухонном дыму,
На дальнем дачном огороде
И здесь, в писательском доме,
Пусть Вас счастье не обходит!*

*Лелейте близких Вам мужчин,
Они отплатят Вам за это.
Не бойтесь маленьких морщин —
В них столько нежности и света!*

*И мы Вам честно говорим
Под звон серебряной капли:
Когда мы с Вами — мы горим,
Без Вас — мы тлеем еле-еле!*

С уважением — мужская половина Дома литераторов

1995

[Стихи А. Румянцева]

Не чурались иркутские поэты и высокого жанра оды — что и обозначено в длинном названии, совершенно в духе классицизма:

*ОДА
на день рождения
НЕЛЛИ СЕМЁНОВНЫ СУХАНОВОЙ,
долженствующий
быть июня 29 сего года*

*Сегодня все цветочки расцвели,
С утра все птички радостно запели.
О здравствуй, славный праздник всей земли:
Сегодня День рождения у Нелли*

*Семёновны. По имени назвать
Язык мой грешный не зашевелится.
Горда её приземистая стать,
Спокоен, зорок взор, как у орлицы.*

*Не мало, но не много лет прожив,
Не растеряла веры и надежды.*

*Она умеет целый коллектив
Писателей держать в руках надежных!*

*От яств различных ломятся столы,
Как сядешь за один, так и не встанешь.
Достойная высокой похвалы,
Сияй, Семёновна, как в этот день сияешь!*

29.06.2000
[Стихи В. Козлова]

А эта записка на листке бумаги от Любви Щедровой — одно из последних посланий писательницы из Ангарска, уже тяжело болевшей; её не станет в конце 2006 года.

Дорогая Неля Семёновна!

Сердечно благодарю за поздравительную открытку, за душевное письмо, за доброе сердце — пусть оно, твоё сердце, будет здоровым, пусть радуется жизни.

Извини за почерк, руки не слушаются.

Ещё раз всех поздравляю с Новым Годом и целую.

Л. Щедрова
29.12.04

Завершим раздел поздравлений коротким, но ёмким четверостишием, принадлежащим, судя по почерку, В. Козлову. Повод — 8 Марта:

*От Нелли от Семёновны
Никто не ограждён.
Поэтому порядок
Для нас для всех — закон.*

Мужчины СП и журн. «Сибирь»
2005 г.

Никак нельзя обойти и автографов на книгах, подаренных Нэле Семёновне, — таковых набралась целая библиотечка. Приведём некоторые из них в порядке, так сказать, поступления — с 1966 по 2014 год. Названия книг напомнят читателям о творчестве иркутских писателей в разные годы, а надписи — о настроении авторов в момент выхода новой книги и об отношении к адресату.

«Верность»

Милой Нелечке, другу всех иркутских писателей, от всего сердца.

С уважением от автора
В. Козловский
7/I-66 г., г. Иркутск

«Последний срок»

Нэле Сухановой с уважением и любовью, а не только ради подхалимажа (чтобы поменьше ругалась).

Искренне В. Распутин
21/I-71 г.

«Город в дожде»

Неле Сухановой — очаровательной фее Иркутской писательской организации

от автора
с пожеланием добра
А. Шастин 21.1.72 г.

«Братья по крови»
Нэле, с добрыми чувствами.

В. Козловский
29/VII-72 г.

«Вниз и вверх по течению»
Нэле Сухановой с самыми добрыми словами и чувствами.

Искренне
В. Распутин 23/IV-73 г.

«Поле сражения»
Доброй хозяйке иркутского писательского дома, милой женщине и хорошему человеку
Нэлли Семёновне Сухановой с неизменным уважением и нежностью.

Автор, он же самый непутёвый из всех непутных,
Ст. Китайский
16.X. 73 г.

«Своей судьбой гордимся мы»
Неле на добрую память об историческом десятилетии.

М. Сергеев
6.II.73 г.

«Трое с Нижней»
Милой Маришке [дочери Н.С. и А.И. Сухановых], которая любит книжки, с пожеланием здоровья и успехов

от А. Шастина
29.XI. 73 г.

«Перо поэта»
Дорогой Нэле Семёновне с праздничным приветом.

Марк Сергеев
8.3.76 г.

«Вот так чудеса»
Семейству Сухановых с самыми добрыми новогодними пожеланиями.

Марк Сергеев
23.12.76 г.

«Несчастью верная сестра»
Дорогой Неле на память об ещё одном годе нашей совместной дружной работы.

Марк Сергеев
29.12.78 г.

«Связь времён»
Дорогой Неле и её семье от трёх Марков Сергеевых — вечернего, дневного и утреннего.

Сердечно
Марк Сергеев
29.1.81 г.

«Человек из поезда»
Милой Неленьке — сердечно.

А. Шастин
25.XI-81 г.

«Ищу свою звезду»

Нэле Сухановой с пожеланием хорошего здоровья и долгой молодости.

С уважением от автора

В. Козловский

30/V-83 г.

«В начале жатвы»

Нэлли Семёновне на добрую память от автора, так давно знающего её, что кажется, будто всю жизнь.

Ст. Китайский

сентябрь 1985 г.

«Любовь на один сезон»

Нэле Семёновне Сухановой, хозяйке писательского дома, на счастье долгих дорог жизни!

Г. Машкин

2 декабря 1994 г.

«Русская звезда»

Нэля Семёновна, милая, душевная и красивая! Вот Вам моя очередная книжка — дарю её с душевным чувством к Вам и пожеланием счастья и добра!

Андрей Румянцев

Иркутск 19.06.96 г.

«В ту же землю»

Нэле Сухановой от автора.

С давней любовью и вечной благодарностью.

В. Распутин

август 98 г.

«Лицом к свету»

Дорогие Нэля Семёновна и Алексей Иванович, эта книжка называется «Лицом к свету». Я хочу, чтобы в вашей жизни и в жизни вашей дочери и ваших внуков, а потом и правнуков было побольше света, радостей и счастья. Вы заслужили этого!

Ваш Андрей Румянцев

октябрь 2003 г.

«Дочь Ивана, мать Ивана»

Дорогой Нэле Сухановой, «Брестской крепости» российского Отечества нашего, с поклоном низким.

В. Распутин

2 июля 2004 г.

«Красная сотня»

Для Семёновны для Нэли

Все поэты громко пели.

Еле я просунуть смог

Свой негромкий голосок!

Нэличка, помни!

Твой Ростислав

28 апреля 2005 г.

Иркутск

*(В день презентации последней книги Р. Филиппова, за год с небольшим до ухода поэта из жизни. — **Н.С.**)*

«Слово о полку Игореве сына Святослава внука Олегова». Поэтическое переложение
Владимира Скифа

Нэле Семёновне Сухановой

*Без тебя пустует дом,
Без тебя нам грустно в нём.*

*Столько дней и столько лет
Ты в него вносила свет,
И улыбку, и глаза,
Кои позабыть нельзя —*

*Приходи к нам, Нэля, чаще!
Приноси животворящий
Свой непобедимый свет,
Что идёт из прошлых лет.*

*Из хорошей прошлой жизни,
Где служили мы Отчизне,
Отдавая силы, кровь
И к Отечеству любовь!
На счастье!*

*Автор перевода
В. Скиф
10.11.14*

Этим автографом, горячо и порывисто очертившим образ наиболее стойкой единицы руководящего звена Иркутской писательской организации на фоне времени (она же *хозяйка, фея, Брестская крепость и милая женищина*) мы и завершим наш портрет, составленный коллективно и документально, а значит, объёмно и объективно.

Словно печать, автограф подтверждает суть всего сказанного выше о Нэле Семёновне Сухановой. Остаётся добавить, что адресат писательских посланий имеет также свидетельства признания на официальном уровне: Нэля Семёновна — ветеран труда с 1984 года, награждена двумя грамотами губернатора Иркутской области: первая подписана Ю.И. Ножиковым (1995 г.), вторая — А. Тишаниным (2005 г.), а также ей вручены грамота Правления Союза писателей России, грамота Комитета по культуре Иркутской области, благодарственные письма от Управления культуры города Иркутска.

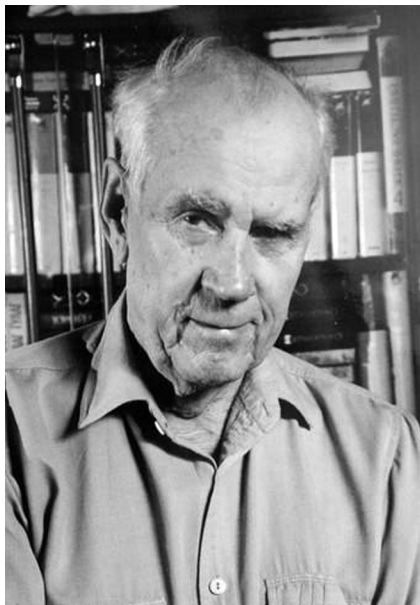
*Валентина АНДРЕЕВА,
критик*

* * *

Поздравляем Нэлю Семёновну Суханову с её славным 75-летием!

Доброго Вам здоровья, благополучия в семье и всё той же неугасимой преданности писательскому сообществу, посещение которого Вами вносит порядок в делах и спокойствие в душах. Спасибо огромное!

Правление ИРО СП России
ОГАУ «Дом литераторов»
Редакция журнала «Сибирь»



Георгий Граубин

Тот памятный семинар

О Георгии ГРАУБИНЕ

Чита, сентябрь 1965 года, тот памятный семинар...

Незабываемым событием для Читы стал праздник книги. На главной площади города имени Ленина было не протолкнуться. Сюда пришли и приехали десятки тысяч людей. Облкниготорг, облпотребсоюз, «Военная книга» вывезли всё лучшее, что было на книжных базах. Установили десятки прилавков, над площадью висели разрисованные шары-зонды. Из конца в конец площади, бесцеремонно расталкивая людей, ходили скоморохи с шутками-прибаутками. Зазывалы предлагали книги, а на «закуску» — пироги с черемухой, грибами, черемшой. На многих столах стояли пузатые самовары. Играл духовой оркестр, повсюду было море цветов.

Вот низко над городом пролетел самолёт, делая замысловатую коробочку и разбрасывая красочные листовки.

Помнится, я подошёл к столику ответственного секретаря Читинской писательской организации детского поэта Георгия Граубина, купил его книгу стихов для детей. «Говорящие каракули», куда автор вписал мне тёплый автограф: «Эдуарду Анашкину с пожеланиями самого большого счастья! Г. Граубин». Отошёл от стола. Внимательно прочёл книгу. Особенно понравились и сразу же запали в душу два стихотворения «Труд» и «Снежинки».

Вернулся назад.

— Георгий Рудольфович, а тут у вас есть ещё детские книги стихов? — спросил я. — Понравились «Говорящие каракули».

— Забавно. В вашем возрасте читают другие книги. Что, в детском возрасте мало читали?

— Нет. Читал много и всё подряд, что надо и не надо.

Граубин внимательно на меня посмотрел, привстал из-за стола, открыл свою книгу «Говорящие каракули» на последней странице и произнёс:

— Вот здесь весь список книг, выпущенных для детей. Они есть кое-где в магазинах, а уж в детских библиотеках точно. Желаю удачи!

На последней странице книги было такое объявление: «Ребята! Для вас у поэта Георгия Глубина есть ещё и такие книжки: «Любознательный народ», «Весёлый дом», «Король лентяев», «Боря, открыватель моря». Две книги «Король лентяев» и «Любознательный народ» я приобрёл в Чите, а затем мою личную библиотеку пополнили и новые книги детского поэта: «Синяя молния», «Ленивый поджог», «Едет улица в Москву», «Косолапый музыкант», «Я б Гуливером быть хотел». Мой младший сын Сергей так смеялся «Над копилкой смеха» Георгия Граубина, что я не заметил, как и у меня выступили слёзы.



Эдуард Анашкин

Прошли годы, и его дочка Татьяна залихватски смеялась, держась за животик. Вот это копилка!

*Утром на дороге
Я нашёл смешинку
И на всякий случай
Положил в корзинку.*

Вот что пишет в своей статье «В облаках и на земле» (журнал «Сибирь» № 2 за 2014 год) ответственный секретарь детского журнала «Сибирячок» Светлана Асламова о Георгии Рудольфовиче: «Душа его

распахнута для всех. Кто послушал Георгия Рудольфовича, уже никогда с ним не расставался, не забывал. Кто прочитал его книжки, захотел и сам написать, ан нет, простота и лёгкость строк Граубина обманчива, за этим стоит и талант, и способ мышления, и большая школа мастерства, и полная событий биография».

В 30 лет Георгия Рудольфовича Граубина приняли в Союз писателей СССР, в 35 лет он возглавил Читинскую областную писательскую организацию и был на втором съезде избран членом Правления Союза писателей России. Он — заслуженный работник культуры РСФСР, награждён орденом «Знак почёта», медалями «За строительство БАМА», «За освоение целины и залежных земель». Кроме этого Граубин — член Совета по детской литературе Союзов СССР и РСФСР, обладатель специального диплома Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу, неизменный участник Торжественного открытия недели детской книги во всех странах СНГ и России. Детские стихи Георгия Рудольфовича переведены на 20 языков народов мира и многие напечатаны в 25 учебных пособиях для учителей и школьников. Общий тираж детских книг составляет 5 миллионов экземпляров!

И ещё мне хочется привести слова Светланы Аслановой из её статьи о Георгии Граубине: «Родоначалники советской детской литературы Самуил Маршак, Агния Барто, Корней Чуковский, Сергей Михалков, Елена Благина, Валентин Берестов, Яков Аким и другие создавали мажорную поэзию для детей. Они ушли от обязательных дидактических канонов, от назидания и поучительства. Это была превосходная школа детской литературы, воспитания талантливого читателя. Не случайно, что рядом с уже названными именами, стоит имя забайкальца Георгия Граубина...»

Георгий Граубин родился 11 июня 1929 года в селе Усть-Дая Сретенского района. Его дед Михаил, уроженец Эстонии, с 1904 по 1917 год отбывал каторгу в Забайкалье за то, что принимал участие в крестьянском бунте. Получив долгожданную свободу, решил не возвращаться на родину. Сын Михаила Граубина, Рудольф, став взрослым, женился на эстонской девушке Элле Палло, которая в начале 20-х годов приехала в Забайкалье.

Семья Граubiных в 1934 году переехала в село Жипковщина, а в 1938 году — на станцию Кука. Кроме Георгия в семье Граubiных были ещё две дочери, а в 1941 году родился сын Владислав.

Георгий с ранних лет увлекался чтением. «В 1941 году отца взяли на фронт, — вспоминает в своём письме ко мне от 17 ноября 1980 года Георгий Рудольфович, — перед фронтом он заехал ко мне в интернат, где я учился на станции Яблонева. Ночью страшный стук во входную дверь, на ночь её закрывали. Открыли, а это мой отец заходит, высокий, могучего телосложения. Он ехал на фронт и забежал проститься со мной. Схватил, в шубу меня завернул — и на станцию, где стоял железнодорожный состав, который должен был отправиться на фронт. Меня — в вагон, там топится железная печка. Окружили военные, начали давать кто хлеба, кто макароны, кто банку консервов, кто-то даже сунул мне пачку махорки. «Зачем она ему?» — засмеялся отец. «На что-нибудь сменяет!» Пришёл я со станции довольный.

Однажды мы получили от отца письмо, последнее. Он писал, что воюет на Курской дуге, в 50 метрах от немецких окопов. И всё, больше писем не было. А затем пришло извещение, что пропал без вести...»

Во время войны Георгий, как и другие подростки, научился стрелять, рыть окопы, получил большой знак ГТО. Вот что написал о своём детстве Граубин много лет спустя в стихотворении «Трофейные сапоги»:

*Были трудными годы детские,
Если б наши солдаты знали,
Что ношу сапоги немецкие,
Те, что землю мою топтали.*

*Мать цвела, что достались дёшево,
Хоть и взяли за них немало.
Чисто яловые, хорошие.
Ну, чего она понимала?!*

*И иду — сапожища звякают,
Закрываю глаза и вижу:
Эти, цокая, Европою,
Подмосковья ромашки мяли —
Прямо к смерти они притопали
(Не с живого же их снимали).*

*Натерпелся же я стыдобушки,
Хоть на холоду разуваться,
Но кричали сердито вдовушки
«Да носи ты их, не стесняйся!»*

*А когда потерялся без вести
Мой отец с разведротою вместе,
Обувал я их не от бедности,
А скорее — из чувства мести.*

*Я бродил в них кустами цепкими,
Болотинами, неприкаян.
Сапоги были очень крепкими,
Безотцовщиной — их хозяин.*



Книги Георгия Граубина

После окончания школы Граубин работал на телефонной станции при военном аэродроме, наблюдателем за погрузкой древесины на станции Кука. В пятнадцатилетнем возрасте поступил в школу военных техников. После её окончания работал мастером на ПВРЗ (паровозо-вагонно-ремонтном заводе) на станции Чита-1. Там он сразу же показал себя серьёзным, грамотным специалистом. Писал стихи, которые печатались на страницах центральной газеты «Гудок». В 1955 году у него



В кругу семьи

вышла первая книжка стихов «Утренний гудок» о своих друзьях-рабочих. А вскоре ему предложили должность заведующего отделом рабочей молодёжи в областной молодёжной газете «Комсомолец Забайкалья».

Я дважды писал Георгию Рудольфовичу в Читу, уже отсюда, из Поволжья, с одним единственным вопросом: как он стал детским поэтом? Ответа от него не получил. Однако получил его из статьи Светланы Асламовой «В облаках и на земле»: «Однажды шёл домой и только взялся за дверь, — рас-

сказывал смешной случай Георгий Рудольфович, — напротив вижу мальчишку такого несчастного, слёзки текут по грязному личику. «Дяденька, помогите, пожалуйста, нажмите на кнопку, а то я не достану». Я нажал, глазки него просветлели. Ну, думаю, помог человеку, а он как побежит. «А теперь, дядя, бежим скорее отсюда, а то нам пошнее наkostenяют!»

Может быть, впервые обратил внимание на детей, на их проказы и проделки. Конечно, такие случаи становятся сюжетами стихов. А как-то моя дочка Алла, — рассказывает Граубин, — положила руку на приёмник, а он был горячий, так как работал. Девчонка ойкнула. И опять родилось детское стихотворение: «Чудо-юдо совершилось, наше радио сварилось». А потом пошло и поехало!..»

Одной из ярких страниц жизни Георгия Рудольфовича был литературный семинар молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока в 1965 году. Это было его детище!

Да, это было его детище — он был и инициатором, и организатором проведения этого замечательного праздника для читинцев и всех жителей Забайкалья. И они должны помнить об этом.

1964 год. Второй съезд писателей Российской Федерации. Георгий Рудольфович Граубин избран членом Правления Союза писателей. После окончания съезда делегаты разъехались по домам. Секретарей писательских организаций — отделений, оставили ещё на несколько дней, чтобы проанализировать выступления на съезде, прикинуть, что можно и нужно сделать. Семьдесят секретарей (столько было отделений в России) молча сидели в зале заседаний Союза писателей недалеко от Кремля, на Софийской набережной. Председатель Правления Леонид Сергеевич Соболев ходил перед секретарями отделений как заведённый и произносил монолог о том, что литература — важное оружие партии (хотя сам он был беспартийный), его надо постоянно совершенствовать, поднимая литературное мастерство, поэтому нужны серьёзные предложения. В зале начались перешёптывания, но никто не просил слова. Соболев призывал подумать, высказать хоть какие-то мысли. Секретари безмолвствовали. О том, что произошло дальше, вспоминает Георгий Рудольфович Граубин: «Мысленно перекрестившись и толкнув под локоть Марка Сергеева (ответственного секретаря иркутской писательской организации) — поддержи, если что, — я поднялся и подошёл к Соболеву. Тот с интересом посмотрел на меня, не без лукавства изрёк:

— Вот сибиряк сейчас предложит такое, что придётся нам всем вертеться!

— Да, я хочу предложить вот что. Ломоносов предсказал, что могущество России будет прирастать Сибирью. И она уже сейчас даёт больше половины всего того, что добывается в России. Некоторых богатств в ней не счесть, их откроют геологи. А Союзу писателей надо открыть в ней литературные клады. В каждом писательском отделении за Уралом есть молодые таланты. Иногда их не замечают, иногда их рукописи задвигают в дальний угол стола. Надо провести всесибирский поиск талантов, в том числе и дальневосточный. Для этого организовать большой семинар в Чите. Она стоит как раз на водоразделе между Сибирью и Дальним Востоком, недаром в двадцатые годы там была столица Дальнево-

сточной республики. Чита готова принять сто молодых писателей. Руководителей семинара может прислать любая область: в каждом отделении есть деньги на командировки. Это мог бы быть и смотр, и учёба. Молодые писатели могли бы влить свежую кровь в организм нашего Союза.

Леонид Сергеевич несколько минут молчал, словно переваривая сказанное, потом спросим озабоченно:

— А где возьмём деньги на молодых? Чтобы руководить семинаром, мы сможем прислать десяток писателей из Москвы и Ленинграда. Отделения смогут делегировать одного-двух. Но с молодыми нам не совладать — это нам не подъёмно. У нас не только нет денег, но и людей, чтобы провернуть эту махину организованно. Надо ведь перелопатить уйму рукописей, перепечатать, организовать пересылку в те города, откуда поедут руководители. Нет, не представляю, как это можно сделать. Вы утопист, Джордж (с тех пор он стал называть меня так).

— Командировку молодых писателей и перепечатку рукописей могли бы взять на себя обкомы комсомола: забота о молодых литераторах — это кровное их дело. А пересылкой мы могли бы заняться сами.

— Мы никогда не работали с комсомолом. Мысль хорошая, но поддержит ли комсомол? Это проблематично.

— На этот вопрос можно ответить минут через пятнадцать-двадцать, мне необходимо позвонить по телефону.

Недоверчивых ноток в голосе Соболева больше не было.

— Перекур, господа хорошие, через двадцать минут продолжим.

Я достал записную книжку, нашёл номер телефона Мелентьева (Юрий Серафимович Мелентьев — с 1961 по 1965 год — заведующий сектором штата ЦК ВЛКСМ, был директором издательства «Молодая гвардия», хороший знакомый Граубина. — Э.А.). На счастье, он оказался у себя в кабинете. Я сказал, что его запланированный краевой, хабаровский семинар можно превратить в зональный, поскольку Соболев «за». Если он тоже «за», хорошо бы приехать и выступить. Можно ведь общими силами сделать нужное, полезное дело. Слово за комсомолом. Надо отдать должное Юрию Серафимовичу. Тут же перезвонив секретарю ЦК ВЛКСМ Александру Камшалову, он коротко сказал: «Выезжаю».

Приехал он минут через двадцать пять, все его терпеливо ждали (ещё бы — директор издательства, в котором каждый мечтал выпустить книгу). Сказал коротко, деловито: «ЦК комсомола целиком поддерживает эту идею. Мы подключим к подготовке все обкомы, местные молодёжные газеты, «Комсомольскую правду». Не только думаю, но уверен, что такой семинар будет полезен политически и практически».

Тут же, в кабинете Соболева, решили — нужно подготовить совместный проект решения Правления Союза писателей и секретарей ЦК ВЛКСМ. Вскоре проект был подготовлен и выглядел он так: «В целях выявления молодых литературных сил и оказания им практической помощи, провести 5–10 сентября 1965 года семинар молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока в г. Чите. Обязать...» Далее шло, кто что должен делать: комсомол проводит работу вместе с отделениями Союза по отбору молодых писателей, командирует их в Читу. Правление — отправляет руководителей семинара.

Мелентьев отвёл меня в сторону и сказал:

— Ну теперь держись, крутиться придётся много!

Первый секретарь обкома комсомола Дуфар Ахметов обрадовался совместному постановлению: в важной бумаге прозвучало имя читинского обкома ВЛКСМ. Дано особое поручение. Ему внимание и поддержка.



В Читинской тайге. 50-е годы

Он тут же потащил меня ко второму секретарю обкома партии Тартышеву. Тот сказал мне, озабоченно потерев переносицу:

— Задали вы задачу. Долгострою-гостинице не видно конца, теперь всем читинцам придётся отрабатывать на её строительстве. Иначе ваших писателей и разместить негде. Ладно, эту работу возьмёт на себя город, вы организуете творческие дела. И продумайте до конца всю программу — от встречи гостей и до последней минуты отъезда».

Имя Никифора Никифоровича Тартышева, которого звали для простоты Николаем Николаевичем, до сих пор старожилы Читы вспоминают с большим уважением. Он был лаконичным, конкретным, проблемы решал со знанием дела, сразу.

«А когда мы с Дуфаром Ахметовым покидали его кабинет, — вспоминает Граубин, — Никифор Никифорович посоветовал: хорошо бы вам каким-нибудь образом тоже приглядывать за строительством гостиницы. Прорабы — большие мастера втирать очки. Придумайте нам какой-нибудь пост, чтобы иметь точную информацию».

Это было выполнено сразу же. На строительстве гостиницы был утверждён писательско-журналистский пост из сотрудников областной газеты «Забайкальский рабочий», молодого поэта Ростислава Филиппова, а остряк Александр Алёшкин — стал его помощником. Они часто навевались на стройку, разговаривали с рабочими. И не только сообщали в горисполком о возникающих вдруг проблемах, но и писали об этом в свою газету.

В начале июня в отделение Союза писателей стали поступать бандероли. Рукописей было так много, что они лежали не только на столе и диване, но даже и на полу. Георгий Рудольфович составил схему и график их пересылки.

Постепенно были поимённо расписаны все семьдесят рукописей, подошедших в разное время, — триста пятьдесят экземпляров. На стене Граубин повесил огромную схему контроля за прохождением. Маршруты передвижения рукописей он постоянно отмечал на схеме. И если где случалась заминка, слал туда телеграммы, звонил по междугороднему телефону.

Наконец, все приготовления к семинару остались позади. На завершение строительства гостиницы выходили целые коллективы — после работы и в выходные. Прораб Борис Хаймовский ходил гордый и заказал символический ключ от гостиницы для торжественного открытия. Были подготовлены помещения для проведения творческих семинаров, неподалёку друг от друга: в помещении мединститута, пединститута, в здании облисполкома, в отделении Союза писателей. При гостинице был сформирован круглосуточный комсомольский штаб во главе с Виктором Поляковым и Владимиром Петровичевым. Им был выделен отдельный номер. Ответственный секретарь писательской организации Георгий Граубин также на время семинара переехал в гостиницу.

Военторговская столовая на время семинара стала кормилицей руководителей и участников семинара. В аэропорту и на железнодорожном вокзале были постоянные дежурные для встречи гостей.

И вот первая встреча в аэропорту. Всем гостям комсомольцы из штаба вручили букеты цветов. Особенно роскошные Леониду Соболеву и Антонине Коптяевой. Писательскую делегацию встречали второй секретарь обкома партии Тартышев, заместитель председателя облисполкома Борисов. Гостей увезли в новенькую гостиницу, в холле которой прошёл небольшой митинг. Борис Хаймовский собрал своих строителей — они были торжественны и нарядны. Сказав приветственное слово, он вручил символический ключ от гостиницы Леониду Сергеевичу Соболеву. Дежурная горничная чуть не под ручку отвела его в трёхкомнатный люкс. Остальных развели по номерам. На столах в каждом номере стояли цветы, минеральная вода из местных источников «Кука» и «Мо-локовка», кедровые орехи. С первых шагов начальник комсомольского штаба проявил небывалую проницательность. Он заметил, что когда Соболев заходил в номер, у него слегка шлёпала подмётка на левой туфле. Он понял, что она поотстала. Постучавшись в номер, он представился и спросил:

— Есть ли у вас домашние туфли?

— Есть, — удивлённо ответил Леонид Сергеевич. — Вам их дать поносить?

— Вы пока побудете немного в них, — не принял шутки Виктор Поляков, — мы вам туфли свозим в сапожную мастерскую. Их надо немного подремонтировать.

Соболев снял туфли, посмотрел на подошвы и даже ахнул:

— В иных местах на ходу подмётки рвут, как говорит пословица, а тут пытаются их прибить. Как же вы смогли узнать о таком конфузе?

— По звуку, Леонид Сергеевич.

Через полчаса отремонтированные и вычищенные туфли были доставлены в номер. И много лет при всяком удобном случае Соболев вспоминал об этом».

А потом пошли будни: началось обсуждение рукописей во всех двенадцати семинарах. Вот что вспоминает Георгий Рудольфович о семинаре: «Я переходил от одного семинара к другому, видел то радостные, то расстроенные лица участников. Хвалили далеко не всех, иные после этого семинара вообще перестали писать. И, наверное, хорошо сделали — литература не для слабых духом людей...»

Хочу ещё привести здесь строки-воспоминания из письма ко мне, уже написанные в 2005 году Георгием Граубиным: «После книжного базара прямо с площади поехали за город на Никишиху. Мне хотелось показать виды Забайкалья. Нам давно примелькались наши красоты, мы их не замечаем, а Юрий Рытхэу был восхищён:

— Куда там Швейцарии! Ей такие пейзажи даже не снились.

— Это место очень похоже на долину Билимбей у Иссык-Куля, — продолжил своё сравнение Иван Шестаков. — Интересно, кто придумал название речки?

Яков Аким уверял, что точно в таком месте стоит в Болгарии гостиница для туристов. Да и сама София расположена точно в такой же долине, как и Чита. А Соболев, опёршись на трость и запрокинув голову, долго смотрел на небо:

— Ни разу не видел такой чистой голубизны. Это же поразительно!

— Это потому, что в сентябре воздух у нас сухой, не затуманенный парами, — попробовал я объяснить.

— Не надо, Джордж, — протестующе поднял руку Леонид Сергеевич. — Красота в объяснениях не нуждается».

Когда порядка восьмидесяти запланированных рукописей прошли обсуждение и закончилась собственно семинарская работа, участники и руководители семинаров собрались в обкоме КПСС на заключительное заседание, в котором принял участие первый секретарь Читинского обкома партии А.И. Смирнов. Председательствовал на собрании секретарь Правления Союза писателей РСФСР Франц Николаевич Таурин. Выступавшие руководители творческих семинаров, подводя итог проделанной работе, говорили о том, что в нашу литературу пришло надёжное перспективное пополнение. Тринадцать человек, в том числе Цыдыпа Жамбалова из Агинского национального округа, было решено рекомендовать для приёма в члены Союза. Некоторые рукописи передали в издательства.

Собранием писателей в обкоме КПСС закончилась только первая часть читинского писательского форума. На следующий день одни молодые литераторы и их творческие руководители разъехались по району Забайкалья для творческих встреч с трудящимися. А другой писательский десант направился на Дальний Восток для проведения «Недели молодёжной книги...».

* * *

Когда пишу о Георгии Рудольфовиче Граубине, вспоминаю о его весьма солидном цикле стихов, посвящённых любимой женщине — своей жене Галине Григорьевне. Её смерть стала для него катастрофой. Увы, как часто бывает, только после её смерти Граубин в полной мере осознал, как много она для него значила:

*Если бы всю жизнь начать с нуля!
Было бы всё это по-другому,
Я бежал бы радостнее к дому
И быстрее, чем вертится Земля!*

*Господи, за всё меня прости!
Всё могло бы быть хоть чуть иначе,
И зимой черёмуха на даче
Для тебя могла бы расцвести.*



Забайкальская осень – 2010

По следам матери окончили медицинский институт и стали врачами дочери Алла и Татьяна. Медицинский окончили и старшие сыновья обеих сестёр. Однако старшая дочь Алла, спустя почти двадцать лет после окончания института, ушла из медицины в журналистику, к которой стремилась с детства. Начала писать, публиковаться, выпускать детективы для детей в Иркутске, Чите и Москве, она член Союза писателей России, заместитель председателя правления Читинской писательской организации. В последние годы Георгий Рудольфович тяжело болел, перенёс инфаркт миокарда. Много лежал, жалуясь на то, что нет сил, но всегда клал с собой ручку и тетрадь. И радовался тому, что несмотря ни на что, может сочинять.

Умер Граубин в мае 2011 года. На кладбище, где похоронен Георгий Рудольфович, на надгробной плите его стихотворение, которое он завещал выбить:

*Простите меня, если что-то я делал не так.
Бывали ошибки, но совесть моя не молчала.
От вас ухожу я, хотя и не слышен мой шаг.
Ведь смерть не конец, а неведомой жизни начало.*

Не могу не сказать о дружбе, мужской дружбе двух поэтов-соседей: Георгия Рудольфовича Граубина и иркутянина Марка Давидовича Сергеева. Оба они были ответственными секретарями своих писательских организаций, один — читинский, другой — иркутский. Вот что вспоминает Граубин: «Однажды нас пригласили в обком партии к секретарю по пропаганде и агитации Ревняку. Он с пафосом сказал, что ЦК проявил новую заботу о литературе. Вместо небольших областных издательств создаются зональные, на несколько областей. Они будут мощными, оснащёнными современным оборудованием, потому книг будет издаваться больше и с высоким качеством. В связи с этим наше издательство и альманах закрываются, мы прикрепляемся к Иркутску, где будет создана великая база.

Но что свершилось — свершилось. Чита и Иркутск оказались привязанными друг к другу. С Марком Сергеевым мы до этого крепко дружили. А тут возникла, как любят говорить чиновники, производственная необходимость крепить наши узы».

Надо признать, что Марк Давидович поддержал инициативу своего друга о проведении такого семинара в Чите. Он принимал участие во всех без исключения праздниках и был не только любимцем читающей публики, но и верным помощником Граубина. Сергеев с писателями побывал почти во всех районах Забайкалья, написал о «Забайкальской осени» и Чите много стихов. Я даже в название этой статьи взял его строку из стихотворения «Вступление в осень». Был Марк Сергеев и у меня на родине — в городе Хилок, где выступал в Доме культуры имени В.П. Чкалова перед железнодорожниками. Об этой встрече в стихотворении «Старинная песня» он пишет так:

*Как пели женщины в Хилке,
Как песней душу растрavляли:
Силки не хитро расставляли,
Качая полночь на руке...*

В 1973 году Марк Давидович привёз в Читу писателей, которые стали гостями литературного праздника, всех иркутян-участников того легендарного читинского семинара 1965 года — Валентина Распутина, Вячеслава Шугаева, Геннадия Машкина, Бориса Лапина...

А сам Марк Сергеев посвятил стихотворение ставшему яркой страницей отечественной истории литературы читинскому семинару:

Чите

*Косматое небо, и ветер несносен,
На целой земле — мокрота.
Но есть всё равно «Забайкальская осень»
И солнечный город Чита.*

*Там ясное небо и ясные лица,
И к ним мы спешим неспроста:
У песни и книги отныне столица —
Читательский город Чита.*

*Невнятное счастье в дорогах мы ищем,
Взрываясь, берём высоту,
Но чтоб на себя оглянуться, дружнице,
Нам надо собраться в Читу.*

*Невзгоды стряхнуть и душой обновиться,
И сверить с мечтою мечту,
Обняться с друзьями и снова влюбиться
В читательский город Читу.*

*Горняцкий посёлок, степная станица,
Тайга в золотой красоте,
И строгая тишь на аргунской границе,
И праздники книги в Чите.*

*И девушка та, что непрошенно снится,
И дальних дорог маета,
И грустный отъезд, и мечта возвратиться —
Всё это и значит Чита!*

Последний раз я виделся с Георгием Рудольфовичем десять лет назад. Тогда я получил задание от московского еженедельника «Литературная Россия» написать материал к 40-летию семинара молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока, который прошёл в Чите. Июнь месяц. Я в Чите. За основу материала взял свой дневник за тот год (дневник веду с детских лет до сего времени), но чего-то не хватало. Работаю в областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина. Однажды, после обеда, я поинтересовался, где живёт Граубин, у одной из сотрудниц библиотеки. Она подвела меня к окну и показала: «Вот проходит улица Ленина, по которой вы шли в библиотеку, а вот и дом, где проживает Георгий Рудольфович». Я нашёл этот дом. Квартира 46 оказалась в 3-м подъезде на третьем этаже. Постучал. Мне открыли и сразу же предупредили, что сейчас Георгия Рудольфовича повезут в диагностический центр, а оттуда в реабилитационный, за город.

Граубин лежал на диване, слабо пожал мне руку, протянул письмо и несколько отпечатанных листочков (это оказались краткие воспоминания о «Забайкальской осени»), сверху положил записку. Уже на улице я её раскрыл. «Самым активным пропагандистом не только этого праздника, но и вообще всего литературного процесса была работавшая на радио, а потом на читинской студии телевидения Ида Петровна Файерштейн, самая лучшая хранительница памяти о тех прекрасных годах. У неё не только вышла отличная книга воспоминаний, у неё и прекрасный фотоархив. Хорошо бы Вам непременно встретиться с ней. Живёт она рядом с телестудией, ул. Кочеткова, 2, первый подъезд, первый этаж, направо вторая дверь. Телефон 26-06-08».

Но воспользоваться этим адресом я не смог — билет на железнодорожный поезд «Владивосток — Харьков» был уже взят. Нужно было уезжать...

*Эдуард АНАШКИН,
член Союза писателей России*



Ковчег Дмитрия Мизгулина

Начну издалека. Со стихами Дмитрия Мизгулина познакомил меня заместитель главного редактора журнала «Наш современник» Александр Казинцев. Если уж вспоминать всё по порядку, то вначале я прочитал подборку стихов поэта и взятое Казинцевым у него интервью («Наш современник», 2005 год, № 6), а позже Александр Иванович в своём кабинете на Цветном бульваре подарил мне книгу Мизгулина «География души» со словами: «Стоит с ним познакомиться поближе». И вторично, через год, сам Станислав Юрьевич Куняев в коротком, но очень важном для меня, да и не только для меня, послесловии об авторе из Ханты-Мансийска поведал о том, что Дмитрия Мизгулина как поэта просмотрели, и буквально заставил обратить на него внимание всероссийского читателя («Наш современник», 2006 год, № 9): «Когда-то Глеб Горбовский с горечью сказал, вспоминая о «питерском» периоде жизни Николая Рубцова в Ленинграде: «Мы Николая просмотрели»... Вот и замечательного поэта Дмитрия Мизгулина мы тоже просмотрели. Не равняю его с Рубцовым, но «всё же, всё же, всё же...» Слава Богу, он сегодня в полном здравии и в расцвете творческих сил. Ему в сентябре-месяце исполняется сорок пять лет. Мы поздравляем Дмитрия Александровича и желаем ему не сворачивать с поистине выстраданного поэтического пути. Слово «путь» в данном случае не метафора, а сущность. Некоторые стихи из этой подборки написаны поэтом, когда ему было всего лишь 19–20 лет. Можно только удивляться гармоничному совершенству поэтической речи в таком возрасте и какой-то особенной, природной мудрости... Надеемся, что в скором времени мы опубликуем статью, посвящённую творчеству Дмитрия Мизгулина. Слава Богу, нашего полку прибыло. Лучше поздно, чем никогда».

К слову сказать, наш русский национальный журнал я выписываю многие годы и, естественно, читаю его от корки до корки. Даже в самые тяжкие годы, когда в бездну перестройки рухнула страна и все мы почувствовали этот свистящий полёт в преисподнюю, почти, как у Юрия Кузнецова – «соществие в ад», даже тогда, фактически не имея заработка и лишних денег, я продолжал выписывать «Наш современник».

В 2005 году, получив шестой номер любимого журнала, я вгрызся, прежде всего, в поэтический раздел. Так уж повелось. Вначале я читаю своих собратьев по цеху, потом публицистику, а затем, простите меня, прозаики, читаю повести или рассказы. Прочитал я Бориса Бурмистрова — поэта из города Кемерово, порадовался его стихам и тому, что обнаружил в Бориной подборке стихотворение, адресованное памяти Юрия Кузнецова, перепечатал его в свою антологию стихов о Юрии Поликарповиче. Я уже давно собираю стихи о Кузнецове. И не только о Кузнецове. Есть у меня такое увлечение: ишу во многих изданиях и собираю антологии стихов о Валентине Распутине, об Александре Вампилове, о Шукшине и Рубцове. Но не буду отвлекаться. А то получится, как у Марины Цветаевой: «Поэт — издалека заводит речь, поэта — далеко заводит речь».

Следующим в перечне поэтических имён этого номера был доселе неизвестный мне поэт Дмитрий Мизгулин. Я читал, впившись глазами в его строчки:

*Исчерпан февраль без остатка
До самых последних снегов,
Слабеет привычная хватка
Звонящих морозных оков.*

*Лишь солнце пригреет — синицы
Поднимут неистовый гам,*

*И отблеск лучей заискрится,
Скользя по лиловым снегам...*

*Но это — лишь завтра. А ныне —
Промёрзшие клочья небес.
И стонет под ветром и стынет
Не к сроку разбуженный лес.*

Сразу обнаружилась ясная, доверительная интонация поэта, его не будничное отношение к слову. Отметил строчку с ненавязчивой звукописью: *И стонет под ветром и стынет*. И тут же, в прошлом — деревенский житель, я порадовался точности описания последнего месяца зимы, его исхода: *Исчерпан февраль без остатка до самых последних снегов...*

Дальше — больше. Вчитываясь в стихи Дмитрия Мизгулина, я понимал, что встретился со стихами настоящего поэта, умеющего и видеть, и слышать не только изменчивую природу, но чувствовать время, его непрерывное движение и зыбкость окружающего мира, человека и страну, её невзгоды и поражения — всё то, к чему равнодушно сердце поэта:

<i>Давно не пахнет русским духом —</i>	<i>Взовьются зорные метели</i>
<i>Проветрили насквозь.</i>	<i>В рождественской ночи,</i>
<i>Но будь уверен — где-то ухнет</i>	<i>И обезумевший Емеля</i>
<i>Могучее «авось»,</i>	<i>Промчится на печи...</i>

Одно из стихотворений, «Какая тишь! В округе...», короткое и ёмкое, напомнило о том, в каком мире мы живём и куда движемся:

<i>Шумят морские воды,</i>	<i>Ржавеют кипарисы,</i>
<i>Пространства сумрак сжат,</i>	<i>Мелеет водоём,</i>
<i>И тени пароходов</i>	<i>Давно сбегали крысы,</i>
<i>У пристани орожат...</i>	<i>А мы ещё плывём.</i>

По-своему, по-мизгулински автор выражает надежды на русское спасение, поскольку в этом «А мы ещё плывём» чувствуется: никуда не делся русский дух, и мы никуда не исчезнем, и не только **«мы ещё плывём»**, а наверняка доплывём до русских надёжных берегов.

В представленной метафоре Дмитрий Мизгулин смыкается с Валентином Распутиным. Как ни горько, ни больно звучит в речи Распутина на получении премии Александра Солженицына 4 мая 2000 года мысль о той истаявающей льдине, на которой мы плывём, она, во что бы то ни стало, превратится в новый ковчег и достигнет своего Арарата: *«Чего мы ищем, чего добиваемся, на что рассчитываем? Мы, кого зовут то консерваторами, то традиционалистами, то моралистами, переводя эти понятия в ряд отжившего и омертвевшего, а книги наши переводя в свидетельство минувших сентиментальных эпох. Мы, кто напоминает, должно быть, кучку упрямцев, сгрудившихся на льдине, невесть как занесённой случайными ветрами в тёплые воды... Так чего же хотим мы, на что рассчитываем? Мы, кому не быть победителями... Всё чаще накрывает нашу льдину, с которой мы жаждем надёжного берега, волной, всё больше крошится наше утлое судёнышко и сосульчатými обломками истаявает в бездонной глубине. С проходящих мимо блистающих довольством и весельем океанских лайнеров кричат нам, чтобы мы поднимались на борт и становились такими же, как они. Мы не соглашаемся. Солнце слепит до головокружения, до миражей, и тогда представляется нам, что наша льдина — это новый ковчег, в котором собрано в этот раз для спасения уже не тварное, а засеянное Творцом незримыми плодами и что должна же быть где-то гора Арарат, выступающая над подобным разливом. И мы всё высматриваем её и высматриваем в низких горизонтах. Где-то этот берег должен быть, иначе чего ради нам поручены столь бесценные сокровища?»*

Необоримый, подлинный сын русского народа, Валентин Распутин остаётся нашим светочем во всех своих чувствах и гражданских проявлениях, в сердечном бережении русских национальных корней и стремлении спасти родное Отечество. Он — неукоснительный пример для творческого человека.

Мной ощущается, что Дмитрий Мизгулин — рядом. Я это почувствовал сначала в его публикациях, а потом и в книгах, которые у меня появились. Не могли не появиться. И первая из них, которую я получил в подарок от Александра Казинцева, подтвердила моё суждение о Мизгулине: передо мной — истинный русский национальный поэт с проникновенным, духовным зрением, душевным средоточием и ясной устремлённостью в будущее, которого нет без осознания своего прошлого.

Книгу «География души», вышедшую в одном из самых известных и почитаемых в стране издательств — «Художественная литература» — я читал и перечитывал много раз. И всё приближал и приближал к собственной душе многие пронзительные, чистые строки близкого мне по духу поэта:

*Дрожащие тени ложатся
На светлые воды реки,
Опавшие листья кружатся,
Красивы, изящны, легки.*

*И пахнет так резко и странно
От свежей, промёрзшей земли,*

*И в небе прозрачном, стеклянном
Чуть слышно звенят журавли.*

*И есть ещё время до срока,
Когда загудят провода,
Когда поседеет осока,
Когда потемнеет вода.*

Здесь мне дороги чувства и приметы наступившей осени: и небо, подобное моему, и журавли, и осока, и тёмная вода — всё это родное, близкое до боли, всё это у меня тоже есть, и так сердечно соприкасается с музыкой Дмитрия Мизгулина:

*Звенит надо мною большое стеклянное небо,
Царапает душу колючая, ломкая высь.
Ещё далеко до осеннего первого снега,
А птицы, как пули, уже в никуда понеслись.*

В. Скиф. Из стихов, посвящённых Александру Казинцеву

Постепенно моя библиотека пополнялась книгами Дмитрия Мизгулина, и вот уже одна за другой появились: «Новое небо» — почти миниатюрная книжечка, изданная московским издательством «Сибирская Благовонница», затем красивая, подарочная книга «Утренний ангел» того же издательства, следующая книга «Ненастный день» была выпущена в Томске с послесловием знаменитого критика Льва Аннинского и, конечно же, с тончайшим вкусом оформленная.

Но самая неподражаемая книга — «В зеркале изменчивой природы», в соавторстве с фотохудожником Аркадием Елфимовым, вышла в 2011 году, изданная Благотворительным фондом «Возрождение Тобольска». Это даже не книга, это совершенное произведение искусства, слиток золота, современный артефакт, уникальность которого неповторима во всех отношениях. Книга отпечатана в Италии небольшим тиражом с предисловием блистательного русского поэта Юрия Перминова, продумана и воплощена дизайнером и иллюстратором Василием Валериусом и Полиной Винокуровой, но, прежде всего, эта книга написана сердцем и умом замечательного русского поэта. Стихи Дмитрия Мизгулина перекликаются с фотоиллюстрациями Аркадия Елфимова настолько гармонично и настолько естественно, что поначалу не верится, что такое возможно. Но, пересмотрев иллюстрации и прочитав стихи, я ещё раз убедился в том, что Аркадий Елфимов — тоже поэт. Ведь некоторые стихи Мизгулина надо было не просто проиллюстрировать, а пережить, вживить в себя, в свои возможности и передать их содержание, воплощённое в цветовую гамму, в восхитительные, порою искромётные, порою сдержанные живописные напевы.

Ну, ладно стихи, к которым по сюжету легко найти фотографию: Рождество, церковь, крыши домов, но бессонница, свет памяти или, допустим, стихотворение «Не хотел бы подводить итоги...». И здесь, в таких смысловых качествах, Аркадий Елфимов оказался тоже на высоте. Все фотоснимки соединены со стихами бережно, мудро, пронзительно. Некоторые из них напоминают картины живописцев, тех же передвижников: Шишкина, Левитана, Саврасова, Поленова, Васнецова, Куинджи, Фёдора Васильева, так они могуче живописны. Вот, например, на странице 162 читаем стихотворение Мизгулина о Боге и душе, о быстротечности воды и жизни:

*Жизнь уходит понемногу.
День прошёл — и, слава Богу,
Как вода в реке.*

*Наши чувства, наши думы —
Словно след волны угрюмой
На речном песке.*

*Грузим душу чем попало.
Очерствела и устала
Бедная душа.
Может быть, остановиться,
Осмотреться, помолиться
Тихо, не спеша?..*

*Молим Бога об удаче.
О достатке. А иначе
Что ещё просить?
А душа? Душа в сомненье,
Ведь пора бы о спасенье
Слёзно голосить!*

*С Богом и легко, и просто!
Лодка. Церковь у погоста.
Тёмная река.
Чайки кружат над водою,
И с тревогою немой
Мчатся облака.*

Сопровождает эти стихи удивительная по цвету и свету, очень точная по соединённости со смыслом стихотворения, ну, прямо-таки поленовская фотоиллюстрация, похожая на картину великого русского художника-передвижника Василия Дмитриевича Поленова «Заросший пруд». А стихотворение «Когда едва-едва светает...» проиллюстрировано пейзажем, один к одному наминающим картину Ивана Ивановича Шишкина «Сосны, освещённые солнцем».

Мне кажется, что подобные издания становятся не просто библиографической редкостью, они остаются в неизмеримой вечности единственными и неповторимыми.

Но вернёмся к Дмитрию Мизгулину, который, в моём нынешнем представлении его творчества, действительно, неразделим с Аркадием Григорьевичем Елфимовым. Недавно я, как удивительную награду, получил в подарок от издателя мирового класса, каким является Елфимов, книги полюбившегося мне поэта Дмитрия Мизгулина: одиннадцать томов его произведений, собранных в одном поставце — белоснежном полуоткрытом футляре — в оформлении художников Ивана Лукьянова и Александра Бакулевского с предисловием поэтессы Нины Ягодинцевой. А может быть, передо мною не мистический, а реальный ковчег из книг, плывущих к моей душе и уносящих меня для полночного в них обитания?

Читаю первый том необычного собрания сочинений, встречаю те стихи, которые читал и раньше, но читаю как будто вновь:

*Вечер. Дождь. В тумане Малый Невский.
С крыши вода на тротуар течёт...
Отставной поручик Достоевский
По притихшей улице идёт.*

*Боже! Как дождливо в этом мире!
Впрочем, бездна всё-таки без дна,
Может, всё же посидеть в трактире?..
Спросит чаю. Сядет у окна.*

*Не минуют тёмные напасти —
Бьёт судьба как будто наобум.*

*Есть расчёт в любой безумной страсти,
Безрассуден самый трезвый ум.*

*И поди же предугадай попробуй,
Где и чья прольётся завтра кровь
В миг, когда соседствуют со злобой
Доброта и вечная любовь.*

*И попробуй быть скупым и кратким
В час труда, забвенья и гульбы,
В миг, когда вот-вот поймёшь загадки
Русской удивительной судьбы.*

*Всё так просто и необъяснимо,
И попробуй догадайся сам...
Дым табачный вьётся мимо, мимо,
Через фортку — прямо к небесам...*

Радуюсь стихам, как старым друзьям, и возвращаюсь к первоначальной мысли, вынесенной в заглавие моих высказываний о том, что поэзия Дмитрия Мизгулина призывает к спасению мира и души, к библейской истине: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся другие». Поэтическое пространство Дмитрия Мизгулина — тот самый спасительный ковчег, который неотступно, целенаправленно движется сквозь бушующее девятым валом житейское море, он призывно сияет всем нам, указывая сердечный вектор русского спасения — быть верными избранному пути, не расставаться с чистотой и глубиной русских смыслов, веками служивших верой и правдой русскому народу

Что же мне ещё остаётся сказать? Сияй и не только усладжай тихим сумеречным пением, но и страстно воюй за духовный Арарат, за надёжный русский берег, светлый и непотопляемый Ковчег поэзии Дмитрия Мизгулина!

*Владимир СКИФ,
член Союза писателей России*



«Запах гари»

Есть в краеведческом фонде ИОГУНБ небольшая, скромная книжка «Запах гари» (Фруг И. *Запах гари. Иркутск, 1988. 222 с.*). На тёмно-сером фоне обложки неярко светятся нежные золотисто-оранжевые краски. Сначала кажется, будто это солнце выглядывает из-за туч. Но, приглядевшись внимательно, вдруг делаешь небольшое открытие: да ведь это подсолнух! Огромный, будто солнце, с тёмной, созревшей сердцевинкой. К этому подсолнуху на обложке читатель не раз ещё вернётся, во всяком случае, дойдя до страниц с рассказом об украинском местечке Рогань, — обязательно! На эту станцию в августе 1943 года со своим батальоном связи вошла автор книги — молодой боец Инна Фруг. Вот как она об этом рассказывает: *«Пять дней назад здесь были немцы. Когда мы пришли, деревня ещё дымилась. Кругом развалины, среди которых местами торчат железные кровати и печные трубы. Пепел. Население рассказывает жуткие вещи. Все плачут. Нас встречают замечательно, пытаются чем-то угостить, но у них, кроме семечек, ничего нет. Кругом стоят чёрные переспелые подсолнухи...»*

Современная Рогань — спальный район Харькова. Но помнят ли нынешние харьковчане те военные времена, когда их отцов, матерей спасали от немецких зверств советские солдаты, в том числе юная восемнадцатилетняя москвичка Инна Фруг? Если бы помнили, не было бы, наверное, сейчас на Украине разгула такого дикого, безудержного национализма и русофобства. Вот бы эту книжку да в руки украинцам! Пусть читают, вспоминают...

Подсолнух на обложке можно назвать символом не только сохранившейся, уцелевшей среди страшной войны жизни, но и символом судьбы самой Инны Фруг. Семнадцатилетняя хрупкая девочка, эвакуированная с матерью и младшей сестрёнкой на Урал, постоянно голодавшая (и гордившаяся тем, что не падает, как другие, в обморок от голода), она жила только одним — на фронт! Защищать Родину! О жизни в эвакуации рассказывается в первой части книги «Добрянка». Добрянка — районный центр на Урале, откуда прямо из школы, не закончив 10-го класса, ушла на фронт Инна. Удивительный «эффект присутствия» испытываешь, читая «Добрянку». Вся она состоит из подлинных писем Инны к матери, написанных в 1941–1942 годах. Как живые, встают пред нами и сама Инна, её мама — учительница Екатерина Осиповна, отговаривавшая дочку от ухода на фронт, школьные друзья, Варя Матюхова, отдавшая Инне свои единственные чулки, хозяйка избы, где жила Инна, — Дарья, прятанная от голодной девочки состряпанные шаньги. Отдельным действующим лицом книги можно назвать Историю. Историю нашей страны, увиденную и рассказанную обычным человеком с необычной судьбой. Хотя судьба Инны вообще-то была типична для того времени: отца арестовали ещё до войны, сослали в лагерь. Об этом говорится очень скупое, полунамёками. Ведь издана книга была в советские времена, в 1988 году! Про политические репрессии и сталинские лагеря тогда ещё только-только начинали говорить и писать. Как о небывалом счастье мечтает в войну Инна о послевоенной жизни с отцом. Увиделась же она с ним лишь в 1947-м, навестив в лагере. А освободили Льва Ефимовича Фруга уже после смерти «вождя народов».

От восторженной, безоговорочной веры в партию и товарища Сталина — к осознанию себя как личности и пониманию ценности жизни каждого — таков постепенный, нелёгкий путь духовного взросления автора.

«Звёзды ясные», «Запах гари» и «Сказка» — эти части книги идут следом за «Добрянкой», и главная тема та же — война. Нет здесь описаний решительных атак, масштабных

сражений, героических подвигов. Хотя, что можно назвать подвигом? Тяжёлый, изнурительный, подчас вовсе непосильный для женщин на фронте ежедневный труд, который выполняла Инна вместе с подругами, — разве не подвиг? Эти девочки, девушки, молодые женщины, в прямом смысле слова, надрывались и на всю жизнь теряли здоровье, таская на своих хрупких плечах тяжеленные катушки с кабелем, разгружая вагоны со стокилограммовыми ящиками, роя окопы, протягивая провода и обеспечивая связью аэродромы — в жару, снег, дождь...

Война, на которой сражалась и о которой рассказывает Инна Фруг, открывается нам через эмоции, чувства книжной, очень домашней, любящей маму девочки. И вот эта эмоциональная составляющая, дополненная реальными, подлинными бытовыми подробностями того времени, вызывает настоящий «синдром Стендаля». Кажется, мы видим это сейчас, сию минуту: *«Из землянки к столовой — узкая дорожка. Кругом сугробы. Когда мы идём с котелками за ужином, поём: «Иду по знакомой дорожке, вдали голубеет крыльцо, я вижу в открытом окошке твое дорогое лицо». Сегодня Настя Вереzubова вдруг остановила строй да как закричит: «Кто кого видит?» Все стали называть парней, а я сказала: «Маму». Все засмеялись и пошли строем дальше...»*

Или вот ещё эпизод:

«Шли вечером с аэродрома. Впереди шёл капитан Житков, и я решила у него узнать, будет ли сегодня ночная работа. Подбежала к нему: «Товарищ капитан!» Но не успела произнести «разрешите обратиться», как он повернулся, наклонился ко мне и сказал: «Что, миленькая?» Я страшно растерялась, а он совершенно не заметил, что так сказал. Только тогда я поняла, что и командир тоже должен быть ласковым...»

Почти одновременно со Светланой Алексиевич («У войны не женское лицо») Инна Фруг поднимает практически не раскрытую в военной литературе тему «женщина на войне». Об этом не принято было писать, существовало такое негласное «табу». Или писали, но сильно приукрашивая или искажая действительность. Инна Фруг ничего не приукрашивает, пишет, как было. Взять хотя бы историю возвращения с фронта («Сказка»). Их, демобилизованных девушек, едущих по домам, наши же солдаты не пускали в теплушки. Все составы были забиты, и те же солдаты, так трогательно заботившиеся о девушках на фронте, вдруг превратились в озверевшую массу, готовую растерзать девчат. Страшные страницы. Но это было. И помнить это нам тоже нужно, хотя бы для того, чтобы знать: война не только воспитывает героев, она калечит души людей. И лучше бы нам жить без войн...

Страницы книги, несмотря на общий драматизм сюжета, наполнены каким-то особым светом, свежестью, чистотой. И связаны эти ощущения непосредственно с образом автора. В чём-то наивная, но искренняя, открытая, порывистая, мечтающая о любви, вся наполненная жаждой жизни, юная Инна очень сильно напоминает Наташу Ростову. Ту Наташу, в которую внезапно для себя влюбился князь Андрей. Вот Наташа в Отрадном, её слова, случайно подслушанные князем Андреем: *«Соня! Соня! ...Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда, душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так вот бы села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки... и полетела бы. Вот так!»*

А это Инна:

«Иду и улыбаюсь. Вдруг чувствую, что я просто вся сияю. Потом иду и пою. Снег искрится, блестит. Передо мной огромное голубое поле аэродрома. И вот низко-низко, стремительно и напористо проносятся на бредущем два Ила, потом «ястребки». Какие они красивые! Какие люди там! Как уверенно мчатся они над землей в бой за страну!»

Вот и в Инну с первой встречи влюбился её однополчанин, радист Лёва Лейдерман. После войны они поженились, оба стали врачами и уехали из Москвы в молодой город Ангарск. Пока Инна воевала, в их московскую квартиру вселилась семья партийной работницы, не пустившей потом на порог ни вернувшуюся из эвакуации мать Инны, ни саму фронтовичку. Даже через суд не удалось Инне с матерью вернуть себе старую квартиру. Больше пяти лет ютились они в жалкой комнатухе — бывшем школьном туалете. Здесь у

них с Лёвой родилась первая дочка, спать которую укладывали в фанерный чемодан, привезённый с фронта. Зато в Ангарске молодая семья в скором времени получила свою квартиру. Здесь они стали настоящими сибиряками, получили известность как талантливые врачи, исцелившие сотни пациентов. Кстати, четверо девочек в Ангарске, дочек бывших больных И.Л. Лейдерман, были названы в её честь Иннами.

В 1960-е годы Инна Львовна заведовала терапевтическим отделением в Майской больнице на окраине Ангарска. Бывший деревянный барак её усилиями был превращён в современную клинику, а терапевтическое отделение стало лучшим в Приангарье. Всё здесь было необычно: висели прекрасные картины, подаренные художниками Ангарска, была собрана библиотека, имелся большой цветник и аквариум с красивыми рыбками. Около каждой койки был как бы свой маленький пульт: кнопка для вызова медсестры, кнопка для включения ночника, вилка радионаушников и отводка кислорода. Техническое оснащение было сделано по просьбе Инны Львовны её друзьями, работавшими на Ангарском электромеханическом заводе. И родственники приходили в больницу в любое удобное для них время, а не в строго определенные часы, как мы все привыкли. Каждый пациент, будь то директор завода или простая уборщица, чувствовал в больнице искреннюю заботу и внимание.

В 1970-е годы, параллельно с основной работой, Инна Львовна создаёт клуб медсестёр «Свеча», девизом которого были слова голландского доктора Ван Тульпа «Светя другим — сгораю сам». На заседаниях клуба проводились вечера поэзии, праздники цветов, литературные диспуты по книгам Распутина, Тендрякова, Зощенко, Монтеня. Десять лет И.Л. Лейдерман руководила этим клубом, который быстро прославился на всю страну, за рубежом и породил множество подобию. «Средний медицинский персонал», обычные медсёстры, санитарочки не боялись обсуждать сложные жизненные и философские проблемы, спорить даже с Валентином Распутиным. Все они выросли духовно, почувствовали свое личное достоинство, и в этом тоже заслуга Инны Лейдерман.

Большой друг Инны Львовны, режиссер ангарского народного театра «Чудак» Леонид Беспрозванный, как-то воскликнул, говоря о ней: «Это просто вулканическая женщина!» Действительно, как вспоминали многие, всё вокруг неё кипело, горело, сияло. И вот на пике такой жизненной активности, в конце 1960-х, в жизни Инны Львовны случился резкий перелом. Начались тяжелейшие испытания, вызванные болезнью позвоночника (а причиной болезни стали сильные физические перегрузки времён войны). Неудачная операция сделала её инвалидом... Физических мук было более чем достаточно, чтобы превратить обыкновенного человека в «профессионального больного», все мысли которого сконцентрированы вокруг его болезни. Вместо этого Инна Львовна стала... профессиональным писателем. Высокую оценку её творчеству дали Валентин Распутин, Борис Полевой, Григорий Бакланов, Борис Васильев, Светлана Алексиевич. Рассказы, повести Инны Фруг (девичья фамилия Инны, ставшая ее литературным псевдонимом) печатались в журналах «Юность», «Знамя», «Сибирь», «Дни и ночи» (Красноярск). В одном из писем друзьям, не найдя ручки с синей пастой и перейдя на красную, она обмолвилась: «...Считайте, что пишу кровью...» И это не метафора. Самые простые для здорового человека вещи: одеться, выйти на улицу, написать письмо, стали для неё тяжелейшей, порой и вовсе непосильной, задачей.

Есть такое понятие «сила духа». Мы не имеем инструментов для измерения этой силы. Однако прекрасно понимаем, чувствуем, что это такое. Титаническая сила духа Инны Львовны была заразной. Она «подпитывала» огромное количество людей, подчас даже тех, кто не был знаком с этой женщиной. Многочисленные друзья Инны Львовны убеждены, что благодаря ей не только состоялись сами как личности, но вырос духовный потенциал всего города Ангарска. А может, и страны? И даже — мира? В 1992 году по английскому радио с литературной композицией «Запах гари» выступала актриса Элизабет Морган. В 2005-м, уже после смерти Инны Львовны, в Иркутске вышла автобиографическая книга Инны Фруг «Кубик Рубика», в 2009-м — книга её стихов «Что я без красного листа кленового?»

Всё, что дарит нам своим творчеством Инна Фруг, учит пониманию людей, доброте, любви, нежности. Учит жизни — повседневному мужеству, честности и благородству. И в этом залог её читательской популярности.

*Что ж!.. Прорежусь!
Не здесь — значит там!
Не хотите? — Приду всё равно!
Не по вашим слепым следам —
Я дождём разобью окно!
По звенящим от ветра листам
Я, как ветер, неожиданно ворвусь
Через толщу нечитанных книг —
Я их даже листать не возьмусь!
Я их тоже прочесть не смогла —
Не успела!
Но Бог мне простил,
потому что
Не здесь — значит там
Я прорежусь:
мне хватит сил!*

*Людмила МИРМАНОВА,
библиотекарь*



Юрий Баранов

«Неяркий блеск снегов России...»

19 февраля 2015 года в органном зале филармонии с большим успехом прошел литературно-музыкальный вечер «Белый ангел», приуроченный к Году литературы в России. Свои стихи читал автор — поэт Юрий Баранов. Музыкальными иллюстрациями к стихам послужили соответствующие по настроению пьесы Баха, Франка, Рахманинова и современных композиторов для фортепиано, скрипки, органа и саксофона, которые исполнили Борис Изаксон, Анна Варутина, Дечебал Григоруцэ и Игорь Сендеров. Музыкальным руководителем и автором идеи проекта выступила кандидат искусствоведения Марина Токарская.

Многим иркутянам Юрий Иванович, в прошлом офицер ВВС, известен как прозаик и дет-

ский писатель. Ранее мы читали и восхищались его очень хорошими, мужественными, по-настоящему мужскими рассказами, не выдуманными, а почерпнутыми из самой жизни. Импульсом к писательству ему послужила давняя встреча выпускников Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Марины Расковой, которое он в своё время закончил. Когда он увидел своих одноклассников уже постаревшими и поседевшими, за плечами которых была целая жизнь, возникла мысль: кто же расскажет об этих мальчишках-сверстниках 1946–1947 годов рождения, если не я? Ведь я помню их молодыми...

Так родились книги «Медвежий след», «Душа бизона» и другие остросюжетные рассказы из жизни военных лётчиков в драматический для страны период 80–90-х годов минувшего века. («Медведями» у лётчиков называют некоторые виды тяжёлых самолётов.) За скупыми, лаконичными строчками вставляли характеры и судьбы людей, которых знал потомственный офицер Юрий Баранов, которых любил, понимал, ценил, с которыми дружил.

Теперь, на встрече в органном зале, зрители открыли его как талантливого и тонкого поэта. Слушая его стихи, мы словно заново открывали для себя красоту мира и природы, восходов и закатов, каждого цветка и каждого времени года. У него поэтично всё: вьюги-метели и снегопады, и «капли васильков на пшеничном поле», и запахи полыни, и куст смородины, и одинокая берёза, и простой жухлый лист клёна...

Несмотря на привычку к военному языку приказов и рапортов, Юрий Баранов сохраняет в себе внимательный взгляд и любовь к литературному слову. Не зря, наверное, говорят, что все лётчики — большие романтики, потому что «летают в облаках, ближе к звёздам». Небо манило его с самого детства, потому что отец тоже был военным лётчиком, о чём мы узнаём из его стихотворения «Стальная эскадрилья»:

*Меня качали и читали стихи и песни про войну.
Моторы за окном рычали про атомную тишину.
Гуляли, пели и летали в гостях у бати летуны,
и в песнях снова проживали безжалостные сны войны...*

Много гарнизонов пришлось объехать лётчику Дальней авиации Юрию Баранову, прослужить в разных регионах страны. Но вот в 1988 году судьба привела его в Иркутск, и с тех пор, прикипев душой, полюбив этот край, он живёт здесь. О Сибири, её природе, её людях, об Иркутске у него написано немало, в том числе и книжек для детей, где автор предлагает маленьким читателям пройтись по улицам родного города и увидеть невероятно много интересного и даже захватывающего. Эти книги стали для них своеобразным путеводителем. Отправившись вслед за героями книг, дети много узнали об истории города. Его книга «Иркутский драгун Лешка, или Тайна Наполеона» достойно оценена читателями, а сам он стал лауреатом Международной литературной премии имени П.П. Ершова в номинации «Лучшие стихи и проза для детей и юношества».

«Я с удовольствием написал бы целую серию сказок об Иркутске, у нас ведь есть удивительные дома, у каждого есть своя история, и она может быть вполне сказочной, сюжетов хватит надолго, — говорит автор, — так что очень может быть, что появятся новые книги и будут новые встречи».

«Все мы родом из детства», будто напоминает нам поэт своим пронзительным стихотворением «Детство», отсылая в послевоенное время и к одному из своих любимых писателей — Экзюпери, который был лётчиком и тоже говорил об этой поре как «...об огромном крае, откуда приходит каждый, словно из какой-нибудь страны».

В системе человеческих ценностей Юрия Баранова не менее важна тема дружбы. Она окрашена в его стихах особым светом и занимает одно из главных мест. Только дружба способна и отвести беду, и спасти, и растопить лёд одиночества.

*Нам век бы не знать городской толчеи.
Нам тесно в квартирах, конторах.
Наш быт: гарнизоны и песни турбин,
и дружба, рождённая в спорах.*

*Мы за облаками в ночной тишине
не раз в океан уходили.
Мы солнечный ветер, туман и дожди
винтами своими рубили...*

Это из «Песни старых пилотов», а ещё о том же и в «Полётной», и в стихотворении «Старая фотография». Понятия чести, верности долгу, слову, делу остаются для него не просто словами, а главными понятиями в жизни для него самого и для его героев.

Писатель и поэт Юрий Баранов — поразительный пример единства творчества и собственной жизни. В своих произведениях он пишет о полётах, о небе, о своей работе, о товарищах, о России, о тех местах, где летал и работал, обо всём, что его окружает. Все годы он писал одно-единственное произведение — свою собственную жизнь. Я бы сказала, что всё творчество Юрия Ивановича — исповедально. Недаром все его произведения как бы говорят: «Ищите меня в том, что я пишу...» Именно с этой позиции он вышел на встречу со зрителями на прошедшем литературном вечере. Его голос, нравственное понимание долга, честное отношение к делу своей жизни — всё переплетено, взаимосвязано и ясно видится через его произведения.

Истинный интеллигент, что является большой редкостью в наши дни, естественный и простой, даже застенчивый, жизнелюбивый, предупредительный, благородный и обаятельный лётчик, запечатлевший в своих стихах и прозе красоту земли и неба, каждодневный труд штурмующих высоту людей, их братство и воспевающий теплоту человеческих связей, разговаривал с залом о любви. И зал откликался чутким дыханием, внимая каждому слову.

Когда слушаешь стихи, приходят мысли о том, что чем больше лётчик Юрий Баранов был в небе, тем ближе и родней становилась ему земля и тем сильнее зрели в нём чувства, которыми теперь он не мог не поделиться с людьми.

*Роса проплачет жемчугами,
день выпит жадными глотками.
И каждый час благословен.
Прекрасен этой жизни плен...*

*Лора ТИРОН,
журналист*

Литературное чаепитие

«Что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий...»

Данная цитата из книги бразильского писателя Пауло Коэльо применима и к Центру Александра Вампилова, в котором 25 мая прошёл завершающий день в цикле традиционных, уже IV «Свиданий у Вампилова-2015». И стали они традиционными оттого, что перешагнули порог единичного События. За накрытым по-домашнему столом (горячий чай, сушки, баранки, пироги, блины и прочие яства) собрался цвет иркутской интеллигенции. Авторы, чьи книги с автографами находятся в библиотеке Центра. А именно: народный артист России Виталий Венгер, поэт Владимир Скиф, журналист и писатель Арнольд Харитонов, журналист Валентина Рекунова, писатель, сказочник, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб, кинооператор, лауреат Государственной премии Евгений Корзун, фотограф и поэт Марина Свирина, поэт и журналист Артём Морс.

В процессе чаепития они отвечали на подготовленные сотрудниками Центра вопросы. Владимир Скиф, на вопрос, откуда берётся вдохновение, рассказал занимательную историю о том, что однажды его потеряла жена, потому что он уехал по работе, да задержался на целый месяц: *«Вот сижу я в деревянном доме, перед листом бумаги, даже свет не зажигаю, чтобы не спугнуть музу. Чувствую, сейчас я услышу её голос, и пойдёт работа. И, правда, слышу где-то вдали женищину, которая выкрикивает моё имя: «Вова! Вова!» Да что ж это такое, думаю, неужели сейчас музу увижу. Выхожу на крыльцо, а там повиснув на заборе, висит девушка и говорит, что меня жена потеряла. Я на неё наворчал, так как она сбила мне весь поэтический настрой. Пригласил в дом хоть чаю выпить. Но та испуганно отказалась. Тогда я вернулся к столу и на одном дыхании написал:*

*Я молод был.
Нёс мир на коромысле.
В нём отражались годы и века.
Я шёл, а девки на заборах висли,
Закатывая очи в облака.
Я молодой,
Замешанный вкрутую,
Мир в бочку осторожно выливал,
Снимал с забора девку молодую
И уносил домой на сеновал.*

Поэтому источники появления вдохновения — не совсем бывают понятны», — подытожил Владимир Скиф.

Артём Морс рассказал, как становятся писателями. Что этому не обучают в литературных институтах. Сама жизнь, со своими горестями, радостями, и есть лучший учитель для того, кто хочет стать литератором. Нужно общаться с разнообразными людьми, погружаться в гущу событий, проявлять ко всему неподдельный интерес и неугасающее любопытство.

«Что для меня означают книги? — отвечал Арнольд Харитонов. — Всё. Это воздух, которым я дышу. Без книг даже не представляю жизни. Мои любимые авторы: Михаил Булгаков, Фазиль Искандер, Исаак Бабель, Ильф и Петров. Могу многих перечислить, потому что многое перечитал и этому очень рад».

Об этапах подготовки и выхода книги поведал Станислав Гольдфарб. Это, оказывается, долгий, трудоёмкий и тернистый путь.

Мы узнали, что Евгений Корзун совсем не читает газет. Марина Свирина замечательно продекламировала отрывок из поэмы Гарсиа Лорки. Непросто было определиться

с любимым литературным героем Виталию Венгеру, поскольку его репертуарный лист составляет более 300 ролей. А Валентина Рекунова (ей попалось задание прочитать любимое четверостишие) вспомнила строчку из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Родина» «Люблю Отчизну я, но странною любовью...».

Есть события, пережив которые, нельзя не проникнуться друг к другу симпатией, и по лицам присутствующих зрителей и самих участников это было заметно. Встреча прошла содержательно, интересно и душевно. Инициатива собрать таких величин за единым столом в Доме драматурга удачно реализовалась.

Все они штучные в своём ремесле, твёрдые самостоятельные творческие единицы (личности!), прочно зарекомендовавшие себя в культурном пространстве. Подобно одной пчеле, что наполняет улей мёдом, каждый из них вносит неоценимый вклад в общий улей сибирской и российской культуры.

*Иван ТРОНИН,
научный сотрудник Центра Александра Вампилова*



«Пламенея от стыда»

В марте 2015 года в библиотеке-филиале № 1 им. Валерия Алексеева в Ангарске состоялось *представление* (возьму это слово вместо почему-то утвердившегося, но ничего не говорящего русскому слуху *презентация*) очередного сборника стихотворений Валерия Храмова «След в судьбе». Право на издание собственной книги он получил как победитель конкурса, устроенного отделом по культуре администрации Ангарского муниципального образования. В предисловии редактор книги Владимир Сазонов отмечает, что это уже четвёртая книга поэта, ставшего в городе одним из ведущих. В книге собраны как новые стихи, так и уже печатавшиеся. В. Храмов представил их в пяти разделах, каждый из которых посвящён какой-то доминирующей теме. Открывается и закрывается книга отдельными, не вошедшими в эти разделы стихотворениями.

Сразу скажу о том, что у автора, на мой взгляд, не получилось, потому что на «презентациях» все говорят только о достоинствах. В стихах о родном крае много общих мест и мало выразительности. Вот стихотворение «Байкал». Зачин эпический: «*О красоте его немало песен спето...*». Да, конечно. Но если ты взялся спеть или написать о Байкале ещё что-то, значит, увидел такое, чего никто до тебя не замечал, или нашёл какой-то новый образ, или подобрал слова необыкновенные. Однако дальше следует: «*Он славу всенародную снискал*». И всё, читать уже не хочется, потому что дохнуло пыльной канцелярщиной. Чуть ниже — пустая, ничего не говорящая строка: «*Известна всем его крутая статья*». Ну раз известна всем, зачем и писать об этом? И что такое эта самая «крутая статья»? И вот в конце: «*Здесь отражает небо Прибайкалья святой воды бесценный изумруд*». Классический изумруд — ярко-зелёный камень, и лишь специалисты различают несколько десятков оттенков. Прожив на берегу Байкала более двадцати лет, я ни разу не видел изумрудного цвета озера — всё больше аквамариновый, сапфировый, лазуритовый, т. е. синий или голубой, хотя вода на мелководье, у берега бывает и с зеленоватым оттенком. Может быть, мне не повезло. Но если небо «отражает изумруд», значит, оно тоже ярко-зелёное, а вот такого неба уж точно над Байкалом не бывает. Впрочем, что тут отражает, а что отражается — сказать трудно, хотя обычно считается, что сначала стоит подлежащее.

Или вот такое четверостишие:

*И вгоняет в изумленье
Обывателей простых
Человечьих рук творенье:
И тоннели, и мосты.*

Наверное, эти самые обыватели до приезда на Байкал жили где-то отшельниками и сроду не видели ни тоннелей, ни мостов. Иначе непонятно, почему они изумляются, ведь больше о тоннелях и мостах ничего не сказано: то ли красивые они, то ли уродливые, то ли вообще сломаны или взорваны.

Очень жаль, что автор иногда пользуется разными окаменевшими сочетаниями: «*край невиданных красот*», «*буйный нрав*» Байкала, «*седые волны*»... А когда пытается их оживить, получается явный перебор с образами:

*...И облаков молочная река
Помчится дальше лебединой стаей.*

Одно из слабых мест книги — неудачный выбор автором стихотворных размеров. Вот, например, «Чёрные береты». Едва начинаешь читать, вспоминается Маяковский и его из-

вестная книжка «Как делать стихи». В ней приведена строфа из стихотворения В. Кириллова «Матросам» с комментарием:

«Безнадёжно складывать в 4-стопный амфибрахий... распирающий грохот революции!

*Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя — матросы, матросы, —
Вам песнь огневая рубиновых слов!»*

Действительно, укачивающе и заунывно. И тут же Маяковский приводит свою строку, тоже обращённую к матросам:

Разворачивайтесь в марше!

Дальше, как мы помним: «Словесной не место кляузе!..» Понятно, насколько это энергичнее и ярче.

У В. Храмова тот же неспешный амфибрахий, хотя пишется про атаку морской пехоты:

*На берег ползёт раскалённая пена,
От грохота танков дрожат небеса.
Матросы в беретах, как рыцари в шлемах,
В воде и на суше творят чудеса.*

Ритм просто колыбельный, да и что же это за чудеса творят матросы? Об этом ни здесь, ни дальше нет ни слова. Или воду в вино превращают, или идут по воде, аки посуху, или ещё что. Можно фантазировать как угодно. Сомневаюсь, что в этом и состоит замысел автора.

В том же ритме иллюстрируется строительство Ангарска:

*Кострами багула горели закаты,
Работа на стройке кипела ключом:
Мелькали кувалды, ломы и лопаты,
Стремительно таял поддон с кирпичом.*

Здесь та же недоработка. Если хочешь показать напряжённый, стремительный темп стройки (а в то время только так и строили), надо уйти от этого убаюкивания, укоротить строку, может быть, даже где-то сознательно допустить сбой правильного ритма, тогда получится зримая картина.

Бросаются в глаза подражания и заимствования, возможно, не всегда осознанные, но тем не менее.

*Где ты, юности светлая просишь,
Где ты, детства зелёная гладь?*

Сравним со строками ангарского поэта А. Шмигуна: «Где ты, добрая логика, где ты? Где ты, детская мудрость моя?»

Есть прямая отсылка к Высоцкому: «Из худших выходили передраг» — и далее: «Как говорят у нас — ещё не вечер».

А вот нескрываемое подражание Есенину:

*Потонула роца в стрекотне сорок,
Там весны зелёный промелькнул платок.
.....
Растяну гармошки красные меха,
Выйду на поляну с песней жениха.*

Нашёл я и пару строк из моих стихов: «По утрам здесь синицы поют»; «Снова здравствуй, мой старенький двор...» (у меня «Здравствуй, старый мой двор! Ты привык...»).

Когда таких совпадений много, они, конечно, не украшают книгу.

Отмечу ещё несколько неудачных моментов. Очень проигрывают стихи, где встречаются плохие или порядком надоевшие рифмы: пример — *недомер, татарник — кустар-*

ник, дело — делать, Анталья — Прибайкалье, осень — просинь, рядом — взглядом... И становится уже совершенно необъяснимым, почему буквально все поэты к слову «Сибирь» не могут найти иной рифмы, кроме «ширь». Просто какой-то массовый гипноз. Ну и с грамматикой, к сожалению, не всё в порядке. *Крест на крест* (в контексте это наречие, значит, должно быть *крест-накрест*), *на показ* (тоже наречие, поэтому надо слитно). «Дождь утих, исчезли тучи, обессилИл ветра шквал». Здесь сложнее, но вспомним, что если самому стать таким, то обессилЕть, а если сделать кого-то таким, то обессилИть. И постоянные ошибки в наречиях (а иногда и прилагательных) с приставкой «не»: *не много, не весёлый, не возможно, не охота, не даром, не уютно* и т. д. Кроме того, обычная беда в современных текстах — с запятыми, но разговор на эту тему был бы слишком долгим. Был ли корректор у книги? Об этом сведений нет. Впрочем, нынче корректоры часто не только не устраняют ошибки, но и добавляют новые. А правописание легко проверить, полистав словарь или задав вопрос в Интернете, который сейчас есть практически у каждого пишущего.

Но довольно о грустном. Всё перечисленное встречается в основном в двух первых разделах книги: «Ангарские зори» и «Самый тихий океан», немного — в разделе «Времена года, времена жизни». Стихи в них большей частью описательные, иллюстративные, и кажется, что автору самому было скучно сочинять их, вот и допустил массу небрежностей. Но как только В. Храмов начинает размышлять о личном, глубоко пережитом (те же «Времена года», «Эхо любви»), стихи наполняются пронзительной искренностью, его язык становится ёмким и красочным. Почувствуйте, как череда коротких фраз явственно передаёт смятение и боль души:

*В доме царствует лень.
Ночью кажется день.
Без тебя я ослеп и оглох.
Небо падает вниз.
За оконный карниз
Зацепился отчаянья вздох.*

Поэт с сожалением прощается с молодостью, но что поделать — надо двигаться по жизни дальше.

*Незнакомая даль
полоснула рассветом по коже,
в лобовое стекло
заглянул на минутку восход,
и оставив себя
там, где я и добрей, и моложе,
нажимаю на газ,
продолжая дорогу вперёд.*

Этот мотив — воспоминания о прошедшем, о детстве и юности — ещё не раз повторяется на страницах.

*И когда одиночество
петлю накинёт на горло,
снова в детство открою
души потаённую дверь.*

Совершенно выбивается из песенно-лиричной тематики стихотворение «Фантасмагории»:

<i>Я перед чёртом лебезил, в спине до пола гнулся, хоть сам себе противен был — ни разу не проснулся.</i>	<i>Во сне я лгал и предавал, фальшивил без оглядки... А прежде не подозревал в себе льстеца задатки.</i>
---	--

Будто эти строки написал другой человек, а не автор пассажа о «простых обывателях». Куда и девался тот пресловутый амфибрахий!

И ещё хотелось бы отметить несколько удачных, ярких находок: «*Расплавленной медной монетой луна растеклась по паркету*»; «*Стучало сердце, словно в бочке каменья*»; «*...дождь... губами лужи тёплые жевал*»; «*Сеет рыжик туман*»...

В стихах о любви поэту удаётся выразить словами и силу переживаний, и глубину чувств.

*Чего я жду? Мне плакать иль смеяться,
Благоуханьем прошлого дыша?
В бесчувственную плоть переселяться
Не научилась пылкая душа.*

Есть очаровательные стихи, написанные от имени женщин:

*Я лёгкие крылья надела
Из перьев закатного дня,
У ног твоих птицею села,
Но ты не заметил меня.*
.....
*Непросто смириться с обманом,
По-прежнему тайно любя.
Пришёл ты с букетом тюльпанов,
Но я не узнала тебя.*

Или вот окончание маленькой баллады:

*Шагами безмолвие мера,
В своём одиноком вольере,
Он ждёт с терпеливостью зверя,
Когда она снова придёт.*

Это читать по-настоящему интересно.

Завершая обзор книги, хочу пожелать Валерию Храмову научиться самому находить у себя неудачные строки, а главное — избавляться от них. Вычёркивание — трудное, но необходимое занятие. По себе знаю, как бывает жаль выкидывать строфу, на которую потрачено столько сил и времени. Но решившись на это, поэт обретает второе дыхание. Обнадёживает, что в заключительном стихотворении книги автор сам признаёт свои несовершенства:

*Во мне не окреп ещё голос поэта,
Ещё пламенею порой от стыда.*

Если бы все сочинители были так честны с собой!

*Валерий ДМИТРИЕВСКИЙ,
член Союза писателей России*



«Это один из самых любимых театров области...»

Театр — это воздух и вино, которым надо
почаще дышать и опьяняться.

К. Станиславский

У Черемховского театра драмы богатая и интересная история. В прошлом году ему исполнилось 75 лет!

А всё начиналось с 20-х годов, когда углекопы организовали народный театр. И первым его режиссёром был горный инженер Михаил Жуковский. В городе было несколько драмколлективов, которые создавались на общественных началах. Активными участниками кружков были В. Емизов, М. Кроль, А. Савина, М. Преловская, Н. Ерохин, С. Преснякова, Н. Лапина, художник П. Требуховский, который много лет проработал и в профессиональном театре.

В 1932 году в Шадринском посёлке был создан театр с постоянным составом артистов. Театр построили комсомольцы и рабочая молодёжь, среди которых — учащиеся горного техникума, педагогического училища, медицинской школы и технических училищ.

С годами население города росло, поднимался его культурный уровень, запросы. И в 1939 году открылся профессиональный драматический театр.

Директор театра Скридельман привёз из Москвы пятьдесят актёров, которые под руководством режиссёра-постановщика Сорокина подготовили к открытию первого театрального сезона 1939/40 годов спектакль. Открытие его было большим событием в культурной жизни города. Театр должен играть огромную роль в деле воспитания народных масс путём показа со сцены лучших образцов театрального искусства классической драматургии.

В репертуарный план первого сезона вошли и были поставлены на сцене 15 пьес русских и зарубежных драматургов. Черемховцы старшего поколения помнят первые спектакли, поставленные на сцене театра: «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Женитьба Белугина» А. Островского, «Сашка» К. Федина, «Мария Тюдор» В. Гюго, «Овод» Э. Войнич, «Анна Каренина» Л. Толстого, «Отелло» В. Шекспира, «Маскарад» М. Лермонтова, «Недоросль» Д. Фонвизина и другие.

Началась война. На фронт проводили всех молодых актёров. Но, несмотря ни на какие трудности, третий сезон театра открылся премьерой спектакля по пьесе К. Симонова «Парень из нашего города».

В годы войны в нашем городе работал эвакуированный из Москвы театр имени М.Н. Ермоловой.

В то трудное время театр был очень нужен людям. На спектаклях зрители волновались, радовались и плакали. В нашем театре после освобождения из ГУЛАГа работали очень талантливые актёры из Москвы и Ленинграда. И артисты из Иркутского театра драмы приезжали в наш город посмотреть спектакли. И помнят земляки-театралы, что попасть в театр на спектакль было весьма и весьма трудно, все билеты приобретались заранее.

У нашего театра богатое прошлое, за свою историю он пережил много разных периодов, в юбилейный год уместнее говорить о лучших годах жизни.

Богатство любого театра — это классические спектакли. В конце января 1960 года драмтеатр осуществил постановку чеховской пьесы «Дядя Ваня». Очень тонко, великолепно

сыграл Ивана Войницкого заслуженный артист Я. Фролов. Он же режиссёр спектакля. Среди удач этой постановки и образ Елены Андреевны, созданный артисткой Д.К. Ковальчук.

Неоднократно в разные годы в Черемховском драмтеатре обращались к постановке чеховских водевилей «Медведь», «Юбилей», «Предложение». В 1979 году за спектакль «33 обморока» театр был награждён дипломом за участие в фестивале чеховских пьес.

В истории русского театра творчество А.Н. Островского представляет собой явление исключительной идейной и эстетической ценности. Нет театра, который не стремился бы украсить свою афишу названием какой-либо пьесы этого великого драматурга. За всю историю Черемховского театра на сцене самые частые классические персонажи — герои пьес «Гроза», «Пучина», «Доходное место», «Бесприданница», «Поздняя любовь», «Без вины виноватые», «На всякого мудреца довольно простоты», «Власть тьмы».

Мы, черемховцы, гордимся тем, что наша земля стала родиной известных драматургов!

Хорошей традицией для нашего театра стала работа над пьесами, написанными местными драматургами. С успехом прошёл спектакль «Золото России» по пьесе черемховца В. Пестюрина. В тридцати километрах от Черемхово в 1937 году родился А. Вампилов, чьи пьесы «Старший сын», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота» обошли сцены не только всех театров страны, но и многих зарубежных. А ведь именно в Черемхово состоялась первая постановка первой пьесы — «Прощание в июне». И постановщиком спектакля был известный сибирский режиссёр, дипломант Всероссийского смотра А. Щербина. Этот талантливый человек в разные годы работал в нашем театре и главным режиссёром, и директором, и художником, и режиссёром-постановщиком.

Большим успехом пользовалась у зрителей пьеса Ю. Эдлisa «Весна в начале осени» в его постановке.

К 50-летию театра «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова поставил славный режиссёр, народный артист В. Венгер, актёр театра им. Н.П. Охлопкова.

Более шестидесяти пьес написано нашим драматургом М. Ворфоломеевым. Все они поставлены на сценах нашей страны и за рубежом. В 1975 году Черемховский театр первым в Советском Союзе взял в работу пьесу тогда ещё никому не известного автора и посвятил её 30-летию Победы. Это была пьеса «Полынь», и поставил спектакль тогда главный режиссёр театра Ю. Резниченко. На генеральные репетиции приезжал автор. Этот спектакль много раз играли на черемховской сцене, на сценических площадках области и на телевидении. И везде он пользовался неизменным успехом у зрителей. А в 1980 году в новом здании театра была поставлена его пьеса «Святой и грешный». Пьесы М. Ворфоломеева — это наша жизнь со всеми её горестями, печалью и радостями и поэтому они так близки и понятны простому зрителю. Все они пронизаны неизбывной болью и любовью к людям, и я надеюсь, что ещё долго-долго на сценах России будут звучать голоса героев пьес М. Ворфоломеева.

В репертуаре театра есть спектакль, который идёт на протяжении многих лет. Это пьеса В. Гуркина «Любовь и голуби». Её ценит зритель — и это самое святое вознаграждение! В Черемхово «Любовь и голуби» поставил заслуженный деятель искусств БССР, лауреат Государственной премии С. Казимировский. Наш театр сумел создать интересный и глубокий спектакль, пропитанный сибирским воздухом и колоритом. Зрители уверены, что постановка спектакля с Виктором Ведерниковым и Людмилой Мошкиной в главных ролях — самая впечатляющая из всех.

Настоящим праздником для черемховцев стала постановка пьесы «Кадриль» на сцене нашего театра, осуществлённая самим автором. Чувства восхищения и благодарности автору, артистам испытал каждый, кто посмотрел спектакль. В постановке проявилось яркое дарование автора. Эту пьесу мы показали во многих городах России. Благодарные зрители очень тепло принимали наших артистов.

Не одно поколение актёров и режиссёров, технических работников вложило свой сильный труд в обогащение городов и сёл Иркутской области театральной эстетикой и культурой. Ежегодно труппа выезжает на гастроли. Нашим актёрам аплодировали зрители Братска, Усть-Илимска, Тайшета, Мирного, Усть-Кута, Железногорска, Магистрального, Бодайбо, несколько раз театр выезжал в Якутию и Красноярский край... В 2011 году труппа театра выезжала на фестиваль драматурга А. Володина с пьесой «Фабричная девчонка» в Санкт-Петербург.

Старые театралы до сих пор помнят многие спектакли, шедшие на сцене театра, с любовью вспоминают таких актёров, как В. Попова, Д. Ковальчук, В. Самсонова, Г. Слухаева, В. Ведерникова, А. Гуляева, В. Бутакова, С. Перевалова, К. Шве́ц, А. Блинова. Очень любили черемховцы Алёну Лаптеву, которая проработала в нашем театре 20 лет. По несколько раз ходили зрители на спектакль «Барабанщица», чтобы встретиться с любимой актрисой.

Актёрский состав в Черемховском театре не бывает постоянным в течение многих лет. И всё же есть в его труппе тот «костяк» актёров, которые связали с нашим театром и городом свою жизнь. В 1951 году состоялась первая встреча черемховского зрителя с актрисой Д.К. Ковальчук, уже зрелым мастером. Театралы были покорены её Ниной в пьесе М. Лермонтова «Маскарад», Дездемоной в трагедии У. Шекспира «Отелло». Любимой ролью актрисы стала сыгранная в нашем театре роль Отрадиной-Кручининой в пьесе А. Островского «Без вины виноватые». Около 200 ролей сыграно актрисой, она участвовала более чем в 3000 спектаклях! Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1967 году Доре Кононовне Ковальчук было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

Сорок три года служит родному театру Людмила Мошкина. Талант её поистине многогранен. О ней много писали в газетах. Вот отрывок статьи из «Восточно-Сибирской правды» за 1985 год: «Пожалуй, самым большим событием гастролей Черемховского театра оказалась серия ролей актрисы Л. Мошкиной. Героини её очень разные по возрасту, характерам, биографиям, на сцене не только жизненно достоверны, но и объединены общей человеческой темой. В каждой роли актриса показывает, как проявляются в простой скромной женщине такие душевные сокровища, о которых и сама-то она в повседневности не подозревала. Уставшую от обыденности, но не покорившуюся ей Ольгу из спектакля «Пять романсов в старом доме» Мошкина играет, пожалуй, крупнее, чем она написана автором. Проникновенно звучат в её устах петербургские романсы...» Людмила Михайловна — почётный гражданин города.

Заслужили добрую память директора театра: Ф.А. Жаров, Л.Б. Славин, П.Г. Русанов, Ю.Д. Девяшин, Т.А. Радыгина.

С 2011 года наш театр носит имя В. Гуркина. Заметным явлением в театральной жизни города были встречи с известными артистами, близкими друзьями В. Гуркина: А. Михайловым, В. Алентовой, В. Меньшовым, Д. Брусникиным, С. Гармашем.

Министр культуры Иркутской области В. Барышников высоко отозвался о Черемховском театре, сказав, что «это один из самых любимых театров в области, любимый, работоспособный, живущий активной, насыщенной творческой жизнью».

10 ноября 2014 года к 75-летию театра в Черемхово откроется первый межрегиональный фестиваль «Театральная провинция» памяти Владимира Гуркина. В фестивале предполагается участие провинциальных театров, действующих на территории Сибири и Дальнего Востока. Намерение принять участие в нём заявили Забайкальский краевой драматический театр, Томский театр имени В.П. Чкалова, театры Нерюнгри, Тынды, Братска и Усть-Илимска. В состав жюри войдут народные артисты России: Дмитрий Брусникин, Сергей Гармаш и Владимир Меньшов. Идея проведения фестиваля памяти В. Гуркина получила полную поддержку губернатора С.В. Ерошенко и Правительства Иркутской области. В программе фестиваля открытие мемориальной доски В. Гуркину, презентация книги.

Предстоящий фестиваль станет очень важным событием для всех живущих на Черемховской земле.

Хотелось бы, чтобы наш театр развивался, чтобы это всегда был театр, где есть сострадание, сочувствие, человечность, понимание. Незабываемо ощущение радости и счастья, когда зал встаёт и аплодирует артистам. Ради этого театр и существует. Волна со сцены идёт в зал и обратно.

Зрители приходят в театр, совершенно чужие друг другу, а после спектакля создаётся ощущение, что все вдруг породнились.

Нашему драмтеатру — 75 лет! По сравнению с театральной искусством, насчитывающим более двух с половиной тысяч лет со времени его возникновения, срок существования его, разумеется, невелик. Но и эти годы — целая эпоха, ибо театр и служившие в нём люди были причастны к этому времени, к событиям, происходившим в мире.

*Зоя КОВАЛЁВА,
журналист*

Точка невозврата — обратный отсчёт



1984 год

Смерть каждого человека умаляет и меня,
ибо я един со всем человечеством.
А потому, не спрашивай:
«По ком звонит колокол?»
Он звонит и по тебе...

Джон Донн

Валентин Григорьевич Распутин родился в небольшой деревушке на берегу Ангары 15 марта 1937 года. А ушёл из жизни в одной из больниц Москвы, в ночь с 14-го на 15-е марта 2015 года. А фактически — уже пятнадцатого марта, если считать по иркутскому времени. Следовательно, 15 марта он пришёл в этот мир и 15 марта ушёл из него. Земной круг, и теперь это уже очевидно в полной мере, классика современной литературы сомкнулся.

Впереди только вечность, дверь в которую он отворил...

Поскольку я не знаю, что такое вечность, я не мерен поговорить о земной жизни этого великого, непростого и так, пожалуй, до конца не понятого никем человека. Ибо большой талант — это всегда большая тайна.

Начну с конца. Выдёргивая из памяти, как из хвоста Жар-птицы, некоторые запомнившиеся мне эпизоды из нашего более чем тридцатилетнего знакомства. Хотя, кто и когда нас познакомил, я не помню. Знаю только, что это были восьмидесятые годы теперь уже прошлого века.

Итак, приступим. Ибо память, по мнению французского режиссёра Годара, — это единственный рай, из которого нельзя быть изгнанным. Недаром же и на панихиде по отошедшему в мир иной человеку поётся: «Вечная память...»

14 марта, суббота

Где-то к половине восьмого вечера я вернулся со службы, из храма Спаса Нерукотворного Образа, самого старого иркутского храма, куда я хожу уже много лет после его возрождения в 2003 году. И только я сел перекусить, как раздался звонок. Звонил мой давний приятель — этнограф, писатель, учёный Иван Иванович Козлов:

— Ты где пропадал? — спросил он меня. — Я тебе уже несколько раз звонил.

— Я был на вечерней службе в храме. Исповедался, поскольку завтра собираюсь причаститься. А в храм я обычно телефон не беру, — ответил я. — Что-нибудь случилось?

— Случилось, — ответил Иван Иванович. — Распутин в Москве в больнице впал в кому. Прогнозы самые неутешительные, а у него ведь завтра день рождения...

Вечером, молясь перед сном, я попросил Господа помочь Валентину Григорьевичу справиться с болезнью. А утром, собираясь на литургию, ещё раз помолился о его выздоровлении. И вписал его имя в записочку «О здравии». Эти записки: «О здравии» и «Об упокоении» подаются потом батюшке в алтарь для молитвы о перечисленных людях.

Придя в храм и подавая свои записки в свечную лавку, я услышал от одной из знакомых прихожанок: «Вы знаете, что Распутин умер?»

Первое ощущение было — полная растерянность.

— Как умер? А я его в записочку «О здравии» включил.

— Ну, значит перепишите в другую, теперь уже «За упокой», — ответила прихожанка. И добавила: — Тем более что сегодня после литургии во всех церквях Иркутска по Валентину Григорьевичу будут отслужена панихида...

После, более чем двухчасовой воскресной службы, выстоять которую весьма непросто, отец Александр (Беломестных), настоятель нашего храма, объявил, что по благословению владыки Вадима будет отслужена панихида по Валентину Григорьевичу Распутину.

— У кого есть силы физические и моральные, я прошу остаться, — добавил он.

И никто, хотя на подобных мероприятиях храм обычно, как минимум наполовину, пустеет, не ушёл. Даже мамы с маленькими детьми, многие из которых, возможно, никогда и не читали книг Распутина, но знают его по выступлениям, по публицистическим статьям. И ценят его как человека цельного, справедливого и совестливого, всем сердцем болеющего за свою страну и свой народ. А в таких людях всегда, во все времена есть потребность, есть нужда. И не помянуть такого человека в совместной молитве — грех...

80-е годы прошлого века

Различные межведомственные комиссии решают судьбу БЦБК. Вернее, делают вид, что решают. Ибо заранее всё предрешено, и комбинат, построенный в шестидесятых годах прошлого века «по велению партии», никто закрывать не собирается, несмотря на абсолютное негативное отношение к нему, в первую очередь, сибиряков.

После одного такого напряжённого дня работы и выступлений на очередной какой-то комиссии, для освещения работы которой в Байкальск (а я в то время жил там) съехалось много коллег-журналистов, некоторые из которых оказались потом у меня дома. Был там и Валентин Григорьевич, выступавший на данных заседаниях вместе с академиком Валентином Афанасьевичем Коптюгом, президентом Сибирского отделения Академии наук СССР. И если Коптюг говорил всё-таки неопределённо, с некоторой зажатостью, обременённый своей должностью, то Валентин Григорьевич выступал открыто, и это многим тогдашним чиновникам всякого ранга не нравилось. Ну не вписывались выступления Распутина в общую партийную канву по освоению природных богатств Сибири. Помните, даже лозунг был такой, очень распространённый: «Богатства Сибири — Родине!» Какой такой Родине? — так и хотелось спросить. Для нас родина — Сибирь. Одним словом, после непростых многочасовых дневных дебатов Валентин Григорьевич тоже согласился отужинать у нас. Итак, кроме него за общим столом в просторной гостиной коттеджа, в котором мы тогда жили, собрались ещё собственный корреспондент газеты «Социалистическая индустрия» Игорь Ширококов, собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Геннадий Сапронов, собственный корреспондент газеты «Известия» Владимир Сбитнев, доктор наук Владимир Ветров из Москвы и собкор ТАСС Владимир Ходий. Моя тёща, Мария Ивановна, принесла из кухни парящую дразнящими ароматами кастрюлю с домашними пельменями. Я достал из холодильника отпотевшую бутылку водки и предложил выпить: «За успех нашего безнадёжного дела!»

Первому собрался наполнить рюмку Распутину.

— Я не буду, Володя, — как всегда не очень громко сказал он. — Другим разливай. А я потом лучше чаю, покрепче, выпью, — обернулся он уже к Марии Ивановне.

Глядя на Распутина, от водки по очереди отказались почти все. И я, уже безнадёжно, обратился к последнему, кому ещё не предлагал, Игорю Ширококову:

— А ты, Игорь, будешь?



В Тофаларии

— Давай уж, — согласился он, — а то как же тебе в одиночку-то пить.

И мы с ним под пельмешки выпили. Да не по единой...

Да, мы можем с лёгкостью давать тысячи советов другим, как правильно жить, что надо для этого делать. Говорить, что российский народ спивается. А вот дать приказ самому себе, хотя бы о том, чтобы не пить и этим показать пример другим, оказывается, крайне трудно. А Распутин такие приказы себе давать умел. А уж если что решал, то и не нарушал потом своего решения ни при каких обстоятельствах. Внешне он был мягок, но внутренне очень твёрд. И всегда отстаивал свои убеждения, порою на самых высоких уровнях.

Конец 80-х, Байкальск

Меня уже отовсюду турнули с работы (из бассейна, где я работал инструктором по плаванию; из школы, где преподавал биологию; из Института экологической токсикологии, где числился инженером по сбору проб) за мои публикации против БЦБК, не принимали даже грузчиком на продовольственную базу, поскольку она тоже была подведомственна комбинату, градообразующему предприятию города Байкальска. Я трижды успел посудиться с комбинатом, всё за те же публикации. И все три суда выиграл, хотя при помощи подведомственной науки её апологеты пытались доказать, что я в своих статьях распространяю заведомо ложную информацию о самых уникальных в мире технологических процессах и очистных сооружениях комбината. А однажды, уже ближе к полуночи, к нам в дом ворвались несколько человек, чтобы физически доказать мне, как я не прав. И что БЦБК — это благо для города и его людей...

Жена с маленьким сыном была в нашей спальне на втором этаже, и я попросил её не спускаться вниз, когда услышал громкие пинки ногами во входную дверь внизу. А теща всё-таки вышла из своей комнаты в прихожую, где изрядно пьяные гости, явно вынуждали меня на драку, зная мой вспыльчивый характер. И повторяла она только одно: «Володя, не связывайся с ними. Это они специально тебя провоцируют». А были там две бабы и мужик, муж одной из них. К счастью, соседи через общую стенку, услышав в нашем коттедже несвойственный шум, вызвали милицию. И когда та приехала, тут же появился директор Института экологической токсикологии Альберт Максович Бейм, который, показывая милиционерам какие-то свои корочки, какого-то депутата, увёл всю эту «научную» компанию к себе...

Об этом ночном визите в наш дом потом вышла статья Владимира Ивашковского в газете «Советская культура», названная «Штурм на берегу Байкала». Впоследствии её внесли в «Чёрную книгу» — книгу статей о Байкале, изданную в «Восточно-Сибирском книжном издательстве». А попросил Ивашковского написать эту статью Валентин Григорьевич Распутин, постоянно поддерживавший нашу семью морально. И даже подписывая мне очередную свою книгу, он всячески старался показать свою расположенность к нам: ко мне, жене моей Наташе, теще Марии Ивановне, подчёркивая при этом, что за правое дело можно и пострадать. Тем более что Наталью к тому времени уже из Института экологической токсикологии, находящегося на балансе Министерства целлюлозно-бумажной промышленности, уволили, поскольку её научные изыскания явно не вписывались в концепцию о том, что сточные воды БЦБК никак не влияют на загрязнение озера Байкал. И единственным средством дохода у нас осталась пенсия Марии Ивановны. И жили мы в то время довольно скудно. А тут ещё и Валентин Григорьевич заболел и попал в больницу.

И мы частенько, сидя вечером за нашим более чем скромным ужином, обсуждали и возможности нашего затянувшегося, по разным причинам, переезда в Иркутск, и желали скорейшего выздоровления Валентину Григорьевичу. И, по-видимому, делали это настолько часто, а самое главное, искренне, что это передалось и нашему сыну Дмитрию, ставшему к тому времени уже первоклассником и научившемуся писать и читать.

И вот однажды он попросил меня:

— Папа, а ты можешь отослать Валентину Григорьевичу письмо?

— А ты что, ему письмо написал? — удивился я.

— Да, — ответил он. И подал мне половину тетрадного листа в косую линейку, на котором было весьма коряво и с ошибками написано несколько разбегающихся в стороны строк, смысл коих состоял в том, чтобы Валентин Григорьевич поскорее выздоравливал.

Я отправил это письмо Валентину Григорьевичу, приписав от себя, что оно написано моим сыном искренне, и не отправить его поэтому я просто не мог.

Дней через десять мы получили ответное письмо от Распутина, адресованное Дмитрию. В нём своим бисерным почерком он писал, что уже выздоровел и находится дома. Поблагодарил за письмо. И прислал ещё красивую открытку. На ней озорного вида собачка держит в зубах то ли носок, то ли детский чулок, из коего выглядывает любопытная и забавная мордашка котёнка.

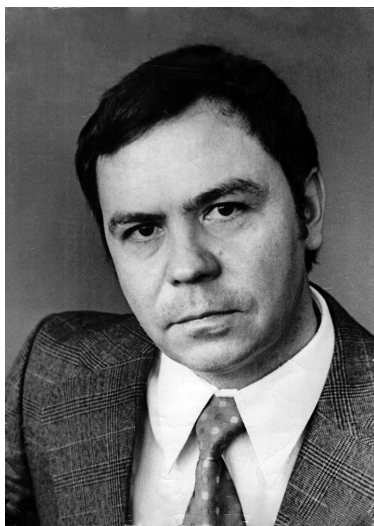
Открытка эта до сих пор, хотя сыну нашему в этом году исполнится уже тридцать пять, стоит у нас на одной из полок с книгами сибирских писателей, многие из которых подписаны нам. Так же, как, например, вот эта — первый том из двухтомника Распутина, вышедшего в Москве в издательстве «Молодая гвардия» в 1984 году: *«Владимиру Максимова от души, дружески, с надеждой на то, что наша борьба за Байкал увенчается успехом. В. Распутин. Июнь 1986 года»*...

Довелось мне, в бытность мою в Байкальске, с 1983-го по 1989-й год, сняться и в фильме известных режиссёров — Рениты и Юрия Григорьевых, получивших в своё время Государственную премию за фильм о Василии Макаровиче Шукшине «Праздники детства». Да не просто сняться самому, а вместе с Валентином Григорьевичем.

А было это так. Григорьевы задумали сделать фильм о своём учителе, известном советском кинорежиссёре Сергее Герасимове, снявшем в своё время фильм «У озера», в котором как раз и происходила полемика между учёным, профессором Бардиным (прототипом коего был профессор Михаил Михайлович Кожов), прекрасно сыгранным Олегом Жаковым. Бардин в фильме выступал против строительства на берегах уникального Байкала целлюлозно-бумажного комбината и полемизировал по этому поводу с первым директором данного комбината. Директора БЦБК сыграл Василий Шукшин. И вот, двадцать лет спустя режиссёры Григорьевы решили снять диалог на берегах Байкала, как бы подводящий черту под тем давним спором, кто же был прав — технократы или экологи? И в диалоге этом должен был участвовать всемирно известный писатель Распутин и местный житель, то бишь я. Естественно, что мы оба говорили о вредности БЦБК на берегах священного Байкала. Недаром же самый праведный редактор — народ — внёс правку в стихи учителя из Кяхты Давыдова, переиначив: «Славное море, привольный Байкал» в «Славное море, священный Байкал». А в святыни, как известно, свиней запускать нельзя. Это кощунство.

Потом, на озвучивание своих ролей, где-то через полгода нам с Валентином Григорьевичем пришлось ехать на «Мосфильм» в Москву. Мне, как сказали режиссёры, потому что я слишком быстро и эмоционально говорю и актёру трудно точно попасть в мою речь. А Валентину Григорьевичу потому, что его голос все знают и дублировать его неприлично.

Это было в последнюю декаду декабря. И нам на «Мосфильме» удалось за эти несколько дней познакомиться с очень многими интересными и известными актёрами, в том числе и с Людмилой Марковной Гурченко, тоже снимавшейся в этом фильме, и с исполнителем роли Олега Кошевого из фильма Сергея Герасимова «Молодая гвардия», и с каким-то знаменитым в Чехии режиссёром, учеником Герасимова... И вот однажды вечером после работ по озвучиванию в уютной студии «Мосфильма» чешский режиссёр, прихва-



70-е годы

тивший с собой из дома «Сливовицу», предложил нам отметить 25 декабря начало католического Рождества. И вся эта разношёрстная, постоянно гомонящая компания собралась за общим столом. И что было удивительно, как только кто-то обращался к Распутину, неспешно попивающему чаёк, и он начинал говорить своим негромким голосом, наступала полнейшая тишина. Все те люди, до того перебивающие друг друга, внимательно и даже с каким-то напряжением слушали его, словно понимали, что это не просто слова. А сокровенные слова. Помните, как у Ахматовой:

*Да, есть неповторимые слова.
Кто их сказал — истратил слишком много.
Неистоцима только синева
Небесная и милосердье Бога.*

Вот и в словах Распутина все будто бы искали пророчеств.

Недаром же мой приятель, журналист из Варшавы Зигмунд Дзенцалковский, взяв с моей помощью интервью у Распутина, напечатанное впоследствии в одном из швейцарских журналов, назвал свою статью: «Пророк Святой Руси Валентин Распутин».

Потом, когда я уже учился в Литературном институте в Москве, мне удалось однажды в небольшом скверике встретить Валентина Григорьевича Распутина, и я со всем неудержимым энтузиазмом попросил его выступить перед студентами нашего курса.

— Да что ты, Володя, я же «деревенщик», — улыбнувшись своей застенчивой, но такой милой и доброй улыбкой, ответил Валентин Григорьевич. — Они знают, что такое экзистенциализм, а я этого не знаю... Лучше ты приходи сегодня в Дом кино на премьеру фильма «Сергей Герасимов». Мне Ренита звонила, сказала об этом.

Тут к нам подошёл Владимир Крупин, ведущий семинар в Литинституте, и они с Распутиным куда-то ушли. А я, пригласив кое-кого со своего курса, отправился вечером на премьеру в Дом кино. Распутина я там не обнаружил. Но зато взял подписи под письмом в защиту Байкала у многих актёров. В том числе и у красавицы Татьяны Ларионовой и режиссёров Григорьевых, с которыми мы подружились. И бывая потом в Москве, я обязательно заходил к ним, в их большую и бестолковую квартиру в Романовом переулке, что находится в пяти минутах ходьбы от Кремля и в которой у них всегда кто-нибудь гостил.

И как-то в очередной раз уже в начале двухтысячных, собираясь в Москву, в издательство «Андреевский флаг», намеревавшееся издать мою книгу, я купил две бутылочки «Зубровки» нашего Иркутского ликёро-водочного завода, которая очень нравилась Юрию Валентиновичу Григорьеву и без коей наши короткие встречи не обходились. Обычно одну мы выпивали, а вторая, «подарочная», оставалась у него... Василий Васильевич Козлов, тогда редактор журнала «Сибирь», узнав, что я еду в Москву, попросил меня передать Распутину гонорар за какую-то публикацию в журнале. Гонорар, насколько я помню, был невелик, где-то около девяноста рублей. Но зато конверт, в котором лежали деньги, был великолепен, с изображением красивых, ярких цветов.

Дня через два после прибытия в Москву, сделав свои дела, я в воскресенье позвонил Юрию Валентиновичу, сообщив о том, что ему есть более чем сорокаградусный подарок.

— Приходи немедленно, — ответил он. — У нас есть чудесная селёдка и квашеная капуста. Картохи сварим...

Изрядно выпив и вдоволь наговорившись, я засобирался уходить, ибо Юрий Валентинович предлагал уже, «чтобы не прокисла», откупорить и вторую бутылку «Зубровки».

— Ну куда тебе торопиться, — убеждал он меня. — Так хорошо сидим. Сегодня выходной. Можно и отдохнуть. Ты же завтра уезжаешь?

— Да, завтра вечером. С Ярославского вокзала. (Тогда ещё ходил скорый поезд «Байкал» Москва — Иркутск.) Но мне нужно ещё гонорар Валентину Григорьевичу занести. Я обещал к нему сегодня зайти.

— Валюше! — обрадовался Юрий Валентинович. — Сейчас, погоди, мы ему позвоним и известим о столь радостном событии.

Из кухни мы перешли в комнату, и Юрий Валентинович, заговорщицки подмигнув мне, набрал нужный номер, удобно усевшись с телефонной трубкой на диване.

— Валя, тебе Максимов должен был сегодня гонорар принести? — осведомился он.

Что ответил Распутин, я не слышал, а Юрий Валентинович весело продолжил:

— Так вот, ты его не жди. Да, и Максимова, и гонорар. Гонорар мы твой пропили, — и он так весело рассмеялся, что и я невольно улыбнулся. А попросив у него трубку, уведомил Валентина Григорьевича, что вскоре буду у него. Тем более что до Старого Арбата, в непосредственной близости от которого жил Распутин, получивший эту московскую квартиру, когда был членом Президентского совета при первом и последнем президенте СССР Михаиле Сергеевиче Горбачёве, от Григорьевых было не так уж далеко.

Минут через двадцать я был уже на месте. Валентин Григорьевич встретил меня в прихожей, откуда мы прошли в его кабинет. Через минуту туда же вошла Светлана Ивановна, жена Валентина Григорьевича, и спросила меня:

— Может быть, вы с нами поужинаете, Володя?

И со Светланой Ивановной, и с Марусей, как называл свою дочь Распутин, я был уже давно знаком и поэтому сразу согласился. Более того, я даже как-то написал статью о Маше, которая в Иркутске давала концерт органной музыки. Статья называлась: «Виват, Мария!» Помню, что сразу же после концерта Маши, восхищённый каким-то особо поразившим меня исполнением «Ave Maria» Франца Шуберта, я сказал Валентину Григорьевичу:

— А ещё говорят, что на детях природа отдыхает! А Мария-то какая молодец! И Шуберта, и Баха как исполнила! Необычно, по-своему!

— Это на нас природа отдыхает, — улыбнулся Распутин мне в ответ, стоя рядом со Светланой Ивановной и ожидая выхода Марии из костёла...

— А это что за конвертик такой красивый с красными маками? — спросила Светлана Ивановна у мужа, указывая головой на лежащий на столе конверт. — Письмо от кого-то пришло?

— Нет, гонорар вот доставили на дом, — серьёзно ответил Валентин Григорьевич. И вдруг, озорно улынувшись, предложил: — Махнём не глядя? Ты же сегодня пенсию получила.

— Нет уж, Валюша, — улыбнулась в ответ Светлана Ивановна. — Гонорар-то у тебя, поди, всего ничего, а пенсия у меня приличная. Ну, ладно, я пойду. Накроем с Машей на стол. Так что минут через десять приходите.

— Пишешь, что-нибудь? — спросил меня Распутин, когда Светлана Ивановна вышла.

— Да нет. Книжку готовлю к печати. Вот одна дама — журналистка, моя давнишняя приятельница, даже написала, по-моему, очень хорошее послесловие. Хотите посмотреть?

Валентин Григорьевич очень внимательно прочёл полторы страницы текста и, передавая его мне, сказал:

— Эко как она выщелкнулась-то! Не о тебе, а о себе она написала, какая она красавица и умница. А ты здесь так, для доведу...

— Идите кушать! — послышался из-за двери голос Светланы Ивановны. И мы с Валентином Григорьевичем через просторную прихожую направились в не менее просторную кухню.

— Только у нас постная пища, — строго предупредила меня Мария. — Вы держите пост?

— Стараюсь, — ответил я, глядя на винегрет и аппетитную селёдку с чёрным хлебом. И для меня в таком застолье только рюмочки «Зубровки» не хватало...

В конце ужина Маша спросила, когда я уезжаю. Я ответил, что завтра вечером и что к тридцатому декабря должен быть уже дома.

— Вам не трудно будет отвезти ноты для моего знакомого музыканта? Я ему позвоню, и он вас прямо на вокзале встретит...

На следующий день Светлана Ивановна и Маша, кроме нот, помещённых в специальную папку, принесли мне к поезду ещё всё той же аппетитной селёдки и винегрета. И я потом всё это ел, почти три дня, что был в пути.



На берегу Байкала. Фото В. Скифа

Октябрь 1993 года

Я иду по улицам Парижа и почти во всех телеэкранах, выставленных за стёклами огромных витрин, вижу, как в Москве танки расстреливают Белый дом, на глазах превращая его в чёрный. На душе у меня скверно. И утешает только то, что я иду к моему двойному тёзке Владимиру Максиму. Он, при нашем предварительном разговоре по телефону, обещал дать интервью.

Дом, в котором он живёт, находится рядом с Триумфальной аркой и Елисейскими полями. Мы долго говорим с Владимиром Емельяновичем в его небольшой квартире о том, что

делается в России, о «гнилом Западе», который никогда не поддержит патриотов-россиян и всегда постарается их очернить.

А уже перед самым моим уходом он подписывает мне свою книгу «Карантин» и в коридоре спрашивает, будто самого себя: «Как там Распутин всё это переживёт, с его-то оголённым сердцем?.. — И, открывая мне дверь, просит: — Вы его, когда увидите, передайте от меня привет. И скажите, что я его никогда не предам...»

Март 1997 года, Иркутск

Я тогда работал в пресс-центре Главного сельскохозяйственного управления. И мне начальником этого управления Василием Алексеевичем Бердниковым была поставлена задача — пригласить Валентина Григорьевича Распутина, отметить его шестидесятилетие.

Я позвонил Распутину, и он согласился прийти.

Бесконечные здравицы в свой адрес он воспринимал как-то недоверчиво, с застенчивой, а иногда и хитровой улыбкой, дескать, мели, Емеля, — твоя неделя. Сам же выпил только полрюмки коньяка и, когда его попросили сказать тост, произнёс:

— Раньше, когда мне было пятьдесят лет, казалось, что шестьдесят — это очень крупная дата. А теперь так не кажется.

Потом, когда мы шли с ним по улицам Иркутска после этого импровизированного банкета в кабинете начальника управления и разговаривали обо всём на свете, Валентин Григорьевич вдруг попросил меня:

— Дал бы ты мне свои рассказы что ли, почитать. А то столько лет знакомы, а я и не знаю, о чём ты там пишешь.

Показывать свои рассказы Валентину Григорьевичу было страшно, как, скажем, Льву Толстому или Чехову. Но я всё же решился и передал ему, когда брал у него интервью по просьбе эстонского журнала «Радуга», издающегося на двух языках — русском и эстонском, пять своих рассказов.

Недели через две Валентин Григорьевич позвонил мне и своим обычным, без каких-либо эмоций голосом сказал: «Приходи в Союз, к трём часам, если можешь. Надо поговорить».

Когда я шёл из своей редакции к назначенному времени в региональное отделение Союза писателей на Степана Разина, 40, сердце у меня в груди трепетало, как у загнанного зайца. Валентин Григорьевич был уже на месте, и мы прошли с ним в маленькую комнатку, именуемую «Зазеркалье». Распутин выложил из своего портфеля на стол мои рассказы. Затем, как будто что-то вспомнив, отложил один из них в сторону.

— Этот рассказ мне не понравился. В нём слишком много ненужного натурализма, — объяснил он, показывая на отдельно лежащий рассказ «За шторой с этой стороны».

«Ну вот, началось, — подумал я. — И зачем я только решился показать ему свои рассказы? А ведь это один из лучших, как я считал (впрочем, я и сейчас так считаю), моих рассказов...»

— Вот эти три: «Ненаписанный рассказ», «Загон», «Три дня до осени» мне понравились. А вот этот — понравился очень. И, честно говоря, я даже не знаю, как можно так хорошо, почти в пятьдесят лет, написать о своей первой школьной любви. Так чисто и ясно.

Назад в свою редакцию газеты «Восточно-Сибирский путь» я летел уже будто на крыльях, тем более что Распутин оставил рассказы у себя, сообщив мне, что собирается в Москву и они ему там могут пригодиться.

А через недолгое время в журнале «Юность», с предисловием Распутина, там вышел мой «Ненаписанный рассказ».

К уходу Валентина Григорьевича в мир иной пока никак не могу привыкнуть. И растерянное моё состояние по этому поводу, скорее всего, усугубляется тем, что я не вижу в нашем обществе такой надёжной, несгибаемой нравственной скрепы, каковой, несомненно, был Валентин Григорьевич Распутин — великий мастер слова, великий человек.

И каждый раз, когда кто-то из близких мне по духу людей уходит в мир иной, я ежедневно молюсь за него по утрам. Ибо это единственное, что живые могут сделать доброго для души усопшего человека. И каждый раз я думаю, что надо молиться, хотя бы сорок дней. Потом эти сорок дней проходят, а я не могу выключить уже из своего списка имя этого человека, надеясь, что, может быть, моя молитва ему необходима. И поэтому мой список «За здоровье» становится всё короче, а «За упокой» — всё длиннее. Но что поделаешь, такова уж наша жизнь. Прошлого у нас у всех становится всё больше, а будущего — всё меньше. И все мы со скоростью шестьдесят секунд в минуту неумолимо движемся к тому рубежу, за которым уже нет времени, а есть только вечность. И какими мы придём к этому рубежу, в конечном итоге зависит только от нас самих.

И остаётся утешаться только тем, как сказал наш сибирский поэт Пётр Реутский, что «умереть не страшно, страшно не родиться». И мне действительно становится страшно при одной только мысли о том, что если не было бы на земле Распутина... Не было бы целого мира, описанного им в своих произведениях. Тем более что литературные герои всегда реальнее живых людей. Мы, например, можем не знать, кто живёт с нами на лестничной площадке. Но все, даже бомж с помойки, наверняка знают, кто такой Дон-Кихот, князь Андрей, Наташа Ростова...

Просто, это иная реальность, более прочная, чем наша собственная жизнь.

P.S. Уже написав статью, я стал проверять в своём «компе» электронную почту и обнаружил там, в том числе, и такое письмо от моего московского друга, журналиста и телевизионщика, ныне работающего в музее Льва Николаевича Толстого, Андрея Данилова: *«Вот и закончилась старая русская литература. Не стало Валентина Григорьевича. Царствие ему Небесное. Аминь».*

А на следующий день, 17 марта в 23.48, когда у нас в Иркутске было уже почти пять часов утра, он мне прислал и второе послание, касающееся нашего великого земляка: *«Я сегодня простился с Валентином Григорьевичем в храме Христа Спасителя. Мы — почти все сотрудники музея, пошли туда. Тем более что это в пяти минутах ходьбы от нас. Пришли как раз перед приездом Путина. Завтра панихида для близких. Отпевать будет сам Патриарх Кирилл. Царствие Небесное Валентину Григорьевичу...»*

Владимир МАКСИМОВ,
член Союза писателей России



«Небесная дочь»

Елизавета Оводнева живёт в далёкой сибирской глубинке — городе Тайшете. Стихи начала писать с семи лет, но осознанное творчество относит к 13–14 годам, хотя в 10 лет уже участвовала в поэтическом конкурсе «Мои первые строки о Родине», а в седьмом классе заняла второе место во Всероссийском литературном конкурсе «Весенняя капель».

В 2014 году Иркутское региональное отделение Союза писателей России после долгого перерыва вернулось к давним замечательным временам, когда в Иркутске на протяжении многих лет проводилась областная конференция «Молодость. Творчество. Современность», через горнило которой проходили многие нынешние известные писатели, как поэты, так и прозаики. Прошлогодня конференция называлась «Молодые голоса» и привлекла большое количество молодых писателей, по итогам которой вышел в свет сборник участников этой конференции.

Среди приглашённых в Иркутск талантов оказалась и Лиза Оводнева, обсуждение которой проходило ярко, интересно, увлекательно. Профессиональные авторы дали высокую оценку её творчеству. Елизавета Оводнева стала победительницей в конкурсе поэтов и заняла второе место. Но это всё, так сказать, перечисление послужного списка и необходимые данные творческой биографии автора, а сегодня, по прошествии почти целого года после конференции, мне хотелось бы представить читателям журнала «Сибирь» молодую талантливую поэтессу, которая извлекла немалую пользу от первого широкого обсуждения своих стихов на региональном уровне.

Она сумела внимательно посмотреть на свои произведения со стороны, отказавшись от некоторых несовершенных вариантов, и даже удалила некоторые стихи со страничек в интернете. Отредактировала многие стихи, и что очень важно, — написала новые. Хотя и на обсуждении в Иркутском доме литераторов Лиза привлекла к себе внимание незаурядными стихами, допустим, такими, как «Белая ворона» или «Я умою душу в душе». Конечно же, в этих стихах не обошлось без влияния выдающихся поэтов, учителей Лизы: Марины Цветаевой и Сергея Есенина. В начале пути это не страшно, мы ведь тоже, в своё время, старались уйти от мучительного, магнетического притяжения того или иного большого поэта. Я убеждён, что одно из главных условий становления творческой личности — это неременное знание великой русской классики. И пусть пока ощутимо влияние на Лизу той же Цветаевой, но юная поэтесса постоянно ищет и определяет свой незаёмный путь в поэзии.

В наше время не так просто найти молодого человека, который бы, как она, так светосно, так страстно был влюблён в русскую поэзию и так хорошо знал стихи своих любимых поэтов. Лиза наизусть декламирует многие стихи и «Поэму горы» Цветаевой, совершенно без запиночки читает есенинского «Чёрного человека» и «Исповедь хулигана». Знает и любит Александра Блока и Владимира Маяковского, но не только их, а ещё и Максимилиана Волошина, Бориса Пастернака, Николая Гумилёва, Велимира Хлебникова и других поэтов Серебряного века, не говоря о Золотом веке русской поэзии.

Вот пример цветаевского влияния на стилистику стихов Елизаветы «Белая ворона» и, тем не менее, в этом стихотворении ощутима авторская интонация:

*С вороном под руку,
С говором от роду
Беловороньим,
Односторонним.*

*Взгляд исподлобья
Иль нараспашку?
Слёзы, как хлопья
Зимней упряжки.*

*Скажешь — растают,
Смолкнешь — замёрзнут.
Скромным ратаем
Или серьёзным.*

Чувствуется не только собственная интонация, здесь система образов, другая, чем у Цветаевой. Система метафор неожиданная, парадоксальная, но в то же время отвечающая духу противоборства белой вороны и стороннего, т. е. враждебного ей мира.

Такие примеры существуют не только в её поэзии, они встречаются у многих авторов, начинающих свой литературный путь. Многие «своё» у Лизы явственно исходит от её страстного, эмоционального характера, переполненного желанием достучаться до читателя, добиться совершенства в стихах:

<i>Чем хуже — тем лучше:</i>	<i>Чем хуже — тем лучше!</i>
<i>Все боли терпимы!</i>	<i>Больнее — тем жёстче!</i>
<i>Все страхи гонимы!</i>	<i>Долой всё, что проще!</i>
<i>И спуски есть круче!</i>	<i>Мой рок меня мучай!</i>

Время и мятущаяся жизнь, в конце концов, приводят к раздумьям, философским размышлениям, осознанию того, что «грядёт пора страдания и чувств...», к осознанию собственного «я» в этом многомерном мире:

*И снова поддаюсь я искушеньям,
Грядёт пора страдания и чувств.
И сердце снова наполняет пеньё,
Всем существом я жду сердечных буйств.*

*Все двери нынче я весне открою
Среди февральских вьюг и холодов.
Зима, зима! О, будь моей сестрою,
Не пожалей в поддержку лучших слов.*

Я не думаю, что Елизавете надо торопиться в стремлении иметь всё и сразу. Ей исполнилось семнадцать лет, вся жизнь впереди, Божья искра сияет в её глазах, трепещет в её сердце, и дарование её несомненно. Лизе сопутствует удача, благоволит судьба, наставляют небеса, не зря она в стихах назвала себя небесной дочерью:

<i>Черноплоднорябиновой грустью Отзовётся осенняя ночь. И в хоромы свои меня пустит, Она знает небесную дочь.</i>	<i>Она знает меня как родную, Скажет, вишни снимая с куста: «Я тебя очень сильно ревную, Что целуешь ты зиму в уста...»</i>
---	---

Доброго тебе, исключительно светлого, хотя и трудного пути, Лиза, к высотам русского Парнаса! Храни тебя Господь!

Владимир СКИФ

ЕЛИЗАВЕТА ОВОДНЕВА



Помни то, что всегда я с тобой...

Бумажный кораблик

Помнишь, в детстве бумажный кораблик,
Он был другом твоим с ранних лет.
И когда наступал ты на грабли,
Он твердил, что всё это лишь бред.

Ах, кораблик, кораблик бумажный,
Среди бури меня не предавал.
Если сердцем ты будешь отважный,
То не страшен ни шторм и ни вал.

Помнишь, как-то кораблик бумажный
Ты на яхту чуть не променял.

Вот тогда позабыл ты о важном,
Что кораблик не плыл, а летал.

Ну, а яхте крутой что за дело?
Хлюпай в море во все паруса.
А кораблик бумажный твой смело,
Смело ринулся ввысь, в небеса.

...Вот и детство прошло, ты стал важный,
И как будто забыл чудеса,
Но душа, как кораблик бумажный,
Снова рвётся в мечты, в небеса.

ОВОДНЕВА Елизавета Владимировна род. в 1998 г. в г. Тайшете в семье филолога и военного. Писать начала рано, лет с шести-семи, но сознательное творчество относит к 14–15 годам. В 2012 г. заняла первое место на Всероссийском конкурсе «Весенняя капель», в 2014 г. стала лауреатом Иркутской областной конференции «Молодые голоса». Член объединения «Тайшет литературный». Её стихи, рассказы и статьи печатаются в газете «Бирюсинская новь», а также в журнале-альманахе «Первоцвет» и журнале «Сибирь». Живёт в Тайшете.

Белая ворона

С вороном под руку, С говором от роду Беловороньим, Односторонним.	Росчерком гладким, Разносторонним, Почерком кротким Письма царапай — Коли ворона... Только ведь лапа
Взгляд исподлобья Иль нараспашку? Слёзы, как хлопья Зимней упряжки.	Длани не ровня. С ней не на шаг ведь! Я — без иронии: Помыслы шатки,
Скажешь — растают, Смолкнешь — замёрзнут. Скромным ратаем Или серьёзным.	Коли на троне Песню уронит Беловоронью Мир посторонний.
Высверком кратким, Когтем вороньим,	

* * *

В жизнь нахально ворвалась Вороном — Ворую дальше. Я имею ипостась Чёрную Без всякой фальши. «В чреве дни все сочтены» — Молвилось Молитвой нажитой. Я от бытовой стены Сгорбилась	Вороной глаженной. Чьей-то роковой рукой С тучи, Будто бы знамение: Правду отстоять строкой, Мучиться В вороньих перьях. Не брыкаюсь, не гребу Против быстрого течения — Так вороной и умру: С правдой и без отречения.
--	---

Время

I

У каждого из нас Свой час. И каждому из нас Свой час Отмерен. Так будь же ты, о человек, Своей минуте верен. У каждого из нас Свой час. Часы, как башни Нотр-Дама:	Оглядываясь каждый раз — Нет изменений, нет изъяна. Стоят они, свой строгий ряд, Свой строй совсем не изменяя. Ты только переводишь взгляд На стрелки, что-то измеряя. Напрасно! Строгие черты В своей природе неизменны, Их победить не сможешь ты, Как и другие не сумели.
---	---

II

Что есть время
В том мире обычном и тленном?
Может, бремя
В том сердце вселенском, что бrenно?
Может, цифры
На том циферблате луны?
Может, шифры

Игры или странной стены?
Может, надпись —
Написана лёгкой рукой.
Или запись
В блокноте забытой строкой.
Или просто порядок ночи и дня?
Или время похоже чуть-чуть на меня?

III

Иссохнет или будет пролит
Преуспеяния родник?
Я замолчу за вас, кто проклят,
Талантом и душой поник.

Я замолчу за дверью громкой,
Где нет покоя, вечный дым.
Я в вас молчу довольно долго
Сопровождаю своим.

IV

Время, пожалуйста, хватит мучений!
Время, послушайте! Время, стойте!
Мимо всех фраз ваших и изречений
Путь проложите, мосты нам постройте!

Гавань захвачена Вами и судьбами
Тех, чьи молитвы оставлены прежними.
Между субботой и страшными буднями
Пусть остаются фрагменты безбрежными.

Время, не мучайте!
Люди не вечные.
Жизнь нам по случаю,
Мы — только встречные.

Что заставляет Вас течь и тянуться,
Мир травить заживо и за живое.
Жаль, кто уходит, не может вернуться,
Жизни оставив лишь фото немое.

Время, ну сжальтесь же! Вы — привередливы.
Вам это шуточки, людям — не весело.
С взглядом убитым, совсем не приветливым,
Видишь, терпение тихо повесилось.

Время, не мучайте!
Люди не вечные.
Жизнь нам по случаю,
Мы только встречные.

Детство

Когда-то, в детстве недалёком
(Оно минуло нас вот-вот),
Берёзовым текучим соком
Мы наполняли алый рот.

И домик тихий у дороги
Служил пристанищем чудес.
Мы зарывались в сена стоги,
Любили в полдень бегать в лес.

И с прутиком в руке — заборы
Мы покоряли без проблем.

Не знали, что такое ссора,
Обид не ведали совсем.

Собак дразнили, сливы крали,
К ручью неслись вперегонки
И на заборах рисовали —
На нас ворчали старики.

«Но ничего нет лучше детства» —
Слова сквозь годы пронеслись.
От старости одно лишь средство:
Взрослеть, мой друг, не торопись.

* * *

Когда не хватит — слов,	И так средь бела дня
Когда не хватит — рук,	Ступить в петлю страстей?
Когда не хватит — губ,	Иль руки опускать
Чтоб жадно целовать.	При виде ваших глаз
Когда не хватит — жить,	И будто невзначай
Когда не хватит — быть,	Сторонкой обходить?
Когда не хватит — пить	Скажите, милый мой,
Жизнь с жадностью своей.	Куда мне деть себя?
Когда не хватает — Вас,	Не скажите — тогда
Что нищей делать мне?	Вам надо отпустить
Скитаться по земле	Меня с душой моей
И ночью слёзы лить?	(А лучше без души),
Иль мне верёвку взять,	Отправить в пустоту
Пойти в осенний сад	И впредь не вызывать...

* * *

Если скажешь, что мир развалился,	Если жизнь нас заставит разлиться
Если сломит мороз или зной	Горной речкой, строптивой душой,
И душой ты о камни разбился,	За тебя буду Богу молиться,
Помни то, что всегда я с тобой.	Помни только: всегда я с тобой.
Если сердце откажется биться	Если вдруг всё судьба так разложит —
Или к стенке поставит конвой,	Смерть моя засвистит надо мной,
Или рок на тебя обозлится,	После смерти мне будет не сложно,
Помни то, что всегда я с тобой.	Как и прежде, быть рядом с тобой.

* * *

Между нами не вёрсты,	Только крылья вам свяжут
Между нами не годы,	И согнут вашу стать».
Только с грустью вздохнёт мне	
Что-то сердце поёт.	Не хочу отречений,
	Не нужны мне разлуки,
Нынче даже погода	Но душа жаждет муки,
С вековой своей грустью	Говорит мне: «Страдай!»
Говорит, что не пустит	
Моё сердце в полёт.	От твоих излучений
	Мне бежать нету мочи.
Нынче даже гитара,	Что мне милый пророчит:
Что «Цыганку» играла,	Золочёную клеть?
Говорит: «Может, хватит	
Душу бедную рвать?	Пусть тогда лучше вёрсты,
	Пусть тогда лучше годы,
Ведь за это не платят	Лишь бы только не горстью
И спасибо не скажут,	Пепла тихого тлеть.

* * *

Ломал берёзку страшный ураган:
Срывал листву, калеча крону, ветки,
Как будто настоящий хулиган
Хотел добиться девушки-кокетки.

Хотел добиться, в плен к себе забрать,
Ни шанса не давая на пощаду,
Всю молодость, всю зелень отобрать,
В берёзке не узнав богиню Ладу.

Он был настойчив, холоден и груб,
На нежность наступая без разбора,
Ведь всякий ураган на ласки скуп,
Не чувствует в душе своей укора.

Но только для любви нет страшных сил.
И Лада хитрости вперёд пустила —
Того, кто хулиганом нынче слыл,
Она любовью вдруг остановила.

Теперь смертельный, страшный ураган
Стал нежным, очень ласковым Зефиром.
Ты правильно подумал, хулиган:
Любовь не сон, любовь — большая сила.

* * *

Чем хуже — тем лучше:	Пусть я — на коленях,
Все боли терпимы!	Но жизнь прославляет!
Все страхи гонимы!	
И спуски есть круче!	Чтоб — крепче характер,
	Чтоб — стержень пожёстче.
Чем хуже — тем лучше!	С упорством воюем
Больнее — тем жёстче!	С фартовой мощью.
Долой всё, что проще!	
Мой рок, меня мучай!	И всё ж, полагаясь
	Порою на случай,
Пусть боль изъязвляет,	Мы жить продолжаем —
Кусается время.	Чем хуже — тем лучше!

* * *

Ты улыбалась рассеянно,
Вишни снимала с куста...

Владимир Скиф

Черноплоднорябиновой грустью
Отзовётся осенняя ночь,
И в хоромы свои меня пустит —
Она знает небесную дочь.

Она знает меня как родную,
Скажет, вишни снимая с куста:
«Я тебя очень сильно ревную,
Что целуешь ты зиму в уста.

Что снега её долгие, белы
Твои взоры ласкают в пути,
Что снежинки, как острые стрелы,
Серебром остаются в груди».

О осенняя дева, не бойся,
И тебя я люблю допьяна,
И под ревности маской не кройся —
Ты сегодня не будешь одна.

Ты же знаешь, сегодня с тобою
Будет рядом небесная дочь.
Я под лаской твой образ сокрою,
О осенняя дивная ночь!

* * *

И снова поддаюсь я искушениям —
Грядёт пора страдания и чувств.
И сердце снова наполняет пенье,
Всем существом я жду сердечных буйств.

Все двери нынче я весне открою
Среди февральских вьюг и холодов.
Зима, зима, о будь моей сестрою,
Не пожалей в поддержку лучших слов.

Зима, зима, пошли же мне Зефира
И заведи свой северный Борей.
В страну страстей, блаженства и эфира
Неси меня! Скорей! Скорей! Скорей!

Брось на Голгофе вещей среди зноя —
Отрадно умирать мне будет здесь.
Морфей полночный прилетит за мною,
Всё будет не вчера, всё будет днесь!

* * *

Ищешь — получше,	То есть — сильнее?
Или — попроще...	Алости — больше!
Осень — как случай?	Солнце — пригреет,
Слава — пожестче!	Мучиться — дольше...

* * *

Что тело без души —
То камень в море.
Рок душу иссушил —
Мой милый, горе!

Отрепья на ветру
На мне остались,
Я — ворон на юру
И в страсти каюсь!

О суд моей души!
Все казни надо мной
Верши! Верши! Верши!
И вены мои вскрой!

Мой серый прах отдай
Ты всем семи ветрам.
Страдай! Страдай! Страдай!
Вершительница драм!

На суд благослови
В незримой тишине
Во имя той любви —
Возвышенной — во мне.

* * *

W. S.

Не жена и даже не сведущая,
Но сумевшая нежно любить,
Я надеюсь, не буду следующая,
Ибо следующей мне не быть.

Очерёдность — стезя обманутых,
Мой же путь — отличительно чист.
Средь подарков, судьбой протянутых,
Зимний, крепкий я выбрала лист.

Он с декабрьскою вьюгой явился,
Он сорвался из зимних кустов,
За собой, потянув меня, взвился,
Словно вихрь, закружить был готов.

Одержима, барьеров не знаю —
Я под властью его, я в плену.
Он подвёл меня к самому краю,
Лишь бы страсть только знала одну.

Я в страстях твоих нынче сведущая,
Вместо сердца здесь вихрь будет жить.
Я надеюсь, не буду следующая,
Ибо следующей мне не быть!

* * *

Я умою душу в душе,
Напою зелёным чаем.
Снова осень листья сушит,
У небес глаза печали.

Снова стайей журавлиной
Прилетят воспоминанья
И погодою невинной
Оправдают ожидания.

И заставят умываться
Вновь солёною водою.
Будет память издеваться
Неисполненной мечтою.

Всё, что было, не окрепло,
Разлетится, как осколки.
Соберу остатки пепла,
Только будет мало толку.

Я к беде своей причалю,
Засушу, как осень, листья.
Подарю свои печали —
Пусть любовь повеселится.